

Scan Kreyder - 05.10.2019 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

ГРАФИН С ПЕТУХОМ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1985

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин**

**Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян**

**Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк**

**Ответственный секретарь
Елена Мовчан**

Ч л е н ы с о в е т а:

**Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Ю. Ефремов,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Вадим Ковский, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,
Борис Панкин, Вардгес Петросян,
Инна Сергеева, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Константин Щербаков, Камиль Яшен.**

Художник А. БЕЛЮКИН

В $\frac{4702010200-026}{074(02)-85}$ 72—85 подписное

© Оформление и послесловие. Издательство «Известия», 1985 г.



K. Barmen



АРМЕЙСКАЯ ЮНОСТЬ

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

Где-то далеко отсюда, за много километров и — главное — лет, стоят в строю одинаково одетые ребята — юные и несколько самоуверенные. Даже странно сейчас, что это мы.

Семнадцати лет от роду я стал на место, уготованное мне войной, стал по ранжиру, не направляющим, но и не замыкающим, а где-то в середине своего отделения.

Верно говорят, что характер моего поколения был сформирован армией военной поры. Мы находились в том возрасте, когда человек особенно пригоден для окончательного оформления, если он попадает в надежные и умелые руки. Мы были подготовлены к этому еще всем детством, всем воспитанием, всеми прекрасными традициями революции и гражданской войны, перешедшими к нам от старших. Правда, мы представляли себе войну несколько иначе, мы не знали, что война — это прежде всего тяжелый труд, что это тысячи километров, пройденных тобой по шестьдесят—семьдесят в сутки, да еще с двадцатикилограммовым грузом на плечах, да еще часто в плохой обуви, натирающей ноги, что это руки, набрякшие кровью, что это сотни кубов земли, выброшенной малой саперной или большой штыковой лопатой. Потом мы познали все это.

Есть в человеческом характере такая черта — с удовольствием вспоминать прошлые трудности, тобой преодоленные. Это всегда приятно. Раз уж случилась война, то пребывание в армии стало делом нашей чести, так же как для прежних молодых поколений участие в гражданской войне, в строительстве Комсомольска и Магнитки, в коллективизации деревни, в покорении

Арктики, а для нынешнего — в освоении целины и земель Сибири, хотя мне кажется не совсем точным сравнение мирных строек с передним краем — это все-таки слишком разные вещи.

Мы пришли в армию, — наши кости еще не окрепли, не затвердели мускулы. Мы еще росли. Когда после войны нас осматривали новые медицинские комиссии, или, как тогда говорили, «перекомиссии», оказалось, что многие из нас прибавили в росте по несколько сантиметров. А как выросли наши души и характеры!

Армия многому научила нас. Это были наши университеты. Одних она приобщила к технике — к танку, пушке, самолету, других научила владеть топором, пилой и лопатой. Война разбудила многие таланты, как всякая трагедия в жизни народа.

А близость к природе, к земле, на которой лежишь, по которой идешь, которую копаешь!

Армия научила нас мужской дружбе, — мы знали, пожалуй, только детскую. Мы ушли юношами, а вернулись мужами.

Сколько обрели мы новых друзей и сколько из них потеряли, чтобы не забыть никогда!

А разве можно забыть героизм гвардейских дивизий, железную дисциплину военных училищ или запасные полки, рвущиеся на фронт из каких-нибудь далеких тыловых лагерей. Разве забудешь безмолвный Донбасс сорок третьего года, разбитые города Белоруссии и знаменитый Бобруйский котел, где на много километров сплошным навалом, друг на друге — искореженные немецкие танки, орудия, бронетранспортеры, машины. А взятие нами Вены! А конец войны! А бесчисленные встречи в избах и хатах, в коттеджах и виллах на огромных дорогах войны! Армейская жизнь была суровой, но сколько в ней было неожиданного тепла! Я служил еще по первому году, когда однажды к нашей землянке подошел сержант из соседней роты и спросил: «Помкомвзвод дома?» Этот вопрос потряс меня. То есть как дома? Дом далеко отсюда. Разве здесь дом? А спустя несколько месяцев я и сам говорил так.

Столь же удивительным казался мне вопрос комбата к старшинам: «Покормили людей?» Чего, мол, их кормить? Сами поедят, только дай! Или: «Первая рота покушала? Вторая рота покушала?..» Это слово «покушала» (не «поела») казалось нарочитым, пока я не по-

чувствовал, что оно имеет особый оттенок — не славяно-городской, а уважительно-деревенский: покушала.

Мы были очень, очень молоды. Когда я смотрю на семнадцатилетних мальчиков, то думаю: «Неужели мы были такими? Если на него нагрузить все, что было на нас, да чтоб он прошел столько, сколько мы, пусть вполтину меньше, — он же умрет! А может быть, это только кажется?..»

По натуре своей мы действительно мирные люди. Я никогда не встречал человека, который хотел бы войны. Но раз уж враг напал на нас, мы воевали. Это было главным, и нам не приходилось раздумывать, чтобы найти это главное место в жизни.

В жизни каждого юноши наступает момент, когда необходим качественный скачок. Мы перешли в новое качество, надев красноармейские шинели.

Мне жаль тех людей моего поколения, кто не служил в армии рядовым.

Иногда, собравшись с друзьями, мы под настроение, к месту, начинаем рассказывать о своей службе, о военной поре, мы увлекаемся, перебиваем друг друга и самих себя, перескакиваем с одного на другое. А те, кто не был там, тоже слушают с интересом. И как это ни странно, менее других фигурируют здесь так называемые боевые эпизоды.

Нет, это истории скорее познавательного характера, забавные и грустные, — о себе и встреченных тобой людях, истории, ограниченные рамками времени и обстановки. И едва ли не главное в них — это множество деталей, подробностей, которые, если не вспоминать их, постепенно выветриваются из нашей памяти, заменяясь другими.

Предлагаемые читателю «Короткие заметки» и есть, на мой взгляд, нечто вроде таких армейских рассказов, — здесь часто нет последовательного повествования, порой это ответ на чей-то вопрос, порой реплика. В их краткости и одновременно подробности — их смысл.

И конечно, это лишь малая часть того, что увидено и пережито.

КАРАНТИН

Лейтенант, сопровождавший нас от военкомата, пошел к воротам, часовой вызвал дежурного, нам снова — в который раз — сделали перекличку, и вот мы вошли во двор, в просторный двор военного училища с множеством казарменных зданий. Бросился в глаза огромный плакат на стене: «Если ты любишь Родину — учись на отлично!» Это звучало знакомо, по-школьному.

Мы любим Родину, мы будем стараться.

Вошли в большой барак, по стенам нары в три этажа. Выстроились посередине — в пальто, в ватных стеганках-фуфайках, в тулупах, на ногах валенки, бурки, сапоги, штиблеты. Разношерстная компания. На плечах мешки — «сидорá». Появился старшина, разбил нас, как стояли, на взводы и отделения, выделил дневальных, указал каждому взводу его нары. Мы взгромозились на дощатые нары, дневальные пошли за дровами, долго растапливали печку. Стемнело. Стало очень грустно. Не хотелось верить, что эта жизнь — надолго. Если бы сразу кто-нибудь твердо сказал, что служба будет продолжаться четыре года, это было бы тяжелейшим ударом. Думалось, что все закончится гораздо быстрее. Мы лежали и думали. Мы мечтали о том, как вернемся домой.

Это было время окружения немецких войск под Сталинградом. Впереди еще были многие великие битвы, но перелом в войне уже произошел.

Вечером прибыла другая команда, потом еще. Лишь один парень, сержант-летчик, присланный в училище из госпиталя, был немного старше нас. Он пел «Землянку» и подробно рассказывал о своем романе с медсестрой. О, эти рассказы! Может быть, была в них и правда, но большей частью были они выдуманы. А мы о девушках почти не говорили. Воспоминания, мечты и разговоры в первый год службы были только о еде. Это потом пришли душевные беседы обо всем на свете — когда мы стали настоящими солдатами.

Правда, однажды веселый и нагловатый курсант Володька Замышляев, увидав у меня крохотную девичью фотографию, попросил посмотреть. Он долго глядел

сквозь кулак и, возвращая карточку, сказал грустно: «Нужная девка!» — и уточнил: «Ценная девка!..» Я был очень горд.

КАЗАРМА

Кончился срок пребывания в карантине, вновь прошли мы всякие комиссии — медицинские и мандатные, — потом баня, где в одном предбаннике сняли с себя все, что было на нас штатского (вернее, все, что осталось, ибо многое ухитрились продать на базарчике за училищем), а в другом надели зеленые гимнастерки, синие диагональные брюки, шинели и шапки, обули великую роскошь по тому времени — яловичные сапоги. И вот мы уже курсанты.

И вот мы уже попали в рамки стального распорядка военного училища.

За окнами еще темно — играет труба. Первый сигнал — повестка, за пятнадцать минут до подъема. Это сигнал для младших командиров, чтобы они успели одеться и следить за подъемом. Потом — подъем! Труба — и крик дежурного: «Подымайсь!» И оба дневальные в голос: «Подъем!», и помкомвзвод, и командиры отделений. Через три минуты команда: «Выходи строиться!» Плохо тому, кто не успеет одеться, — сразу попадешь в «нерадивые» или в «доходяги», из внеочередных нарядов не вылезешь. А одеться в три минуты трудно. Спрыгнешь с нар, а кто-то уже все разбросал, ища свои сапоги или портянки.

Лишь когда научишься с первого взгляда узнавать свою гимнастерку, сапоги, шинель среди десятков точно таких же, когда сможешь по звуку шагов различать товарища — значит, ты настоящий солдат.

Выскакиваем на улицу в нательных рубашках. Снег, мороз. Двухминутная пробежка — и обратно, заправлять постели. Быстрей!

Потом осмотр на форму «20»: проверяется нижнее белье, чуть что — в дезкамеру, «вошебойку». Благодаря этому строгому правилу удалось не допустить появления сыпняка, этого страшнейшего бича всех прошлых войн.

Замечательны военные сигналы. Комбат выстроил нас на плацу и приказал трубачу играть сигналы — по несколько раз каждый. Подъем: «Вставайте, вставайте, вставай, вставай, вставай! Вставай!» Деловой — приступить к занятиям, к работе. Веселый — на обед: «Бери ложку, бери бак!..» Похожий на него (часто путали вначале) стремительный сигнал тревоги: «Где портянка? Где сапог?..» Многие другие сигналы, например командирский сбор: «Командиры рот, командиры рот, к командиру батальона!..» И наконец ласкающий слух, умиротворяющий: «От-бой! Спать, спать!..»

Трубач в каждой части — человек уважаемый.

После завтрака — занятия: строевая подготовка, матчасть, уставы, политзанятия, тактика и так далее. Надо торопиться — стране нужны командиры. И песня была:

Школа средних командиров
Комсостав стране своей кует.
Силы все отдать готовы
За трудящийся народ.

Старая курсантская песня.

Двухгодичная программа проходила за восемь месяцев. Надо было торопиться.

У нас было очень много дел и обязанностей. Нужно постирать и подшить свежий подворотничок (у некоторых были целлулоидные, но они натирали шею), несколько раз в день чистить сапоги, следить за каждым крючком и пуговицей — не дай бог, оборвутся, — держать в порядке лопатку и противогаз, на котором пришита фанерная бирка с твоей фамилией и номером взвода, готовиться к занятиям, чистить оружие. На это уходило и так называемое «личное время» (один час), предусмотренное расписанием. Хорошо еще, что нам тогда не нужно было бриться.

У нас был помкомвзвод Синягин — высокий, сутуловатый, с усами. От него я услышал впервые известную тогда в армии фразу: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим!» Впрочем, хотели, пожалуй, все.

Главным его коньком была чистка оружия. Вообще

в училище это было великим священнодействием. Долго, до зеркального блеска, чистишь винтовку, выковыриваешь грязь из каждого шурупчика, потом показываешь командиру отделения и помкомвзводу. Те разрешают смазывать. После смазки снова показываешь, и лишь тогда можно ставить винтовку в пирамиду, открыв затвор и свернув курок.

Синягина мучила бессонница. И каждую ночь он вызывал в ружпарк нескольких курсантов. Разбуженные дневальным, они надевали поверх белья ремень с подсушкой, в котором хранились обойма холостых патронов, масленка, протирка, ершик, кусочек ветоши, и плелись в ружпарк. Помкомвзвод говорил им, что их оружие недостаточно чисто, пусть сами найдут где. Они обычно грязи не находили, но снова чистили винтовки, и Синягин отпускал их досыпать.

Зима был метельная, и часто нас поднимали ночью расчищать дорогу от заносов. Почему-то было очень мало деревянных и фанерных лопат, и мы работали малыми саперными, что было страшно неудобно: бросишь лопатку, и снег опять летит тебе в лицо.

Возвращались бодро, с песней. Тогда мы еще не привыкли петь в строю под левую ногу, и нет-нет, а вырвется чей-то голосишко под правую, вызывая общий смех.

Однажды, морозным поздним вечером, пели «Священную войну». И так ладно и грозно звучал припев, что я почувствовал холодок в спине и слезы в глазах.

Ко многим из нас приезжали матери, привозили что-нибудь поесть. Совестно было брать эти выкроенные из суровых военных пайков крохи, но брали: есть страшно хотелось. А ведь кормили нас очень неплохо по тому времени — по курсантской девятой норме. Но наши растущие организмы, получавшие огромные физические нагрузки, требовали больше. Лишь года через два нам стало хватать нормы.

Мы подружился с Сережей Юматовым. Однажды ко мне приехал отец, а к нему — брат, капитан. В дороге они познакомились, разговорились и подошли к училищу вместе. Был выходной день, и нас отпустили

повидаться. Так мы и подружились с Юматовым, как часто дружат в детстве, когда знакомы родители.

Иногда мы ходили с ним на базар — купить махорки или выпить по кружке молока. Много тогда было базаров и базарчиков. И купить там можно было все, что угодно: хлеб, одежду, довоенные папиросы, шоколад, сульфидин, карточки и талоны. Было бы на что покупать!

Прошрое, довоенное, было мерилом прекрасного. О будущем почти не говорили: мы слишком смутно себе представляли, кем мы станем, где будем жить и работать. Мы чувствовали — это придет потом. Лишь один раз Юматов сказал мне: «Вернулся бы домой — все бы задачки по тригонометрии перерешал!..» Хороший был парень Сережа Юматов.

Отец привез мне полевую сумку. Это была роскошная сумка, темно-красной, почти черной кожи. Тонкий ремешок крепился к ней на изящных карабинчиках. Я принес сумку в казарму, и все ее восхищенно рассматривали — уж больно была хороша. Подошел Синягин, оживился.

— Ты что же, носить ее хочешь? Тебе ж не положено! Дай я поношу, а получишь звание — верну. А то все равно ротный или старшина отберут. Тогда уж не увидишь!..

Не хотелось отдавать, но доводы были веские, отдал «на время».

Он набил ее уставами и важно надел через плечо.

После завтрака — политинформация. Положение на фронтах. Была большая карта, где красными флажками отмечалась линия фронта. Началось наступление наших войск. После взятия Харькова Замышляев сказал:

— Эдак и повоевать не придется!

Лейтенант, командир взвода, ответил спокойно:

— Не волнуйтесь, успеете.

Положение было еще серьезное, бои кровопролитные. Вскоре наши войска вторично оставили Харьков.

Командира взвода мы любили. Вообще все офицеры жили, как в мирное время, отдельно, на квартирах.

Командира роты мы видели раза два в день, комбата почти не видели. Это не то что в части, где офицеры живут, по сути, вместе с солдатами. Офицеры-преподаватели приходили только на свои часы. Лейтенанта мы видели чаще. Он вел строевую и огневую подготовку, а также матчасть. Он прекрасно знал оружие, мог с завязанными глазами разобрать и собрать замок «максима». А ведь это весьма сложный механизм, не то что винтовочный затвор — стебель, гребень, рукоятка.

Иногда на занятиях он отходил в сторону, садился на пенек и думал о чем-то, глядя вдаль большими карими глазами. Может быть, у него в жизни было горе или какая-нибудь особенная любовь, — не знаю.

Говорили, что он несколько раз подавал рапорт с просьбой отправить его на фронт, но командование училища не отпускало.

У него открылись прежние раны на обеих ногах, он не хотел ложиться в госпиталь, но на занятиях, морщась, снимал сапог и рассматривал бинты, пропитанные засохшей кровью и гноем. Впрочем, потом он снова натягивал сапог и показывал, как надо «рубать» строевым шагом, — из-под подковок на каблуках высекались искры.

Готовились к стрельбам. Лейтенант взял на занятия малокалиберную винтовку, воткнул в снег сломанную лыжную палку, и мы по очереди стреляли в нее с колена — все мимо и мимо. И вдруг я попал. Он обрадовался, подбежал и обвел попадание карандашом, как на мишени.

— А ну-ка, еще попробуй! — сказал он, неожиданно переходя на «ты», чего никогда не делал.

Я снова выстрелил — не попал.

— А ну-ка, ляг!

Я выстрелил из положения «лежа» — мимо!

Он очень огорчился:

— Случайно попали!..

Пришел приказ — отправить на фронт курсантов старше тридцати лет. Таких было несколько в роте — в соседних взводах, — людей моего теперешнего возраста, казавшихся нам тогда весьма старыми.

Помкомвзвод Синягин зашипел:

— Сегодня не спать! «Старички» уезжают, как бы чего не прихватили!

Мы лежали в полутьме казармы и сквозь дрему смотрели, как «старички» уезжают. Они получили ватные фуфайки и брюки, теплые портянки и теперь неторопливо одевались, аккуратно укладывали в вещмешки сухой паек. Вот все готово, они ждали команды. Они слышали шумок, поднятый Синягиным, и презрительно не обращали на это внимания. Ушли они перед рассветом, ни с кем не попрощавшись.

Изредка по вечерам водили в столовую смотреть кино. Остаться дома и лечь спать было нельзя, поэтому в зале бывало страшно тесно. Наш бывший комиссар, после упразднения института комиссаров ставший замполитом, веселый и общительный майор, рассказывал однажды перед строем, как он втиснулся в темный зал, как его толкали локтями, а потом он слушал разговоры — кто чем недоволен — и теперь разбирал, справедливы эти претензии или нет. Один курсант упорно ругал самого замполита, но тот сказал, что не сердится и что он совсем не такой, как его представляет критик. «Трудно, товарищи, трудно, слов нет, но на фронте еще труднее!..»

Вспоминая потом эти слова, я не согласился с замполитом. В училище было труднее!

Новый приказ — отправить на фронт сержантов старше тридцати лет.

Едва мы услышали об этом, как увидели Синягина. На него жалко было смотреть. Он был не бледный, а какой-то серый и трясущимися руками перебирал свой вещмешок. Подошел лейтенант попрощаться, но, взглянув на Синягина, сразу же отвернулся. Помкомвзвод суетился, никого не замечая.

И вдруг Юматов толкнул меня и прошептал:

— А сумка... сумка твоя!..

Боже мой, я совсем забыл!

— Товарищ старший сержант, сумку-то отдайте!..

Он ничего не ответил.

— Товарищ старший сержант, сумка-то моя...

Он пробормотал что-то и двинулся к двери. Я понял, что он не отдаст сумку. Тогда я, подойдя сбоку, неожиданно расстегнул один из карабинчиков и сдернул ре-

мешок с его плеча. Он резко повернулся ко мне, но я уже вывалил на стол все его уставы и записные книжки с нашими провинностями. Он злобно посмотрел на меня, потом на весь безмолвно застывший взвод, резко повернулся и вышел... Больше мы его не видели.

А сумку, которую мне все еще нельзя было носить, я отдал лейтенанту. Весь взвод решил, что это справедливо и, конечно, не подхалимство, потому что не такой человек лейтенант, чтобы за сумку делать кому-то полагжи.

Это мудро заведено в армии, что военную присягу принимают не сразу, а спустя время после призыва. Пусть человек сначала осмотрится, поймет, что к чему, и лишь тогда с полной ответственностью произнесет высокие слова клятвы.

Был ясный весенний день и ощущение праздника. Как в праздник, дали белый хлеб на завтрак, как в праздник или как в честь взятия нашими войсками крупного города, были амнистированы сидящие на гауптвахте.

Мы выстроились во дворе с винтовками в руках.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик... принимаю присягу и торжественно клянусь... не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами... Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся...»

Неторопливо звучащие слова были полны огромного смысла и мужества, потому что в жизни мы никогда не говорили и не думали такими словами. Чувство долга выражалось действием.

Весна, весна. Солнце, бьющее в окна, затопило комнату, слепит глаза. Клонит в сон на занятиях. Но мы сбрасываем с себя дремоту. Мы уже втянулись в эту жизнь, привыкли к строгому распорядку. Прошли месяцы. Уже перетираются по сгибам хранимые в бумажнике письма из дому. Уже скоро мы станем офицерами. Некоторым этого очень хочется, другие более равнодушны. Но так или иначе мы движемся к этому. И вдруг...

ОБОРОНА

Этим и характерна военная служба: живешь, уже привык к чему-то, освоился на месте — и вдруг приказ. Собираешься мигом и едешь или идешь неведомо куда. И видно, так устроен человек, что уже жалко покидать старое, хотя оно и было заведомо временным.

Полдня на сборы. И вот мы идем к станции, а кругом народ, бегут мальчишки и слышится женская жалостливая, сохранившаяся с неведомых времен фраза: «Солдат гонят!..»

Теплушки — вагоны войны. Много раз потом грузились мы в них. Стремительно неслись они к фронту и медленно ползли назад. Откатывается тяжелая дверь, стоят и сидят в ее проеме солдаты, глядят на плывущие поля, кружащиеся перелески, мелькающие разъезды.

Останавливаются спешащие люди, долго смотрят вслед военному эшелону. Девушки машут платками.

А параллельно нашему составу, то обгоняя нас, то отставая, гремит другой состав — на платформах не полностью укрытые брезентом танки и орудия. Вот у разъезда овеянный славой гражданской войны, а теперь уже устаревший бронепоезд. Вот поезд-баня. Вот на встречу полный страданий санитарный эшелон. Поезда войны...

Училищу приказано: по всем правилам военного искусства выстроить долговременную линию обороны на случай внезапного контрнаступления противника на этом участке — несколько десятков километров траншей и ходов сообщений.

В глухом лесу разбили зеленые брезентовые палатки.

Каждый взвод получил задание. И — на работу!

Пошел дождь, маленький, противный дождик. И все три недели, пока мы строили оборону, он лил и лил, переставая на полчаса лишь за тем, чтобы начаться снова.

Плащ-палаток тогда у нас не было. Сперва насквозь промокла шинель, потом гимнастерка, белье, и все это уже не высыхало. Сушиться было негде, разводить костры в темноте запрещалось.

Подъем — в четыре ноль-ноль. Содрогаясь, натягивали влажную одежду, потом бежали за полкилометра на озеро мыться, завтракали, брали инструмент и шли работать. Часовой перерыв на обед, и снова работа до шести-семи часов. Точили топоры, лопаты, разводили пилы. Ужин. И отбой в десять часов. Так проходил день. Перед сном мы отжимали гимнастерки, брюки и портянки, клали все это под себя, чтобы хоть немножко согреть собственным теплом, и укрывались мокрой шинелью.

Дождь стучал по брезенту, и казалось, что лежишь внутри огромного барабана.

За нашей палаткой, на задней линейке, была палатка командира батальона. Это был высокий, прямой подполковник с седыми усами и подусниками, бывший царский офицер, перешедший в первые дни Октября на сторону Советской власти.

По-моему, он был одинокий человек, к нему никто никогда не приезжал. С ним в палатке жила собака, отличной выучки овчарка.

По вечерам подполковник заводил патефон. Сквозь шорох дождя и стук срывающихся с веток тяжелых капель слышна была старинная классическая музыка.

Потом раздавались голоса — это возвращался какой-нибудь неудачливый взвод, не успевший закончить свое задание за день.

Под все эти звуки мы с Сережей Юматовым засыпали.

По воскресеньям, когда у нас было больше свободного времени — норму давали вполовину меньше, — подполковник выходил на переднюю линейку с небольшим, стаканов на десять, мешочком махорки, развязывал его и говорил баском:

— Угощайтесь, товарищи курсанты!..

Осторожно и почтительно мы брали по щепотке.

Дело в том, что в курсантскую норму табачное довольствие не входило.

Со снабжением табаком и в частях бывали перебои. А то вдруг привозили знаменитый филичевый табак, которым никак нельзя было накуриться, только жгло в горле. Не знаю, из чего он был сделан, но страшно тре-

щал, как дрова в печке, или неожиданно вспыхивала вся сигарка.

Потом группа солдат напечатала в газете открытое письмо директору фабрики, выпускающей этот табак. В конце письма спрашивали: «А вы что курите, товарищ директор?»

Говорят, директор ответил, что он некурящий.

Но бывала и настоящая, дикой крепости махорка, о которой сказано: «Курнешь — на тот свет нырнешь!..»

Гремела у каждого в кармане еще одна прославленная «катюша» — прибор для прикуривания: обугленный трут, здоровый кремь и железное кресало.

А дождь все лил и лил.

По спинам и шеям густо пошли фурункулы. В санчасти все это обильно смазывали зеленкой. Странный пятнистый вид имели мы, когда раздевались.

Но каждое утро во главе с лейтенантом шли мы на работу, дело двигалось. И снова не думали и не говорили мы высоких слов, но прочно жило внутри нас ощущение: «Надо!»

Наш взвод валил деревья для накатов, рубил ветви — оплетать стенки траншей, чтобы не осыпались.

Один курсант — не помню его фамилии — обтесывал ствол, топор скользнул по мокрой коре, разрубил сапог и снес два пальца. Тот сгоряча было пошел, но кровь брызнула фонтаном. Подбежал лейтенант, перетянул ногу ремнем, но пока мы донесли парня до лагеря, он потерял все-таки много крови.

Кто-то из офицеров сказал, что, вероятно, это преднамеренное членовредительство.

Наш лейтенант и майор замполит сидели рядом с курсантом в палатке, пока не пришла машина везти его в госпиталь. Они попрощались с ним, и замполит сказал твердо:

— Конечно, случайность!.. Жаль парня..

Замполит обходил оборону.

Поднимали головы курсанты, пытались стряхнуть грязь, налипшую на сапогах и лопатах. Он говорил:

— Молодцы, ребята! Хорошо работаете!..

Мы были не в строю и не могли ответить: «Служим Советскому Союзу!»

— Старайтесь, товарищи! Вот разобьем Гитлера,

вернемся домой и будем есть пироги со с мясом, со с маслом, со с яйцами!.. — И первый весело смеялся.

Такие прибаутки нравились, и многие командиры употребляли их и для поднятия духа и для собственно-го удовольствия.

У командира дивизии, генерала Казанкина, была другая присказка:

«Вернемся домой, наденем ордена и медали, тогда можно будет нажать на педаль!..»

Шутку, смех в армии ценят. Тот же генерал Казанкин, уже после войны, говоря о необходимости изучать уставы, рассказывал:

— Еду я на «виллисе» по мосту. Мост старый, бревнышки играют, пешком едем. Навстречу — солдат. Не приветствует. Окликаю. Подбегает. «Почему не приветствуете?» — «Товарищ генерал-майор, на мосту не положено!» — «Идите!» Еду. Уставы вспоминаю. Боевые уставы хорошо помню. А устав внутренней службы, гарнизонной службы, дисциплинарный давно не перечитывал. Там много всяких оговорок. Но все разумные. Целесообразные. Предусматривающие что-нибудь. А здесь — нелепость. Почему на мосту нельзя приветствовать? Спрашиваю адъютанта: «Точно, что на мосту приветствовать не положено?» Говорит: «Что-то такое было». Приехал в штаб. Все уставы прочитал. Нет такого. Жаль, солдата того не найти. Объявил бы ему благодарность. За находчивость. Изучайте уставы, товарищи! Это очень мудрые уставы!..

Закончено то, чему, казалось, не будет конца. Сделано то, что казалось почти невозможным. Оборона готова. С оплетенными стенками траншей и окопов, с аккуратными брустверами и траверсами, с нишами для боеприпасов, площадками для орудий, накатами, перекрытиями и укрытиями. Работу принимают приехавшие из штаба фронта офицеры. Они довольны. Первоклассная линия обороны.

И словно нарочно, впервые за три недели кончился дождик, само собой прорубилось в блекло-сером небе голубое окошечко, оно все шире, шире, в него ударило летнее солнце, задымилась щедро напитанная водой земля.

Мы курили комбатовскую махорку и сушились — впервые за три недели.

Суета, беготня. Что такое? Выходят офицеры из палатки комбата, выходит за ними и овчарка, но комбат делает движение одним пальцем, и она возвращается.

Команда — строиться. «Становись!..»

Спешат старшины со списками, как на вечерней поверке. «Названные, три шага вперед!..»

Мы не знаем, в чем дело. Хорошо или плохо быть в числе названных? И каждый, услышав свою фамилию, отвечает настороженно: «Я!..» Сережу Юматова не называли. И вообще — где он? Ах да, его, кажется, послали за водой...

К нам подходит комбат.

— Товарищи курсанты! Получен приказ — училище переформируется. Те, кто был сейчас назван, отправятся по назначению в части. Мы уверены, что в частях и соединениях, куда вы попадете, вы будете достойно продолжать свою службу и не посрамите чести нашего училища, хотя вы его и не окончили. Счастливого пути, товарищи!..

Первое чувство — чувство обиды. Старались-старались — и дождались награды. Но делать нечего.

Старшина несет связку ботинок. Пожалело училище дать нам свои роскошные яловичные сапоги. А в ботинках — совсем другой вид, и обмотки надо крутить, кольцо за кольцом: «январь, февраль, март, апрель...» Ну да ладно. Будем живы, будут у нас и сапоги.

Собраться недолго, вот мы стоим уже «с вещами», и я с удивлением ощущаю легкость во всем теле, приподнятость и даже удовольствие. И у других то же. Вон как свободно и бодро отвечают они офицеру, который будет сопровождать нас:

— Я!

— Я!

— Я!

Хуже всего неизвестность, неопределенность положения. А теперь мы уже знаем, что уезжаем в часть, мы отделились от остальных, и это сплотило нас сейчас

очень крепко. Мы чувствуем это ясно, хотя, конечно, не выражаем своих чувств вслух.

И еще мы чувствуем, что пройден какой-то этап в нашей жизни, что мы перешагнули новую грань, что мы уже не такие, как были прежде, еще вчера, что мы окончательно избавились от того состояния ошеломленности, в котором пребывали первое время службы, что люди, стоящие рядом и касающиеся тебя локтем, не просто незнакомые люди, случайно собранные вместе, а твои товарищи, от которых во многом зависит твоя дальнейшая судьба.

Стоят солдаты с мозолистыми руками землекопов и лесорубов. Война — это труд!

Переключка окончена. Кто-то говорит запоздало, уже без огорчения:

— Учились-учились, уже немного осталось, и вдруг в часть. Непонятно...

— Значит, офицеров уже достаточно, нужны рядовые! — объясняет Володька Замышляев, и все смеются.

Вдруг кто-то окликнул меня. Я обернулся. Чуть прихрамывая, подходил наш лейтенант.

— Сумку свою забыли...

— Что вы, товарищ лейтенант, — сказал я растроганно, — я же насовсем, на память...

— Спасибо, — улыбнулся он, подал мне руку. — Ну, счастливо! — И посмотрел мимо меня, куда-то вдаль, задумчивыми карими глазами.

БРИГАДА

Прибыли на место поздним вечером. Переночевали в лесу. Чуть свет двинулись дальше.

— Куда это мы приехали? — спросил Замышляев.

Местный офицер, встретивший нас утром, ответил с гордостью:

— Воздушно-десантная бригада...

Это известие приняли спокойно: парашютисты так парашютисты. Шли сосновым лесом, справа виднелись землянки, потом лес расступился, и мы неровным строем вышли к широкому полю. На опушке стояли офицеры и солдаты и напряженно смотрели вверх. Мы тоже подняли глаза и увидели самолет, довольно низко кружащийся над полем. За ним что-то волочилось в воздухе.

— Что это? — спросил кто-то из наших.

Ему долго не отвечали, а потом один из солдат буркнул:

— Не видишь, что ли? Человек за хвост зацепился!

И тут мы увидели, что это действительно человек. Он зацепился парашютным куполом за хвостовое оперение и болтался теперь ниже и сзади самолета на всю длину купола и строп. И его крутило. Боже мой, как его крутило! Сперва в одну сторону, пока стропы и купол, сокращаясь, не собирались в тяжелые узлы, как белье при выжимании, затем он на миг останавливался, и его со страшной быстротой начинало раскручивать в обратную сторону.

А экипаж самолета его не видел. Летчик вел машину на посадку, ему давали красную ракету: «Посадка запрещена». Он, не понимая, в чем дело, разворачивался и снова заходил на посадку, и снова красная ракета.

Потом им сообщили по радио. Самолет перестал кружиться, открыли нижний люк и стали бросать человеку трос с петлей на конце. Долго бросали. Наконец он поймал петлю, и его втянули внутрь. Все зашумели и побежали навстречу садящейся машине. Мы подбежали тоже. Спустили трап, и медленно вылез очень бледный парень лет двадцати, без сапог, без ремня, как с гауптвахты.

— Хотел стропы обрезать, запасный раскрыть, — сказал он извиняющимся тоном, — две стропы обрезал, да финку уронил, уж больно крутило...

Подъехал на «виллисе» полковник, командир бригады.

— Ну как, не испугаешься снова прыгнуть?

— Нет, товарищ гвардии полковник!

— Молодец! — И обернулся к кому-то: — Выдать ему офицерское обмундирование!..

Таково было наше первое знакомство с воздушно-десантными войсками.

А человек этот и сейчас служит в ВДВ. Это мой друг, старшина сверхсрочной службы Александр Иванович Мелехов.

Мы, конечно, были захвачены происходящим на наших глазах событием, но отнеслись к этому без всякого удивления, словно всю жизнь только и смотрели, как болтаются парашютисты, зацепившись куполом за хво-

стовое оперение. Я не раз замечал потом эту поразительную способность не удивляться попусту, не суетиться, сохраняя полнейшую собранность и спокойствие — привычку, свойственную русскому человеку. Первый прыжок, первая бомбежка, первая встреча с врагом — все деловито, хладнокровно, будто в сотый раз.

Жили в Будапеште, взяли Вену и «стояли» в аристократических виллах, рассматривали собор св. Стефана, встретились на Влтаве с американцами — что же во всем этом удивительного? На войне всякое увидишь. А после войны забросила армейская судьба на островок в Балтийском море. Был шторм в шесть баллов, через крохотный пароходик перехлестывали волны, но мы (большинство из нас впервые видело море) ступили на палубу, как потомственные мореходы.

С этого островка мы и демобилизовались. В штабе затанули оформление документов, и когда наконец пришел за нами пароход, неожиданный мороз остановил его в трех километрах от берега. Пришел из Таллина ледокол, вытащил пароход и увел его. Теперь мы должны были ждать по меньшей мере два месяца. Мы приуныли. Можно себе представить нашу досаду. Но командиру нашего отдельного батальона, по вине которого все получилось, было сказано с Большой земли, что, если он не найдет способа отправить людей, их содержание будет отнесено на его счет. И способ нашли. Хозяин рыбацкой шхуны согласился за пятьсот рублей и бочку солярки доставить нас на Большую землю. В единственную каюту, рассчитанную на шесть-восемь человек, набилось человек тридцать, да все с вещами — ведь уже домой. Саперы заложили тол, сделали узкий проход в трехкилометровой ледяной корке, и мы вышли на свободную воду. Покуда все это происходило, наступил вечер. Море стало бурным. Мы сидели буквально друг на друге, но были веселы и даже пели песни. Время от времени сторожевые катера пограничной службы ощупывали нашу маленькую, чуть больше простой моторки, шхуну прожекторами и уходили во тьму.

Утром подплыли к берегу. Там тоже был ледяной припай. Хозяин шхуны, настоящий морской волк, с красным лицом, шкиперской бородой, в зюйдвестке и с трубкой, разогнал суденышко, и оно вылезло носом на лед. Он взял длинный шест, первым ступил на лед и ве-

лел двигаться за ним по одному, с интервалом в пятьдесят метров. Сначала это соблюдалось, но потом надоело, и все повалили разом. Ничего, лед выдержал. Подошли к берегу, а там полоска воды метров в пятнадцать. Но уже бежали солдаты из береговой части, мостили бревна, доски. Правда, кое-кто все-таки искупался, но рядом была станция с буфетом, и там можно было отогреться.

Пока устраивались в землянке, я обнаружил, что из моего мешка исчезли сухари—сухой паек еще из училища.

Помкомвзвод Голиков, чернявый, вспыльчивый, родом из Хосты, пришел в ярость:

— У кого берете? У своего брата солдата берете? Признайтесь лучше! Сам узнаю — тому человеку жизни не будет!..

Никто не признался. Но краж во взводе больше не было. Только в самом конце войны — кажется, в Санкт-Пельтене, в Австрии, когда Голикова уже не было, — ординарец командира роты, смазливый Калашников, признался мне, что это он взял сухари, и попросил прощения.

Утром в землянке сквозь сон услышали сигнал подъема и вскочили, как на пружинах. Помкомвзвод посмотрел на нас одним глазом, сказал недовольно:

— Вы что, сдурели?

Мы ничего не понимали. Он пояснил:

— До завтрака еще долго...

Да, здесь не такие порядки, как в училище. Здесь каждый взвод в своей землянке, все обособленно и все зависит от старшины и помкомвзвода: как захотят, так и будет.

Бывало, вечером лежим в землянке, темно, едва мерцает фитилек, потом гаснет. Многие уснули. А на плацу играют сигнал: на вечернюю поверку.

Голиков подумает-подумает и говорит:

— Ничего, без нас обойдутся!

Идет старшина Валентин Петров, из морячков, щеголь, одет с иголочки. Кричит от дверей Голикову:

— Почему взвод не выводишь?

— Люди устали, пусть отдохнут...

А труба все звучит и звучит.

— Ладно, — говорит Петров, подумав, — сегодня роту выводить не будем...

Но так, видимо, решают и в некоторых других ротах. Звук трубы обрывается. На плац выходит комбат, майор Губа. Где батальон? И вновь звучит труба. Но сигнал уже другой — тревога! «В ружье!»

Вихрем вскакиваем мы с нар, хватаем оружие, шинели, котелки, лопатки — все свое имущество — и спешим на плац. Комбат смотрит на часы — быстро собрались. Теперь он отчитывает старшин и держит нас в строю не меньше часа.

У майора фамилия для армии не особенно удачная. Губа — так сокращенно называют гауптвахту.

Майор строг, требователен, придирчив. Самые лишние офицеры трепещут перед ним. Он из беспризорников, воспитанник армии. Все тело в татуировке. До сих пор немного не по себе, когда вспоминаешь его холодный, пронизывающий взгляд.

— Думаете, не вижу? — спрашивает он. — Все вижу, глаз-то, слава богу, наметан!

Комбат требовал строжайшей дисциплины. Манера разговора с провинившимся у него была такая:

— Почему? Я вас спрашиваю...

— Потому что...

— Кто вам разрешил разговаривать? Почему? Я вас спрашиваю...

— Да я...

— Кто вам разрешил разговаривать? Почему? Я вас спрашиваю...

Нужно было знать майора и во время разноса молчать, не отвечая на его вопросы. Иногда можно было вставлять: «Виноват!» Заканчивал он разговор словами: «Не в порядке запугивания, а в порядке наведения порядка!» Эта фраза отнюдь не казалась нам смешной.

У него были суворовские принципы: «Тяжело в ученье — легко в бою». Во время учений наш батальон всегда делал лишние пятнадцать-двадцать километров, но в таком темпе, чтобы все равно оказаться впереди других батальонов. Это был так называемый «форс-марш» — форсированный марш. По боевой подготовке батальон считался лучшим в бригаде. Майор Губа никогда не вел душевных разговоров. Он не умел этого делать и считал ненужным. Лишь однажды, когда летели на прыжок, над Подольском, он поглядел в окошечко и сказал:

— Видите, вон синяя крыша правее водокачки? Это мой дом...

Мы ответили, что видим.

Бригада по возрасту была комсомольская. Рядовых старше двадцати лет было очень мало, старше тридцати почти не было. Мы еще окончательно не окрепли физически, у нас не было опыта, и все-таки, конечно, нам было гораздо легче, чем старшим. Это понятно лишь теперь. А тогда мы не понимали, как можно не спать ночами, думая о жене и детях, как можно мучиться, долго не получая писем. Мы не чувствовали, что наши жизни страшно нужны кому-то, а то, что они нужны родителям, по-настоящему понимаешь лишь тогда, когда у тебя самого есть дети.

Многие мои сверстники так никогда и не узнали этого чувства.

В несколько дней прошли наземную подготовку. Изучили и уложили парашюты. Каждый прыгает с парашютом, им самим уложенным. Правда, одному уложить парашют почти невозможно — сложное дело, — и укладываешь вдвоем с товарищем его парашют и свой. А первый раз уложили с помощью инструкторов. На каждый парашют заполняется технический паспорт и кладется в специальный карманчик... Завтра первый прыжок!

Поднялись в темноте. Получили на складе свои парашюты, и еще каждому — запасный парашют, нагрузили на плечи, пошли. На кухне полусонный наряд заливает котлы, разводит огонь под котлами — готовит завтрак.

Увидали нас.

— В первый раз идете? Вниз не смотрите!..

— Быстрее прыгай, а то вышибала как шуранет!.. («Вышибалами» называли инструкторов парашютно-десантной службы — ПДС.)

— Запасное бельишко захватили?..

Все эти напутственные выкрики шутивы, добродушны. Пройдет время — мы тоже будем «пугать» новичков.

Еле заметно посветлело небо с востока, вот уже обозначилась легкая розоватая полоска на горизонте, упал ее отсвет на ближние к ней облака. Густая роса. Ту-

ман. Сколько раз на постах и в походах пред тобой, на твоих глазах, совершается великое таинство: ночь превращается в день!

Идем по краю поля. Кто-то кричит:

— Смотрите!

В нескольких шагах от нас приземляется парашютист, рядом другой. Мы чувствуем, как сильно они ударяются о землю.

Это заканчиваются ночные прыжки. Ночь коротка, и последние прыгают уже на рассвете.

Уже совсем светло. Подходим к аэростату (в просторечье его называют «колбасой»). Его надутая оболочка серебрится, под ней на канатах укреплена открытая корзина, или гондола, на четырех человек: три парашютиста, один инструктор. Похоже на летательный аппарат Жюля Верна.

После каждого прыжка аэростат возвращают на землю с помощью троса, наматываемого мотором на барабан.

Надеваем парашюты: на спине — главный, на груди, вернее даже на животе — запасный. Бегают начальник ПДС, все проверяет. Нас разбивают по трое. И уже садится первая тройка.

— Карабины!

— Есть карабины!

Этот прыжок — с принудительным раскрытием, то есть парашют открывается сам, автоматически. За особый трос зацепляется карабин, к нему крепится длинная веревка — фал. Другой ее конец тонким шнурком привязан к куполу. При прыжке веревка натягивается и вытаскивает купол и стропы из мешка на спине, после чего шнурок обрывается, ты окончательно отделяешься от аэростата или самолета, и купол наполняется воздухом.

Вот уже прыгнула первая тройка. Вот они летят, весело переговариваясь в воздухе.

Аэростат опускается. Пора и нам. Мы садимся — Мишка Сидоров, Вася Демидов и я. Я вхожу последним — значит, прыгать мне первому.

— Карабины!

— Есть карабины!

— Давай!..

Мы стремительно взлетаем вверх по вертикали. Как

в лифте. В корзине тесно, сидим, касаясь друг друга коленями. Инструктор зевает, он не выспался, ему скучно.

— Комаров развелось! — говорит он. — Вечером жизни нет!..

«Отвлекает», — думаем мы и молчим.

Инструктор смотрит на ясное, еще бледное небо.

— А денек нынче будет хороший!..

Мы не отвечаем.

Он стучит ногтем по стеклу альтиметра. Стрелка подходит к цифре «400».

— Приготовиться! — бросает он лениво и открывает дверцу, как калитку в палисад.

Я встаю и все-таки смотрю вниз. Голова не кружится. Земля очень далеко, еще в утренней дымке, пронизанной солнцем, далеко-далеко, на дне бездны, и в то же время она близко: видны игрушечные домики, лесок, железная дорога.

— Только не толкай, я сам прыгну!..

— Зачем мне тебя толкать? — отвечает он, зевая. — Пошел!

Я прыгаю, как учили, стоя, «солдатиком». Правая рука должна лежать на кольце запасного — на случай чего. Но куда там! Я не помню, где она. Это уже в дальнейшем ловишь себя на том, что рука как пришита к кольцу.

И вдруг рывок. «Динамический удар», — думаю я. Скорость падения так резко замедляется, что какое-то время кажется, будто летишь вверх. Задираю голову. Надо мною раскрытый, наполненный воздухом купол. Все в порядке!

Оглядываюсь. Справа от меня, чуть выше, летит Вася Демидов. «О-го-го!» — кричит он мне. Еще выше Мишка Сидоров грузно сидит на лямках, как на качелях.

А снизу слышны голоса инструкторов:

— Держи ноги вместе! Разворачивай по ветру! Держи лапы вместе! Земля близко!

Земля несется на нас быстро и словно наклонно. Горе тому, кто попытается «ловить землю ногами» — сделает движение, как при беге, — перелом обеспечен. Поэтому и кричат инструкторы. Нужно спружинить удар — носки вместе, пятки вместе, колени вместе. И еще нужно развернуть купол за стропы так, чтобы ве-

тер дул тебе в спину. Иначе ты полетишь спиной вперед, упадешь на спину и ударишься затылком.

Но мы выполняем правила. Чувствительный удар. Падаешь на бок, «гасишь» парашют, чтобы не тащил тебя по земле. Теперь домой, на завтрак. Очень хочется есть!

Итак, первый прыжок закончен. Все целы. Но бывало и иначе.

Бытовала у нас песня, наподобие старинной морской:

Раскинулось небо широко.
И «дугласы» вьются вдали.
Товарищ, летим мы высоко,
Все выше от милой земли.

Не слышно ни смеха, ни песен,
Лишь пара моторов шумит.
А «дуглас» так мрачен и тесен,
Как вспомнишь, так сердце болит.

Вот резко сирена завывала,
Товарищи, надо спешить...

И так далее.

Герой песни прыгает, ему отказывает парашют.

Дальше было два варианта: в первом он разбивается, и его хоронят друзья, завернув в парашютный купол; во втором, более популярном, —

Он дернул ПЗ¹ вытяжное кольцо
И выбросил в сторону купол.
Веселой улыбкой сияет лицо:
Минута — и был бы уж трупом.

К нему подбегают, а он уж встает...

Кончалась песня так:

Тоскует старушка — живой ли сынок? —
Болит материнское сердце.
А сын на груди носит синий значок,
А рядом эмблему гвардейца.

«Синий значок» я и теперь иногда надеваю, внизу подвеска с цифрой — количество прыжков.

¹ Парашют запасный.

Увлекательное зрелище — смотреть, как с утра до вечера прыгает с самолетов бригада.

Летит самолет, и видишь, как отделяется от него крохотная черная точка, за ней другая, третья, и вдруг над ними появляются белые легкие купола. Этих первых пускают, чтобы «пристреляться» — посмотреть, насколько сносит их ветром. А потом пошли, буквально как грибы, с каждого самолета по «тридцать витязей прекрасных». Снизу смотреть — они парят в воздухе почти неподвижно, опускаются медленно-медленно. И вдруг один, обгоняя всех, быстро идет вниз. «Парашют колбасит», — говорит кто-то тихо.

Это страшная вещь — захлестнет купол стропой, он раскрылся, но не весь, и летит человек медленнее, чем в свободном падении, но со скоростью, достаточной для того, чтобы разбиться. А полураскрытый купол вихляется, идет «колбасой».

— Парашют колбасит! — И обрывается сердце.

Человек открывает запасный, но скорость не настолько велика, чтобы он сам наполнился воздухом. Безвольно падает его купол. Парашютист подхватывает его, быстро-быстро собирает, прижимая к животу, и бросает резко в сторону, чтобы ему помог ветер. Но купол снова падает. И снова собирают его стремительные руки и снова бросают в сторону — и видишь, как неторопливо, словно нехотя, расправляется ткань и, как чудесный цветок, раскрывается купол. Резко снижается скорость падения. Всеобщий вздох облегчения: «Уф-ф...»

А бывает, так и скрывается человек за леском, болтаясь под вихляющим парашютом.

На третьем прыжке разбился Володька Замышляев, товарищ мой по училищу. С ним случилась другая беда.

При массовом прыжке с самолета открываются двери в обе стороны, идешь в затылок товарищу и делаешь очередной шаг туда, в голубое пространство. Никаких усилий не надо. Только шагнешь, и тебя уже самого бросает встречной струей воздуха. Но больно лихой был парень Замышляев, он оттолкнулся резко, обеими ногами, как будто прыгал с мостков в воду, и пошел вниз, но не «ласточкой» или «рыбкой», а кульбитом, кубарем, наматывая на себя тянущийся за ним купол. Так и упал он, весь обмотанный перкалем, как в саване. Мы

похоронили его на тихом дачном кладбище над рекой. Встал на его могиле маленький столбик с фанерной красной звездой.

И пошла в далекий, без светомаскировки, городок «похоронная» — извещение о том, что «рядовой Замышляев Владимир Петрович пал смертью храбрых». Поплыла в конверте с фиолетовым штампом военной цензуры эта трагическая формула войны.

Как бы ни подкралась к солдату смерть, пусть и не совершил он в последний свой миг никакого героизма, пишут о нем: «Пал смертью храбрых». Может быть, попала бомба в вагон эшелона, может быть, накрыло его миной, когда спал он где-нибудь в окопчике, — как бы то ни было, пишут о нем: «Пал смертью храбрых». И это верно. Он пал смертью храбрых, потому что он жил жизнью храбрых.

У нас во взводе, да и в роте, не было ни одного Героя Советского Союза, но ребята были по-настоящему отважные. Правда, Кононова представляли «к Герою», но этого звания ему не дали, а дали сразу два ордена Красного Знамени. Это был старательный парень, родом с Крайнего Севера; он ничем особым не выделялся до тех пор, пока, заменив убитого командира отделения, не вышел в тыл врагу, напал с отделением на минометную батарею, уничтожил расчет, затем обстрелял из этих минометов вражеский обоз и тоже захватил его. И все это без единой потери.

Подвиг — это умение, он подготовлен огромным трудом.

Кононов после этого немного зазнался, закурился, но с него быстро сбили спесь.

В армии редко говорят: «Ах, какой храбрый!» Подвиг рассматривается как большое знание своего дела, как мастерство. И никаких выпендренных слов не говорят по этому поводу.

Шли большой колонной вдоль леса. Светало. И вдруг навстречу нам, навстречу встающему за нашей спиной солнцу, выскочил из-за леса «мессершмитт». Он шел на бреющем, очень низко, и бил из пулеметов. Среди тишины рассвета это было совершенно неожиданно; колонна шарахнулась к лесу, никто даже не крикнул: «Воздух!» Внезапно на носу «мессера» появилось яр-

кое пламя, он пошел боком-боком и взорвался, ударившись о землю в полукилометре от нас. Все это — и появление его и падение — произошло молниеносно. И только тут все увидели, что у задранного вверх зенитного пулемета, в кузове грузовика, стоит белокурый парень и еще держится за рукоятки. И все закричали: «Ура!» Тогда парень засмеялся смущенно, отпустил рукоятки, поднял свалившуюся пилотку и нахлобучил на отросшую на фронте шевелюру.

Какой же у него был глазомер, какая реакция!

Разведчики побежали к упавшему самолету. Колонна двинулась дальше. Вставало солнце.

Боевое охранение, оседлавшее дорогу, услышало в темноте шум немецкого танка. Танков здесь никак не ждали. Гранат ни у кого не было. Тогда Мишка Сидоров, человек степенный, лесной, — о нем еще будет речь впереди — развязал мешок, где рядом с запасными портянками, куском мыла, ложкой и другим немудреным солдатским скарбом лежала противотанковая граната.

— Дай-ка сюда! — сказал сержант.

— Разрешите, я сам! — ответил Сидоров, прополз вперед по кювету и через несколько минут подорвал танк, перебил гусеницу.

Очень уважали у нас Владимира Ратковского, разведчика, человека бывалого, самостоятельного и самоуверенного. Он писал стихи «под Есенина» и читал иногда, но очень редко. Рядом с ним разорвались две гранаты, и он был ранен десятками осколков разной величины. Долго лежал он в госпитале, из него вынимали-вынимали осколки, да все не вынули. У него был мешочек, вроде кисета, где он хранил эти ржавые, с неровными краями, кусочки металла. Время от времени, когда становилось ему невмоготу, ложился он на недельку-другую в медсанбат, и его коллекция пополнялась двумя-тремя осколками.

Не зря говорил он о себе, что из него можно добывать железо.

Во время стремительного весеннего наступления по Венгрии дни стояли уже по-летнему жаркие, и мы побросали шинели. А ночью было холодно. Это были очень темные и холодные ночи.

Нужно сказать, что нам досаждали вражеские лег-

кие самолеты, вроде наших ПО-2 — «кукурузников». По ночам летали они над нами, и стоило блеснуть карманному фонарику или вспыхнуть сигарке, как сейчас же в это место бросали мину. Просто вручную, с борта самолета. Пробовали стрелять по ним, но, выкрашенные в черный цвет, они были совершенно не видны во мраке, а отблеск выстрела сразу же засекался.

Мы заняли линию обороны противника. Ночь была очень холодная.

Пошли мы с Калашниковым, с тем самым, который украл у меня когда-то сухари, в ближайшее поместье, нечто вроде замка, взять что-нибудь теплое.

Траншеи подходили к замку вплотную. Изредка светя фонариком, ступали мы по скрипучему паркету, мимо картин, фарфора и разных ненужных нам безделушек. Я взял несколько пальто, Калашников нагрузил на себя перины, целую стопу: они были пышные, но легкие — недаром ими укрываются здесь как одеялами. Он положил эту кипу себе на голову и придерживал руками за края. Пошли обратно снова по траншее. Калашников впереди, я за ним шагах в пятнадцать.

Все время слышны были самолеты. Вот мотор затрещал прямо над нами, и едва Калашников ступил в следующее колено хода сообщения, как раздался взрыв. Я упал, скорее всего от неожиданности, вскочил и бросился вперед. Огромное облако пуха стояло над траншеей.

— Калашников! — крикнул я, не надеясь услышать ответ.

Под облаком что-то зашевелилось.

— Я! — ответил его голос. Он поднялся, ругаясь: — Во дает, сволочь! — Ощупал себя. — Вроде все цело... Увидел сверху белое — и бросил, — объяснил он мне и добавил деловито: — Давай отойдем отсюда, почистимся...

Через пять минут он сказал:

— Ну иди, а я пойду обратно, там еще перин много.

— Так он же опять белое увидит...

— Там ковры есть, я сверху ковром накрою...

Вот такие были ребята. И прыгали безотказно, хотя, скажем прямо, без особого удовольствия. Это ведь был не аэроклуб ДОСААФ, где прыгают по призыванию

и с гораздо большей подготовкой. Некоторых высота очень смущала.

Сержант Хабибов, человек смелый и дисциплинированный, трижды раненный, говорил командиру взвода перед прыжком:

— Прыгать не буду — толкай меня, слушай!..

И его толкали, а он отчаянно цеплялся за всех, а потом сам же смеялся над собой.

А Петя Секретарев, подходя к раскрытой двери самолета, не делал положенного шага наружу, а быстро сажился и съезжал туда, в бездну. Ему, наверное, казалось, что так будет ниже.

Но один парень из соседней роты упорно отказывался прыгать. Он дергал за кольцо внутри самолета и выбрасывал купол так, что уже не мог прыгать. Его сажали на гауптвахту, обсуждали на комсомольском собрании — ничего не помогало. Он был отправлен в маршевый батальон.

Кудряшов появился у нас под вечер. Он шел следом за элегантным старшиной Петровым и рядом с ним выглядел особенно неказисто. На брезентовом поясе у него болтался котелок. Шел он большими шагами, слегка шаркая подошвами. Положив вещмешок у входа в землянку, он подошел к нам. Мы курили. Я как раз достал свой портсигар — жестяную коробку из-под зубного порошка. На крышке был нарисован негр с ослепительной улыбкой. Кудряшов обратился ко мне уважительно:

— Солдат, разреши твоего табачку отведать...

Все захохотали, некоторые даже до колик.

Рассудительный Боря Чернев, очень любивший фотографироваться, сказал поучительно:

— Разве табак — еда, чтобы его отведывать?

Но Боря не понял. Смеялись не этому. Смеялись удивительной интонации, с которой это было сказано, непередаваемой интонации глубокого старика.

Мы даже подумали сперва, что он дурачится. Сам он держался солидно, взял у меня щепоть махорки, свернул козью ножку, достал из кармана «катюшу» и задымил.

Пожалуй, целый месяц каждая фраза Кудряшова встречалась добродушным хохотом. Потом привыкли. Он действительно говорил смешно. Например, одно его

выражение стало во взводе крылатым: «Выходи строиться с котелкам!» Но главное в нем было — стариковская интонация и стариковская степенная манера держаться. Вскоре все объяснилось.

Был он родом из глухого закамского села, железную дорогу увидел в первый раз, когда пошел в армию. Отец и мать его рано умерли, и Кудряшов воспитывался у деда-лесника. Сызмальства жил он с дедом в лесной сторожке, оттуда и в школу стал ходить. Интонацию и манеры он невольно перенял у деда. Рассказывал Кудряшов неторопливо, и мы легко представляли себе темный шумящий лес, маленькую сторожку и двух старичков у огня: старого и малого.

За год до призыва Кудряшова в армию дед умер, и Кудряшов перебрался в село. Он стал владельцем двух дворов: отцовского и дедовского (дед был по линии матери). Отцовский дом он так и оставил заколоченным, решив продать после войны, — хозяйственный был мужик! — а в дедовском стал жить с какой-то молодой бабенкой Анюткой. Он так и говорил: «бабенка Анютка». Ее он оставил сторожить дворы и обещал вернуться.

Подружился он с Шабановым — водой не разлить. Шабанов был невысок, со склонностью к полноте. До войны работал он бухгалтером в МТС на Рязанщине и очень тосковал по дому. Он был всегда молчалив, задумчив и оживлялся, лишь рассказывая о доме. Он любил рассказать о том, как все его уважали в деревне, как ездил он за три километра на велосипеде к своей девушке в соседнее село, как ласково встречала его мать девушки, потому что он был завидный жених, и как он целовался с девушкой в яблоневом саду.

Не знаю, что сблизило Кудряшова и Шабанова. Дружбу, как и любовь, бывает трудно объяснить. Кажется, что они были совершенно не похожи друг на друга. Впрочем, одна общая черта была заметна: они оба чрезмерно боялись начальства.

Мы жили в тесной землянке, спали на нарах из жердин, на которые сверху клались молодые еловые ветки. Помкомвзвод Голиков требовал, чтобы все хоть разувались, и иногда ночью лазил в темноте по нарам, щупал — кто в ботинках. Обутые поджимали ноги.

Кудряшов и Шабанов устроили себе за печкой нечто вроде насеста, нечто очень короткое и неудобное, не

разувались они от бани до бани. Если развязывалась обмотка, падая вниз кольцами (говорили: «баллон спустил»), они подтягивали обмотку — и все!

Раз пришло Кудряшову письмо от «бабенки Анютки». Шабанов рассказал об этом Боре Черневу, и скоро о письме знал весь взвод.

«Бабенка Анютка» писала, что председатель сельсовета хочет отобрать один кудряшовский двор и поселить туда сына, который женится. Известие это породило во взводе шумные споры и общее возмущение. Один Кудряшов был философски спокоен.

— Товарищ старший лейтенант, — обратился мой друг Вася Демидов к командиру роты, огромному Самсонову, которого за глаза любовно называли «дядя Ваня», — разрешите, мы с Кудряшовым к майору Лютову сходим...

— Ступайте!

Вася Демидов был человек очень справедливый и не мог относиться к таким вещам равнодушно.

Пошли они к начальнику политотдела майору Лютову, популярному в бригаде старому десантнику и комиссару. Вообще такая инстанция, как штаб бригады, казалась страшно далекой, но майор Лютов, как и командир бригады полковник Киреев, ежедневно бывал в ротах и взводах.

Майор Лютов выслушал их — впрочем, говорил Демидов, Кудряшов молчал — и сказал, что председатель сельсовета действует незаконно и он, Лютов, напишет в местный райком, чтобы председателя призвали к порядку.

— А тебе, — сказал майор Кудряшову, — постараюсь я выхлопотать отпуск дней на десяток для устройства всех твоих дел...

Эта весть вызвала во взводе восторг, задумчивость и зависть. А Кудряшов, поразмыслив, сказал Шабанову:

— Ежели дадут отпуск, не поеду я. Получу сухой паек, уйду в лес, стану кашу варить. А потом обратно вернусь...

Вряд ли дошли его слова до майора Лютова, но отпуск Кудряшов не получил. Зато и дом его не тронули — вмешался райком.

Кудряшов отлично стрелял. У него был точный глаз и твердая рука лесного человека. Однако он страшно

боялся промазать и огорчить этим начальство, поэтому часто действительно мазал. На фронте же он одним выстрелом из противотанкового ружья уничтожил хитрого вражеского снайпера, за которым безуспешно охотились несколько дней.

В Венгрии Кудряшов был ранен в ногу. Он лежал в медсанбате. При каждом удобном случае навещал его Шабанов, передавал приветы от взвода, приносил невиданные трофейные лакомства.

Вернулся Кудряшов уже в Вене. В начале апреля за неделю взяли мы этот город, прошли на запад до Бадена, Санкт-Пельтена, до гор, а потом возвратились в Вену на отдых. Были майские праздники, пришло известие о взятии Берлина, и мы были уверены, что война кончится завтра-послезавтра.

Кудряшов и Шабанов выпили по поводу радостной встречи. Уже две недели кухни ничего не варили — все равно все выливалось: солдатам надоело котловое довольствие, и они предпочитали находиться, как тогда говорили, «на подножном корму».

А здесь наварили рисовой каши с изюмом.

Шабанов вместе с еще прихрамывающим Кудряшовым подошел, крикнул повару:

— И мне положи!

Наш повар Сурогин проворчал:

— Котелка-то нет. Куда я тебе положу, в пилотку?

— А что, давай в пилотку...

Шабанов подставил пилотку, и Сурогин серьезно и аккуратно положил ему туда полчерпака.

Мы жили на холме, в просторных виллах. Спали, бродили по городу. Боря Чернев фотографировался у какого-то предприимчивого фотографа; снимки были в виньетке из звездочек, с надписью «Память Вены».

И вдруг — приказ: наша Девятая ударная армия спешно перебрасывается с 3-го Украинского на 2-й Украинский фронт.

Вновь забыта спокойная жизнь. Змеясь, двинулись по шоссе гигантские колонны. Только вместо знакомого нам призыва «Вперед, орлы Толбухина!» зовут на запад с обочин фронтовой дороги транспаранты: «Вперед, орлы Малиновского!»

Шли быстро, с малыми привалами, два дня и три ночи. Кудряшов ехал на подводе. На исходе третьей но-

чи Ратковский, забежавший в деревню напиться, сказал:
— Здесь штаб Глаголева стоит (генерал-полковник Глаголев командовал нашей армией), я знакомого встретил, говорит, не то война кончилась, не то кончится вот-вот...

На рассвете над нами волнами пошли наши бомбардировщики. Видно было, как на горизонте они переходили в пике. Оттуда неслись непрерывные взрывы.

Совсем рассвело. Остановились в ложине. Пошла вперед разведка. Но что случилось? Бегут разведчики. Спешит куда-то командир бригады. Короткая заминка, потом зовут офицеров. Скорей, скорей!

Противник бросил оборону и ушел на запад, минировав шоссе. Нужно немедленно, как можно быстрее, кто на чем сможет, двигаться по шоссе на запад. Саперы, вперед!

А с запада, навстречу нам, шли американцы.

И мы бросились на запад. Сначала ехали на пушках гаубичного полка, потом нас согнал какой-то неизвестный нам генерал, мы поехали на велосипедах, взяв их в большом, раскрытом настежь магазине, потом на лошадях. Перемешались части и соединения. Сейчас это уже неважно. Главное — скорей на запад!

Кудряшов и Шабанов, конечно вместе, ехали на подводе. Остановились ночевать в селе, стали стелиться на полу, задели лавку, куда положили автомат, он упал и дал очередь—с автоматами бывали такие фокусы. Две пули попали Кудряшову в ту самую раненую ногу — хорошо, не задели кость.

Боже, как они испугались! Они решили, что их обвинят в самостреле и будут судить. Надо же было придумать такую нелепость.

Шабанов разорвал индивидуальный пакет и перевязал Кудряшову ногу. Они решили никому не говорить об этом случае, а объяснить, что открылась старая рана. В санчасть и в санбат они не обращались.

Лишь месяца через три, когда все зажило, они под большим секретом рассказали эту историю во взводе.

Потом нашли применение бухгалтерской профессии Шабанова и взяли его работать на склад ПФС¹. Шабанов похлопотал, и Кудряшова устроили туда же ездовым.

¹ Продуктово-фуражное снабжение.

Командир роты «дядя Ваня» Самсонов любил песни. В роте было несколько как бы официальных запева, каждый со своим репертуаром, и «дядя Ваня» всякий раз заказывал определенную песню. Старшина Петров строил роту на обед.

— Рота, смирно! Ложки взяли?

— Взяли!

— Шагом марш!

Хорошо шагает рота, и старшина негромко бросает:

— Споем?

Ладно, под левую ногу, отвечает рота:

— Споем!

— Запевай!

И вот уже звучит голос запевалы, дружно подхватывается припев, и подголосок — тоже человек не последний — пускает высокую-высокую ноту над этим могучим хором.

Иногда по вечерам «дядя Ваня» устраивал соревнование между взводами, своего рода конкурс. Усаживалось жюри во главе с ротным — командиры взводов, старшина, писарь.

Взвод, занявший первое место, поощрялся — например, освобождался от очередного наряда.

Пелись здесь уже не строевые, а русские народные песни — и шуточные и грустные. Здесь были уже другие солисты, люди тоже уважаемые, потому что все, за что ты берешься, важно делать хорошо.

Мы стали сильно тосковать по девушкам. Пошли длинные, подробные рассказы — большей частью вымышленные — о любви, о случайных романах и неизменных победах. В деревнях, во время привалов и ночлегов, заигрывали с девчатами, с молодыми солдатками. Кое-кто небезуспешно.

В бригаде женщин было очень мало. Была медсестра Валя, несколько кукольной красоты, синеглазая, золотоволосая. Замирало сердце, когда смотрели на ее стройную, стянутую широким командирским ремнем фигурку. За ней увивалась чуть не вся бригада, но все, как говорили, напрасно. Неожиданно она вышла замуж за капитана из четвертого батальона, маленького и толстого.

Валя ждала ребенка и уехала к матери. Конечно,

это не для армии. В армии нет акушеров и родильных домов.

Об ее отъезде много говорили.

Шабанов впервые сострил: «Ах, почему я не женщина!..»

Я знал с детства, что есть растение «куриная слепота». Если им потереть глаза, то можно ослепнуть, хотя, кажется, не насовсем. А называется так, потому что куры с наступлением сумерек ничего не видят и рано взбираются на насест.

Но я не знал, что всерьез есть такая болезнь — «куриная слепота». При ней тоже, как только стемнеет, человек ничего не видит, будто у него глаза завязаны. Происходит это от однообразного питания и недостатка какого-то витамина. Днем же больной все видит прекрасно.

И вот у нас в течение полугода процветала эта странная болезнь. Переболели ею многие. Одновременно во всем батальоне болело человек двадцать пять — тридцать, и во время таких походов, когда их нельзя было оставить, они шли в хвосте батальона, вцепившись друг в друга, как знаменитые слепые у Метерлинка.

Интересно, что врач не может определить, действительно ли человек болен «куриной слепотой». Находились и симулянты, хотевшие отдохнуть несколько ночей подряд. Поэтому проверял их сам старшина Петров. Он выводил заболевшего ночью из землянки и начинал размахивать руками у него перед самым лицом, делал вид, что хочет ткнуть пальцами в глаза, а помкомвзвод, писарь или еще кто-нибудь из его ассистентов, приблизив лицо, следил, не мигает ли солдат. Мигает, пугается — симулянт, не мигает, стоит спокойно — вправду болен. Эта экспертиза была безошибочной.

Как-то раз Петров решил потряхнуть стариной и вывел нас после поверки на вечернюю прогулку. Легко и свободно шла рота, пела песню, и настроение у роты было хорошее, потому что на ночь ничего не предвиделось, сейчас дадут отбой.

Было лето, еще не совсем стемнело. Я бодро шел в строю, как вдруг у меня словно помутилось перед глазами, наплыла темная пелена. От неожиданности я сбился с ноги, наступил на ногу идущему впереди меня Васе Демидову. Через мгновение я уже ничего не видел,

только впереди смутно белела крохотная полоска — это Вася подшил перед вечером новый подворотничок. Потом и эта полоска исчезла. Но мы подошли к своей землянке, из открытой двери струился свет, я вошел и уже все видел.

Мы стояли в резерве, и на завтра у нас должны были состояться учения, так называемый «выход».

Рано утром двинулись. Чуть сбоку с безучастным видом шагал Голиков, а впереди взвода — присланный накануне новый командир взвода, молоденький младший лейтенант, только из училища, — как тогда беззлобно говорили, — «инкубаторный». И я мог стать таким. Время от времени он пропускал взвод вперед себя и пытался «подсчитать ножку»: «Раз, два, левой!» — хотя в походе идти в ногу совсем не обязательно.

Уже полгода у нас не было командира взвода, с тех пор как у бывшего взводного Брысина разорвалась в поднятой руке граната. Правда, ему еще повезло — вся сила гранаты, что бывает крайне редко, пошла в одну сторону, и ему лишь оторвало два пальца и повредило правый глаз. Он уже выписался из госпиталя, но для службы у нас был негоден и недавно приезжал прощаться. Брысин был когда-то пастухом и умел с точностью до пяти минут определять по солнцу время. Вообще мужик он был неплохой, бывалый.

И вот теперь прислали нового.

А у нас в это время боролись с курением в землянке. И так дымно от печки, которую топили, потому что было очень сыро, от фитиля в гильзе. Выйдешь утром, плюнешь — черно!

У нас периодически с чем-нибудь боролись — то с каким-либо отставанием в боевой подготовке, то «дядя Ваня» объявлял борьбу с руганью, и никто вслух не ругался, пока не нарушал запрет сам ротный. А сейчас боролись с курением в землянке.

Младший лейтенант вошел в землянку с папироской. Там был только дневальный, «железный человек» Ратковский. В полутьме землянки он гаркнул грозно:

— Эй, кто там? Не курить! — И младший лейтенант стыдливо сунул папиросу в печурку.

И сейчас этот младший лейтенант шел со взводом и «подсчитывал ножку».

Шли весь день. Мы уже давно втянулись в походы,

километров пятьдесят в день — обычное дело. Поотделенно отрыли окопчики, сварили еду. Наступил вечер. Едва я шагнул от костра, чернота надвинулась на меня вплотную. Я закрыл глаза, снова открыл — чернота, поднес руку к глазам — не вижу.

Демидов отвел меня в сторону. Постлали шинель и плащ-палатку. Легли. Прибежал Калашников:

— Срочно, по тревоге, к реке!..

Вскочили, костер потух. Я ухватился за край плащ-палатки Демидова, и мы, падая и цепляясь за кусты, побежали к реке. Там горел костер.

Ребята сидели и сшивали из плащ-палаток мешки, а младший лейтенант вдевал нитки в иголки.

Оказывается, на рассвете надо форсировать реку: набьем эти мешки соломой и будем на них переправляться. Пошел мелкий дождь, мы кончили работу и задремали.

На рассвете переправились, сильно намокли. Снова отрыли окопчики и долго чего-то ждали. Мы с Васей Демидовым пошли в деревню, выменяли у бабки на кусок мыла котелок молока, перекусили.

Наконец приехал командир бригады, посмотрел, как мы окопались, похвалил и приказал двигаться домой. Шли мокрым лесом, без дороги, скользя по глине и осыпая на себя с веток тьсячи капель и брызг.

Хорошо, что в сумерки вышли на шоссе. До расположения было километров тридцать. Майор Губа устроил короткий привал, и снова двинулись.

На мне был десантный ранец с множеством различных карманчиков, набитых всякой всячиной, и карабин; еще я нес на плече тяжелый ствол противотанкового ружья. Наш взвод был в роте замыкающим, а я шел в конце взвода. За мной были только наши «аристократы» — старшина Петров, писарь, ординарец Калашников. Они шли свободно, налегке, и рассказывали разные неинтересные истории.

Я ничего не видел и вдруг услышал их голоса уже впереди себя. Теперь я шел направляющим в следующей за нашей роте. И эта рота, обтекая, стала обгонять меня. Прошла еще одна рота, и все. Я остался сзади.

Я шел, осторожно ступая, и слушал, как, шаркая подошвами по асфальту, удаляется батальон. Я ничего не видел и не мог идти так быстро. Был полный мрак,

лишь изредка, на мгновение, чуть отсвечивал мокрый асфальт.

Потом сзади я вновь услышал неторопливые голоса и узнал их. Это были замполит Вагин и парторг батальона Чемишкьян. Они шли далеко позади батальона и беседовали о своих делах.

— Ты что, солдат? — спросил замполит, и по звуку голоса я понял, что он заглядывает мне в лицо. Он знал всех в батальоне.

— Ничего не вижу, товарищ капитан...

— Давай руку. Пошли!

Я дал ему руку, мы пошли быстрее.

— Давай бегом!

Мы побежали.

— Нет, не могу. Ничего не вижу.

— Я ж тебя за руку держу. Зачем тебе видеть?

— Нет, — сказал я, расхрабрившись. — Давайте завтра днем вы завяжете глаза, я возьму вас за руку, и побегим. Вам такой бег не понравится...

— Пожалуй... — Он засмеялся, и мы пошли шагом, но быстро.

Скоро мы догнали батальон на привале.

— Старший лейтенант Самсонов! — крикнул замполит. — Что же вы за людьми не смотрите?!

— Младший лейтенант! — в свою очередь обратился «дядя Ваня» к нашему новому взводному. — У вас люди отстают...

— Почему отстают?

— Почему! Куриная слепота.

— Куриная слепота? — изумленно переспросил тот. Он никогда не слышал о таком и ничего не понял. — У кого куриная слепота?..

— У вас! — рассердился ротный. — Людей своих не видите!

Он сказал это тихо, чтобы не слышали подчиненные, но у меня был обострен слух, ведь я ничего не видел.

Кто-то взял ствол ПТР, который я нес, и дали мне в поводыри Мишку Сидорова, того самого, что подорвал впоследствии танк.

Мишка был широкоплеч, очень силен. До армии работал на лесозаготовках и во всем, что касалось леса и дров, был дока. Кухонный наряд заготавливает дрова, и попадаетея почти всегда огромное полено, которое никак не могут расколоть: обухом бьют сверху по обуху,

топор уходит вглубь, завязает в полене — и ни с места, забивают клинья — не помогает. Зовут Мишку. Он подходит вокруг полена, постукает обушком, словно отыскивая уязвимое место, ахиллесову пяту, потом, несильно, обязательно громко крикнув, стукнет топориком, и проклятое полено безропотно разваливается пополам.

Слабым местом Мишки Сидорова была его безудержная любовь ко сну. Он мог спать где угодно и как угодно: сидя, стоя, на ходу. Другие в этом отношении тоже были не очень требовательны. Жили когда-то в огромной землянке, на всю землянку была одна лампа — ватт на пятьсот. В дальние углы ее свет едва доходил, а я спал как раз против нее на верхних нарах. От нее было не только ослепительно светло, но и жарко. Однако засыпал я мгновенно и спал прекрасно. Сейчас бы мне такой сон!

Стоило Сидорову лечь на землю, и он уже «слушал, как трава растет». Чтобы окончательно разбудить его, надо было поставить его на ноги, иначе он говорил: «Да, да, не сплю» — и продолжал спать, как только его оставляли в покое. Спал он ночью в строю. Это очень утомительно, со мною несколько раз бывало такое. Будто и спишь и не спишь, а попадаешь в какие-то темные провалы, и хочется лечь на дорогу, но что-то в тебе еще бодрствует, и заставляет идти, и невероятно напряжено.

И вот мне дали в поводыри Мишку Сидорова. Я взялся за шнурок на его десантном ранце, и мы пошли. Сразу же мы оказались в хвосте батальона, и замполит с парторгом стали нас подгонять:

— Чего отстаєте? Шире шаг!

Мишка же, напротив, мечтал, чтобы они прошли вперед, и отставал нарочно. Такая игра длилась не меньше часа, и наконец они каким-то образом оказались впереди. Сзади нас никого не было, мы были одни.

— Посплю пять минут, — сказал Мишка облегченно, — а то не могу.

— Мишка, брось дурить!

Но он уже спал, опустившись на влажный асфальт.

Я стоял над ним в полном мраке, дергал за длинный шнурок и говорил время от времени, наверно, довольно жалобно:

— Мишк, вставай!..

Он спал минут двадцать. Мне стало холодно, и я начал пинать его ногой все сильнее.

— Вставай!

— Чего бьешься? — проворчал он вдруг. — Как дам!..

— Вставай!

Он еще покряхтел, поворчал и встал, весь дрожа от сырости.

— Пошли!..

Батальон ушел далеко, его давно уже не было слышно.

Мишка решил срезать путь, идти не по дороге, а напрямик, полем. Мы скользили, оступались, падали в лужи и в канавы и, мокрые и в грязи, добрались наконец до дому.

В землянке горел свет, я снова стал зрячим.

Дали мне в санчасти рыбий жир и еще что-то, и через несколько дней у меня прошла «куриная слепота».

Лоханков был человек сугубо штатский, скучный, и характер у него был неприятный — сварливый, въедливый. Когда рассказывали о каком-нибудь случае на фронте, он слушал скептически, мрачно усмехаясь. Он завидовал, ему очень хотелось стать героем. Когда же он выпивал «свои фронтовые сто грамм» — больше ему не требовалось, — он сам начинал рассказывать истории. Врал он великолепно.

— Служил я до войны в авиации, ас был перво-классный. Вылечу утром рано и начинаю над аэродромом весь высший пилотаж показывать — все штопоры, бочки, мертвые петли; одну за другой кладу фигуры — любо-дорого. Высыплют все, бывало, смотрят: механики, мотористы, командир полка, буфетчица — такая была рыженькая, Нина, — та вся побледнеет, и повар наш, Вася, в белом колпаке стоит в дверях кухни. А я тогда выхлопом — знаете, белой такой полоской — пишу в синеве: «Вася, приготовь двойную! Все!» Тот бежит готовить. Я ручку от себя, иду на посадку, убираю газ, сажусь. Все!..

Или другой его рассказ — о том, как он работал в соляных коях и установил мировой рекорд выработки соли:

— Во всех газетах написали, портреты мои поместили. Работаю раз, как всегда, на соляном комбайне, слы-

шу — бегут, говорят: «Микоян приехал!..» Ну, пожалуйста! Спускается Микоян, подошел ко мне, смотрит, как я работаю. А я рубаю. Посмотрел он, посмотрел и говорит: «Молодец, товарищ Лоханков! Как же вы таких результатов добились?» А я ему: «Отойдите, говорю, пожалуйста, Анастас Иванович, не мешайте, говорю, пожалуйста, работать. Потом, говорю, поговорим». Все!

Или еще его рассказ: вырастил Лоханков, применив мичуринские методы, арбуз пуда на полтора. Хотел на сельхозвыставку везти.

— Вырос арбуз — гигант, любо-дорого. Уж я с ним бился, обхаживал его, ночей не спал. Наконец вижу — готов. Поднял я его еле-еле, прижал к животу, несу. Стал по ступенькам всходить, а у жены кутенок такой маленький был — ну да, собачонка, — он мне под ноги, кутенок. Споткнулся я, уронил арбуз. Арбуз вдребезги! Все! Схватил я кутенка, шварк об ступеньки. Все! Я плачу — арбуз жалко, жена плачет — кутенка жалко. Какой был арбуз, других таких не было!

Очень хотелось Лоханкову стать героем, очень хотелось чем-нибудь выделиться. Да случай подходящий не выпадал.

Зато настоящие герои слушали его с большим интересом.

В сентябре сорок третьего года, неподалеку от Горловки, остановились в единственном уцелевшем четырехэтажном доме без окон, без дверей. Несколько дней назад здесь стояли немцы. В одной из комнат на стенах рисунки углем, сделанные мастерски. Сидит солдат в окопе, курит, и в дыму над ним смутно вырисовывается миловидное женское лицо. Может, он тосковал по дому, этот художник, черт его знает!

У нас тоже был свой художник, Борис Бурков из Котласа, талантливый человек. Но он был скромненький, не рисовал на стенах, а делал наброски в блокноте да оформлял «боевые листки».

В большой землянке, в степи, лежали ПДММ — парашютно-десантные мягкие мешки, в которых сбрасываются пулеметы, минометы, боеприпасы. В упакованном виде ПДММ представляет собой довольно длинный

цилиндр, с одной стороны — амортизатор, с другой — уложенный грузовой парашют.

Каждый вечер к землянке отправлялся трехсменный караул со своим начальником — сержантом. В темноте пересчитывались на ощупь мешки, лежавшие на стеллажах, и склад принимался.

В карауле была минометная рота, ее почему-то не сменили вовремя, а сменили лишь назавтра. Пулеметчики, принимавшие склад при дневном свете, обнаружили, что в одном мешке нет парашюта, а его место забито сеном. Поднялась тревога. Начальник караула, сержант-минометчик, был арестован. Он был из блатных, но из тех, которые не брезгают брать и у своих. Его подозревали в нескольких крупных кражах на складах, но не было прямых улик. Поначалу и здесь улик не было, но кто-то вспомнил, что минометчик уже завел себе кралю в селе: поехали к ней, сделали обыск и нашли на чердаке распоротый громадный купол грузового парашюта, сделанный из перкаля страшной прочности.

Майор Губа выстроил батальон и кратко сказал о том, что это измена Родине, что в мешке были мины, которые, сброшенные без парашюта, могли взорваться при ударе и уничтожить многих из нас.

Сержанта увели.

Разбитый Донбасс. Взорваны и затоплены шахты. Все в запустении. Зашли в маленькую, давно не беленую хатку. Хозяйка засуетилась.

— Проходите, сидайте, зараз борща насыплю!..

Так повелось уже испокон веков: если вступает на порог деревенского дома утомленный войной солдат, то нужно прежде всего угостить, накормить его: сытый солдат и воюет лучше. Бессчетно на дорогах войны пускали нас в дом сердобольные бабы, угощали картошкой, щами, варенцом — чем бог послал — и, пока мы ели, глядели на нас задумчивыми, грустными глазами. Они думали о том, что где-то, по таким же дорогам, идут их сыновья и тоже заходят в чьи-то избы и хаты.

Но у этой хозяйки не было сына. Плача, рассказывала она, какая у нее была гарная дочка и как угнали ее немцы в Германию.

Я не вспомню, как мы подружались с Васей Демидовым. Дело не только в том, что мы полтора года ели

с ним из одного котелка. У нас все было пополам. Мы чувствовали друг к другу безотчетную симпатию, мы знали малейшие привычки друг друга, мы сходились во мнениях. Это был не просто приятель, не просто хороший товарищ — это был друг. И не только фронтовой — это был друг на всю жизнь. Мы с ним никогда не говорили о нашей дружбе. Но про себя я часто мечтал о том, как мы будем дружить после войны, ездить друг к другу, а может, и поселимся поблизости.

Он погиб на венгерской равнине у речонки Раба от снайперской пули. Умер он мгновенно, пуля попала ему в голову.

Я не плакал. Я уже не умел плакать по-детски и еще не мог по-мужски.

Это был бесценный друг, посланный мне судьбой. Я долго не мог опомниться и представить себе, что его нет и не будет.

Ему было двадцать лет.

Я никогда не забуду его.

Почти у каждого война отняла близкого, дорогого сердцу человека. У меня она отняла Васю Демидова.

Мы вошли в старинную венгерскую усадьбу и остановились там. Просторный дом с множеством башенок, лесенок, длинные аллеи лип и акаций, обширные фруктовые сады и виноградники.

Усадьба принадлежала крупному венгерскому магнату, я забыл его фамилию — на что она мне нужна! Магнат давно бежал, при приближении фронта бежал и управляющий. Остались работники, жившие вместе с семьями в подсобных постройках рядом с главным домом. Все хозяйство было в их руках, и они организовали нечто вроде коммуны — каждый продолжал исполнять свои обязанности, а доходы делились. Во главе стоял красавец мадьяр, плотник, лет сорока трех, с пышной черной шевелюрой, чуть тронутый сединой. Было заметно, что в него влюблены все женщины усадьбы. Кроме того, он был здесь самым молодым мужчиной.

Нашелся здесь и толмач, очень смешной, похожий на гриб, маленький старик в широкополой шляпе. Он говорил всем с несомненной гордостью:

— Я работал русский экономий. Я три года работал русский экономий. Да, плену. Старый война. О Россия! Холёд!..

Оживилась усадьба. Дымили походные кухни. На солнышке в саду курили солдаты. Бодро пробегали ординарцы.

Мы заступили в караул. Я стоял у склада боеприпасов, помещавшегося в большом старом погребе.

После обеда батальон неожиданно снялся и двинулся дальше. Остался лишь наш трехсменный пост да с нами старший лейтенант — начальник оружейного снабжения и оружейный мастер Иванов. На завтра за боеприпасами обещали прислать машины. Сразу тихо стало в усадьбе. Наступила ночь. Всякое может случиться. Один стоял на посту, другой бодрствовал, сидя у окна со стоящим на столе ручным пулеметом, остальные дремали, часто просыпаясь. Настал день, потом вечер — машины не пришли. Снова столь же зорко охраняли мы пост. На следующее утро пришла одна машина.

— Оружие и боеприпасы пока брать не будем, завтра приедем. Берем старшего лейтенанта и двух солдат!..

— А как же мы?

— Завтра приедем!..

Старший лейтенант напомнил, что мы должны быть внимательны, и машина ушла.

Мы остались с Ивановым.

Подошел толмач, порассуждал о положении на фронтах. Он никак не мог выговорить фамилию: Рокоссовский.

Ночь я простоял на посту. Иванов ремонтировал оружие и в наряды никогда не ходил.

Я смотрел в темноту и испытывал незнакомое ощущение: на много километров кругом не было своей части, не было караульного помещения, где в случае чего могли бы услышать мой выстрел и прийти на помощь. Кругом была черная чужая ночь. Вышел Иванов на крыльцо, закурил. Ему не спалось. Так мы провели эту ночь, за ней — другую. Машин не было.

Что нам было делать? Не могли же мы оба совсем не спать! Мы рассудили так: если есть или будет кто-то, кто захочет уничтожить нас и захватить склад, то преимущество бесспорно на его стороне. Не очень трудно уничтожить сперва спящего а затем и второго, которому уже никто не придет на помощь. Это было ясно. И мы решили.

— Позовите весь народ! — сказали мы толмачу, и, когда на площадке перед погребом собрались люди, Иванов обратился к ним с речью. Толмач переводил.

— Товарищи крестьяне! — сказал Иванов. — Я называю вас товарищами, потому что все трудящиеся люди — товарищи. Вы трудящиеся, и мы трудящиеся, вы венгерские, а мы русские, советские. Теперь так: мы здесь должны пробыть, в этой усадьбе, некоторое время. У нас склад, вы сами видели, что туда грузилось. Вы должны помочь нам, чтобы с ним все было в порядке. Ведь нехорошо будет — правда? — если приедут за нами наши товарищи на машинах, а здесь что-нибудь случится. Но мы надеемся на вашу помощь. Война, товарищи, скоро кончится. Гитлера не будет. Хорти не будет. Все понятно?..

Переводя, толмач обращался главным образом к красавцу мадьяру. Потом они посоветовались немного, и толмач сказал, очень довольный и гордый:

— Мы поняли. Будет помогать!..

И действительно, через полчаса толмач появился уже с немецким карабином на ремне. Он очень важно обошел вокруг погреба и закурил трубку. Выглядел он как заправский колхозный сторож. Он постоял два часа, потом его сменили. Так и пошло. Когда же ночью стояли на посту я или Иванов, к нам подключался подчасок.

Мы ждали машин каждый день, их все не было. Иванов пошел в ближайший город Цеглед и умолял коменданта принять наш склад по описи. Из этой затеи ничего не вышло.

Мы томились и не знали, что делать. Прошло уже дней десять. Улыбались нам местные девчата. Жаль, что мы не могли объясняться с ними. Толмач рассуждал о положении на фронтах. Хозяйка нам готовила. Чтобы внести и свою лепту в питание, мы охотились на зайцев: тогда их было множество на венгерской равнине.

Дни тянулись неимоверно медленно — никаких событий! Мы с Ивановым порассказали друг другу все, что могли вспомнить. Никогда я не думал, что можно так тосковать по своим ребятам, по своей роте.

Раз прибежал взволнованный толмач: пришел представитель новой венгерской власти и требовал нескольких мужчин — грузить что-то на станции. Мы вышли к нему. «Они работают для фронта!» — сказал Иванов. Этого было достаточно. Ну что ж, это была правда.

Однажды в усадьбу въехала повозка, в ней сидел пожилой лейтенант. А следом двигалось большое стадо.

Человек пять пожилых нестроевых солдат сопровождали стадо, перегоняя его на восток, — в счет репараций. В дороге они доили коров и раздавали молоко бесчисленным беженцам, идущим из плена, заполнившим в ту пору все дороги Европы. Эти пожилые солдаты были очень похожи на местных крестьян, только одежды были в полинявшую солдатскую форму. В усадьбе они остановились на ночлег, чтобы дать отдохнуть стаду.

Как счастливы мы были встрече с ними! Утром они двинулись дальше — такая мирная, невоенная колонна.

А на другой день в конце длинной липовой аллеи показался мчащийся грузовик, потом второй. Ох, как лихо ездили наши шоферы! Грузовик затормозил так резко, что показалось, будто задние скаты на миг оторвались от земли. Выскочил из машины сержант, и радостно екнуло сердце при виде родной голубой окантовки на его погонах и петлицах.

— Скорей, скорей! Грузиться!..

И вот уже погружены патроны и мины.

Все высыпали провожать нас. Мы попрощались за руку с каждым. Все были взволнованы, толмач даже прослезился.

— Обратно к нам приезжайте жениться! — крикнул он. Потом сказал что-то девушкам, наверное, перевел свои слова, и они засмеялись и закивали головами. И вот уже высокие деревья скрыли от нас старинную усадьбу, торчит только острая башенка над крышей, но скоро и ее не стало видно.

...Мы часто мечтаем о встрече с прошлым, нас тревожат и манят воспоминания. Неизвестно зачем хочется увидеть далекие полузабытые места, неожиданно, с трудом, узнать кого-то. Это влечет нас встреча с нами самими, с нашей юностью. И меня среди других желаний иногда смутно задевало желание приехать в это имение, где довелось нам с Ивановым прожить три недели в последнюю военную весну, посмотреть: как там, что?

Спустя много лет я попал в Венгрию. По плану я должен был выступать в городке Цегледе, а в нескольких километрах было местечко, или село, или поселок Тёртель и рядом с ним то наше имение. Я раскрывал карту и с необъяснимым замиранием сердца смотрел на крохотный кружок с этим названием. Накануне я

попросил позвонить в Цеглед, чтобы мне дали переводчика, но, когда мы приехали туда, никто ничего не знал. Я прождал час, потом сказал своим товарищам, чтобы на меня при выступлении не рассчитывали, и решился ехать без переводчика. Старший лейтенант Кондратьев, тот самый, который обещал достать переводчика, смущенно хмыкнув, сел в машину. «Вася, поехали!» — сказал я, и в тот же миг мы вылетели за ворота.

Мы ездили по Венгрии в малолитражном рижском автобусе, его все называли «рафик», это было похоже на уменьшительное восточное имя. Это хорошая, ходкая и маневренная машина, москвичи ее знают: она служит маршрутным такси. Шофер у нас — Вася Шиклин — был замечательный. Это был виртуоз. Обгоняя другие машины, мотоциклистов и велогонщиков, он проходил рядом с ними на расстоянии нескольких сантиметров. «Вася!» — ахали мы. Когда Вася разворачивался, казалось чудом, что мы не врезаемся в столбы и в стены домов, — зазор оставался крохотный. У Васи был точный глаз, твердая рука и хладнокровие северного человека, — он был из Кировской области. Сейчас, сидя сзади него, я временами привычно видел его белобрысый затылок, его чистый подворотничок и снова смотрел на вихрем летящую дорогу. Потом показались деревья, домики, впереди них столб с табличкой: «Тёртель».

— Вася, тише, тише.

Мне почему-то показалось, что имение находится рядом, что его можно увидеть с главной улицы, мне показалось, что я это вспомнил. Кондратьев, нахохлившись, сидел рядом с Васей.

— Тише, тише, Вася, — снова сказал я. — Кажется, направо.

Мы свернули направо, проехали всю улицу, впереди виднелось строение с башенкой. Но оказалось, что это часовня, что здесь кладбище. Кладбища я не помнил. Мы начали то и дело останавливаться и спрашивать, но нас никто не понимал, хотя старались понять из всех сил.

— Хазе, хазе, большой хазе. Нем тудом? Понимали? — коверкал слова Кондратьев, но из этого ничего не выходило. Вася достал самодельный разговорник и прочел венгерскую фразу, означавшую: «Говорите ли вы по-русски?» Все еще раз подтвердили, что не говорят или говорят «кичи-кичи». Наш бедный «рафик», как

слепой котенок, тыкался мордой в разные улочки и переулки, — все бесполезно.

— Ничего не получится, — сказал Кондратьев.

— Вы же мне обещали достать переводчика, — разозлился я.

Наконец двое рабочих повели нас в школу, но учителя русского языка, как назло, не оказалось. Собралось много народу. Вышли учителя, в некоторых классах даже прервались занятия. Кондратьев показывал на меня пальцем и говорил: «Война он здесь!»

— Вóйна? — переспрашивали все сочувственно.

Я нарисовал картинку: кружок — Тёртель, а поблизости большой дом с башенками, а вокруг высокие деревья. Наконец один понял и стал спрашивать: «Фамилия?» Но я не знал фамилий тех, кого искал. Школьный коридор был заполнен людьми, все шумели, махали руками. Потом вбежал мальчишка и что-то крикнул, все устремились к выходу, увлекая меня на крыльцо. Тут я увидел человека на велосипеде, он подъехал, соскочил и сказал, обращаясь ко мне:

— В чем дело, товарищ? — Это был венгр, учитель русского языка, Юрий, как он представился. Выслушав меня, он сказал: — Вокруг Тёртели есть три-четыре таких имения. Мы их все объединим.

Он прислонил к крыльцу велосипед, сел в наш автобус, я помахал всем, и мы поехали. Кондратьев опять нахохлился, Вася гнал вовсю, а Юрий спрашивал:

— Вы вспомните, там был большой виноградник?

— Там был большой сад.

— А что еще?

— Скотный двор.

— Скотный двор? Нет, там, куда мы едем, никогда не было скотного двора.

— Ну, не знаю, — сказал я. — Дом, красивый дом, двухэтажный.

— Двухэтажный? — воскликнул Юрий. — Там, куда мы едем, дом этажный.

— Одноэтажный?

— Да, этажный. А двухэтажный есть только один. Сейчас едем туда. Хорошо, что вы сказали.

Мы повернули обратно. Стало уже слегка смеркаться, и это меня тревожило. Вася выжимал из машины все, что возможно. Юрий рассказывал мне, что очень

любит русскую литературу, что этим летом был в Москве. Мы миновали Тёртель и поехали в другую сторону, все степью да степью.

— Что-то не похоже, — сказал я. — И далеко очень.

— Вон, смотрите.

Вдали на открытом месте стояло двухэтажное, казарменного вида здание, а рядом длинные бараки или склады.

— Нет, не то, — сказал я твердо.

— Может, вырубili деревья? — жалея меня, произнес Вася.

— Надо возвращаться! — заключил Кондратьев.

Мы развернулись.

— А вы уверены, что это около Тёртели? — деликатно спросил Юрий.

— Конечно, уверен.

Мы вернулись в Тёртель и остановились около станции.

— Сейчас еще буду спрашивать, — сказал Юрий без энтузиазма. Он вышел из машины, потолкался среди народа, вернулся.

— Едем еще в одно место. Там не было школы?

— Не помню.

Снова мы мчались, снова по другой дороге. Стояли сумерки.

— Здесь направо. Не похоже?

— Похоже.

У дороги темнел шалаш, стоял караульный.

— Здесь карантин, — объявил Юрий, — болен скот («Не пустят?»).

Мы для чего-то смочили руки какой-то белой жидкостью — только Вася избежал этого — и свернули направо. Без дороги, в сумерках, меж стволов старых лип лихо вел Вася машину. Где-то в стороне горел костер, — видно, жгли прошлогодний лист, и сизый дым тянулся по земле, между стволов, почему-то навевая грусть.

— Похоже?

— Да, очень.

И в тот же миг мы выехали прямо к дому.

— Здесь! — сказал я, и, честное слово, на глазах у меня выступили слезы. Старый дом стоял, как стоял, и рядом была водопроводная колонка с рычагом, я о ней забыл, а сейчас, как глянул, сразу вспомнил: отсюда мы брали воду, здесь мы смывали грязь с сапог, ко-

гда еще весь батальон стоял здесь. А погреб, где был склад боеприпасов, не было, — наверно, он осел и провалился. Зато домики рядом все были в целости, я указал на освещенные окна и сказал: — В этой комнате мы жили с Ивановым.

Нас окружила целая толпа мальчишек, и один, рыжий, самый бойкий, крикнул по-русски: «Как поживаешь?» Я показал ему большой палец: «Хорошо!» — «Куда едешь?» — «В Будапешт!»

Мы вошли в домик, там трое мужчин играли в карты. Я выглянул в окно, хорошо был виден большой дом и то место, где был погреб. Сколько раз я смотрел из этого окна! Я вовремя успел выглянуть: мальчишки облепили окно снаружи. Рыжий опять крикнул: «Как поживаешь?»

Юрий объяснил, зачем мы приехали. Мужчины повскакали с мест. Оказалось, что теперь в имении размещается школа-интернат. Все крестьяне, жившие здесь прежде, выехали отсюда. Правда, совсем рядом живет один, он как раз жил в этом доме. Сейчас нам покажут. Сможет ли шофер подъехать? Сможет! Мы сели в машину, помахали ребятам.

— Куда едешь? — крикнул рыжий.

Вася, непонятно как выруливая между деревьями, покотил в темноту, и через три минуты мы были около маленького беленького домика. Юрий постучал, и мы вошли.

Навстречу нам поднялся старик. Старуха безучастно возилась в уголке. Сидела в стороне молодая женщина с грудным ребенком на руках.

— Они жили в том доме во время войны, — сказал показавший нам дорогу.

— Спросите их, — попросил я Юрия, — помнят ли они, как у них жили в войну двое солдат?

Старик прибавил фитиль в лампе, старуха встрепнулась, они приблизились ко мне, и старуха охнула: «Миклош!»

(Они меня так называли тогда, почему-то они никак не хотели или не могли называть меня Константином или Костей.)

— Миклош!

— Узнала? — изумился Кондратьев.

— Миклош! — Старуха гладила меня по руке, старик бил по плечу. — Миклош!

Мы с Ивановым жили у них, именно в их доме. Юрий переводил.

— А толмач?

— Толмач умер. Он был старый человек.

— А красавец мадьяр? Помните?

Конечно, он живет поблизости. И другие тоже живут близко в пяти, десяти километрах. Они помнят Ивана и Миклоша. А это внук и невестка. Сын на работе. Они очень рады. А у Миклоша есть дети?

— Может быть, еще нужен какой-нибудь материал? — сунулся ко мне Кондратьев.

— Какой еще материал!

Пора было ехать. Мы вышли в темноту. Пахло дымом, где-то лаяла собака. Хозяева обняли меня. Я сел в машину, и Вася специально не гасил внутри свет, чтобы они видели, как я машу им. Потом Вася погасил свет, резко вывернул баранку — полетел в свете фар мелькающий частокол стволов, еще один такой вираж, еще, и вот мы уже, как на крыльях, летим по дороге. Потом мы подвезли Юрия к крыльцу школы, где он оставил свой велосипед, там мы тепло распрощались с ним, я подарил ему на память свою книжку стихов. Мы миновали спящие улицы и покатили к Цегледу.

Сидя позади Васи и глядя в мелькающую темноту, я думал не о своих товарищах, которых сейчас увижу, моя память снова, в который раз, шла по дорогам далекой армейской юности. Я был сейчас на той же земле, на тех же дорогах, но я не мог сидеть позади Васи, потому что Васе тогда было только четыре года. Я снова был в сорок пятом году. Но это был уже шестьдесят третий. «Армейская юность» была уже напечатана, и теперь я дописал этот эпизод.

А тогда в сорок пятом...

Приезжаем на станцию Абонь, сдаем боеприпасы. На грузовой платформе у дверей пакгауза пленный румынский майор-интендант пересчитывает пилотки, связывая их в стопки по двадцать штук.

Смешная и нелепая картина!

Мы заняли оборону, сменив части, стоявшие здесь без движения уже два месяца. «Старички» отходят в тыл, смеются: «Теперь вы посидите!..»

Но нам не пришлось долго здесь сидеть.

На рассвете заговорила артиллерия. Это действительно был голос бога войны.

В ходе великих битв выработали наши полководцы концентрированный артиллерийский удар. Несколько сот стволов разных калибров выбрасывают одновременно тонны металла и взрывчатки. Тысячи снарядов, наполняя воздух свистом и гулом, проносятся над нашими головами. Мы затыкаем уши. А что там, впереди, куда направлен этот удар? Там сплошное месиво. Горе врагу! Мгновенная тишина — и новый, радующий сердце, свистящий звук, и, грозно сверкая, мелькают над нами огненные зарницы. Это заиграли «катюши».

Кто-то толкает меня в бок. Я поднимаю голову — взлетают в дымное небо условные ракеты.

И тут же слабый — у нас заложены воздухом уши — голос ротного: «Вперед, гвардейцы!..»

Мы перемахиваем через бруствер.

— Ур-ра-а-а!! — несется отдаленно, будто кричим не мы.

Пулеметная очередь разрезает воздух. Мы падаем на землю. Впереди меня, метрах в десяти, лежит солдат. Я где-то видел его, но не могу вспомнить где. Он лежит на левом боку, касаясь щекой земли и подобрав, насколько возможно, ноги. А рядом с его пятками взвиваются и опадают один за другим маленькие пыльные смерчки. И вдруг я вижу, что это Шабанов. Странно, что я не узнал его сразу.

На левом фланге катится «ура». Пулемет захлебывается. Мы ползем по-пластунски, делаем короткие перебежки и снова припадаем к земле. Если бы не арт-подготовка, уничтожившая много огневых точек, плохо бы нам пришлось — у них тут простреливался каждый сантиметр.

— Гранатами огонь!

Я тоже отцепляю гранату, выдергиваю кольцо и бросаю ее далеко вперед. Через несколько секунд, споткнувшись на бруствере, я падаю в траншею. Низко пригнувшись, два немца скрываются за поворотом. Я даю вслед очередь, поднимаюсь и совсем рядом вижу немца. Он без каски, стоит, прислонясь спиной к стенке. Одна щека у него чем-то рассечена и в крови. Мгновение мы смотрим друг на друга, потом он быстро поднимает руки. Я словно забываю о нем и медленно вылезаю из траншеи.

Следующая линия траншей уже взята нашими. Веляются убитые немцы. Они совсем еще мальчишки и, мертвые, лежат тоже в каких-то подчеркнута мальчишеских позах.

— Гитлерюгенд! — говорит кто-то. Это Чернев. — А дальше эсэсовцы — замполит говорит!..

Я гляжу на убитых и неожиданно думаю, что ведь, наверно, у них есть родители. Я не жалею их, я просто думаю об этом.

Быстро движемся к маленькому старинному городку. Впереди бежит высокий сутулый солдат, на спине его смешно подпрыгивает вещмешок.

— Голикова убило, Кудряшова ранило, — рассказывает кто-то сзади, но я почему-то не оглядываюсь.

Нас обгоняют танки. Они идут быстро, сильно раскачиваясь, потом, замедлив ход, осторожно, словно нехотя, втягиваются в узенькие улочки городка.

Все тихо. Мы сворачиваем за угол, и звонко рассыпается навстречу пулеметная дробь. Со звоном и жужжанием рикошетят пули от плит мостовой, и от этого кажется, что стреляют в тебя со всех сторон.

Высокий солдат с вещмешком падает, сразу же садится и рассматривает свою руку, но следующая короткая очередь опрокидывает его на спину.

Мы заскакиваем под арку ворот и теперь видим торчащий из маленького окошечка ствол пулемета. Окошечко высоко — узкое, как амбразура: дом старинный, средневековый, приспособленный для обороны. Сюда пулемет не может достать, но и выйти мы не можем. Улица пуста, только лежит на спине тот высокий солдат и смотрит вверх застывшими глазами. Под спиной у него мешок, я не могу избавиться от ощущения, что солдату неудобно лежать.

Юрка Бойцов вынимает гранату «Ф-1», аккуратную, в рубчатом, будто черепаховом, панцире. Он у нас лучший гранатометчик.

Бойцов бормочет что-то под нос, бросает гранату и стонет: «Сорвалось!..»

Мы видим, как, кувыряясь, летит граната, ударяется в стену в метре от амбразуры, падает вниз прямо напротив нас и скатывается в водосток. Гремит взрыв. Звенят по стенам осколки. Нам явно повезло.

Нам кажется, что до взрыва граната летела очень

долго, а на самом деле все это длилось какие-нибудь четыре секунды.

Из-за угла бегом показываются связисты со своими катушками. Снова точная очередь — он же пристрелялся к этому месту заранее, — один связист падает, остальные скрываются за углом.

Издали доносится беспорядочная стрельба и взрывы.

Бойцов снова берет гранату, снова что-то бормочет и бросает. Вместе со взрывом короткая вспышка освещает изнутри амбразуру.

— Теперь точно! — комментирует Чернев.

Мы движемся дальше.

Во время того нашего стремительного движения на запад, о котором я уже упоминал, когда противник бросил оборону и смешались в погоне наши части и соединения, ехали мы на подводе — Боря Чернев, Юрка Бойцов, бесменно правивший лошадьми, я и еще кто-то.

Лошади измучились и стали ночью посредине длинного темного села. Вдруг нас окликнул голос:

— Вам чего, хлопцы?

Сначала мы думали — солдат. Подошли — штатский парнишка лет семнадцати, в веснушках.

— Нам лошади нужны. А ты кто такой?

— Я с Белгорода, тут работаю.

— Где ж ты тут работаешь?

— У хозяина.

— А кто хозяин?

— Кто? Кулак. Пойдемте, я дам вам коней...

Мы прошли за ним в конюшню — пусто. Он растворил еще одни двери и вывел пару коней. Только утром мы рассмотрели, какие это красавцы: оба золотистые, с белыми гривами и хвостами.

Он помог запрячь, а наших завел в конюшню. «Еще сгодятся!..» Мы закурили с ним.

— Ну, спасибо. Будь здоров.

— Счастливо.

Уже двинулись, когда Боря Чернев спросил:

— А хозяин-то твой где?

Тот полыхнул папироской.

— Да сховался где-то, собака!

Ночью кто-то обстрелял нас из автомата и бросился от дороги так, что затрещали кусты. Мы дали несколько очередей вдогонку, по звуку.

На рассвете ворвались в город Зноймо — это уже Чехословакия.

Валяется на площади сорванный со стены огромнейший портрет Гитлера. И по этой дегенеративной физиономии, по этим выпученным глазкам и дурацким усикам бьют копыта, катятся колеса и гусеницы, втаптывая в мостовую изображение павшего фюрера.

Мы давно ничего не ели и очень голодны. Задаем корм лошадям и поднимаемся в голубой коттедж в глубине сада.

Хозяев нет, но они уехали совсем недавно. Ах, как они торопились! Повсюду разбросана одежда, а на столе фуражка с высокой тульей, с уже знакомым нам черепом и перекрещенными костями — как на банках с ядом или на трансформаторных будках! «Мертвая голова»! Как нельзя лучше подходит к ним сейчас это название.

Рядом лежит разломленный пополам большой круг колбасы. Рассудительный Боря Чернев нюхает его.

— Может быть, отравлена?..

Мы колеблемся несколько мгновений, потом Бойцов отламывает кусок и начинает жевать.

— Ничего не будет!

Мы следуем его примеру.

Выходим. На улицах уже полно народу. Появляется откуда-то майор Губа. Он влезает на танк и читает сообщение о капитуляции Германии и окончании войны.

— Ур-ра-а-а!! — несется отовсюду.

Мы стреляем в воздух.

Майор снимает фуражку и вытирает лоб платком. От фуражки на лбу у него рубчатый красный след.

Обнимаемся и целуемся с чехами.

И снова движемся на запад.

Ночью остановились ненадолго в маленьком домике около леса. Там жил учитель. Уже год он изучал русский язык и теперь хорошо говорил по-русски. Он угощал нас кофе.

Оставшийся с лошадьми Юрка Бойцов вошел в дом.

— Послушайте, что это?..

Совсем близко, в лесу, раздавался равномерный шум, как будто шла большая воинская колонна.

— Немцы, — объяснил хозяин, — или власовцы, уже три ночи идут...

Ночами, осторожно, шли они по проселочным дорогам, стремясь уйти на запад. А параллельно, по шоссе, беспрерывно обгоняя их, двигались наши войска.

Долго ждали мы открытия второго фронта, надеялись в самые критические моменты войны. Напрасно! Они открыли наконец второй фронт менее года назад.

И вот мы встретились с американцами.

Невдалеке от города Писека, над Влтавой, на высоком мосту-виадуке, встретились мы. Они пришли с запада, мы — с востока.

Мы встретились дружески, как союзники, и недели две стояли бок о бок в Писеке.

Они были рослые как на подбор — что ж, нетрудно подобрать таких, если армия невелика и несла очень мало потерь. Карманы у них были набиты шоколадом и сигаретами, они угощали нас беспрерывно. Видя идущего нашего солдата, они останавливали машину и предлагали подвезти: у них было много автомобилей.

Нам казалась необычной их форма — полувоенная, полуштатская, — где трудно было разобрать, кто в каком звании. Держались они крайне небрежно, воротник расстегнут, рукава закатаны. Я видел одного американского солдата — он с самодовольным видом сидел за рулем, на обеих руках от запястья до локтя сверкали браслеты с часами.

Они были прекрасно вооружены, но у них был какой-то несерьезный вид туристов. И дисциплина у них была очень относительная, а мы уже понимали, что без этого нет и не может быть настоящей армии. А в общем они были неплохие ребята, эти рослые американские парни.

Иные наши солдаты, плотные, невысокие, в выгоревшей латаной гимнастерке под брезентовым поясом, с котелком, в обмотках, вероятно, проигрывали во внешнем виде — мы об этом не задумывались, — и американцы с некоторым удивлением смотрели на них. Чувствовалось, что они стараются и не могут понять, каким все-таки образом уничтожили мы гитлеровскую военную машину.

Мы мылись, чистились, брились... Еще долго плыли по Влтаве трупы в серых мундирах. Кончилась война. Только сейчас мы по-настоящему осознали это. Как мы изменились! Неужели это те самые мальчики, что стояли когда-то в карантине училища, тоскливо глядя на старшину? Те, да уже иные!

Кончилась война. Теперь уже всерьез можно было подумать и поговорить о своих планах, о будущем. Какова-то она будет, наша гражданская жизнь, как сложится?

Прежде мы представляли себе: кончится война — и по домам. Но так бывает только в кино.

Опубликован Указ о демобилизации старших возрастов, а также военнослужащих, имеющих не менее трех ранений, технических специалистов. А нам надо было еще послужить.

И мы служили. Вместе с новым моим другом Сашей Трунилиным служили мы в Будапеште, а потом под Будапештом, на острове Ченель.

Началась мирная жизнь. Старшие собирались домой. Наш старшина остался на сверхсрочную службу. Стали давать отпуска. Готовились к выборам в Верховный Совет. Мы должны были голосовать первый раз в жизни.

Кончался победный 1945 год. И страшно хотелось домой — пусть не сразу по домам, но домой, в Россию.

Об этом были все разговоры.

Наконец мы грузимся в эшелоны и едем долго-долго, страшно медленно. Есть время подумать обо всем, все вспомнить. Останавливаемся в Карпатах. Горы, бело. Государственная граница. Все, как положено, все стало на свои места.

Пограничники проходят по вагонам. Соблюдены инструкции. Свисток. Приближающийся, нарастающий стук буферных тарелок. Поезд трогается.

Здравствуй, Родина!

Расформировываются части. В разные концы разъезжаются товарищи, появляются новые друзья. Вместе с Серафимом Вихлининым в калужской деревне косим мы сено для южных районов, пострадавших от засухи сорок шестого года, осенью заготавливаем дрова в новго-

родских лесах, и демобилизовываюсь я вместе с ним с маленького островка на Балтике в звании гвардии сержанта.

Отгремела война. Но еще долго носили мы сапоги и шинели. В институтском общжитии говорили о людях: «он с 4-го Украинского», «с 1-го Белорусского», «артиллерист», «моряк», «сапер»... Мы еще долго будем вспоминать военные годы — вернее, мы их никогда не забудем, потому что в эти годы мы из юношей стали мужчинами, потому что то, что было с нами, было не только с нами, а со всем народом. Такое не забывается.

Недавно в вагоне метро, на новой линии «Спортивная»—«Университет», я слышал разговор двух маленьких школьников. Они спорили о том, когда началась война.

Один утверждал:

— Великая Отечественная война началась в тысяча девятьсот сорок первом году!..

Второй сомневался, потом согласился. И все, кто слышал это, — пожилая женщина, капитан-летчик, рабочий, опустивший на колени газету, — все переглянулись и задумчиво улыбнулись своим мыслям.

Да, для них это уже история. Они не помнят войны, они родились позже, чем она кончилась. Они будут знать эту войну только по книгам и рассказам. И пусть при их жизни никогда не будет войны.

Мы делаем и сделаем для этого все, что можем.

Когда я смотрю сейчас на семнадцатилетних мальчиков, то думаю: «Неужели мы были такими? Неужели они смогли бы вынести все, что вынесли мы?» И отвечаю себе: «Да, смогли бы!..»

Они тоже идут туда, где трудно, а трудности эти почетны, идут, потому что каждое поколение хочет с гордостью вспоминать свою юность, потому что место юности — не будем говорить «на переднем крае» — в первых рядах.

АВДЮШИН И ЕГОРЫЧЕВ

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ДВУХ СОЛДАТ

1

Двенадцатого мая жена Клава родила красноармейцу Авдюшину Николаю сына. Он узнал об этом позже, когда пришло письмо, написанное еще в больнице, карандашными слабыми буквами без нажима. «Весь как есть на тебя вылитый, такой складненький мальчик», — писала Клава.

Николай пошел вдоль коек, слегка пристукивая каблуками, как бы пританцовывая, и помахивая письмом, как платочком.

— Ну что? — спросил друг его Мылов, поднимая голову: он пришивал пуговицу.

— Сын!

— Молодец! Поздравляю.

Все его поздравляли, и он испытывал чувство удовлетворенной мужской гордости, как после всякого удачно оконченного дела — работы, драки или состязания.

А вечером его поздравили даже перед строем. После вечерней поверки и назначения завтрашнего наряда старшина сказал:

— Поздравляю товарища Авдюшина с рождением первенца, а нас всех — с появлением нового доблестного бойца Красной Армии, со временем, конечно...

Красиво говорил старшина. Он не был, разумеется, пророком и провидцем, но в данном случае как в воду глядел.

В общем, в этот день Авдюшина баловали вниманием. После отбоя, уже раздеваясь, он спросил, так, полуофициально, у командира отделения Музыкантова:

— Товарищ отделенный командир, может, мне в отпуск краткосрочный попроситься? Пустят?

Музыкантов, высокий, рябой, серьезный, посмотрел на него удивленно.

— Я узнаю...

Когда легли, Мылов зашептал с соседней койки:

— Коля, не пустят тебя, не просись. Если бы, скажем, крышу починять — другое дело, а так не пустят. Да и ни к чему тебе, Коля, неинтересно. Пацан маленький, смотреть не на что. Да и вообще подожди, пока жена поправится...

— Разговорчики! — буркнул Музыкантов.

Но Николай почти и не слушал Мылова. Он лежал и думал о своем городе, о парке, где познакомился с Клавой, как хотел обнять ее, — он знал, что нравится девушкам, — стройный, темноглазый, — а она сказала: «Держишь себя развязанно. Не люблю!» — как он гулял с ней два месяца (у них в городе называли — «ходил»), как поженились. Сына он представлял себе смутно, он никогда не имел дела с такими, только что родившимися детьми. Ему хотелось, чтобы сын был постарше. Вот они идут гулять в парк — он, Клава и мальчик. Он ведет парня за руку. Даже может на руки взять, если пацан устал. Пожалуйста. А еще лучше — они вдвоем идут с ним по грибы. Очень рано, они оба мокрые совсем от росы, и грибы мокрые в корзинках, а потом солнце все жарче, от одежды валит пар, потом они приходят домой и Клава жарит грибы. Ну, ему, конечно, четвертинку может поставить, а парню — мороженое.

Он не был сентиментальным, и такие мысли (а может, это сны?) были у него впервые. Интересно, что и потом такого с ним не было.

Через две недели Клава сообщила, что записала сына Михаилом, как договорились.

А время шло быстро.

Под воскресенье заступили в караул. Николай любил караул и предпочитал его всем другим нарядам, особенно кухонному. Там — мытье жирных котлов, чистка картофеля, жара, чад, а здесь — красота и четкость развода, строгость караульного помещения, тревожность ночного поста.

Ему достался дальний пост — склад боеприпасов, — он отстоял первую вечернюю смену и, глядя в спину разводящему Музыкантову, вернулся в караулку. Четыре часа, пока его смена была бодрствующая, он честно бодрствовал — читал журнал, вполголоса болтал с ребятами о разных пустяках (потом он надолго подробно запомнил эту ночь — кто где сидел, кто о чем говорил). Подняли отдыхающую смену. Она ушла на посты, вернулась с постов предыдущая. Теперь его смена стала отдыхающей, он расстегнул воротничок гимнастерки, ослабил ремень на две дырки, лег и сразу заснул — он никогда не страдал бессонницей.

Музыкантов поднял его,— было совсем светло. Он быстро умылся, взял винтовку, и они пошли. До поста было полтора километра, поэтому полагался отдельный разводящий. И снова он шагал, глядя в спину Музыкантова. Ох, как он изучил эту чуть-чуть сутуловатую спину!

Они шли по узкой луговой тропке, и сапоги их были мокрые от росы.

Склад был виден издали — длинный сарай, а рядом фигурка Мылова. Он в свою очередь заметил их издалика и стоял в положении «смирно». Подошли.

— Товарищ разводящий, — начал Мылов бойко, — за мою смену никаких происшествий не произошло. Пост номер восемь — склад боеприпасов. Дверей двое — пломбы две. Противопожарный инвентарь: ящик с песком, четыре ведра, бочка с водой, лопаты три, топора два...

Потом Николай все это проверил и повторил.

— Пост сдал!

— Пост принял!

Мылов повернулся, щелкнув каблуками, незаметно подмигнул Николаю и зашагал по тропке за Музыкантовым, подражая его походке; он знал, что Николай смотрит вслед.

Склад стоял на небольшом холме, и при свете дня к нему невозможно было подойти, оставаясь незамеченным, поэтому Николай чувствовал себя совершенно свободно — можно было прислониться к стене, а при желании даже сесть или закурить, что, конечно, строго запрещалось уставом.

Николай время от времени обходил сарай кругом, а потом становился с восточной стороны и подставлял лицо еще нежаркому солнцу.

У него не было часов, но он уже каким-то образом мог определять время — не по солнцу, нет, просто в нем сильно развилось ощущение времени, наверно, потому, что весь день его был расписан по часам и минутам. Конечно, определяя время, он мог ошибиться минут на пятнадцать-двадцать. Но теперь у него была возможность проверять себя. Примерно тогда, когда он и ожидал, донесся гудок ремонтного завода, спустя срок минут простучал вдали московский поезд.

Все было правильно,

Но потом он почувствовал тревогу. Пора было прийти смене — ее не было. Прошло еще сколько-то времени, и он уже готов был дать голову на отрез, что смена опаздывает. Это было не похоже на Музыкантова. Николай попытался отвлечься, думать о доме, но это как-то не удавалось. Он еще раз обошел вокруг склада и наконец вздохнул с облегчением — по тропке быстро шел Музыкантов, а за ним едва поспевала смена — невысокого роста боец из соседнего отделения.

Николай стал по стойке «смирно» и, глядя на рябое, вроде бы такое же, как всегда, но вместе с тем странное лицо остановившегося Музыкантова, негромко отчеканил:

— Товарищ разводящий, за мою смену никаких происшествий не произошло...

— Война!

Погрузились в эшелон и поехали. И все было, как всегда, только оружие не было «законсервировано», то есть не было смазано густой, почти заводской смазкой и упаковано в ящики, а стояло посреди вагона в пирамиде. Но, конечно, различие было не только в этом.

Почти все поездные пассажиры любят смотреть в окна, а солдаты в особенности — только не в окна, а в двери, которые откатываются вбок, как в мягком купе, разве что зеркала нет изнутри. Солдат никогда не знает точно, куда он едет, и он смотрит на бегущую вдоль полотна землю, старается угадать — что его ждет впереди.

А сейчас смотрели с особенным вниманием, с особенной острой жадностью, с какой никогда не смотрели прежде.

— Смотрите! — вдруг сказал Мылов.

И они увидели разбитый завод. Среди кирпичных развалин нелепо торчала красная труба, на которой выделялись цифры «1937». Она была мертва, эта труба, над ней не было даже малого дымка, но зато у ее подножья из-под груд железа, кирпича и бетона тянулся черный страшный дым, а кое-где еще вспыхивали желто-синие огненные языки.

Поезд прибавил ходу; они молчали, подавленные.

— Может, наши сами взорвали? — спросил кто-то несмело.

«Неужто и отсюда собираемся уходить, если сами рвем?» — подумал Николай.

А следом за заводом появился рабочий поселок. Вернее, это было рабочим поселком раньше, наверное еще вчера. Теперь это тоже были развалины, и это было еще страшней, чем развалины завода. И среди этих развалин копошились люди — военные и гражданские, подъезжали и отъезжали машины, но стояла, казалось, долгая зловещая тишина.

Потом опять начался лес, луг, паслась коза, привязанная к колышку, мелькали серые деревенские избы, дети, ярко сверкали зеленью листья и трава, и с виду все было мирно, но на всем уже лежал отпечаток ожидания, тревоги.

День был длинный, но и он прошел, и прошел быстро. Николай все стоял у раскрытой двери, а эшелон все мчался и мчался. Это был тяжелый состав, и два паровоза дружно тащили его вслед красному садящемуся солнцу.

Николай проснулся среди ночи от невероятного удара, какого он никогда в жизни не слышал и даже не предполагал, что такой может быть. Вагон шатнуло и наклонило, он продолжал катиться, но как будто лишь по одному рельсу, лишь на двух правых колесах, как иногда телега на резком повороте. Затем возникла вспышка такой яркости, что в вагоне стало светло, хотя двери от удара почти совсем закрылись, и новый удар, сбросивший Николая с нар. Вагон задребезжал на стыках, почти подпрыгивая, и вдруг резко остановился; ребята еще на ходу кинулись в двери, но среди этого дикого грохота и света одно слово и один голос коснулись сознания Николая — это был крик Музыкантова:

— Оружие!

Николай рванулся к пирамиде, почти на ощупь, как во время учебной тревоги, необъяснимо узнал свою винтовку, схватил, прыгнул на пути, еще под какой-то состав, услышал команду: «Ложись!» — и лег между рельсами на теплые шпалы.

Неотвратимо приближающийся, ужасающий, невыносимый свистяще-воющий звук вдавил его в землю так, что шпалы едва не прогнулись под его грудью.

Последовал новый взрыв, его кинуло волной, ударило плечом и боком о вагонное колесо, но он не чувствовал боли.

— У, суки, у, суки! — повторял он шепотом.

Что-то ярко горело — не то состав, не то станция, неизвестно откуда слышались конское ржанье и истерический женский крик. И вдруг среди всего этого явно донеслась пулеметная очередь. «А ведь стреляет кто-то, — смутно подумал Николай, — не лежит под вагоном, дьявол, а стреляет».

Главный удар пришелся не по их эшелону, а по складам и вокзалу. Потом они тушили пожар, расцепляли и сцепляли вагоны, носили раненых. Ночь была короткая, скоро рассвело. Авдюшин и Мылов, грязные, закопченные, посмотрели друг на друга и ничего не сказали.

Часа через два исправили путь, и эшелон (он стал немного короче) двинулся дальше.

В их роте убитых не было. Был тяжело контужен лейтенант, командир второго взвода.

— Ничего, — заметил Мылов, — отдышится. Пусть спасибо скажет, что не ранен...

Они еще не знали, что это похуже любого ранения.

А в других ротах были и убитые. Был убит, например, один паренек — запеваля из пятой роты, которого не все в батальоне знали в лицо, но все знали по голосу.

Поражало, что убиты и ранены не вообще какие-то бойцы, а свои, соседи, «с нашего эшелона».

После обеда быстро выгрузились, прошли маршем километров тридцать и стали рыть окопы в полный профиль. Хорошо, что принесли откуда-то большие лопаты, а то маленькой не управиться бы. Уже молочно забрезжил рассвет, когда Николай кончил копать. Подошел Музыкантов, постоял сверху, прыгнул в окоп.

— Еще на штык!

Для высокого Музыкантова окоп, конечно, был мелок, и Николай спорить не стал, углубил. Потом замаскировал окоп, обложил бруствер дерном, который нарезал, как и все, за склоном холма, свернул рулоном и, стянув ремнем, принес — и для себя и для умаявшегося

Мылова. Потом соскочил в окоп и почти тут же, стоя, задремал. Он так устал, что у него уже не оставалось сил для ожидания и страха.

Все случилось совершенно неожиданно и непонятно. На правом фланге начался огонь — сначала пулеметный, а затем орудийный и, видимо, минометный. Он все время усиливался, перешел в сплошной рев, и все было закрыто пеленой пыли и дыма. Затем наступила тишина, и отчетливый гул моторов, и стрельба, теперь уже только пулеметная. Это продолжалось, вероятно, долго — они не поняли сколько, все молчали, повернув головы направо и прислушиваясь.

Потом и это стихло.

Прошло полчаса, еще больше. Взводный пошел к ротному, но тот был у комбата, вернее сидел и ждал комбата, который был у командира полка.

Приказов никаких не поступало.

В тот день прозвучало страшное слово «окружение».

Лишь ночью они стали отходить и шли долго, а утром после короткого привала двинулись дальше. Шли мелкоколесьем, без дороги, мешаясь с другими ротами и батальонами, не зная, где соседи, где фронт, где противник.

Шли почти молча, лишь иногда Музыкантов поворачивал рябое лицо и говорил серьезно: «Давай-давай, Авдюшин!» или «Веселей, Мылов!» — и Николай снова смотрел на слегка сутуловатую, такую знакомую спину отделенного. Они были совсем из другого мира, из иных времен, эта спина и этот голос, и, если отвлечься, можно было представить себе, что это маневры, «выход» или что это они идут сейчас на пост. Но лучше было так не отвлекаться.

Остановились, потом залегли.

— Что там?

— Шоссейка.

Стали продвигаться ползком и подтянулись по кустам к самой дороге. И неизвестно каким образом, но всем вдруг стало ясно, что надо перейти эту дорогу, перешагнуть эту черту, что только в этом спасение и что, однако, это не просто.

И в это время так же, как вчера, но только ужаснее близко заревели моторы и несколько танков — а точнее, их было четыре — вышло из-за поворота. Они шли гуськом, друг за другом, и потом разом ударили из пулеметов по кустам так, что зазвенел над головой воздух. Они были совсем близко, и Николай видел их тяжелые башни с белыми крестами, их гусеницы, провисающие вверху. Один танк слегка оскользнулся на булыжнике, и из-под гусениц полетели искры.

Николай лежал на животе, касаясь щекой земли, испытывая страх, унижение и дикую, растущую ярость. «У, суки, у, суки!» — иступленно повторял он про себя, как тогда, во время бомбежки. И еще он с ужасом чувствовал, что никакая сила не заставит его подняться с этой земли.

Танки прошли мимо и стали разворачиваться вдали.

— Встать! Вперед! — крикнул кто-то властно, а до этого казалось, что нельзя даже громко разговаривать.

Николай оттолкнулся ладонями и локтями, поднялся на колени, вскочил на ноги и, держа винтовку сперва в одной руке, а затем наперевес, в несколько прыжков достиг шоссе и мгновенно перемахнул через него, стараясь не отстать от бегущих впереди. В какое-то мгновение он даже оглянулся и увидел, что многие не захотели встать и остались лежать на той стороне. И он удивился, вернее сам перед собой притворился, что удивляется и не знает, почему они остались там. Все это промелькнуло в мозгу молниеносно. Он уже бежал между осинками, проваливаясь, ругаясь — здесь оказалось болото — и стреляя на бегу. Немцы били справа, и он стрелял в том направлении.

Разорвалось несколько мин, они плюхались, поднимая столбы коричневой торфяной жижи.

Противогаз съехал вперед, бил по коленям, и Николай на бегу сбросил его. Краем глаза он заметил, что сбоку кто-то упал, споткнувшись, а потом перед ним появилось рябое, перемазанное болотной гнилью лицо Музыкантова.

— Коля, помоги ему! Быстро!

Николай повернулся и увидел Мылова, лежащего на мху лицом вниз. Он потянул его за плечи, и тот неожиданно легко поднялся и пошел, прихрамывая, держась за плечо Николая.

— Веселей, Мылов! — машинально говорил Нико-

лай, не удивляясь тому, как Музыкантов увидел, что Мылов, бегущий сзади, упал, как он узнал, что Мылов жив, и тому, что отделенный назвал его на «ты» и Колей.

Они миновали болото и все шли, бежали и снова шли — уже лесом, настоящим большим лесом, который тянется, наверное, на сотни, а то и на тысячи верст.

Шум боя совсем затих вдаль, они вышли на полянку — несколько человек — и опустились на землю.

Они поняли, что вырвались, и неуверенно посмотрели друг на друга: они не знали, нужно гордиться этим или стыдиться этого.

— Ну-ка, спускай штаны! Ага!

На правой ноге Мылова, повыше колена, была сквозная ранка.

— Это тебе осколком зацепило, — сказал Музыкантов. — Ну, ничего, кость цела, заживет...

Он забинтовал ногу.

Из своей роты их было трое, двое из своего батальона, и шестеро совсем незнакомых бойцов.

— Одиннадцать человек!

— Футбольная команда, — хмуро бросил Николай.

— Я буду вратарем, — подхватил Мылов, — бегать не могу, буду в голу стоять.

— Ничего, придется и побегать, — сказал Музыкантов. — Коммунисты есть?

Коммунистов (вместе с ним) было двое, комсомольцев пятеро, остальные несоюзная молодежь.

— Ну что же. — Музыкантов помедлил — Нужно нам решить главное: к своим будем пробиваться или останемся в тылу и организуем партизанский отряд?

Решили — к своим.

— Тогда пошли!

Ночевали в лесу. Огонь разводить не стали, пожевали сухарей, попили воды из ключика. Свалились и заснули после напряжения последних дней мгновенно. Дежурили по очереди. Музыкантов разбудил Николая, как прежде, в караульном помещении, — потряс за плечо: «Авдюшин, подъем!» — посидел с ним минуту и, удостоверясь, что Николай больше не заснет, лег. Николай обошел вокруг спящих, потом сел, прислонившись спиной к сосне и положив винтовку на колени.

Сосны чуть слышно поскрипывали, вершины их, если смотреть прямо вверх, мерно раскачивались, а между ними спокойно и ясно горели звезды. Тихонько стонал во сне Мылов.

А на земле творилось невероятное — земля полосовалась железом и огнем, выворачивалась наизнанку. И гибли, гибли люди — на это уже почти не обращали внимания. И катились на восток наши армии — Николай не знал, остановились они уже или нет.

Он стал думать о доме, о Клаве и сыне Мише, но думал обо всем этом как-то отчужденно. То, что у него где-то там, за лесами-горами, за полями-фронтами, есть дом и жена Клава, с которой он прожил до армии три месяца, и сын Миша, которого он никогда не видел, было настолько странным, и далеким, и недостижимым, что мечтать об этом и не стоило.

Небо над вершинами сосен посветлело, звезды стали совсем бледными.

Николай разбудил белобрысого, испуганно вскинувшегося бойца:

— Подневаль-ка, брат, немного, я вздремну.

...Шли лесными тропками и лесным бездорожьем, забредали на хутора и в маленькие деревушки, где немцев еще не было или где бывали они лишь налетами. Сперва долго, затаившись, высматривали, посылали на разведку одного, потом шли остальные. Очень осторожно, затем осмелели, но в деревнях не ночевали.

Шли гуськом, впереди обычно Музыкантов, а сзади двое, сменяясь, вели Мылова, почти висящего на плечах у товарищей. За последние дни ему стало хуже — нога распухла, обметало губы, у него был жар.

Наткнулись на домик лесника. Там жили две женщины — молодая и старуха. Может, и мужчины были, да попрятались, кто их знает? Мылова устроили в тени, около крыльца, постелив шинель и подложив под нее свежего сена.

— Что слышно, не знаете? — спросил Музыкантов. — Фронт далеко?

— Откуда нам знать? — вопросом ответила молодая, поднимая светлые-светлые, почти голубые глаза. — Приемника у нас нет, газет тоже не получаем.

— А поесть дадите?

— Бульбы наварю.

Потом Музыкантов отошел с обеими женщинами в сторону и долго с ними разговаривал. Высокий, худой, с рябыми впалыми щеками, он говорил тихо, серьезно, и так же отвечали ему женщины.

Он медленно приблизился к лежащему Мылову.

— Слушай, Мылов, не можешь ты дальше идти, мы тебя здесь пока оставим...

Мылов приподнял голову. Ужас и одновременно облегчение мелькнули в его глазах.

— А поправишься, — продолжал Музыкантов, — выйдешь или наши сами придут.

Мылов ничего не ответил и снова прикрыл глаза.

И Николай, потрясенный, подумал, что было бы, если б его здесь оставили. Уйдут ребята, а кругом тишина, только сосны поскрипывают, стволы их покачиваются, и кто выйдет сейчас из лесу — неизвестно. А баба все смотрит светлыми-светлыми глазами.

— Но запомни, — голос Николая даже сорвался от волнения, — если с парнем что случится — тебе отвечать!

— А ты на меня не ори, — ответила она спокойно. — Ты лучше немца пужни.

— И пугнем, не бойся.

— Вот тогда и на меня крикнешь!

— Варвара! — вдруг возвысила голос старуха.

— Оружие мое мне оставите? — спросил Мылов, не открывая глаз.

— А как же, обязательно!

Теперь, без Мылова, пошли гораздо быстрее. Но вскоре еще один стал отставать. Это был белокрысый боец, который ночью сменил Николая на первом их привале. Он отстал на пять шагов, потом на десять.

Музыкантов остановился, подождал.

— Почему отстаете?

— Я ногу испортил.

— Тоже остаться захотелось? — крикнул Николай.

— Обожди, — прервал его Музыкантов и к парню: — Покажи, что там у тебя.

Боец засуетился, стал искать, куда бы сесть. Все молча и хмуро смотрели на него.

Наконец он сел на валежину, кривясь, долго стаскивал сапог. Кровь и гной прошли сквозь портянку, засохли красно-желтым отвратительным пятном.

— Как же ты натер? Сапог нормальный! — Музыкантов засунул руку внутрь сапога и исследовал его там.

Парень с испугом посмотрел на Музыкантова, на Николая, он ждал новых обвинений.

— Ну-ка, встаньте! Так не больно? Вот так и пойдете, пока не заживет. А сапог в мешок положите.

Это должно было случиться, и это случилось.

— Авдюшин! — приказал Музыкантов. — Пойди посмотри, все ли там в порядке.

— Есть!

Николай, не торопясь, двинулся к деревушке. Низко согнувшись, он осторожно шел березничком, несколько раз ложился, внимательно рассматривал три избы, которые были ему видны, и прислушивался. Ничто не вызывало подозрений, но он по-прежнему действовал очень осмотрительно. Последние десятки метров он прополз; распластавшись, подлез под жердину и попал на огород. Он миновал гряды моркови, слегка приподнялся, хоронясь за кустом малины, и вдруг у него оборвалось дыхание, словно его ударили под ложечку, — он увидел немца.

Немец стоял в избе у окна и брился. На оконном шпингалете висело зеркальце. Немец был в натальной рубаше, он брился и насвистывал что-то очень знакомое, кажется «Полюшко-поле», но Николай твердо знал, что это немец. Немец густо намыливал щеки и, раздувая их, помогая изнутри языком, скреб широким блестящим лезвием.

Не в силах двинуться с места, Николай смотрел на него, как околдованный, но руки его действовали сами по себе. Когда-то давно (неправдоподобно, страшно давно!) он шел летней ночью, проводив Клаву, а его поджидали двое, и он избил их обоих и сам дивился, как они летят от его ударов, словно это не он бьет, а кто-то другой. И сейчас он почти растерянно смотрел на немца, а рука тихонько потянула вверх, а потом назад рукоятку затвора. Это нужно было сделать очень медленно, только тогда это можно было сделать бесшумно.

А в голове стучало: «У, суки, у, суки!»

Немец кончил бриться и вытер бритву.

Николай отвел затвор до отказа и двинул его вперед.

Немец взял плоский флакон, вытряхнул из него на ладонь немного одеколона и растер лицо.

Пружина магазинной коробки подала патрон вверх, гильза вошла в чашечку затвора, Николай толкнул затвор вперед, вогнал патрон в патронник и закрыл затвор.

Немец надел мундир и стал расчесывать на пробор волосы. Николай совместил мушку и прорезь прицела на уровне лба немца. Палец потянул спусковой крючок, боек клюнул капсюль, воспламенился порох, и пуля ударила немца между глаз.

Теперь Николай щелкнул затвором — выбросил стреляную гильзу и дослал новый патрон, то есть мгновенно сделал то, на что у него перед этим ушло столько времени. Несколько секунд он ждал, но никто не появлялся, и он стал отползать назад, пролез под жердиной и оказался в березнике.

— Молодец! — сказал Музыкантов. — Орел!

— А если бы там еще немцы были? — спросил кто-то.

— Еще бы двух-трех положил! — ответил Николай твердо.

— Правильно! — Музыкантов встал. — Пора нам в бой вступать, а то забудем скоро, что бойцы. Нечего ждать, пока к своим выйдем.

Как птицы, что весной тянутся на родину — любой ценой, сквозь запоздалые метели и ранние грозы, домой, домой, — так и они шли по лесам и болотам, голодные, заросшие, оборванные — к своим, к своим! — держа оружие в порядке, храня в нагрудных карманах красноармейские книжки, партийные и комсомольские билеты.

Почти все они только недавно узнали друг друга, и они не говорили о минувшем, мысли их были устремлены вперед, их объединила одна цель — выйти из окружения.

Белобрысый боец — его фамилия была Фетисов — стал доставать сапог из мешка: рана на подъеме засох-

ла, можно было попробовать опять обуться. Николай увидел у него в мешке желтые бруски.

— Что это у тебя, мыло?

— Тол.

Музыкантов вскинулся:

— Сапер! И запалы и шнур есть?

— Есть.

Николай закипятился, но уже миролюбиво:

— Почему молчал, гад?

— Так никто не спрашивал.

Они вышли наконец к шоссе. Облюбовали мостик, небольшой, но не будет такого — не проедешь. В сумерках Фетисов поставил заряды, прикрутил толловые шашки, протянул бикфордов шнур, вопросительно посмотрел на Музыкантова.

— Давай! — кивнул тот.

Фетисов вынул спички из непромокаемого маленького мешочка, чиркнул — при этом звуке Николаю страшно захотелось курить.

— Ложись!

Николай лег и, уткнув лицо в ладони, ждал, как ему показалось, слишком долго. «Шнур, наверно, попорченный», — подумал он и только хотел поднять голову, как ударил, заложив уши, взрыв.

Мостик был разворочен по всем правилам.

— С почином, — сказал Фетисов.

Но они не ушли. Они ждали.

Послышался разом натянувший нервы комариный звук мотора. Он приближался очень медленно, и когда, казалось, был еще далеко, появился грузовик. В кузове лежал какой-то груз и сидели солдаты — человек пять-шесть. Грузовик стал тормозить перед взорванным мостиком.

— Внимание, — сказал Музыкантов, — залпом...

Грузовик остановился.

— Пли!

Грузовик загорелся — мотор вспыхнул мгновенно.

— Залпом... пли!

И они вышли к своим. Линии фронта почему-то не было. Просто ясным росистым утром наткнулись в перелеске на наше передовое охранение, столкнулись носом к носу.

— Ребята! Свои! — крикнул Николай звонко.

— Тихо-тихо-тихо-тихо! — невозмутимо произнес ладный парень в пилотке набочок и с автоматом.
— Все документы при нас, — сказал Музыкантов.
— Ладно, разберемся, — ответил парень.
— Понятно.

Что-то сильно ударило Николая в бок и в руку, и он начал медленно падать на спину и падал очень долго, удивляясь, что никто не поддерживает его, и, еще падая, услышал далекую пулеметную очередь и понял, что ударило его, но тут же забыл об этом. Он увидел перед собой приближающуюся синюю глубину, которую уже где-то и когда-то видел, узнал голос Музыкантова: «Ну-ка, Фетисов, помоги поднять!» — хотел сказать: «Ребята, обождите, я сейчас встану!» — но вместо этого только еле слышно захрипел.

Он очнулся сразу — от боли, от едкого запаха лекарств и от покачивания. Он увидел над головой синюю лампочку, удивился, почему такой низкий потолок, но, скосив глаза, заметил, что висит высоко над полом, и понял, что едет в поезде. А через минуту опять уже не понимал, где он. Вагон мотало и раскачивало, кто-то громко стонал, а тонкий изумленный голосок кому-то рассказывал:

— Нагнулся я к воде напиться — смотрю, вся лицо разбитая...

Он несколько раз приходил в себя, но тоже еще смутно видел синюю лампочку, ощущал боль, тряску и прикосновение чьих-то холодных рук и снова терял сознание.

Потом очнулся от свежего, чистого воздуха с привкусом дыма. Он лежал на носилках на перроне, было холодно, шел дождь, и, хотя носилки стояли под навесом, по грязному перрону текла вода. Его голова была почти на уровне перрона, и он близко видел, как проплывал мусор — спички, соломинки, скорлупа кедровых орешков.

Открыл глаза — палата. Рядом на койке лежал человек с желтым лицом и смотрел в потолок.

— Эй, парень, — зачем-то позвал его Николай, но тот ничего не ответил, лишь часто-часто замигал.

— Чего тебе, милый? — Над Николаем наклонилась сестра, и такое у нее было утомленное и славное лицо, такой ласковый голос, что он чуть не заплакал от жалости к себе. — Потерпи, потерпи...

Его везли в операционную по длинным-длинным, нескончаемым коридорам, и всюду были люди в белье или в халатах, из-под которых торчали кальсоны, — люди на костылях, с перебинтованными головами, с руками в гипсе.

Он лежал на столе, под зеркальной лампой, совершенно не заботясь о том, что голый, а кругом сестры и санитарки, а врач, занятый чем-то своим, говорил ему:

— Не робей, брат, ничего не услышишь. Считай до десяти! — И залепил ему нос мокрой, со сладко удушающим запахом ватой.

— Раз... два... три...

— Считай, считай...

— Четыре...

Острая, нечеловеческая боль пронзала его, жила в нем. И не то чтобы подступила, даже очень сильная, а потом отпустила — нет, она была непрерывной, непрекращающейся, и это длилось бесконечно. И невозможно было поверить, что настанет такое счастье и ее не будет совсем.

О ней нельзя рассказать кому-нибудь — человек, не испытывавший ее, никогда не поймет, что это такое. И даже сам ты, когда она пройдет, словно забудешь, какой невыносимой она была, и будешь разговаривать и смеяться как ни в чем не бывало. Лишь когда она с тобой, внутри тебя, в душной ночной палате, ты знаешь, как это страшно.

Потом (через неделю? через две?) сестра и нянечка делали ему перевязку в палате, осторожно его переворачивая.

— А красивый парень! — сказала нянечка.

— Они все красивые!

Очнулся, посмотрел направо — там лежал уже другой человек, а не тот, с желтым лицом.

— А где тут лежал один?

Пожилой боец с усами, сидящий, свесив ноги, на койке в углу, ответил неопределенно, немного замямшись:

— А его уже нету...

Так длилось долго, пока однажды он не открыл глаза и не почувствовал, что уже выздоравливает бесповоротно. За окном была видна крыша дома и рядом сосна, и они были в снегу, в густом белом снегу, блестящем и искрящемся, а над ними сияла чистая синева неба.

Николай лежал на спине и, улыбаясь, смотрел на эту крышу, и сосну, и на ворону, которая, прилетев, обрушила вниз целую гору сухо рассыпавшегося снега.

И нянечка, прибиравшая в палате, увидела его взгляд и улыбку и тоже вся заулыбалась, засветилась.

— Никак получилось, сынок?

Вошла сестра и тоже радостно вскинула брови.

— Как зовут, сестрица? — слабым голосом весело спросил Николай, не зная, куда девать свое веселье.

— Клава!

— О! Тезка!

Он уже сидел, привалившись спиной к подушке, и, подложив книжку, писал домой, жене Клаве. Так она писала ему когда-то из родильного дома — слабыми карандашными буквами без нажима. А за окнами пела метель, во дворе госпиталя раскачивался фонарь на столбе, и тень от столба качалась на снегу, как маятник.

«Дорогой Коля, мы с Мишей живем хорошо, чего и тебе желаем. Миша уже стал большой, у него шесть зубков. Очень он на тебя похож. Когда началась война и от тебя писем не было, у меня пропало молоко, и Мишу я кормила искусственным питанием. Сейчас он в яслях, я работаю в горячем цехе, там плотят хорошо, ты знаешь. Получили твое письмо и из него узнали, что ты был в окружении. Коля, хорошо бы после госпиталя отпустили тебя в отпуск хотя бы дней на двадцать. А у Марушки Копыловой мужа на месяц отпустили после ранения...»

Николай потянулся. «Неплохо бы!»

Вошел усатый пожилой боец — единственный ходя-

чий из их палаты, он слушал в коридоре радио. К нему все повернулись — какая сводка?

— Катится фриц от Москвы почем зря!

Они лежали все в одной палате — восемь человек, — но у них не было особенного желания сближаться, потому что они знали, что они вместе только временно, а потом выпишутся не разом и разъедутся по разным частям и никогда не увидятся.

У них была общая судьба — всех их ранило на войне, — но она, эта судьба, была слишком общей.

Когда попадался земляк или боец с одного фронта, направления, это было приятно, с ним можно было обмениваться мнениями или вспомнить что-либо, понятное по-настоящему лишь им двоим. Но то, что они скоро расстанутся, мешало сближению.

Он поднялся, подошел к окну, смотрел долго, жадно, не отрываясь, хотя за окном ничего особенного не было, но был дом, раньше он видел только его крышу, и сейчас страшно интересно было, каков же он весь, этот дом, и кто там живет и что делает, и какая это сосна, у которой прежде он видел только вершину, и сколь она высока, и какая под ней скамеечка.

Он вышел в коридор, посмотрелся в большое зеркало. Лицо у него было нехорошего цвета, как у всех долго лежавших в постели. Встретил сестру Клаву, обнял ее: «Клавочка!» Она глянула ему в глаза, усмехнулась: «Поправился?» — и привычно, мягко оттолкнула его.

Нет, не пустили его в отпуск. Он вместе с командой ехал в часть, лежал на полке, подложив вещмешок под голову, курил госпитальный табак и, смутно улыбаясь, вспоминал медсестру Клаву, которая была не очень строга к нему, и жену Клаву («отвык я от нее»), и совсем отдаленно — Музыкантова, Мылова, сосновые шумящие леса.

Но мысли его сами собой обращались не к тому, что уже было, а к тому, что ждет его впереди.

Погас свет, и бабушка, старенькая, до этого молчавшая чуть ли не неделю кряду, вдруг сказала:

— Вот придет Гитлер, посадит, и будем вот так-то во мраке сидеть.

— Где ты только такого наслушалась? — возмутился Алеша. — Не придет он сюда, не бойся.

Бабушка ничего не ответила, опять замолчала.

Свет, правда, реже, но гаснул и до войны. Однако тогда было проще — посмотришь в окно: темно везде, ничего не сделаешь, надо ждать, а если у других горит, значит, дело в пробках. А сейчас затемнение — ничего не узнаешь. В полном мраке лежит поселок, ни огонька, лишь изредка где-нибудь щель света — плохо завесились, — к ним бегут, стучат. Поселок маленький, отдаленный, воздушных налетов («Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу!» — сказала однажды бабушка) не было, но порядок есть порядок.

Алеша взял лампу и спустился вниз: под лестницей, у выхода на улицу был групповой щиток — пробки. Собственно, пробок самих не было, их давно порастаскали, и вместо них в патрон нужно было вставлять проволочную спиральку — «жучка». Однажды Алеша вставлял «жучка» карандашом, и его здорово ударило — он не знал, что графит прекрасно проводит электричество. Теперь у него была заготовлена специальная палочка.

Так и есть, в их патроне не было спиральки. Он свернул проволочку, сунул в патрон, поправил палочкой: заискрило — значит, все нормально, ток есть.

Он задул лампу и вернулся домой. Прошел к себе — с тех пор как отца взяли в армию, у Алеши была маленькая комнатка, где он занимался.

Громко постучали во входную дверь.

— Кого? — испуганно спросила мать.

— Егорычева Алексея Петровича. — Детский голос заставил вздрогнуть.

— Нет его, нету, — быстро-быстро заговорила мать, — иди-иди, я сама не приму.

Алеша открыл дверь.

— Я здесь, мама.

Он знал этого мальчишку. Его мать работала в по-

селковом Совете, а он помогал ей разносить повестки, его почти все знали в поселке.

Алеша взял повестку — на послезавтра его вызывали в город, в военкомат.

— Ну, давай распишусь,— сказал он,— где тут?

Мальчишка ушел. Мать заплакала.

— Ну, чего ты? — Он положил руку ей на плечо.— Ведь еще не с вещами. На медкомиссию.

Бабушка пошевелила губами:

— Отца забрали, хватит уж... — И опять замолчала.

Алеша постучал в соседнюю квартиру, к Пашке Замкову.

— Получил?

— Ага.

Шепотом:

— Как тетя Шура?

— Мать держится.

— В школу завтра пойдем?

— Не стоит.

Они учились вместе в десятом классе. Но у них в поселке была только семилетка, и они ходили в поселок имени Чапаева, за семь километров. Там был большой завод.

Они предпочитали ходить пешком, на лыжах ходили только после метели — школа находилась посреди поселка, и идти на лыжах по шумной, почти городской улице было нелепо, равно как и тащить лыжи на плечах. Когда была особенно плохая погода, они вообще не ходили в школу — ничего! Можно было бы, конечно, устроиться жить там, в поселке имени Чапаева, но это было очень неудобно — и с жильем и с карточками, — как ни ряди, дома лучше. Как-то обнаружился один случай сыпного тифа у них в поселке, был объявлен карантин, и они жили в школе несколько дней, это было на редкость скверно.

В единственном их десятом классе было шестеро ребят, остальные девчонки.

Военкомат был набит битком, негде было не только присесть — не к чему было прислониться. Они ждали с Пашкой с самого утра, измученные, голодные, а очередь все не подходила. Было жарко — раздевалки не было, маленький дощатый райвоенкомат не был при-

способлен к таким наплывам — ведь собирались ребята со всего района. И никто не задавал другому одного из главных вопросов, звучащего в эшелонах, госпиталях, пересыльных пунктах:

— Ты с какого года?

Шел призыв. Все были одного года рождения.

Но как они отличались друг от друга! Одни плечистые, рослые, другие плюгавые, слабенькие, одни хохочущие, другие грустные, одни испуганные, другие отважные. И все-таки все они были похожи друг на друга.

Это было одно поколение.

Посреди зала стоял табурет, на него садились один за другим, по очереди. Толстая нарумяненная парикмахерша в белом халате мигом снимала машинкой густые, почти мальчишеские волосы. Неостригшихся не пропускали на медкомиссию.

Одни ребята опускались на табурет печально, пригорюнившись, другие с лихостью, махнув рукой — «эх, пропадай, моя головушка!»

Это была не просто стрижка в гигиенических целях — в этом было нечто символическое, бесповоротное.

И время от времени, довольно часто, уборщица сметала в общий огромный ком эти волосы — мягкие и жесткие, кудрявые и прямые, русые, черные, рыжие.

— Куда только их денут? — полюбопытствовал кто-то.

— Сапоги валять будут! — ответила парикмахерша лениво.

Все засмеялись.

Давно уже опустили маскировочные шторы и зажгли свет, военкомат заметно опустел, и парикмахерша, решительно сунув в чемоданчик машинку, заявила:

— Все! Больше не могу! Говорили, что меньше будет. Мне завтра с утра на работу...

Теперь стали пускать на комиссию прямо так, с шевелюрой. Алеша с Пашкой переглянулись, и Пашка подмигнул. Не то чтобы это их очень утешило, но все-таки приятно.

Наконец одними из последних вызвали и их. Алеша неуверенно разделся в углу и, ежась, мучительно стыдясь своей наготы и худобы и завидуя плотному Пашке, прикрывшись, подошел сначала к главному столу, а потом пошел вдоль длинной стены, и его по ходу взве-

шивали, измеряли рост, проверяли слух и зрение. Впереди него через все эти процедуры проходил Пашка, сзади еще какой-то парень — четко, размеренно.

Обойдя таким образом, вдоль стен, всю громадную комнату, Алеша опять оказался в том углу, где лежала его одежда. Он с облегчением оделся, получил опять свою повестку с пометкой, что был на комиссии, и услышал:

— Ждите распоряжения!

Они вышли с Пашкой на улицу. Ясно светила луна, было морозно. Они закурили (они только недавно стали курить открыто, не таясь, при матерях) и пошли к шоссе в надежде встретить попутную машину. Им еще нужно было добираться домой.

На другой день пошли в школу, но не к началу занятий, а часам к одиннадцати, книжки-тетрадки оставили дома. Шли не торопясь, мимо стандартных двухэтажных строений, потом спустились к реке и пошли по улице, которая называлась Поселок индивидуальных домов, вышли к реке и знакомой, петляющей между старыми березами тропинкой — в поле. Мела поземка, тропинку занесло, но она еще слабо угадывалась под снегом. Сначала впереди шел Пашка, затем на его место вышел Алеша, так шли они, меняясь, по очереди пробивая тропинку в снегу.

Директора не оказалось, он был на уроке. Они стали ждать. Директор Виктор Иванович был хороший, молодой. В финскую войну он был тяжело ранен, и теперь его в армию не брали. Когда в поселке был карантин и они жили в школе, он часто заходил к ним вечером, угощал папиросами — за разговором, как равный равных.

Он вошел, постучал белыми бурками, спросил:

— Почему не на занятиях? Что случилось?

Они протянули ему повестки.

— Вот, Виктор Иванович...

— Угу...

Он взял повестки, пробежал взглядом, повертел в руках, вернул.

— На завод хотите?

Остальные их одноклассники (их было-то всего четверо) жили здесь, в поселке имени Чапаева, и не толь-

ко учились, но и работали на заводе по четыре часа в день. И у них была броня.

— На завод хотите?

Они замялись, переглянулись смущенно.

— Сейчас я вам записку напишу.

Они знали, что и тех ребят устроил на завод Виктор Иванович, что заместитель директора завода его старый друг.

Виктор Иванович кончил писать, протянул записку, Пашка ее взял.

— Идите в контору, все будет в порядке. Ну конечно, перебраться нужно будет сюда, на хождения времени не останется.

— Спасибо.

Заводоуправление (в просторечье его называли конторой) помещалось перед заводом, на площади, вход туда был свободный. Это было оживленное место: подъезжали машины, входили и выходили люди, среди них и военные.

Алеша и Пашка замедлили шаги, остановились у входа, посмотрели друг на друга.

Они выросли рядом, каждый из них помнил другого почти с того же времени, с какого помнил себя, вместе они играли, вместе учились. Они понимали друг друга.

— Ну? — спросил Пашка неуверенно.

— Может, не пойдем?

— Давай!

Они повернули и пошли обратно, сперва очень медленно, потом нормальным, ровным шагом. И странное дело, они испытывали чувство, похожее на чувство облегчения, — решение было принято.

Они прошли мимо школы, не заходя туда, ничего не говоря о Викторе Ивановиче, миновали поселок, вышли в поле. Следы их уже затянуло снегом, и приходилось снова по очереди пробивать тропинку. Когда прошли половину, Пашка вспомнил:

— Давай записку посмотрим!

Они развернули и с любопытством прочли записку, которая могла так много значить в их жизни и которая теперь ничего не значила.

На миг Алеша почувствовал благодарность к Виктору Ивановичу, но сразу словно забыл о нем.

— Ну что, на память записку эту оставить? — спросил Пашка.

— Может, порвем?

— Давай!

Дома Алешу ожидало письмо отца — маленький помятый треугольник. Отец сообщал, что жив-здоров, что бьет немецко-фашистских гадов, и интересовался школьными успехами сына.

Через десять дней пришли повестки — с «вещами».

«...явиться в райвоенкомат к 10 часам утра, имея при себе смену белья и продукты питания на трое суток... »

А до этого они с Пашкой бездельничали, ходили в клуб по вечерам — в кино, на танцы, — и все.

Мать продала кофту, купила большую буханку хлеба, брус шпика, немного сахара. Зато было только начало месяца, и Алешина «ученическая» карточка оставалась почти на месяц для матери и бабушки, и он испытывал такое чувство, будто побеспокоился об остающихся женщинах.

За день до отъезда устроили нечто вроде проводов у девчонок, в Поселке индивидуальных домов. Сложились деньгами и талонами, а кое-что поставили сами девчонки.

Здесь были девчата, с которыми они когда-то учились и которые потом бросили учиться и пошли работать, и ребята, с которыми они учились, — теперь они тоже шли в армию, и другие, моложе, и совсем незнакомые.

На столе горели две керосиновые лампы — электричества здесь совсем не было, — в углу на тумбочке стоял патефон.

Алеша выпил (пили разбавленный, подкрашенный ягодой спирт) и увидел Ляльку, с которой они учились раньше, она ему давно нравилась, но он ей об этом никогда не говорил — как-то это было ни к чему. Он решил было сказать ей об этом сейчас, благо установилась какая-то удивительная, откровенная атмосфера, но раздумал.

В полумраке комнаты плакали девчонки, целовали ребят, не стесняясь окружающих. Звучал патефон, не-

которые танцевали, натываясь друг на друга, и их тени, колыхаясь, двигались по стенам.

Алеша встал, нетвердо пошел к выходу. В сенях Пашка целовал какую-то девчонку (в темноте Алеша не разобрал кого, не все ли равно!), прижимая ее к стене. Алеша вышел на крыльцо, постоял, как был, без шапки. Доски крыльца и снежок на них приятно поскрипывали под его ногами. Он замерз, вернулся в дом, налил себе полстакана, выпил. Рядом с ним села Антонина — раньше он ее видел всего несколько раз, — здоровая девка его роста, даже повыше, положила ему голову на плечо.

— Чего ж ты один, бедненький? Мне тоже налей!

Он встал, налил ей водки, она выпила, запила чем-то и сказала, почти не понижая голоса:

— Ох, кудрявенький, приходи ко мне. Знаешь, где живу? А то убьют, про баб ничего не узнаешь.

Она засмеялась и стала прикуривать над ламповым стеклом.

Он смутился, хотя никто и не слушал их, встал, начал заводить патефон, ставить пластинку.

Потом он одевался, долго искал шапку, его целовали девчонки, с которыми он когда-то учился. Пашки нигде не было, и он пошел один. Он шел по дороге вверх, поднимаясь к своему дому, что-то напевая, иногда останавливаясь, думая о Ляльке и Антонине, путая их. Он совсем не чувствовал себя пьяным. Кругом не было видно ни огонька, но было светло от снега.

На другой день, накануне отправки, они с Пашкой пошли в парикмахерскую.

Алеша уселся в кресло, посмотрел на себя в зеркало.

— Под машинку! Под ноль!..

Молоденькая мастерица провела ладонью по его мягким вьющимся волосам.

— Может быть, под полечку?

— Под машинку!

— Или под бокс?

— Я говорю — наголо!

Она вздохнула и стала стричь.

Потом он посмотрел на свою незнакомую круглую шишковатую голову, провел рукой по щетинке волос.

Они сами пришли стричься, они будто добровольно шли в армию.

Вечером, уже в темноте, он прошелся по поселку, постоял возле семилетки, где учился когда-то, возле клуба. Затем он вышел к фабрике и с замирающим сердцем, замедлив шаги, прошел мимо барака, где жила Антонина, повернул обратно и пошел уже совсем медленно, даже остановился у входа в барак, но заходить не стал — не решился.

На нем была старая ватная фуфайка, ватные брюки, сто раз латанные и подшитые валенки, на голове ушанка, ставшая слишком свободной. Он поднял свой мешок, чуть подпрыгнул, поправляя его на спине, увидел близкое, исказившееся от слез лицо матери, поцеловал ее, с трудом оторвал от себя, бормоча:

— Надо мне идти, опоздаем... вон уж Пашка зашел...

Поцеловал бабушку, она перекрестила его, чего никогда не делала, сказала: «Присели бы на дорогу», — но ее слов никто не слышал. Он опять поцеловал мать, опять с трудом оторвал от себя ее руки, крикнул Пашке, который снова прощался на площадке со своими: «Пошли!» — и сбежал по лестнице.

Военкомат снова был полон; в той большой комнате, где они проходили комиссию, пожилой лейтенант в очках выкликал кого-то по фамилиям, люди отходили в сторону, становились неровным строем. Выкрикнули и Пашку. Потом уже только им одним снова сделали перекличку. Кто-то сказал:

— Тех в училище!..

Лейтенант крикнул:

— Кого сейчас буду называть, строиться во дворе!.. Егорычев!

Теперь они с Пашкой поняли, что расстаются. Алеша подошел, они в спешке растерянно пожали друг другу руки, не думая о том, что видятся в последний раз.

За воротами военкомата было полно народу, играла гармошка, пели и плакали девчонки и женщины, какая-то пьяная девка плясала, платок ее съехал назад, волосы растрепались; бегали, кричали и свистели мальчишки.

Вся эта толпа двинулась к станции вслед за неровным, идущим не в ногу строем, забегая сбоку, обтекая и обгоняя его.

Стали грузиться в вагоны, провожающих к составу не пускали. Наконец погрузились, но поехали не сразу, опять долго чего-то ждали и двинулись неожиданно — паровоз коротко прогудел и тут же плавно тронул вагоны.

С неожиданно подступившей острой тоской Алеша напряженно смотрел на уплывающий назад, удаляющийся маленький районный городок. Начинало смеркаться, в вагоне было холодно.

Не сняв мешка с плеч, Алеша все смотрел и смотрел на белые поля, запорошенные леса, мелькающие будки обходчиков.

Поезд мчался вдаль, но Алеша думал не о том, что ждет его впереди, а о том, что он оставил за спиною.

3

Запасный, или, как все говорили, запасной, полк стоял среди степи — белой равнины, без возвышенностей и деревьев. Несколько казарменных старых зданий, обнесенных каменной стеной. Смотришь вдаль, и непонятно, где кончается степь, а где начинается смутное белое небо.

Дров здесь не было, угля тоже. Топили камышом, он хорошо горел, но его нужно было очень много. Ходили за ним всем полком.

Километрах в пятнадцати от расположения были плавни, и камыша там было сколько угодно. Его резали ножом, стягивали ремнем или веревкой и тащили на плечах этот сноп, легкий, но неудобный. Странное зрелище представлял из себя растянувшийся по дороге полк, со связками камыша на плечах, шелестящими под ударами ветра.

Если начинала мести пурга, то мела она пять-шесть дней кряду. Потом они день и ночь расчищали дорогу, иначе терялась связь с дивизией, им не могли подвозить продукты.

Запасать камыш и расчищать дорогу было их основным делом, на занятия времени уходило меньше. После такой работы Алеша Егорычев валился на нары и засыпал мгновенно, впрочем, как и другие.

После пурги началась оттепель, двор расположения был весь растоптан, валенки у Алеши были вечно мокрые насквозь и не высыхали за ночь. Но тут им выдали обмундирование — полтора месяца они проходили в своем, домашнем.

— Все правильно! — сказал старшина Богун. — Казенное на полтора месяца дольше пронесите. Разве на такую ораву напасешься?

Он говорил как хозяин, вернее даже как хозяйка, как мать большого семейства: «Разве на такую ораву напасешься?» — а сама старается, чтобы ходили деги «более-менее прилично».

Старшина Богун выдал, а писарь вписал Алеше в красноармейскую книжку: «Шинель — 1, гимнастерка хлопчатобумажная — 1, шаровары хлопчатобумажные — 1, рубаха нательная — 1, кальсоны — 1, шапка (слово «шлем» было зачеркнуто) — 1, ботинки — 1 пара, обмотки — 1 пара, портянки — 2 пары, ремень брезентовый — 1, перчатки — 1 пара».

Почти все «б/у» — «бывшее в употреблении», помятое, выцветшее, но еще прочное.

Вот ты и настоящий боец, Алеша!

Хотя обожди, еще не настоящий!

Занятия были тяжелые. Выходили за ворота в метель, тянули волокушу со старым «максимом». Командир отделения Лепиков кричал: «Бегом!» — они бежали, увязая по пояс в снегу, обливаясь потом. «Ложись!» — они с облегчением падали в снег. «По-пластунски вперед! Короткими перебежками вперед!»

Вскакивали, пробегали несколько шагов, падали на левый бок, переворачивались на живот и снова вскакивали, подтянув под живот правую ногу, наступая на полу шинели.

А на дворе полка строевая — одиночная — подготовка бойца.

— Кру-гом! Нале-во! На пле-чо! Отделенис... — Лепиков пяtilся, не отрывая от них глаз и бормоча: — Выше ножку, выше ножку... Стой! Раз-два! К но-ге! Отставить! Егорычев, ко мне! На пле-чо! Раз-два! К но-ге! Раз-два-три!

Алеша тоскливо, уныло смотрел на Лепикова и старался сделать все как надо — красиво и четко. А тот пяtilся, шуря глаза.

— Егорычев! Шагом... арш!.. Полы будешь мыть! Два наряда не в очереди (он так говорил вместо «вне очереди»)!

Только занятия по материальной части и политзанятия проводились в помещении. Но тут была другая беда. Отделенный или взводный говорит, а глаза слипаются, слипаются... И знаешь, что спать нельзя, да нет сил сдержаться, это происходит само собой.

— Егорычев, встать! Повторите!

Было два страшных, ни на секунду не оставляющих, гнетущих, сладких желания — спать и есть. Запасные полки снабжались по третьей, самой низшей норме.

Большой удачей считалось попасть в кухонный наряд. Дошла очередь и до них. В полутемном помещении около кухни сели чистить картошку. Картошка была мороженная, начавшая оттаивать, черная, скользкая; пока держал ее в руке, мерзли, заходились пальцы.

Но все же начистили и на котел и кастрюлю «для себя», поставили в сторонку, чтобы сварить попозже, вечером.

Потом Алешу и еще одного бойца послали за водой. Воду возили на верблуде. Верблюд, одногорбый, худой и унылый, был запряжен в сани, на санях стояли две бочки. С трудом подъехали к колодцу — кругом все заросло бугристым льдом, колодезный сруб едва над ним возвышался, так что, поскользнувшись, можно было легко упасть вниз. Второй боец стал крутить скрипучий ворот, вытащил наконец почему-то всего полведра, они перелили воду в другое ведро, а Алеша скользя, балансируя на льду, отнес и вылил ее в бочку. Вскоре их ботинки обросли льдом, полы шинели стояли торчком и гремели, как железные, двупалые перчатки почти не гнулись. Они все чаще менялись местами. Когда в конце концов они доверху наполнили обе бочки, оказалось, что сани примерзли ко льду. Верблюд после нескольких неудачных попыток рывком стронул их с места, часть воды выплеснулась, а Алешу, стоявшего с этой стороны, окатило.

На кухне было тепло, но не настолько, чтобы совсем раздеться, шинели и ботинки оттаяли, с них капало, валил пар. Алеша стучал зубами. На ужин была «шрапнель» — перловая каша. Им положили больше, чем

обычно. Дежурному по кухне Лепикову повар выдал целый котелок. Когда весь полк поужинал, выскребли котлы, перед тем как мыть их, и еще получилось три котелка, и еще досталось понемножку, потому что наряд был очень большой.

На завтра готовили пюре и поздно вечером сварили ту, «свою» картошку. Повар дал ложку комбижира — заправить.

Алеша уснул около котла, свернувшись клубочком, подтянув колени к груди. Разбудили их в четыре часа утра, пора было разводить огонь под котлами.

На обед был гороховый суп — как обычно, из пивного гороха. Это специальный сорт гороха, который подается в доброе время к пиву. Сколько ни вари этот горох, он не разваривается и навару не дает. Он сам по себе, а суп сам по себе.

«Дорогая мама! У меня все в порядке. Я нахожусь сейчас на учебе, чтобы потом лучше бить немецко-фашистских захватчиков. Учимся очень напряженно, и времени остается мало. Как ты живешь? Как себя чувствует бабушка? Интересно, что пишет Паша Замков? Узнай у тети Шуры. Есть ли письма от отца? Я забыл номер его полевой почты, пришли мне, пожалуйста, я ему напишу.

Обо мне не беспокойся. Целую тебя и бабушку.

Твой сын Алеша».

Как-то под вечер старшина Богун привел незнакомого бойца. Боец был постарше их, и привлекала в нем особенная не то чтобы лихость, а уверенность и естественная красота движений, свойственная людям, уже по-настоящему знающим армию, службу, чувствующим себя во всем этом как рыба в воде. Шинель на нем была необычная, табачного цвета, перетянута широким кожаным ремнем, а не брезентовым поясом, как у них, на ногах хоть какие, а сапоги — у них у всех были ботинки, — шапка в меру сдвинута на правую бровь, а на левом плече, не мешая, висит полупустой вещмешок. И чувствовал Алеша, что был он из той, другой, далекой от них, настоящей жизни, где была война, где были не запасные, а боевые, лихие полки и где была, наконец, не третья, а первая, черт возьми, фронтовая норма питания.

— Вот здесь, — сказал старшина Богун, — устраивайся. Вот здесь место есть на нарах.

— Порядок.

Он бросил вещмешок на нары, в голова, скинул шинель, стянул сапоги. Портянки у него так ловко были подвернуты, что не спадали, и он в них, как в носках, прошел к печке, опустился на корточки, взял охапку шуршащего камыша и, ломая, запихал в печку, сказав при этом: «Шумел камыш, деревья гнулись!» — потом повернулся к ним.

— Новости слышали? Немец под Сталинградом накрылся! И форма новая вводится — погоны. Слышали?

Принесли ужин. Полк был большой, помещение столовой было занято под жилье, и ели прямо в казармах, пристроясь кто где, на нижних и верхних нарах. До кухни было далеко, и, чтобы всем не ходить, еду носили в бачках на десять человек и разливали уже на месте по котелкам.

Принесли суп. Новенький засмеялся:

— Всякое видел, а такого нет. Суп на ужин! Надо же!

Командир отделения Лепиков взял половник, именуемый «разводящим», зачерпнул со дна, налил себе, отрезал толстый ломоть от общей полбуханки, остальное отодвинул от себя.

— Разбросайте!

Новенький привстал и, с виду совсем спокойно, сказал самому отделенному:

— Эй, обожди-ка, парень! — И к остальным: — Это что, всегда у вас так?

Кто-то осмелел, тихонько пробормотал:

— Надо старшине сказать или замполиту...

— Обожди, успеется. Я говорю, всегда у вас так? — Он взял котелок Лепикова и вылил суп обратно в бачок и хлеб положил к остальному. — Делите!.. Ну, тогда я сам разделю!

Лепиков сощурил глаза.

— Я взял сколько все, только первый. Как командир отделения. А ты не лезь со своим уставом в чужой монастырь...

— Здесь не чужой монастырь, а Красная Армия. А отделенных я видал, не ты первый!

Он разрезал хлеб, разлил суп.

— У кого напарника нет? Ну, давай с тобой.

Он поставил котелок на край нар перед Алешей, сел с другой стороны, еще возбужденный, зачерпнул.

— Суп из семи круп! Всегда так кормят? Ты ешь, ешь! Ну и порядочек! Да любой фронт в сто раз лучше!

— А... вы на фронте были?

— Чего ты меня на «вы» величаешь? Был. И в сорок первом был и после госпиталя был... Ну и супец! Тебя как зовут?

— Алеша.

— А фамилия?

— Егорычев.

— А я Авдюшин Николай.

Теперь они всегда ели из одного котелка и спали рядом — когда холодно, прижавшись друг к другу и укрывшись сразу двумя шинелями, а когда жарко, стараясь отодвинуться друг от друга. Они вместе ходили на занятия, и Николай ворчал, что сто раз уже проходил это, — правда, его особенно и не гоняли; Лепиков, может, и хотел бы, но у взводного и старшины были другие правила, — ходили вместе и в караулы и в другие наряды.

Говорили они о том, что сегодня на обед, далекий ли будет учебный «выход», чем лучше чистить оружие... Но хотя и говорили они только о таких обычных — правда, важных — вещах, они все более привязывались друг к другу.

Однажды Алеша увидел у Николая помятую, с поломанными уголками фотографию девушки, спросил, кто это, и очень удивился, услышав ответ:

— Жена.

Теперь изредка стали говорить о женщинах.

Николай говорил о женщинах легко, свободно, откровенно — даже о жене, и Алеше было иногда неприятно, хотя он и не перебивал Николая, а сам Алеша, рассказывая, сбивался, конфузился — да ему, собственно, и нечего было рассказывать.

Однажды ночью — они вдвоем дневалили — стали говорить о доме, и Алеше нестерпимо, до слез, захотелось домой — не к Ляльке и не к Антонине, не к Пашке, а домой, к матери, к бабушке, в комнаты, где он помнил каждую мелочь, и чтобы одновременно обязательно вернулся отец. Как бы все это было хорошо! Он, конеч-

но, верил, что когда-нибудь это и будет, но сейчас беспощадно понимал, что может быть это очень и очень нескоро и он сам уже будет совсем не таким, каким уходил из дому, и не таким, какой он сейчас.

А Николай сказал тихо:

— Хорошо бы, конечно, домой поехать, но, знаешь, по правде говоря, сильно я от Клавки отвык. Жил-то я с ней мало, пацан без меня родился. Вернусь — не знаю, как будет. Ты знаешь, подумаю иной раз: а может, у нее кто есть, тыловичок какой-нибудь? — и ничего! Надо бы не спать, зубами скрипеть, а я ничего! А раньше бы весь измаялся! Отвык я от Клавки...

Он говорил и тонко чувствовал, что Алеше не все понятно в его словах и что-то даже дико по молодости лет, но что он все-таки поймет его лучше, чем кто-нибудь другой.

Под пористым снегом была вода, проваливаться было очень неприятно, потом сугробы осели, прогнувшись, а потом снег сошел очень быстро, не то что в лесу, и земля быстро высыхала.

И покрылась степь никогда ими не виданными, редкой красоты цветами — тюльпанами. И не верилось, что это та же самая унылая степь, по которой таскали они гремящие охапки камыша, где падали в снег и ползли по-пластунски, где расчищали дорогу после метели.

Как-то были на «выходе», на учениях, и Николай проснулся на рассвете, встал и уже не стал ложиться. Ребята спали на земле, укрывшись с головой шинелями.

А из-за горизонта поднималось солнце. Оно поднималось быстро, ему ничто не мешало — ни дома, ни деревья. Оно было огромно и очень близко от Николая. И как все кругом, оно, казалось, было мокрым от росы. И красные, влажные сверкали тюльпаны.

И честное слово, не верилось, что идет война, и не где-то вообще, а по нашей земле, и не верилось, что вот он, Николай Авдюшин, наблюдающий в цветущей степи восход светила, попадал под бомбежку, вырывался из окружения, стрелял почти в упор в немцев, терял друзей, валялся по госпиталям, снова дрался и отступал, и снова стонал и бредил в душной ночной палате; что где-то далеко есть у него жена Клава и сын Миша, которого он никогда не видел.

Во все это не верилось, но все это было так.

Он подошел к спящим, нагнулся над Алешей и поправил шинель, хотя и так Алеша был укрыт хорошо.

Начали поговаривать, а потом и точно стало известно, что скоро они отправятся на пополнение других частей — не запасных, боевых, настоящих.

Перед этим приняли военную присягу. Не все, конечно, — Николай, например, принимал еще давно, до войны, да и младшие командиры почти все принимали.

Сперва хотели, чтобы присягу выучили наизусть, и стали учить. Алеша, разумеется, выучил за час, но были другие, которые никак не могли запомнить. Между прочим, это не значило, что они будут плохо воевать.

Решили читать по листку.

Присягу принимали на плацу девятого мая.

Алеша тоже, как все волнуясь, прочел вслух по листку — хотя и знал их наизусть — железные слова присяги. Потом подошел к накрытому красным столу, перехватил винтовку левой рукой, расписался. Оркестра в полку не было, но и так вышло достаточно торжественно.

Позже писарь вписал в красноармейские книжки: «Принял присягу 9 мая...»

Мог ли кто-либо из них предполагать, что этот день будет великим праздником?

Вот ты и настоящий боец, Алеша!

Хотя обожди, еще не настоящий!

Уезжали через несколько дней.

Получили сухой паек на дорогу и стояли уже во дворе, ждали команды строиться, чтобы идти за сорок километров на станцию. Хорошо, хоть попали вместе.

Николай увидал проходящего Лепикова.

— Остаетесь, товарищ сержант?

Тот сощурил глаза:

— Остаюсь!

— Молодое пополнение будете принимать? Обучать его будете?

— Давай иди, иди!

— Воевать не любите, товарищ сержант?

Лепиков повернулся, пошел.

Николай бросил вслед брезгливо, презрительно:

— Устроился, гад.

Воздушно-десантная бригада принимала гвардейское знамя.

Вчера приехав, они сегодня становились гвардейцами.

— С корабля на бал! — сказал Алеша.

Николай очень удивился:

— С какого корабля? — И, выслушав объяснение, присвистнул: — Надо же!

В небольшом городке, где стояла бригада, выстроились на стадионе, заняв гаревые дорожки и половину футбольного поля.

— Под знамя, смирно!

Вынесли знамя, и, преклонив колено, несколько тысяч человек повторяли вслед за грузным полковником слова гвардейской клятвы, и они, эти слова, как эхо, катились над стадионом.

Потом все поднялись, разом отряхнули колени и стояли вольно, а затем старший лейтенант — командир роты и лейтенант — командир взвода пошли вдоль строя. Рядом с ними шел сержант, они уже знали его фамилию — Карпов, и нес в вытянутых руках раскрытый вещмешок. Ротный брал из вещмешка гвардейские значки и вручал солдатам.

Николай и Алеша привинтили их друг другу на правую сторону груди. Значок был красивый — темно-красное, словно бархатное знамя с четкой надписью «Гвардия», под ним звезда, по краям золото — он немного напоминал орден Красного Знамени.

А потом — парад.

«...К торжественному маршу! Поротно! Дистанция на одного линейного! Первая рота, прямо! Остальные направо! Шагомм-арш!..»

Оркестр грянул марш, не захочешь — пойдешь. Они взяли на плечи свое противотанковое ружье — они были теперь в роте ПТР. Ружье было длинное, оно лежало на их плечах. Николай как первый номер расчета — впереди, Алеша — второй — сзади. Их связывала теперь эта грозная железная тяжесть.

Вот они «дают» уже строевым, скосив глаза направо, на знамя, на командование бригады.

— Хорошо идете, бронебойщики!

И они отвечают под левую ногу:
— Служим! Советскому! Союзу!

Вечером, когда они ужинали — на ужин была рисовая каша с тушенкой, — Алеша сказал:

— Полк этот запасной как дурной сон вспоминается. Правда?

Николай засмеялся:

— Еще бы!

Стали изучать парашют ПД-41 — купол, стропы, подвесная система, тренироваться — прыгать на землю с четырехметрового трамплина, не с парашютом, конечно, просто так.

Командир взвода, москвич, молодой, но уже воевавший и раненный, говорил:

— Нужно хорошо свое дело знать, очень хорошо знать то, что делаешь. Материальную часть знать в совершенстве. Ясно? Это еще Суворов говорил, что солдат должен знать свой маневр. Ясно? Еще важна и привычка, навыки. Это с опытом приходит. На фронте, например, надо исполнять определенные правила, иначе погибнешь сразу ни за грош. Ясно? Как, скажем, в большом городе, вот у нас в Москве, нужно знать правила уличного движения. Перешел улицу, а там еще трамвай или левый поворот. Провинциал мечется, а москвич идет спокойно, многое инстинктивно делает. Он уже приобрел навыки, у него точная реакция. Ясно? Вот и при прыжке с парашютом то же самое. Знание, хладнокровие, расчет! А теперь можно покурить. Разойдись!

Алеше очень понравился лейтенант.

Подошли к аэростату, влезли в его корзину — Николай, Алеша, третий номер их расчета маленький Колотиллов и парашютист-инструктор. Сели, посмотрели друг на друга.

Дали команду, и аэростат вознесся ввысь с такой прытью, с такой неожиданной легкостью, что они ахнули. Он взлетел стремительно, как воздушный шарик, вырвавшийся из рук малыша, — голубому пространству, которое его влекло, было безразлично — детский шарик это или аэростат.

Сверху открывался большой кругозор, как с балко-

на, скорее как с площадки, которые бывают на высоких старых башнях или на пожарной каланче, — обзор на все четыре стороны. Только этот балкон, эта площадка все время поднималась и поднималась, заставляя быть собранным и напряженным.

Вдруг аэростат резко мотнулся в сторону, как, бывает, воздушный шарик или воздушный змей, — почти горизонтально, потом опять вверх. Наверху был ветер, сильный ветер. Корзина стала раскачиваться.

— Приготовиться! — сказал инструктор.

Первым прыгал Алеша. Не потому, что он был самый смелый, а потому, что он вошел в корзину последним, просто так получилось. Теперь он стоял, держась за бортик, не глядя на Николая.

— Пошел!

Алеша помедлил всего мгновение, а потом, судорожно глотнув воздуха, перепрыгнул низенький порожек и разом исчез, ухнул вниз, как в прорубь.

— Молодец! — Николай встал, подошел к раскрытой дверце.

Корзину сильно раскачивало.

— Пошел!

Николай прыгнул не как следовало — ногами вниз, а как плохой пловец, упал вперед, плюхнулся животом на тугой, ощутимо движущийся воздух. Он полетел так, ничего не помня, ожидая удара, но тут его дернуло вверх, будто кто-то схватил за шиворот, — это над ним раскрылся белый перкалевый купол.

Ветер был сильный, Николай болтался на стропях, как маятник, но не обращал на это внимания: «У земли затихнет!»

Он не видел, как идущий следом Колотилов не захотел прыгать, стал цепляться, как инструктор ловко оторвал от бортика его пальцы, и Колотилов, тихонько вскрикнув, оборвался вниз, и над ним тоже распустился купол: он раскрывался автоматически — принудительное раскрытие.

Николай посмотрел вниз. Ниже его и впереди по движению опускался Алеша.

— Алеша! — крикнул Николай.

— Ага!

— Как дела?

— Порядок!

Еще не один раз ему случится прыгать вот так

вслед за Алешей и с удовольствием спрашивать в воздухе: «Как дела?» — и с удовольствием слышать: «Порядок!»

Ветер был сильный, их отнесло километра на полтора, там уже сидели, собрав парашюты, и курили прыгнувшие раньше их ребята.

Занимались много: и прыжки, и матчасть, и длинные, изнурительные «выходы», и стрельбы.

Алеша слегка побаивался стрелять из ПТР, остерегался отдачи. У винтовки и то отдача сильная, а тут такая махина — как даст в плечо. И он срывал спусковой крючок, нажимал не плавно, а резко, ствол сдвигался, все прицеливание шло насмарку.

Командир отделения Карпов заметил это,

— Егорычев, крючок срываешь!

— Я не срываю, товарищ гвардии сержант!

— Давай на огневой рубеж!

Алеша лег, прицелился, а потом, невольно зажмурившись, дернул крючок. Послышался сухой щелчок, выстрела не последовало.

— А оно не заряжено, — сказал Карпов, очень довольный своей хитростью. — Теперь сам видишь, что срываешь! Повторить!

Алеша уходил с огневого рубежа, опять возвращался, усталый, мокрый, пока другие отдыхали в тени. Теперь, когда ружье было не заряжено и отдачи быть не могло, он плавно нажимал пальцем на спусковой крючок.

— Плечо, плечо сильнее прижимай к прикладу.

Другие снова стали стрелять по мишеням — макетам танков. Алеша подошел, должно быть в тридцатый раз, лег, тщательно прицелился, плавно потянул крючок. Выстрел грохнул неожиданно. Пока он уходил с рубежа, Карпов зарядил ружье.

Сейчас он оторвал от глаз бинокль.

— Есть попадание!

Они стояли в строю на опушке леса, а перед ними на траве стояло на двух своих железных ножках новое противотанковое ружье.

— Получаем новое оружие, — говорил лейтенант, прохаживаясь вдоль строя, — более совершенное, более мощное. Ясно? Противотанковое ружье системы

Симонова вместо системы Дегтярева, которое было у нас на вооружении до сих пор. Ясно? Новое ружье имеет более совершенный дульный тормоз, лучше амортизирует, специально для вас, Егорычев. Оно тяжелее, но разымается на две части — ствол и коробку. — Он показал, как это делается. — Ясно? Это удобно в походе. Колотиллов, покажите, как разымается ружье. Правильно, становитесь в строй! Главное же в том, что оно, в отличие от однозарядного дегтяревского, пятизарядное. Ясно? На что похожа магазинная коробка этого ружья?

— На СВТ!

— Правильно, Авдюшин. Молодец! Но самозарядная винтовка Токарева часто отказывала — это ружье действует хорошо. Сейчас получим у старшины ружья, очистим от заводской смазки — и на занятия. Ясно?

Пришло на новый адрес письмо от Клавды и фотография — она держит мальчика, серьезного, с напряженным взглядом. Николай долго смотрел на карточку, качал головой:

— Надо же! Похож? Снимусь, им фото вышлю...

На обороте письма карандашный контур — детская рука с растопыренными пальчиками и приписка: «Вот какая ручка у нашего Миши».

Николай засунул письмо в бумажник — надо было идти в наряд — и словно забыл о нем.

Через неделю он проснулся ночью в землянке от острого, как боль, тоски по жене и сыну.

...Совершили учебный групповой прыжок с самолета, приземлившись, разыскали ПДММ (парашютно-десантный мягкий мешок, сбрасываемый на грузовом парашюте) со своим ружьем, отрыли окопы, вскоре опять поднялись, марш-бросок через лес километров двадцать. Кроме десантного рюкзака, лопатки, противогаса, фляжки, финки, автомата, плащ-палатки (горе, если это плохо подогнано!), ствол и коробка (она вдвое легче ствола) противотанкового ружья. Они несут их по очереди — три номера расчета. Маленький Колотиллов с коробкой отстает. Сержант Карпов выхватывает ствол у Николая — у самого Карпова нет ружья, он командир отделения. Карпов кричит:

— Помоги Колотиллову! Где коробка?..

Ствол без коробки не оружие. Николай бежит об-

ратно, крикнув Алеше: «А ты — вперед!» — видит Колотилова, который плетется по лесу, хватая коробку, бежит, хрипя: «За мной!»

Колотилов не может поспеть, снова отстает, а Николай догоняет своих, передает коробку Алеше. Ворота у Николая распахнут, пилотка в кармане, грязный пот течет по лбу.

— Шире шаг! — командует лейтенант.

На опушке остановились, долго не могли отдышаться.

Снова лейтенант расхаживал перед строем.

— Вы бронебойщики! Ясно? Танки должны вас бояться, а не наоборот. Вы видите все, обзор из танка ограничен; вы можете зарыться в землю, а он нет! Чем ближе вы к танку, тем вы страшней для него, а не он для вас! Ясно? Объясняю задачу.

Они попрыгали в окопы, приготовленные здесь, вблизи леса, настоящие окопы в полный профиль со стенками, обшитыми тесом.

И тут они услышали рев. Рев моторов. И Алеша увидел, как вдали, метрах в трехстах, из лесу выходят три танка. Они шли совсем медленно, верхние люки были открыты, и Алеше был виден танкист в шлеме, возвышающийся над башней. Но вот он исчез и опустил за собой крышку люка. Танки резко прибавили скорость.

— Бронебойными огонь! — Это кричал лейтенант.

Николай, вжавшись плечом в приклад, нажимал на спуск, но выстрела не было — как тогда у Алеши на стрельбище, — только сухой щелчок: ружье было заряжено даже не холостыми — учебными патронами. Алеша помогал перезаряжать.

Они смотрели на приближающиеся танки, и каждый видел свое: Алеша видел наши танки со звездами, нашего танкиста в шлеме, закрывшего люк, комбата, ротного, начальника штаба, стоящих в стороне, а Николай — далекий день, шоссе, танк, оскользнувшийся на булыжнике, болото, упавшего Мылова, грязное рябое лицо Музыкантова.

Танки били из пулеметов. Они были совсем уже рядом, это уже не было похоже на игру.

— Ружье! — крикнул Николай.

Алеша, нагнув голову, потянул за ножки, схватился

за ствол, они втянули ружье в окоп, бросили на дно. Что-то страшное, черное, пахнущее горячим железом и бензином, закрыло свет, осыпая на них землю, с ревом прошло над головой. Николай быстро приподнялся, вытащил из ниши деревянную болванку в виде противотанковой гранаты, метнул в прошедший танк. Болванка упала на танк сзади, там, где бензобаки, и скатилась вниз.

«От-бой!..» — пропела труба.

Они, еще не опомнившись, перемазанные землей, вылезли из окопов. На их место подошла другая рота — проходить «утюжку» в траншее. Танки были уже на исходных.

Расчету Авдюшина командир роты объявил благодарность.

Слова «красноармеец», «боец» вышли из употребления. Говорили «солдат», а официально «рядовой». Как приятно было докладывать:

— Гвардии рядовой Егорычев.

А Николаю присвоили звание младшего сержанта.

— Гвардии младший сержант Авдюшин.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Можно сходить сфотографироваться?

— Зачем?

— Ну как? На память...

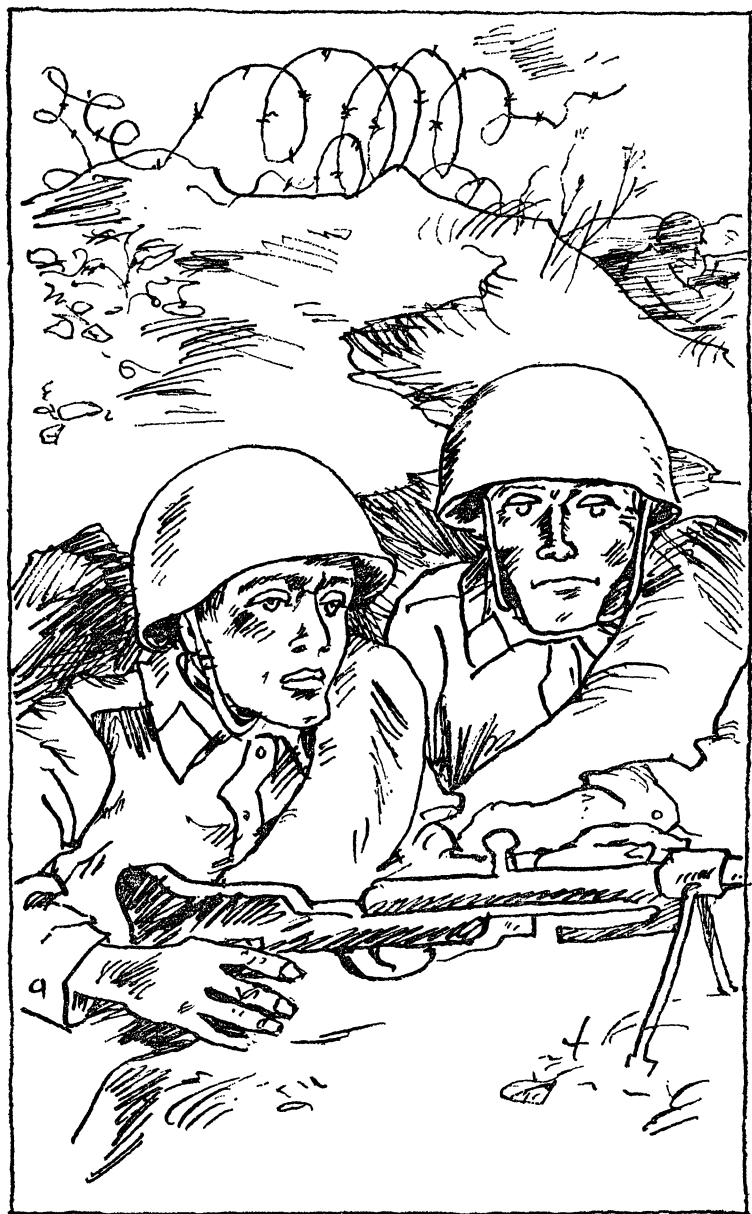
— Хочется иметь собственное изображение? Идите.

Они подошли к будочке у входа на рынок. Нет, им не надо никакого рисованного фона. Фон гладкий и все! Это сказал Алеша. Размер? Девять на двенадцать.

Они стояли рядом, почти касаясь друг друга плечами, как много раз стояли в строю. У обоих чистые подворотнички. У одного две лычки на погоне, у другого погоны гладкие. У обоих на правой стороне груди гвардейский значок, а рядом не менее почетный знак — синий парашютник. У обоих на ремне левее пряжки — финка (положено!): у одного с наборной ручкой, у другого с простой. У обоих ботинки и обмотки на ногах (давно развалились у Авдюшина сапоги), но этого не видно, диванчик загораживает их ноги.

— Все? Когда будет готово?

И в разные места пошли два письма, не треуголь-



нички, пришлось клеить конверты, и лежали в них две одинаковые фотографии, и стояли на конвертах фамилии двух женщин — Авдюшиной и Егорычевой.

5

Уехали совершенно неожиданно и для маленького городка, где стояли, и для себя. Получили приказ, а на-завтра уже подан эшелон. Перед отправкой уложили свои парашюты, так что куда едут — сомнений не было.

Стучат колеса, мощно идет эшелон. Раскрыты обе двери, и приятный сквозняк гуляет по вагону. Все дальше идет эшелон, чтобы удобнее было десантироваться, все ближе к врагу, чтобы меньше было лететь.

Лейтенант сказал:

— При десантировании разное бывает, могут все эти каптерки и канцелярии пропасть. Нужно чтобы каждый знал на память домашние адреса всех остальных солдат из своего отделения, всех своих товарищей. Пока едем, выучить. В двадцать ноль-ноль командирам отделений доложить! Ясно?

И началось: Москва, Арбат, 12, квартира 22... Дмитриев... село Уклоново, Вышнерецкого сельсовета, Колобковского района... Карпов... город Арзамас... Колотиллов... город Лисогорск, улица Челюскинцев, 14, квартира 3... Авдюшин... Воронеж... деревня Кустовка... Хабаровск...

А поезд все шел и шел...

Подъезжали к большой узловой станции. Поезд замедлил ход, и было непонятно, остановится он или про-тянет мимо на такой скорости. Они все стояли у двери вагона и смотрели — на соседнем пути остановился другой эшелон, он тоже, судя по всему, шел на фронт, только, наверно, не в том направлении, а может, и в том же самом. И солдаты с того, другого эшелона, стоя в вагонах или внизу, около них, смотрели на этот медленно катящийся состав.

Неизвестно, непонятно, как взгляд Николая наткнулся на высокого сутуловатого человека, стоящего внизу у вагонов. Он стоял спиной к проходящему поезду, но Николай мгновенно почувствовал, понял, вспомнил, что где-то встречал его, где-то видел эту сутуловатую спи-

ну. Сверху Николаю были видны лейтенантские погоны на плечах человека, и это как будто мешало ему вспомнить что-то до конца.

— Лейтенант! — крикнул вдруг Николай срывающимся голосом.

Тот обернулся, и Николай увидел знакомое, такое близкое, что он сам поразился, загорелое рябое лицо и недоумевающий, ищущий взгляд.

— Музыкантов!

Он увидел Николая и всего одно мгновение не понимал, кто это.

— Авдюшин!

А в это время машинист передвинул рычаг, кочегар подкинул угля в топку. Поезд плавно, но сильно прибавил ходу, стало ясно, что он здесь не остановится.

В степи, в небольшой роще, которая маскировала их, они отрыли неглубокие землянки и ждали приказа, летной погоды.

— Сидим у неба и ждем погоды, — сказал Алеша.

Параюты их были уложены, противотанковые ружья, боеприпасы, а также пулеметы и минометы из других рот были упакованы в ПДММ. Все было готово. И они жили в напряженном ожидании: ложась вечером, они не знали, что ждет их завтра. И в душе у Алеши жила тревога, но вместе с ней ясная уверенность в том, что все окончится хорошо — с ним во всяком случае.

Поодаль стояло несколько белых мазанок, слышались женские голоса, но там расположился штаб, комендантский взвод, и соваться туда не имело смысла.

Объяснили задачу, и взводный напомнил:

— Кроме немцев, там две дивизии власовцев. Так что если кто и говорит по-русски, это не значит, что он наш. Ясно?

Стали прибывать «дугласы». Сначала один сделал круг и пошел на посадку, ему выложили букву «Т» — посадочный знак, — он плавно, как лыжник с горки, съехал на равнину, подрулил к тополям, стал под ними.

За ним второй, третий, четвертый.

Около белых мазанок появились летчики. Они были словно из другого мира, эти аристократы войны, в своих кожаных куртках, шлемах, унтах, с висящими ниже колен большими планшетами, Николай и Алеша

пошли туда, к хаткам, и Алеша заворуженно смотрел на летчиков. Один из них, совсем молодой, сняв шлем, сидел на каком-то ящике и пил молоко из кринки.

— Хочешь молока? — спросил он Алешу и, когда Алеша отказался, допил все.

Подошел другой, постарше, и угостил их папиросами. Не табаком, а настоящими папиросами «Қазбек». Какого звания были эти летчики, неизвестно, потому что были они в кожаных куртках без погон, но, конечно уж, офицеры.

— Ты посмотри, какой подсолнух, — сказал старший летчик, — как блюдо все равно. Надо бы Валерке привезти...

— А у вас сын? — спросил неожиданно Алеша. — Вот и у младшего сержанта, — он кивнул на Николая, — сын...

— Да, сын, — ответил летчик, не заинтересовавшись сыном Николая, — сын у меня, Валерка. У нас, у летчиков, многие так сыновей называют — Валерий. В честь Чкалова...

Стало вечереть. Подъехали грузовики с обмундированием. Что еще такое? Ротный вскочил на машину, стал наверху, в кузове, расставив ноги.

— Слушать внимательно! Всем известно насчет вла-совцев? Сейчас получите ватное обмундирование — брюки и фуфайки. Во всей нашей оперативной группе, начиная от рядового и кончая генералом, не будет ни одного человека в шинели. Все слышат? Ни одного нашего человека в шинели! Если кто-нибудь в шинели будет кричать: «Свой!» — или что еще, бей без разговору: это враг! Получить новое обмундирование!

— Ясно? — крикнул взводный.

Надели все новое, шинели побросали в грузовики. Получили свои парашюты. Надели десантные рюкзаки, тяжелые, в них продукты, боекомплект, гранаты — все хозяйство. Сверху, на спину, — парашют. Впереди, на животе, запасного парашюта нет — при боевом прыжке не положено. Со всем этим стоять на ногах тяжело, легли на бок, единственно удобное положение, — стали ждать.

Совсем стемнело. Они лежали молча, ждали, ни о чем не думая. Карпов начал рассказывать, непонятно к чему, об одной девчонке, любившей его. Она была

дочкой начальника ленских золотых приисков, и если бы он ответил ей взаимностью, то тоже был бы сейчас большим начальником, была бы у него броня, но он честный человек и уехал оттуда. А девчонка решила его разыскать...

Карпов явно врал, и чем дальше, тем больше, но никто не пытался опровергнуть его и вывести на чистую воду.

На земле было очень тихо, потом взревел заведенными моторами первый самолет.

Старшина принес спирт, его как-то разливали в темноте по кружкам. Николай сунул Алеше кружку и сухарь. В кружке было мало. Алеша выпил разом, пожевал сухарь.

Потом лейтенант подал команду, они встали и пошли, и шли довольно долго, подошли к самолету, остановились, натыкаясь на передних. Лейтенант побежал что-то выяснять, они ждали, затем он вернулся, и они стали подниматься в самолет по трапу.

Они сели на две длинные скамьи, идущие вдоль самолета, друг против друга. Горела синяя лампочка, и лица их были неприятного, странного цвета. Кто-то крикнул снизу, снаружи:

— Счастливо!

— Спасибо! — ответил лейтенант.

Двери закрыли, зашумели моторы, сперва один, потом второй, самолет слегка задрожал, все громче ревя моторами. Потом он двинулся с места, стал разгоняться, но они знали, что это был еще не настоящий разгон, он замедлил движение, остановился, вырубив на старт, и вот теперь стал разгоняться по-настоящему, затем он оторвался от земли и сразу же немного провалился вниз, словно его потянуло обратно, словно он не хотел расставаться с землей. Но тут же резво пошел вверх.

Они долго летели, сидя в синем полумраке, глядя на странно освещенные лица товарищей и ничего не говоря, потому что в реве моторов ничего нельзя было услышать. Прямо против Николая сидели Карпов и Колотиллов. Карпов сидел твердо, положив руки на колени и хмурия брови. Колотиллов ерзал на месте, то жмурился, то вновь открывал глаза, то опускал голову, то задирал ее, касаясь затылком парашюта.

Алеша сидел рядом с Николаем, справа от него. Они касались друг друга плечами, как в строю, как на том снимке. Николай покосился на Алешу. Тот задумчиво смотрел на Карпова, но, должно быть, не видел его.

Они не знали, сколько они летят, но Николай чувствовал, что скоро они будут на месте. Один раз за бортом самолета возникло несколько лопающихся и свистящих звуков, и Алеша вопросительно глянул на Николая, но тот сидел так же неподвижно.

Потом резко зазвучала сирена, и тут же замигала у входа в штурманскую кабину красная лампочка — «приготовиться!»

Они встали и повернулись направо — в затылок друг другу, будто стояли в очереди. И Николай стоял следом за Алешей. Открыли обе двери, на обе стороны. Там, за дверьми, был мгlistый рассвет, что-то серое — не то дым, не то облака.

— Пошел!

Очередь двинулась, и уже первые исчезли в мутных проемах дверей. Лейтенант стоял спиной к пилотской кабине и, как регулировщик, делал отмашки — направо, налево, направо, налево. Скорей! Скорей! Скорей!

Полетели вниз ПДММ с противотанковыми ружьями — в одну дверь. А в другую уже Алеша делает короткий шаг и вылетает наружу, и Николай следом выходит в ту же дверь, видит мутное серое небо — не то в облаках, не то в дыму разрывов — и окунается в него. Несколько мгновений спустя он уже сидит на лямках подвесной системы, слышит пальбу внизу и видит недолго, ниже и правей, спускающегося Алешу.

«Алеша! Как дела?» — хочет крикнуть он, но не решается, будто кругом тишина и на земле могут услышать его. Внизу стреляют, и он опускается, высвобождая автомат.

Алексей Егорычев ехал из госпиталя.

Держа под рукой вещмешок с сухим пайком, он курил, шурясь от табачного дыма, и посматривал в окно. Он ехал в вагоне, который почему-то назывался «классным» — наверное, просто в отличие от теплушек, — в битком набитом вагоне, и слушал разговоры, и рассказы, и рассуждения о положении на фронтах. И говори-

ли об этом люди — старики, мальчишки и инвалиды — обстоятельно, уверенно, убежденно.

— Давно переключили задний ход на передний! — сказал парень в шинели с засунутым в карман левым рукавом.

За время, которое провел Алеша в госпитале, у него порядочно отросли волосы — удалось уберечься от стрижки, — они уже не просто топорщились, а слегка вились, мягкие, волнистые.

Справа на гимнастерке были у Алеши гвардейский значок и парашютный значок, а слева — орден Славы III степени и медаль «За отвагу». Они висели на колодках и, когда Алеша двигался, чуть-чуть позванивали.

Вот ты и настоящий солдат, Алеша! Ничего не скажешь!

Стучали колеса, какая-то старуха говорила парню с одной рукой:

— Ничего, милый, мне в Лисогорске слазить, ты мою полочку и занимай!

Алеша повернул голову.

— В Лисогорске?.. Что там такое, в Лисогорске? Лисогорск... Лисогорск... Лисогорск...

И память выбросила ему на поверхность: идет эшелон, они учат адреса товарищей... Лисогорск, улица Челюскинцев, 14, квартира 3, Авдюшин...

Алеша снова скрутил сигарку, жадно затянулся, закашлялся.

Когда он, Лисогорск? Скоро?

Теперь он, не отрываясь, смотрел в окно. И хотя пейзаж нисколько не переменялся — те же сосны и ели, — он представлялся Алеше важным, полным глубокого значения. Это были окрестности города Лисогорска.

Поезд миновал будочку обходчика, переезд с опущенным шлагбаумом, поплыл вдоль перрона, заполненного людьми, страстно жаждущими сесть на этот переполненный поезд. Алеша увидел черные по белой жести буквы ЛИСОГОРСК и вдруг, схватив мешок и шинель, стал пробиваться к выходу.

— Дай-ка пройти, слышь! Дай-ка сойти сначала, кому говорю! — И вырвался-таки на платформу.

Он надел шинель, запоясаясь, сдвинул пилотку на правую бровь, небрежно бросил вещмешок за левое

плечо, вышел в город на грязную привокзальную площадь.

— Где тут улица Челюскинцев?

Он подошел к дому. Кажется, это был номер 14. Собственно, вся улица была из одинаковых стандартных домов. Они были похожи на его, Алешин, дом, только тот был бревенчатый, а эти оштукатурены снаружи. Правда, во многих местах штукатурка осыпалась, а там, где она сохранилась, она была грязная, в пятнах и потеках.

Около подъезда, сидя на корточках, играл мальчик, совсем маленький. Алеша спросил все же:

— Э, герой, этот дом номер четырнадцать?

Мальчик поднял на него темные глаза и молча кивнул. Что-то — он не мог понять что—заставило Алешу остановиться.

— Тебе сколько лет?

— Тли.

Алеша тоже опустился на корточки, задохнулся.

— Как зовут?

— Миса.

— А фамилия?

— Авдюсын.

Молодая, очень молодая женщина выскочила на крыльцо, спросила прерывисто:

— Вы к кому?

Он поднялся.

— Вы Клава?

В углу на тумбочке стояла в рамке фотография — они с Николаем. Стоят, касаясь друг друга плечами, как в строю или как в самолете. У обоих чистые подворотнички. У одного две лычки на погоне, у другого погоны гладкие. У обоих на груди гвардейский значок, а рядом парашютик.

А за фанерной стенкой шумит рынок, светит солнце.

...Он осмотрелся. Кровать, маленькая кроватка для мальчика, стол, тумбочка, коврик и зеркало на стене, снимки. Швейная машина.

Клава сказала:

— Мама умерла, брат мне прислал машину...

Она с заплаканными глазами накрывала на стол, принесла неизвестно откуда бутылку, подала огурцы, капусту.

— Погодите, погодите! — начал Алеша.

Она поняла:

— Ну что вы! Теперь ведь легче стало...

Он достал из мешка хлеб, тушенку, сахар — свой дорожный сухой паек.

— Не надо, не надо, вам еще ехать! Наливайте.

Он налил ей и себе в граненые стопки.

Она вздохнула:

— Ну, чтоб все было хорошо! — Выпила и опять коротко всплакнула.

Он выпил, и его залила волна жалости и нежности к ней, такой молодой и милой.

— А вас, Алеша, тогда же ранило?

— Нет, меня когда уж ранило! Вместе с лейтенантом! А тогда страшный бой был. Ружье мы свое не нашли. Сбросили его неизвестно куда. Нас минометным огнем накрыли. Много тогда ребят полегло. Мы потом с Карповым танк подбили. Нашли ружье, не знаю уже чье. Я из ружья, а он еще гранатой его приложил. Ну ладно, выпьем!

Он ослаб в госпитале и сейчас быстро захмелел и неожиданно стал рассказывать о себе, о своем поселке, о том, как он уходил в армию, о Ляльке и об Антонине, и она слушала его серьезно и внимательно, глядя на него заботливо и нежно, и так же серьезно и внимательно слушал его мальчик.

Стемнело. Она зажгла свет — здесь и с самого начала не было маскировки. Она уложила Мишу, и они долго еще сидели у стола и разговаривали.

Потом она сказала:

— Я вам сейчас постелю на кровати, а сама на полу лягу.

Он запротестовал:

— Почему? Я на полу!

— Нет, нет, вы еще на полу да на земле налегите.

Она постелила ему и вышла, он разделся, лег. Она, войдя, погасила свет, он напряженно слушал, как она раздевается. Он долго прислушивался, лежа с открытыми глазами, время от времени ровно дыша, притворяясь, что спит. Он отоспался в госпитале и теперь мог не спать. Но постепенно сказалась усталость и выпитая водка, и его сморил сон. А она еще долго не спала, глядя в темноту широко раскрытыми глазами.

Когда он проснулся, она уже встала и возилась на кухне. Он умылся, сел за стол, они встретились глазами, и он подумал: «Дурак я, дурак».

С Мишей на руках она пошла провожать его на станцию. Потом она устала, и Мишу нес он. На станции купил ему красного сахарного петушка на палочке, а она говорила:

— Ну зачем же? Ведь дорого очень...

Показался вдали поезд, и опять зашевелилась, зашумела толпа, страстно желающая сесть на этот переполненный поезд, и охрипшие, огрубевшие, одуревшие проводницы готовились, не надеясь на успех, отразить этот натиск

— Ну, я поехал, — сказал он, и они неожиданно просто, без колебаний, расцеловались.

— Кончится война, я приеду.

Она снова коротко всплакнула и, держа на руках Мишу, смущенно улыбаясь, быстро-быстро закивала головой.

7

Они ехали в Германию, в Группу советских войск. Сначала они не знали куда едут, видели только, что на запад, потом миновали Брест, быстро пересекли всю Польшу, переехали через Одер.

Выгрузились из эшелона. Они служили в армии уже два месяца. Они были в шинелях и шапках, потому что в Союзе войска уже перешли на зимнюю форму одежды, а здесь было еще тепло, и наши, встречавшие их, были еще в пилотках.

Погрузились в машины, поехали по выпуклому, блестящему от мелкого дождика асфальту через маленькие, словно игрушечные, городки, мимо зеленых, лишь кое-где тронутых желтизной рощ.

Около контрольно-пропускного пункта загремел маршем встречающий их оркестр. Они въехали внутрь, построились на плацу.

— Смирно! Равнение на середину!

Миша Авдюшин, стоявший в первой шеренге, увидел, как из красного кирпичного дома вышел высокий моложавый генерал, а вместе с ним полковники и другие офицеры.

Генерал подошел поближе, приложил руку к козырьку.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ генерал! — дружно ответили они, и это звучало, как а-а-а-а!

— Вольно! — бросил он негромко.

И сразу несколько звонких голосов донесли до всех:

— Вольно! Вольно!

— Товарищи! — начал генерал негромко, но было слышно каждое слово. — Вы прибыли в Группу советских войск в Германии, на один из самых ответственных рубежей. Вы будете нести свою службу далеко впереди наших пограничных застав и постов. Это почетно, и это накладывает на вас особую ответственность. И еще одна важная особенность. Вы пополнение рождения тысяча девятьсот сорок первого года! Вы родились в суровый, страшный год, когда мы отступали с жестокими боями, когда мы вырывались из окружения, теряли друзей и близких. И отцы многих из вас сложили свои головы в борьбе за свободу нашей великой Родины, за вашу свободу.

В тот тяжелый год мы верили в победу, но мы не думали, что вы, дети, рожденные тогда, будете в рядах нашей армии служить здесь, на немецкой земле, освобожденной от фашизма.

Мы верим в вас, солдаты тысяча девятьсот сорок первого года рождения! Я желаю вам отличной службы, больших успехов в боевой и политической подготовке, счастья в личной жизни вам и вашим близким. Ура!

— Ур-р-а-а-а! — покатилося над строем.

Однажды в воскресенье — уже весной — они поехали на экскурсию в близлежащий городок. Они без строя шли по площади, у старшины был аппарат, и он фотографировал их на фоне памятников и разных красивых домов с башенками и говорил:

— Карточки только тем, кто заслужит!

Прошли куда-то попарно — наверно, тоже на экскурсию — маленькие немецкие ребятишки, замахали руками, закричали по-русски:

— Дружба! Дружба!

Старшина их тоже сфотографировал.

Потом вышли еще на одну площадь, там расстилался яркий зеленый газон, темнели аккуратные дорожки,

и посредине стоял обелиск с надписью: «Слава героям Советской Армии, которые в самые последние дни войны отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма».

А за этим обелиском были маленькие каменные плиты с выбитыми на них именами.

Миша Авдюшин вместе с другими ходил по тропинкам около этих плит, читая про себя, а иногда произнося вслух фамилии лейтенантов, сержантов, рядовых, когда-то давным-давно погибших здесь, в бою за этот чистенький, вымытый городок.

— Пошли к машине! Ехать пора! — произнес кто-то из солдат.

Но Миша не слышал. Он стоял над плитой, на которой было выбито: «Гв. сержант Алексей Егорычев. 7.V.45 г.»

Миша стоял над этой плитой, мучительно сдвинув брови. Оно было очень знакомо, это имя. Миша много раз его слышал, но сейчас почему-то не мог вспомнить, где и когда, но он знал и чувствовал, что просто случайно не может, что вспомнит это обязательно и очень скоро; может быть даже сегодня, может быть, даже сейчас.

— Авдюшин, строиться! — крикнули от машины.

1962

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ

1

Алексей Степанович Дроздов собирался на строительство металлургического комбината, в одну из далеких, жарких стран. Это было ему, в общем, не в диковинку — в темной глубине заветного левого ящика его стола, рядом с гвардейским значком, с фронтовыми медалями и солидными трудовыми орденами отчужденно поблескивали высшие награды тех новых государств, где он уже работал.

И сейчас все было готово, утверждено и оформлено. Он прошел и медкомиссию, которой всегда втайне побаивался, безропотно сделал необходимые прививки. И остальные тоже были все готовы — инженеры, тех-

ники, механизаторы,— с большинством из них он работал прежде и знал каждого — и уважал, ценил или любил многих. В общем, коллектив был стоящий.

Они поплывут универсальным грузо-пассажирским лайнером, который уже стоит под погрузкой в южном порту, принимая генеральные, то есть штучные, грузы: бульдозеры, самосвалы, тракторы, скреперы, а также различные материалы, — трубы для газоотводов и других колошниковых устройств, для холодильников и фурменных рукавов, сорокамиллиметровые стальные листы для будущего кожуха и бесчисленное множество всяких других грузов.

Его люди поплывут на белом теплоходе под красным флагом, поплывут по разноцветным бассейнам южных морей, и те из его людей, кто нечувствителен или притерпится к качке, подолгу будут играть в шахматы, в домино и в пинг-понг, будут с невольным замедлением сердца наблюдать за акулами, по временам появляющимися вблизи корабля, за жуткой красотой их веретенovidных тел, ахать при каждом новом гигантском прыжке радужных летающих рыб, спасающихся от хищников.

Они будут плыть долго, изнывать от жары и ждать ненастья, но и тропический шторм не принесет им прохлады. Они будут входить в чужие шумные порты, а сперва, еще в открытом море, их встретит лоцманский катер, пляшущий на волнах далеко внизу, под самым бортом, и они будут смотреть сверху, как, цепляясь за веревочный трап, ловко поднимается лоцман.

Они будут плыть очень долго, а он проводит их в черноморском порту и встретит уже на месте, — самолет доставит его туда менее чем за день.

Все было в порядке, но ряд моментов смутно беспокоил Дроздова. Он уже побывал там, на месте строительства, когда окончательно утверждали проект, и теперь представлял себе это место в деталях. Он-то знал, сколько будет трудностей, особенно поначалу, пока не поставят поселок, как начнут томиться люди, оторванные от Родины, и первым делом те, кто здесь без семьи, как будут панически бояться змей и разных ядовитых, да и безобидных насекомых, как будут страдать от непривычного климата, от непривычных условий работы (у большинства опыт, конечно, есть, но все равно тяжело), от каждой мелочи, даже от отсутствия черного

хлеба. Он знал, как он сам будет страдать от тамошней, ни на что не похожей жары, к которой он никогда не привыкнет, как он будет мучиться, пока в его комнате не поставят «кондишку» — установку для кондиционирования воздуха. Он думал о снабжении и воде, о шамотном кирпиче для огнеупорной кладки, о необходимости подготовки рабочих из местного населения и о многом другом, и все это тревожило его, но это была обычная, рабочая, как бы запланированная тревога.

А пока он привычно тревожился обо всем этом, еще его волновало что-то совсем другое, и волновало не так, непохоже, особенным образом.

Два месяца назад он получил письмо от закадычного друга юности и вроде даже родственника, но очень уж далекого, от Коли Пьянкова. Они расстались в первую военную зиму, когда их взяли в армию, и с тех пор не виделись. Коля встретил упоминание о Дроздове где-то в печати и после долгих колебаний и сомнений (он или не он и захочет ли вспомнить?) написал на министерство. Дроздов сразу же ответил, с удовольствием, но как-то словно машинально, словно думая о чем-то своем, а Николай в следующем письме, ничего не говоря о их родном северном городке, просто рассказал, что в окрестных лесах нынче много грибов, а лето теплое, и они купались все лето и загорали, а река изрядно обмелела. Он писал, что получил недавно квартиру в благоустроенном доме и звал в гости: «Приезжай, буду очень доволен». Прочитав про грибы, Дроздов неожиданно вспомнил, как ужасно давно, придя из лесу, его бабка говорила матери: «Грибья этого полно», а он тогда был совсем еще пацаненок. Он глянул дальше и, дойдя до приглашения, подумал: «А что, хорошо бы махнуть!» И едва он успел подумать, как его словно пронзило током, и он поразился, как же это случилось, что он не бывал там так давно, как он мог выдержать, вытерпеть это. А ведь он и раньше часто вспоминал о своей юности, о своем городке, но то были тихие, приглушенные воспоминания, они ни разу не обожгли его. Но теперь для него стало ясно, что, если он не заедет туда хотя бы на неделю, он не сможет работать на юге, на новой стройке, долго, равномерно, изо дня в день, он не вынесет этого, у него просто не хватит сил.

Пока теплоход, ломая стеклянную воду, пойдет по искрящимся южным морям, он, Дроздов, мог бы взять

за свой счет недельку, это никому не мешает. Это никому не мешает.

Министр выслушал его без особого энтузиазма, но разрешил, отпустил, посоветовав, однако, сперва проводить теплоход, как и намечалось ранее, и Дроздов вылетел в тот же день к Черному морю.

Погрузка подходила к концу, и он два дня проторчал в порту и даже ночевал не у себя в гостинице, а в каюте своего заместителя, идущего старшим на теплоходе, и все, кто знал его, замечали, что у него приподнятое настроение. Наконец все было готово, и был прощальный митинг — выступали родственники отплывающих, и сами строители, и представители министерства и обкома. Дроздов ходил по причалу, потом поднялся на борт, пожимал руки одним, других обнимал и целовал, близко видя их возбужденные, знакомые и дорогие для себя лица, интересовался, советовал, шутил, и люди, разговаривая с ним, не догадывались, что перед его глазами стоят густые хвойные леса, текут серые северные реки, блестят под дождиком мокрые деревянные тротуары.

Потом он опять стоял внизу, гремел оркестр, и теплоход медленно отваливал всем бортом от причала, и между ним и провожающими все росла и ширилась темная полоса воды, а люди — и там и здесь — всё махали, уже давно не различая своих близких.

Он не стал дожидаться, пока исчезнет, растает на горизонте теплоход, его почти трясло от нетерпения, и он сам изумлялся этому, но ничего не мог да и не хотел с собой сделать. Он тут же, на пирсе, сел в ожидавшую его машину, взлетел по крутой улице вверх, к гостинице, там поднялся в номер, вышел на балкон и оттуда еще раз увидел теплоход, над вершинами платанов, в морской синеве — белая черточка, совсем далеко, может быть, это был уже и не он.

С балкона был виден весь порт, с белым маяком, с изогнутой линией волнолома, с бесчисленным множеством кораблей различных конструкций, водоизмещения и окраски,двигающихся одновременно в самых разных направлениях или стоящих у причалов и на рейде, и с ярко окрашенными красным и желтым портальными кранами. Склоняясь над палубами судов и как бы глядя на них сверху, они выглядели удивительно легко и изящно. Вид непрестанно движущегося в своих гра-

ницах, живого и яркого порта был мил Дроздову, он отдаленно напоминал ему картину уже налаженного механизма большой стройки. Правда, там все это было не так красиво. А здесь у берега стояла тусклая синева, кое-где переходящая в темно-серую рябь, слева за волноломом полоса чистой голубизны, дальше и чуть правее длинный треугольник бутылочно-зеленого цвета, потом опять синее, — разноцветные секторы морской поверхности.

Теплохода давно уже не было видно.

Дроздов взял чемоданчик и спустился к машине.

— В аэропорт, — сказал он, захлопывая дверку и вынимая газеты из кармана пиджака.

2

С вечера он заснул быстро, но потом проснулся среди ночи и уже не мог заснуть. Сперва он еще не сдавался, ворочался с боку на бок, но потом смирился и, неподвижно лежа на спине рядом со спящей женой, которая была старше его на пять лет, стал думать о своем прошлом и будущем. Глаза его привыкли к темноте, он видел не только мерцающее зеркало, но и полированную стенку шкафа, различал стул со своей одеждой и пристегнутыми к спинке ручными часами. Он повернул голову и посмотрел на измененное сном, почти неживое лицо жены, осторожно слез с широкой деревянной кровати, нашарил ногами туфли и, в одних трусах подойдя к окну, отодвинул плотную штору. Зыбкий свет рекламы, призывающей смотреть фильмы, идущие неизвестно где и неизвестно когда, проник в комнату, дрожа и мигая, коснулся стены. Дожда не было, но мостовая и тротуары были мокры, и отражения редких фонарей уходили в глубину поблескивающего асфальта.

Прямо против окна лежала безлюдная улица, за нею тоже пустынный широкий двор, и с трех сторон его охватывал большой серый дом в девять этажей. Он спал сейчас, этот дом, темнея своей огромной массой, и лишь в нескольких окнах, как-то странно оживляя его, горел свет.

«В любой час, всегда кто-то не спит, — мимоходом подумал Дроздов, — ни одного населенного пункта в России нет, где бы не светилось хотя бы окошко...»

Продолжая думать о своем, он сосчитал освещен-

ные окна, их было восемь, — он заинтересовался: кто же эти люди, что они делают? — и стал всматриваться, оттирая краем шторы туманное стекло. Видно было очень плохо, и он смог рассмотреть лишь мужчину, который сидел за столом и ел, а напротив него сидела женщина и смотрела, как он ест, и можно было только догадываться — вернулся ли этот человек домой после долгой дороги или, наоборот, собирается в путь, или еще что-нибудь другое. Светилось еще окно кухни, там женщина гладила белье, перед ней была белая грудa белья, и она все гладила и гладила. А за третьим окном кто-то, склонившись, сидел у настольной лампы — не то писал, не то читал. Больше ничего рассмотреть было невозможно — мешали занавески, и погода, и расстояние, и то, что лампочки в окнах слишком лучились и как бы размазывались.

Дроздов задвинул штору и, как был, в трусах, тихонько вышел из спальни. Дверь в комнату сына была приоткрыта. Олег спал, подложив под щеку ладонь, будто пригорюнившись. И Дроздов в который раз с горечью ощутил, что они с сыном не очень близки, видя причину этого в их таких длительных и частых разлуках. А мальчишка хороший, и отца любит, или даже гордится. Но что делать! Он опять не сможет взять его с собой. Парню надо учиться.

Эта комната выходила во двор, окно ее не было зашторено, и Дроздову видно было милое курносое лицо сына, график футбольного чемпионата над диваном, а на полу роскошную тигровую шкуру — с распластанными лапами и оскаленной мордой — предмет мучительной зависти всех друзей Олега.

Дроздов толкнул дверь кабинета и включил настольную лампу. Здесь тоже было много экзотического — черные кудрявые статуэтки, веера, божки и драконы, но все они были призваны лишь украшать эту комнату — главным здесь были книги, — а если уж говорить об украшениях, то стальная модель доменной печи и макет доменного цеха с миниатюрным вагоноопрокидывателем, перегружателями, трансферкарами, бункерной эстакадой, колошниковым мостом, подъемником и всем прочим, конечно же, гораздо более занимали и самого Дроздова и его обычных гостей.

Он сел за стол, посидел с минуту, открыл левый ящик и снова остановился, словно забыв на время, за-

чем пришел сюда и что именно он ищет, потом достал большой черный конверт и вытряхнул на стол фотографии.

С кем и где он только не был запечатлен! С министром и замминистра на заседании Совмина, рядом с членами Президиума, на приеме, при вручении ему ордена в Свердловском зале, и со своими орлами-экскаваторщиками возле ЭКГ-8, и с президентами тех стран, где он работал, и с космонавтами, посетившими строительство, и с фронтовыми друзьями, и на встрече институтского выпуска, и в кругу семьи.

Но Дроздов не обращал сейчас внимания на эти фотографии и равнодушно откладывал их в сторону, лишь изредка задумчиво задерживаясь взглядом на какой-нибудь из них. И вдруг он быстро взял из груды две маленькие, чуть пожелтевшие и с обломанными уголками карточки и придвинулся с ними ближе к лампе.

Непроизвольно раздвинув губы в улыбке, он смотрел на такое близкое, юное, серьезное лицо Коли Пьянкова, на его круглую шапочку-кубаночку, из-под которой выбивались такие же прямые и светлые, как и у самого Дроздова, северные волосы.

А на обороте твердой Колиной рукой было выведено:

«На добрую память наилутшему другу с юных лет нашего проживания. Алексею от Николая. 11 марта 1941 года».

Продолжая улыбаться, он отложил этот и поднял ближе к глазам второй снимок, держа его в своих жестких пальцах, и улыбка стала медленно сходить с его лица, так и не уйдя вся, заменилась болью.

На карточке была девушка в беретике, пышные шестимесячные кудряшки обрамляли ее широкое в скулах, добродушное лицо. Он перевернул карточку и прочел проникновенную надпись:

«На память Алеше от Маруси. В дни дружеских отношений».

Здесь нет красоты, она не каждому в жизни дается,
Здесь только простая душа и спокойное сердце в ней
бьется».

И тоже дата, чтоб не забыл: 2.XI-1941 г.

Дроздов снова посмотрел в ее спокойные глаза, как

бы стараясь встретиться с ней взглядом, и вдруг резко вспомнил, увидел, почувствовал, как он лежит на снегу, а смерть его рядом.

Тогда был уже март, солнце сильно припекало, и слепил глаза весенний крупитчатый снег, рыхлый, хоть лепи снежки, — он лежал на этом насте, раскинув руки, и снег подтаивал под ним. А сначала было раннее утро, густеющая синева неба, голый березняк вдали, и их безнадежная атака, их бег по рыхлому снегу вверх по склону и шквальный огонь, которым их встретили. Он бежал, делая тяжелые прыжки, голенастый, забрав под ремень полы шинели, хватая воздух ртом и сжимая легкий, недавно полученный автомат ППС, висящий на груди. Перчатки он сбросил, и они болтались на шнуре, как у детей. Он бежал вперед, при каждом шаге проваливаясь по колено в снег, задыхаясь и уже не слыша немецкого огня, но он услышал, как прямо навстречу ему движется что-то, все ближе, ближе, шелестя и широко раздвигая воздух, и этим раздвинутым в стороны, спрессованным воздухом его опрокинуло на спину. Он рухнул, раскинув руки, а его черный ППС полетел через плечо и воткнулся стволом в снег, и брезентовый ремень автомата сдавил Дроздову шею. Неимоверных усилий стоило ему поднять руку и оттянуть, ослабить ремень. И в это время рядом прошла смерть, совсем близко, и даже чуть коснулась его — он не понял только, раскаленным или ледяным было ее дыхание.

Когда-то давно, когда они ходили в шестой или в пятый, — в той, другой, нереальной, жизни, дружок Колька Пьянков зимой позвал его в какой-то подъезд, где под лестницей была батарея водяного отопления, и сказал:

— Тронь-ка...

Лешка снял рукавичку, дотронулся до пыльного ржавого железа и сразу отдернул пальцы, не забрав — горячо оно, как кипятик, или же совсем промерзло. Там, конечно, было все не так, как тут, ерунда, пустяк, но и здесь, слыша дыхание смерти (а он точно знал, что это смерть), тоже невозможно было понять, какое оно, это дыхание. Он лежал на спине, раскинув руки, под ним уже таял и оседал снег, а сверху была синева глубокого мартовского неба.

И он вспомнил тогда о Марусе и стал думать о ней. Он думал о ней тогда, вплавляясь в рыхлый мартовский снег и медленно уходя все дальше и дальше от этого снега, от этого дня, от этой жизни. И потому сейчас, приблизив к лампе старый снимок, он сразу же вспомнил — да он никогда и не забывал — себя, лежащего на весеннем снегу, смерть, прошедшую рядом, а вверх бездонную холодную синеву. Он подумал сейчас о том дне, потому что тогда думал о ней, хотя и отвлеченно, отчужденно.

Тогда, а вслед за тем и сейчас он вспомнил дымный морозный конец дня и себя с Марусей. Они и еще две ее подруги и соседский парень играли в карты, в дурака, у нее дома, благо мать уехала к родне, в деревню. Стреляя, топилась печка, а за окнами дымился зимний закат. Потом они оделись все, и она вышла с ними вместе, а когда все разошлись, он проводил ее снова и опять зашел в дом. За окнами почти стемнело, лишь горела полоса заката между домами, и тоже дрожала полоска света на полу перед догорающей печью... Потом, идя к себе, поздно вечером, он забыл опустить наушники у шапки и отморозил уши... Неужели это был он? Наверное, да, но больно уж давно все это происходило.

Нет, она не была его первой любовью, его Первая Женщина, о которой он вспоминал с благодарностью и нежностью. Другие женщины, которые были у него, не оставили глубокого следа в его жизни, он почти никогда не думал о них, как бы почти не помнил. А она? Где она сейчас? Мысль о том, что он скоро сможет встретить ее, заставила его вздрогнуть. Он сидел в своем спокойном доме, за стеной спал его сын, в следующей комнате спала жена, а он рассматривал маленькую фотографию девушки с шестимесячными кудряшками и добрыми глазами и был в это время далеко отсюда.

Он все еще лежал на снегу, раскинув руки, остро выставив вверх подбородок, уже не шевелясь, вмерзая в снежный наст, а над ним сперва лилово стояли сумерки, потом ярко зажглись звезды. Потом он услышал, как кто-то ступает по громко хрустящему подмерзшему насту, и в уши его, сверля мозг, вошла чужая, страшная речь, он хотел узнать, о чем они говорят, и напряг память, но она подсказала ему всего лишь два слова:

«дертыш» и «плюсквамперфектум». Чужая речь была совсем рядом, и тогда он слабо ощутил замерзшей щекой шершавый брезентовый ремень автомата, это было все, что он мог сделать, но в мыслях своих он легко перевернулся на живот, выдвинул перед собой вороненый ствол, дал короткую очередь и крикнул звонко и яростно:

— Хенде хох!

Немцы остановились, о чем-то тихо говоря, может быть, не решаясь идти дальше, а затем действительно их хрустящие шаги стали удаляться, удаляться, и Дроздов, уже ни о чем не думая, плавно провалился в глубокий, невозвратный сон. И почти уже на самом его дне он услышал шуршащий, чуть присвистывающий звук, который был очень ему знаком и который вызвал в сознании одно, только одно, последнее беззвучное слово: «в о л о к у ш а».

И из его губ вырвался ликующий вопль, призывный клич, полный радости, надежды и боли, но этот его стон был настолько слаб, что, если бы пожилой солдат и девушка-санинструктор за миг до этого не остановились, прислушиваясь, они бы никогда не услышали его. Но они, эти люди, которых он ни тогда, ни потом в своей жизни не видел, остановились, услышали и наклонились над ним, отдирая вмерзшую в наст шинель.

Может быть, в эту минуту они не слышали кого-то другого.

Дроздов подошел к окну. Уже рассвело, а освещенных окон стало гораздо больше, — люди уже собирались на ранний свой труд. Но только теперь эти окна были менее лучистыми, а стали более четкими, хотя и бледными.

3

Стояло самое начало сентября. Утром — Дроздов еще спал — прошел мелкий дождик, и сейчас его сырость чувствовалась в воздухе. Пока Дроздов брился, одевался и завтракал, жена была где-то там, в глубинах их большой новой квартиры, и вошла, когда он уже поел и стоял у окна.

— Ну, мать, — сказал он ей, слегка потягиваясь, — гостинцев бы надо купить, конфет, как думаешь?

— Обязательно. Я куплю, не беспокойся. — И спросила сама: — Ты сегодня надолго?

— Думаю скоро вернуться, — и окликнул ее, когда она была в дверях: — Надя! (Ее имя удивительно к ней не подходило, но он уже привык.) Надя, и коньячку, наверно, нужно.

— А как же, конечно.

Она была с виду тихая, незаметная, но со своими твердыми взглядами и принципами: «А как же, непременно».

У него оставались еще дела в министерстве, и он постарался их закончить как можно быстрее, нигде и ни с кем не задерживаясь, потому что был человек опытный и остерегался, как бы министр или зам не поломали случайно его поездку. Но все обошлось, и к обеду он уже был дома.

Олег пришел позже, Дроздов слышал, как он бросил портфель на стул, насвистывая, пошел в ванную, как мать ему что-то сказала, верно, сделала замечание, а он примирительно засмеялся.

Потом он просунул голову в дверь:

— Привет! Сегодня полуфинал, — помедлил и вошел в комнату.

— Знаю, — сказал Дроздов.

— Ты за кого?

— За «Торпедо».

— Хо! «Торпедо» давно вылетело.

— Знаю. Я в о о б щ е за «Торпедо».

Олег поднял палец и произнес назидательно.

— Болеть нужно за «Спартак».

— Эта концепция нам тоже знакома. А в школе как дела?

— Не вызывали. Папа, ты читал про Флиппера?

— Это кто?

— Интеллигент моря, дельфин Флиппер. Снимался в двух фильмах в главной роли.

— Новые данные о дельфинах действительно потрясающая штука, — сказал Дроздов.

«Хороший парень. Сейчас расстанемся черт знает на сколько, вернусь, а он уже не такой, совсем не такой. Весь горит этими морскими змеями и дельфинами. Жаль, что у него нет интереса к моему делу. А откуда ему быть? Плавку последний раз видел, когда ему лет шесть было...»

...— Дерется с этим преступником и нокаутирует его, а у того нож...

«Вот тебе и интеллигент!»

...— Спасает их. Правда, здорово? Наши, интересно, купят эту картину? По интеллекту дельфин приближается к человеку, это все ученые признают. Все эксперименты подтверждают...

— И размеры мозга и характер извилин приближается к человеческому,— сказала от двери Надя,— и запас слов у них больше ста...

Было уже темно, когда, взяв чемодан, собранный женой, и, как всегда, даже не интересуясь, что туда положено, потому что потом в чемодане оказывалось именно то, что нужно, Дроздов надел заграничный тонкий плащ, в каких ходила сейчас вся Москва, и, секунду помедлив, выбирая между кепкой и шляпой, отдал предпочтение кепке.

Олег сидел у себя, прильнув к «Спидоле», и с таким выражением лица, будто передавали военную сводку, впитывал хриплое дыхание стадиона и скороговорку комментатора. Дроздов потрепал его по волосам и, нагнувшись, поцеловал куда-то в ухо, сын рассеянно улыбнулся и чмокнул отца в щеку.

— Ну, ладно, мать, поехал, — сказал Дроздов жене и, поцеловав ее, вышел на площадку, уже отрешившись, уже отсюда начав свой непривычный путь — к юности.

Обычно сидя впереди, рядом с шофером, он не смотрел по сторонам, а что-нибудь читал или просматривал — ему всегда не хватало времени. Но сейчас было темно, и он смотрел на влажный асфальт с отраженными в нем фонарями. Шел маленький неощутимый дождь, но все же дождь — к удачной дороге — и когда проезжали по метромосту, слева, над Большой ареной стадиона, густо дымилась прожектора.

Да, давно не бывал он там, в своем маленьком северном городке. Двадцать лет и два года. С того холодного дня поздней осени, когда красный товарняк, громяхая, понес его и Кольку Пьянкова, и других ребят на юг, к Москве, и неизвестно было, случится ли им вернуться. Впрочем, многие, и он в их числе, не сомневались в этом, заботило другое: когда? Бесперывно живущий в них, как притихшая боль или радость, не-

пременный день возвращения был далеко, за метелями и дождями, за походами и фронтами, за операционными, за госпитальными ночными палатами. Но этот день жил в них, и в тех, кого уже нет сейчас, он жил до конца.

Два раза его задевало легко, можно сказать, царапало, и дальше медсанбата он в тыл не углублялся, и той мартовской ночью, скорее утром, его без памяти тоже доставили в медсанбат, но теперь он здесь уже не задержался, а был эвакуирован в глубокий тыл, — санитарный поезд стучал на восток, за Москву, за Волгу, на Урал.

Госпиталь, где он провалялся пять месяцев, находился в городе металлургов, и это сыграло главную роль во всей дальнейшей жизни Дроздова.

Когда стало ясно, что, выписав, его вчистую демобилизуют по ранению, а война еще не кончается, он в одну из долгих бессонных ночей — еще с тех пор он пристрастился к бессоннице, — в одну из душных госпитальных ночей, твердо решил не ехать к себе, на Север, а остаться здесь и учиться. Это было отчаянное по смелости решение, но Дроздов принял его и принял бесповоротно, он знал, что в своем городке ему будет легче, но там у него не было никаких перспектив.

Он пришел в горком комсомола на костылях не для блезиру, а еще не решаясь с ними расстаться, и его устроили на комбинат нормировщиком в мартеновский цех. Здесь, в славном пролетарском городе, было много молодых, здоровых ребят и мужчин в самом возрасте, потому что они варили сталь для армии, для страны, и страна в свою очередь дала им бронь, хотя и бумажную, но тоже достаточно прочную. Таких, как Дроздов, — раненых фронтовиков — было мало. Он прыгал по цеху сперва на костылях, потом ковылял с палочкой, на козырьке кепки болтались привинченные на трех винтах синие очки, и временами он, зачарованный, смотрел сквозь них на кипящую сталь, которая кипела буквально как вода в чайнике — пузырясь и бурля. Эта картина покорила его навсегда.

Его избрали в комсомольское бюро, он поступил в школу рабочей молодежи, а потом в институт — филиал был прямо при комбинате, — первый курс на заочный, как многие здесь, но после все же на дневной, — это

тоже был шаг, на который следовало решиться.

И все это было нелегко, невозможно, невыносимо, — и прошибающие насквозь ветры, и недоедание, потому что, конечно, не хватало ему карточек, особенно после рабочих, и то, что общежитие далеко от института, и занятия, занятия, от которых распухла голова, — но ведь не мог же он все это бросить, иначе и затевать все это не стоило.

Были лекции, тяжелые, непонятные, он конспектировал все, он заставлял себя понять, подходил в перерыве к преподавателям, переспрашивал, были лабораторные и групповые задания, было много чертежей, — вообще, черчение у него пошло, он этим слегка и подрабатывал, еще на первом курсе он удивил преподавателя начерталки способностью к пространственному мышлению. А так он учился средне, в общем, хорошо, но не блистал.

Это был такой период его жизни, когда он отключил все лишнее и заставил себя интересоваться только учебой. Он не ходил на курсовые и институтские вечера, на самодеятельность, капустники и танцы, этот его жестокий период длился три года! Некоторые издевались, подтрунивали над его работоспособностью, теперь они не смеются, нет. Но и тогда его уважали все. Теперь кое-кто удивляется, как это он выдвинулся и достиг такого положения, сравнительно молодой, как это он сделал такую «карьеру», но те, кто знал его тогда (а таких много), не удивляются ничуть. «Ну, это был фанат, — говорят они, — с ним все законно!»

Учился он хорошо, но не выделялся особенно, и лишь когда началась практика, выяснилось, что он первый, настолько неожиданно здраво и логично связывал он все, чему учили, с самим делом, с производством, а для большинства это были отдельные разграниченные сферы. Ему, конечно, еще повезло, что он попал к старику Селиванову, тот ценил таких, как Дроздов, и после института взял Дроздова с собой на строительство комбината, в далекую жаркую страну, и многому он у старика научился, и вырос быстро — искусственно не сдерживали. В работе он многое перенял — в стиле, и внешне — в подтянутости, и внутренне — во взглядах. Всякое, конечно, бывало, но, в общем, упрекнуть себя особенно не в чем. Это тоже факт.

Три года он себе во всем отказывал, давно уже он живет иначе, но странное дело, до сих пор, внутри, в крови, в печенках, в самой его сути, главное ощущение: некогда, некогда, некогда!

Может, это немного смешно, но именно когда он жил, лишая себя всего, именно тогда он женился. Какой-то подлец даже сказал, что это, мол, чтобы не терять времени на дорогу — она жила рядом с институтом. Как он женился? Она была лаборанткой в химическом кабинете, налаживала им разные опыты, которые требуются по программе, в общем, лабораторные занятия, и все к ней: «Надя, помогите, пожалуйста. Надя, а как это? Надя, а что нужно сделать?» — и он, конечно, тоже с вопросами, только реже. Она хорошо работала — быстро, ловко. А он сразу подумал, что имя к ней не подходит. «Надя! Надя!» И еще она старше его на пять лет, а остальных и на семь и на восемь. Он там засиделся однажды, в кабинете, — опыт ставил, ерунда, реакция какая-то в реторте и химическое уравнение в тетрадке, — никого уже не было, и разговорился с ней. Она местная, уральская, родители здесь же, в городе, и брат младший, но уже женат и двое детишек у него, они все вместе живут, тесно, а ей комнатку дали, она одна. Работа ее удовлетворяет, вот она помогает студентам, уже доценты есть, которые тоже вот так же пищали: «Надя, Надя...» Это ей приятно... А он? Он? Он, значит, так. С Севера. Мать померла, пацаном был, в школу еще не ходил. Отец женился скоро, уехал с новой женой куда-то на зимовку, деньги присылал, потом пропал перед войной. Жил Лешка у тетки. В армию забрали, ранило, сюда привезли, поступил в институт, пришел в химический кабинет, познакомился с лаборанткой Надей, она чай кипятила на плитке, он ее сахар брать ни за что не хотел, иногда забегал в химкабинет, хотя дел там у него не было, домой к ней стал заходить, а весной, прямо перед сессией, в самую горячую пору, они поженились. Она хорошая была, вот говорят о жене: помощница, не о каждой так скажешь, а о ней можно. Она все делала, чтобы помочь ему институт закончить как следует. Он как-то ей сказал, расчувствовавшись: «Давай-ка и ты в институт поступи. Теперь я тебе помогу. Знаешь — натаскаю!» — Она улыбнулась и покачала головой — это была не ее линия.

Когда старик Селиванов взял его на строительство, Надя поехала вместе с ним в далекую знойную неведомую страну, спокойно и решительно — как в сотый раз. Она работала там в конторе и, лишь когда пошла в декретный, бросила работу и вернулась в Союз. После появления Олега ее потребность, может быть, даже талант помогать кому-то теперь уже вполне удовлетворялись дома.

В общем, они неплохо жили, когда бывали вместе, их семейная жизнь была размеренна, налажена и ровна. Ее ласки и поцелуи были спокойны, как поцелуи сестры или матери. Что было в их жизни общее, объединяющее? Именно начало их жизни. И конечно, Олег. Как горько было Дроздову, что не налаживается настоящая близость между ним и сыном, что опять надо с ним расставаться, потому что там нет старших классов, — пусть теперь остается в Москве вместе с матерью, а то разболтался в интернате. Пусть лучше Дроздов будет один там, вдали, бритый, при галстукe (все-таки заграница), будет обливаться потом среди этих пальм, диковинных цветов и всяких колючек, задыхаться, а местные рабочие, которых он должен подготовить, будут, не показывая виду, вежливо удивляться его белым северным волосам.

4

Помахивая чемоданом, Дроздов прошел по длинному, скупо освещенному перрону. На миг колыхнувшаяся в нем (пока он доставал билет) наивная мужская мечта о том, что единственной попутчицей окажется красивая женщина, разумеется, не сбылась. В купе сидел молодой парень и слушал репортаж.

— Ну, что там? — спросил Дроздов без всякого интереса, поднимая полку и засовывая под нее чемодан.

— Один — ноль.

Дроздов повесил плащ и сел. Стекло снаружи было в крупных дождевых каплях, еще не удлинненных движением. Шелестела футбольная речь из репродуктора, потом она прервалась на полуслове, загремел марш, и бодрый поездной голос, наложенный на музыку, объявил отправление.

Вагон плавно тронулся с места, быстро набирая ход. Опять слабо донесся голос комментатора, но помехи

были столь велики, что уже ничего нельзя было понять.

— Поле от электровоза мешает, — сказал парень.

В их мягком вагоне было малоллюдно, тихо, лишь гремели колеса скорого поезда, летящего в ночь, в дождь, в сторону его молодости.

Вошла проводница:

— Постель брать будете?

Парень от постели отказался.

«Из отпуска, — подумал Дроздов, — все оставил до копейки. Но зато в мягком».

— Что-то холодно здесь у вас, — сказал он проводнице, застилающей его полку.

— Холодно? — притворно удивилась она. — Что вы? Это у мужчин температура переменная, то их в жар кидаёт, то в холод...

Он засмеялся.

— Это вы точно подметили.

— А то как же. А у женщин, у тех температура более постоянная. Но вообще-то прохладно здесь. Вагон старый, довоенный, в щелях весь, а углю мало сейчас дают, еще не сезон. Ну на станции прихватишь гдён-то ведерочко, погреешь своих пассажиров.

Поезд мчался в ночь, на север, на север, все чаще стучали колеса на стыках, нахохлившиеся капли на стекле вытянулись в длинные прямые пунктиры.

Проходили по коридору люди, непроизвольно заглядывая в их раскрытую дверь.

— В ресторан пойдешь? — спросил парень.

Дроздов внимательно посмотрел на него. Нет, он не дерзил, он просто не чувствовал разницы между ними. Таким хорошо, легко.

— Немного попозже, — ответил Дроздов спокойно.

— Я тоже тогда с вами, — согласился парень, переходя под взглядом Дроздова на «вы».

А поезд все летел и летел в ночь, и Дроздов прямо-таки физически ощущал, что он движется на север, как будто внутри него была магнитная стрелка.

Они тоже пошли через чутко вибрирующие вагоны, непроизвольно заглядывая в каждое открытое купе, добрались до ресторана и с трудом нашли себе место.

Дроздов взял меню, желая угостить своего соседа, но стали заказывать, и выяснилось, что деньги у того имеются.

— Коньяк есть? — спросил Дроздов.

— Коньяк оставлен только на восточном направлении.

— Ну, на восток из-за коньяка я не поеду.

Его остроты официантку не интересовали.

Все пили только вино.

— Портвейн будешь? — спросил парень-сосед.

— Нет. Я шампанского тогда уж возьму.

— В розлив не подается.

(А состав между тем идет, натянут до звона, летит в темноту.)

— Давайте бутылку. Полусухое есть?

Поезд мчался в ночь, вагон мотало, за окнами ничего не было видно, кроме отражения оранжевых настольных ламп.

Дроздов пил шампанское («Что ж, подходящий напиток для торжественного случая»), ел яичницу и почти не слышал того, что говорил парень-сосед, — он умел выключаться, уходить в себя, отсутствовать, присутствуя, расслабляться, как бегун расслабляется посреди длинной дистанции и отдыхает, продолжая бежать, — здесь требуется настоящее мастерство, большой навык.

За соседним столиком сидели трое солдат, оживленные, совсем мальчишки, пили красное вино, воротнички расстегнуты, — не каждый день такое бывает. И они были близки и понятны Дроздову.

Парень-сосед сказал снисходительно:

— Служба.

— Сам-то служил? — спросил Дроздов.

— А как же. Я в армию уже сходил. Я не как они, пехота, я в стройбате служил, то есть, значит, в инженерных войсках, мы кабель тянули. Я в мастерской работал, деньги получал. Все время в деревнях стояли, в городе ни разу не были, а майор у нас был хороший, выпивал даже с нами несколько раз.

— А! — сказал Дроздов. — Это, конечно.

Он опять отключился. И опять перед его глазами лежал горячий мартовский снег, и опять они шли в атаку, и опять Марусино доброе лицо склонялось над ним.

Они вернулись к себе, и Дроздов стал раздеваться.

— Чего ж постель-то не взял? — спросил он парня.

— А зачем? — удивился тот. — И так мягко.

Он разулся, лег на спину, не снимая пиджака, ничем

не укрываясь, и сразу же заснул, скрестив на груди руки.

А Дроздов не спал. Выпитое шампанское не опьянило, а лишь еще более возбудило его. Он давно не ездил поездом, на нижней полке, и теперь слушал, как под ним, совсем близко, плакал, стонал и выл металл. Вагон был старый, его то и дело охватывала дрожь, и он начинал тихонечко, жалобно дребезжать.

Дроздов лежал и смотрел на блестящее, мокрое снаружи стекло, за ним были ночь, темнота, дождь. А поезд все мчался и мчался.

И Дроздов вдруг, ни с того ни с сего, четко представил себе фосфоресцирующую воду тропических морей, огромную южную луну и белый теплоход под красным флагом. Он представил себе своих людей, которых так знал и ценил, — они чередой пошли перед его глазами, — он увидел мельтешенье порта, где теплоход станет под разгрузку, и все, и больше уже не будет покоя — лавина дел и хлопот обрушится на Дроздова, норовя сбить его с ног, накрыть с головой, потащить за собою, но он постарается удержаться, — ценой страшного напряжения сил и нервов. Он представил себе то пустынное место, где они поднимут печи, будьте уверены, обязательно поднимут, он представил себе все это и ужаснулся: «Что я, с ума сошел? Почему я здесь? Куда это я еду?..»

Словно при безумной фантастической пытке, его тянули в разные стороны — тот теплоход и этот поезд, убивая его, разрывая пополам его тело и душу.

А теплоход все шел и шел по стеклянной южной воде, а поезд все мчался и мчался в дождь, в ночь, на север.

И Дроздов не спал в ночном дребезжащем вагоне, все более удаляясь от зовущей и ожидающей его стройки, но вместе с тем приближаясь к ней во времени.

Много раз за ночь он засыпал и много раз просыпался. Уже давно стоял за окном белесый северный рассвет. Парень еще спал, скрестив руки на груди, — он ни разу не пошевелился. Дроздов оделся и вышел в коридор. Рядом с поездом, впритир, шла тень, с трубами на крышах вагонов, а чуть дальше от полотна сплошной шеренгой, и вдоль пути, и бесконечно уходя в глубину, тянулись хвойные северные леса. «А ведь все эти

южные страны, — остро подумал Дроздов, — все эти пальмы и пески приемлемы и терпимы для меня лишь потому, что существуют леса, северные леса».

У самого полотна начиналось мелколесье, и среди него, на подступах к большому лесу, поднимались отдельные высоченные ели, а дальше, среди черноты елок струились редкие стволы берез, и все больше было золота осени. И вдруг возникали рябины, рябины, с яркими, щедрыми кистями ягод, а у многих краска ударила и в листву. Посадил их, что ли, кто-то вдоль пути, эти рябины?

Рассеивался туман, едва трепетал волглый воздух меж отсыревших сосен, и вдруг как по сердцу, серая, такая северная, холодная полоска воды.

В одном месте лес расступился, ненадолго открылся чистый холм с двумя соснами на вершине, а за ним целая панорама — избы, церквушечка на пригорке, опять серая вода, и опять лес, лес, лес. Этот холм так уверенно и горделиво господствовал над окрестностью, что Дроздову неожиданно вспомнились неизвестно откуда удивительные слова: престол природы.

По-прежнему стоял за летящим вагонным окном белесый рассвет, а теперь уже было ясно, что он длится здесь целый день.

Дроздов вышел на маленькой станции, прошелся вдоль состава. Было тепло. Бабы продавали бруснику и красную северную картошку, которую ведрами покупали проводницы. Перед вагоном выстроилось несколько бездомных железнодорожных собак, терпеливо и безропотно ожидающих подачки, и вчерашняя проводница засуетилась.

— Ах, вы, миленькие, я ведь про вас позабыла, сейчас принесу, — и объяснила Дроздову: — Знают меня. А на восточном направлении есть станция, там козы. Там этих коз многочисленные табунá, черные все от угля. К вагонам подходят. А здесь собаки...

На стенке деревянного станционного здания висел плакат: «Донор — лучший друг больного», за окном парикмахерской кого-то стригли, укутав до горла простыней, — а кругом стояла мягкая ровная тишина.

Вылез парень-сосед, подошел к газетному киоску: «Можно лотерейный билет без очереди купить?» Ему не ответили.

Потом Дроздов опять стоял в коридоре, смотрел на

голубые капустные поля, на серые дома северных поселков, крытые тесом или щепой. И опять лес, лес, лес...

А где-то сбоку, в вагоне, звучал давно не слышанный северный говорок: «На поезд не сести», «Всего не съести», и оживали в разговоре волшебные названия станций: Удима, Кизема, Урдома.

Вышел сосед, стал рядом.

— Скоро доедешь? — спросил Дроздов.

— В одиннадцать с мелочью. Жена встречать будет.

По берегам рек и речек высились штабеля леса. Кабель-кран вынимал бревна из воды.

— Лесу пропадает много, — сказал парень, — не успевают выкатить, он вмерзает, весной уходит со льдом. Много уходит. Норвеги лесопильный плавзавод держат в Баренцевом на нашем аварийном лесе только, да и не один завод-то...

Потом парень сошел — его действительно встречала молодая женщина, — а Дроздов все стоял в коридоре, и снова за окном мелькали речки и запани на них, появлялись и уходили голые поселки с широкими улицами, нескончаемо тянулись леса, и в мелколесье, где больше встречалось лиственных пород, — чем дальше, тем заметнее выделялись пестрые краски осени.

5

На перроне народу было немного, и из всех, стоявших там, память сразу выхватила, выделила круглое, милое и дорогое лицо Коли Пьянкова. И мгновенно Дроздов как бы окунулся в легкий, приятный туман и уже пребывал в нем, сам того не замечая. Сквозь этот прозрачный туман был виден чистый перрон, уходящие вдаль рельсы и Коля, берущий из его рук чемодан.

Они расцеловались.

— Брат, что ли? — спросила проводница вслед.

— А ты почти не изменился, — сказал Дроздов.

— И ты тоже.

— Ну, нет. Я-то изменился, — он даже слегка обиделся. — Я-то изменился шибко, — и спросил: — Вокзал старый?

— Зачем, новый вокзал.

— То-то я смотрю, не узнал.

Их ожидал «Москвич».

— Твой кабриолет?

— Нет, у меня нету. Это из горкомхоза, я же в горкомхозе работаю.

— Я про то и говорю.

— В гостиницу.

— Поехали.— Дроздов ошеломленно смотрел по сторонам, не понимая, узнает он что-нибудь или нет, — и, проехав метров пятьсот, остановился.

— Все? Ага, гостиница.

— Номер забронирован, как ты просил.

— Прекрасно. Машину отпусти, потом пешком пройдемся.

Они поднялись в небольшой светлый номер, с телефоном и туалетной комнатой, и пока Дроздов брился, Коля сидел у стола, не сняв темный прорезиненный плащ, и смотрел на Дроздова.

— Ну, как жизнь, Коля?

— Как жизнь? Работаем, — ответил он, подчеркнуто делая ударение на предпоследнем слоге.

«А что, и я могу так ответить, точно так же. Работаем! А как же иначе?» — подумал Дроздов.

Он вытер лицо и шею одеколоном, надел свежую сорочку и опять наклонился над чемоданом:

— Вот тут жена положила. Коньяк, конфеты. У тебя карманы глубокие?

— Да зачем, все есть.

— Держи, держи, не помешает.

По одной стороне улицы тянулись новые четырехэтажные дома, а на другой стояли в палисадниках, в осенней листве, прежние домики, аккуратные, с резьбой по наличникам.

А сами они деловито шли по старому деревянному тротуару, настеленному над кюветом, и внизу, как в арыке, журчала вода. Кое-где доски искрошились, провалились, и в черном проеме поблескивал ручей. Дроздова возмутила бесхозяйственность.

— Как же ночью ходите? Ногу сломать можно.

— Ничего, приспособились.

Удивительная штука — человеческая жизнь. Когда-то, неправдоподобно давно, шли они, эти же люди, по этим же деревянным тротуарам, а потом словно разорвалось время, словно пропасть разделила их, и прошло больше двадцати лет, чуть не целая новая жизнь,

и вот опять идут они здесь, по деревянным тротуарам-мосткам, а над ними роняют листву старинные осенние тополя. Но, странное дело, это все теперь не поражало Дроздова столь глубоко, как казалось из Москвы, должно было поразить, но это вызывало желание как бы приостановиться, задуматься над своей жизнью.

Навстречу густо попадались знакомые Пьянкова. Одним он просто кивал, с другими останавливался и говорил: «Вот познакомьтесь. Это мой друг, из Москвы приехал, Дроздов, сам отсюда, слышали?..»

Он произносил его фамилию по-северному, с ударением на первом слоге: Др^оздов — так давно уже никто его не называл, и Дроздову уже казалось это странным, нарочитым.

— Работой доволен?

— Нет, Леха, не доволен (тоже давно никто не называл его так, и назови его так кто-то другой и не здесь, это было бы дико и невозможно, а сейчас это было естественно, только отозвалось где-то глубоко в душе: «Леха», — как слабо отзывались в его душе вот эти тротуары, и дома, среди которых угадывались знакомые). Недоволен. Не нравится мне горкомхоз этот и работа эта. Канцелярия, а писарей у меня, понимаешь, нет, самому приходится сидеть целый день, писать бумажки. А ведь я мог бы, как и ты, но не повезло, а в горкомхоз попал случайно. Я, понимаешь, Леха, если в очередь становлюсь крайним, то уже до конца так крайним и стою, за мной уже не занимают. Почему? Да кому нужно, те все уже впереди стоят. Понял? Я ведь хотел в институт метеорологический идти. Хорошее дело. Остался на сверхсрочной, старшина, поступил в вечернюю школу. Стояли в Рязани, хорошо. Сам в штабе работал, занимался. Поехал в отпуск, тут с Тоней познакомился, она только институт кончила, учительница, понимаешь, по географии. Стали переписываться, на другой год приехал, женился. Ну, потом забрал ее с собой. Там устроиться ей было трудно, потом забеременела, не нравится ей там, уедем да уедем, ну, и демобилизовался. Приехал, хотел устроиться в управление дороги, но тут в райком, понимаешь, вызвали, партия, говорят, посылает на эту работу, в горкомхоз. Стал работать, учиться кому-то нужно в коллективе, в техникум поступил на заочный, но кончил через силу, — пацаны пошли, то да се, голова болит, в инсти-

тут уже не могу. А не люблю я сидеть на одном месте, мне бы работу, как у тебя, а тут даже никаких командировок, ну, от силы в район. Трое пацанов, ну, куда теперь. А так с работой справляюсь, Леха.

6

На этажерке с книгами стоял елочный Дед-Мороз из папье-маше, весь в блестках. Он смутно напомнил о чем-то Дроздову: тоже Дед-Мороз, елка из полиэтилена или даже настоящая, а за окнами зелень, синева или теплый мучительный дождь, — но Дроздов отбросил это воспоминание, не дав ему развиться и завладеть собой.

— Вот так и живем.

— Ну что же, неплохо.

Они посмотрели друг на друга и ни с того ни с сего как бы почувствовали некоторую неловкость, еле заметно, но почувствовали, и оба постарались избавиться от нее.

— Тоня в школе еще, потом за Юркой зайдет в садик. Мы ее ждать не станем. Ты как думаешь? Не раздражаешь?

— Может, лучше подождать?

— Нет, ждать не будем, — твердо решил Николай и начал действовать — доставать из буфета тарелки и рюмки, продолжая говорить. Говорил он вроде бы почти по-московски, лишь слегка на «о» и чуть-чуть певуче, но из этого легкого оканья и плавной певучести и складывалась его северная, привычная и одновременно чудесная для дроздовского уха речь. И сидя в этом доме, и слушая Кольку Пьянкова, и глядя, как он накрывает на стол, Дроздов смутно ощущал нереальность всего происходящего и продолжал пребывать в том легком прозрачном тумане, в который окунулся, сойдя с поезда.

— Квартиру эту недавно получил, хорошо, а то в старом доме жили, совсем трудно, удобств нет, дров одних, понимаешь, заготовить сколько нужно.

— Кубометров двадцать?

— Не меньше. А в благоустроенном хорошо. И вообще место расположения нашего дома имеет большое стратегическое значение.

— Это как?

— Рядом магазины: книжный, молочный, фрукты-овощи, продовольственный, радио-музыка, поликлиника. Все, что нужно.

Он поставил на стол хлеб, огурцы, грибы, тарелку с холодными котлетами, нарезал сыр, колбасу и откупорил бутылку грузинского коньяка.

— Тут у меня сосед-приятель, в райисполкоме у нас работает бухгалтером, а жены вместе в школе работают, она у него по истории. Может, позвать его? Ты не возражаешь?

— Как хочешь, как тебе удобнее.

— Ну, если ты не возражаешь, я его сейчас позову.

Он удалился и очень скоро возвратился вместе с прихрамывающим, рябоватым человеком, который крепко пожал Дроздову руку и представился:

— Елохов.

— Вот я, Леха, с ним советовался, писать тебе или нет, ну, он, понимаешь, посоветовал написать.

— Молодец.

Елохов потупился, польщенный:

— И ответ ваш вместе читали.

— Ну, давайте выпьем, — сказал Коля и налил в рюмки.

— Это что же? — деланно заинтересовался Елохов. — А, лошадыяк!

— Ну, будьте здоровы.

— Со свиданьем.

— А я на вокзале стою и все боюсь — не узнаю. А глянул — сразу увидел.

— Давно не виделись.

— На первой формировке расстались.

— А я все думаю: он или нет? Про награждение прочитали, вроде сходится. Потом уж снимок увидел в газете — ну, все. Чего ж не приехал-то ни разу?

— Да все некогда, Коля. Я ведь в Москве почти что, как ты, редко бывал. А тетя Клава, сам знаешь, померла давно.

— Инфаркт у нее был миокарда. А отца ты нашел, Леха?

— Отец в войну погиб. А до этого всякие у него неприятности были. Несправедливо с ним обошлись.

— Раньше бы сообщил, что приедешь, я бы отпуск отложил.

— Я же точно не знал, что приеду.

— Телевидения у нас еще нет, но будет по плану через два года.

Тем временем Елохов опять налил коньяк в рюмки и похвалил себя:

— Глаз-ватерпас!

— Будьте здоровы.

— Алексей Степаныч, — сказал Елохов, — так у нас не пойдет. Чего же вы только верхнее отпиваете! У нас нижнее пьют.

— А я тоже нижнее пью, а верхнее вниз проваливается, на его место.

— А! Отдельные и у нас так поступают.

— В Курежму тебе надо съездить, Леша.

— Обязательно.

— Деревни-то ведь уж нет. Там целлюлозно-бумажный комбинат крупнейший строят. Город целый новый. Можно сказать, наша гордость.

— Я знаю.

Они опять посмотрели друг на друга не просто через стол, а сквозь свою двадцатилетнюю разлуку, изумляясь тому, что встретились, что это все взаправду, так и есть.

— Помнишь, как мы призывались? Ну, пацаны, и все! Давай альбом посмотрим, не возражаешь?

Николай достал с этажерки толстый альбом и начал его перелистывать, а Дроздов с острым вниманием и интересом стал смотреть на чужие, незнакомые лица, стараясь и надеясь узнать хоть кого-нибудь.

И вдруг он увидел Колю в бушлате и шапке ремесленника и воскликнул, радостно смеясь:

— Смотри-смотри!

— Да, — сказал Коля небрежно. — Ремесло.

А на следующей странице красовался он сам, Дроздов, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Такой карточки не было у Дроздова, и ему стало приятно, что она существует где-то, отдельно от него. А вот такая есть! Он с удивлением и радостью узнавал когда-то знакомые лица, задерживаясь всякий раз возле своего нехитрого изображения.

Пока они смотрели альбом, Елохов грустил и томился, ему это было неинтересно. А может быть, просто ему хотелось выпить.

А Дроздов не мог оторваться от альбома. Многие

совершенно исчезло, выветрилось из его памяти и, если бы не старые снимки, он бы никогда и не вспомнил эти лица, а некоторые он не мог вспомнить и сейчас.

— Неужели не помнишь? — огорчился Коля.

Но и сам Коля тоже не помнил многое из того, что Дроздов помнил ясно и четко. Чувствуя, что волнуется, Дроздов, как бы между прочим, после того, как поинтересовался другими, спросил о Марусе. Коля не помнил и не знал ничего.

— Какая Маруся? Машка, что ли?

— Да нет, Маруся, — отвечал Дроздов разочарованно и вдруг вскрикнул: — Смотри, а это Ваня, учился со мной. Ты помнишь? Нежный такой был, как девочка.

— Конечно, помню. Ваня не жив. Умер. Чего при-
молк, Елохов? Наливай-наливай. Он фотографирует здорово. Вот это все он снимал. Фотодокументы. Вроде пустяк, а посмотришь через двадцать лет, и за душу возьмет, вся жизнь как на ладошке. Вот я смотрел недавно документальный фильм про войну, про сражение, где я участвовал на Курской дуге, понимаешь. И прямо по сердцу, прямо до слез, потому что так и было.

— Кинохроника вообще забудет со временем художественное кино, — согласился Дроздов. — Никакие артисты великие, никакая режиссура не может сравниться с ее силой воздействия. Правильно ты говоришь, мурашки по коже.

— А это как сказать, — вступил в разговор Елохов, — почему мурашки? — хмыкнул с таким видом, будто знал нечто большее.

— Налей, — сказал ему Коля.

Когда пришла Колина жена, за окнами было уже темно, а Дроздов совсем забыл, что она должна прийти и что вообще она есть. Младшего она держала на руках, а старшие, которых она, видно, перехватила во дворе, стояли по бокам, немножечко сзади.

— Извините, я задержалась, — сказала она быстро. — Что же ты не подогрел ничего? Я сейчас картошки нажарю. Извините.

— Вы садитесь, — сказал Дроздов заботливо, — нам ничего не надо.

— Ты познакомься, — сказал Коля.

Она подошла, худенькая, миловидная, ее снимки

Дроздов уже встречал в альбоме, но там она была моложе и не так измучена своими и чужими детьми, домом, школой, географией.

— Садись, выпей.

— Неудобно, ничего нет. Хотите, я суп согрею? — спросила она и была рада, когда все отказались, она была слишком утомлена и не скрывала этого.

— И вы познакомьтесь с дядей Лешей. Помните, я вам говорил? — Мальчишки, серьезные, глазастые, белобрысые северные мальчишки, смущались, переминаясь у дверей.

— В каком классе? В первом и в третьем? Отличники? Молодцы! А у моего отметки интернациональные, хотя парень способный. Разболтался в интернате.

— Так он в каком классе? — спросила Тоня. — Это ведь в младших классах отличников много, а потом все меньше и меньше. Жизнь для них все сложнее делается.

— Это вы правильно подметили.

— А вот младший, Юрка, мой любимец, — сказал Коля.

— Ну, зачем... — начал Дроздов, но старшие сыновья отнеслись к этому высказыванию отца вполне хладнокровно.

— Ну, вы, семья, — крикнул Коля и повернулся к Дроздову: — Вот, Леша, так все и идет. Как женился, ни разу не выпался.

— А ты думаешь, я выпался? — вдруг спросил Дроздов, обозлившись. — И я, мой милый Коля, не выпался ни разу, да и не выплусь уже, — проговорил он, едва скрывая раздражение. — Понял? Такая жизнь и время, наверное, такое. Думаешь, мне легко?

— Отдельные высыпаются, — сказал Елохов.

— Ты бы жену пригласил. Тоня, пришла она? Пригласи, старик.

— И аппарат принесите, снимите нас на память.

Елохов поднялся и, прихрамывая, пошел к дверям.

— Ранение? — спросил Дроздов, когда он вышел.

— В Пруссии ему закатало. А ты на сколько к нам, Леша?

— Дней на шесть. Лететь скоро надо. К семье заскочу на денек, и привет Москве, — он подмигнул пацанам, которые смотрели на него из-за приоткрытой двери, и добавил для них: — В жаркие страны...

Он опустил голову и покрутил головой, пытаясь избавиться от видения — море, зной и белый теплоход, уходящий в марево, все дальше и дальше...

Он, Дроздов, как бы находился сейчас между прошлым и будущим, и ему казалось, что прошлое для него дороже, но это только так казалось, потому что прошлое было действительно прошлым, прошедшим, было безвозвратным, а будущее было в сущности рядом, в нескольких летних часах от него. Но и это будущее — это строительство — было во многом очень знакомо ему, оно было похоже на прежние стройки, напоминало их и потому в чем-то тоже было почти прошлым.

После этой тихой осени здесь будет еще долгая осень с холодными дождями, с непролазной грязью, и лишь затем подморозит, и придет долгая прочная зима — так для всех, а для него после этой осени, которую он сохранит в душе, будет дикая жара, пот, перегретые механизмы и песок, песок везде — на зубах, в карманах, в моторах.

Но его машины неприхотливы, а сам он еще менее прихотлив.

Вернулся Елохов с женой, она была такая же, как Тоня, худенькая и усталая, подойдя к Дроздову, она протянула руку и, не зная, как представиться, произнесла:

— Как сказать-то? Ну, Елохова.

Она села рядом с Тоней, и обе они, не скрывая своей усталости, почти не участвовали в разговоре. Они насыпали в глубокую тарелку брусники, залили кипяченой водой, подсластили и стали хлебать ложками. Предложили попробовать и Дроздову, — не забыл ли? — и он зачерпнул несколько раз из их тарелки, чувствуя во рту кисло-сладкий железный вкус, чудесный, как в детстве.

Елохов стал всех фотографировать, после каждого кадра он для зарядки включал в сеть лампу-вспышку и терпеливо ждал.

А Коля твердил, обращаясь к женщинам:

— Ну, вы, история с географией! — было видно, что острит он так не первый раз.

Потом Елохов, перегнувшись со стула, шарил по полу среди бутылок, бормоча:

— Сейчас мы им ревизию сделаем.

А Дроздов вновь пытался завести с Колей разговор о Марусе.

Потом Дроздов прощался со всеми, многократно отказавшись оставаться ночевать, и Коля пошел его провожать до гостиницы.

Они шли по скользким деревянным тротуарам, под которыми слабо журчала вода, Коля поддерживал Дроздова под руку. Дроздов все же провалился одной ногой в щель, но вторая нога стояла твердо, и Коля не дал упасть, так что все закончилось благополучно. Дроздов опять возмутился, что не чинят тротуары, а Коля даже не обратил внимания на случившееся.

У подъезда гостиницы они распрощались, и Николай быстро, гораздо быстрее, чем шли они вдвоем, деловито зашагал по деревянному тротуару и сразу исчез в темноте.

Он ловко шел по скользким мосткам и думал о далеком их детстве и юности и о том, что ему не очень повезло в жизни.

А тем временем Тоня, уложив детей и убрав со стола, уже легла, бегло подумав, что завтра у нее только три урока, но заседание педсовета, и размышляя над тем, что нужно купить и приготовить к завтрашнему приходу Дроздова.

А Елоховы ушли к себе и также легли, и жена сказала:

— А он простой.

— Да, но вообще-то зазнается.

— Ну, почему! — не согласилась она.

А старшим мальчишкам Пьянковым уже снились далекие жаркие страны, куда полетит дядя Леша, тигры, слоны и обезьяны среди высоченных, как сосны, пальм.

В коридоре было темно, лишь на столике дежурной горела зеленая лампа. Дроздов прошел к себе, умылся и, разобрав постель, лег на холодные, чуть влажные простыни. Заснул он быстро, и всю ночь снился ему длинный пестрый сон, где присутствовали Надя и Олег, и министр, и космонавт Николаев, и дельфин Флиппер, и Коля Пьянков с семьей, и еще множество действующих лиц: парень, спавший без постели в поезде, проводница, похожий на девочку Ваня, с которым он учился, Маруся, глядящая ему в глаза, его заместитель и

главный инженер, и Елохов с фотоаппаратом. Этот сон то прерывался, то продолжался снова, и сам Дроздов участвовал в нем то теперешним, то почти непохожим и юным.

Пробудившись, он дико взглядывал на светлеющее окно, за которым роняли желтую листву старые тополя, и вновь погружался в сон, не подозревая, что завтрашний день готовит ему что-то совсем новое и неожиданное.

7

Утро было теплое, чуть влажное, Дроздов до завтрака, в одном свитере, с непокрытой головой, вышел к киоску «Союзпечать» и купил вчерашние газеты. Над палисадниками, над коньками крыш и между старыми тополями рассеивался туман, и все большее место занимало в этом утре солнце. По деревянным тротуарам спешили на работу люди. Дроздов лишь сейчас сообразил, где же находится эта гостиница, которой раньше не было, и вдруг понял, где должна быть их школа, где дом Маруси, где река.

С трубкой газет под мышкой он вернулся в гостиницу и направился по коридору к лестнице, мельком обратив внимание на молодую красивую женщину, идущую ему навстречу. Он взглянул на нее мимоходом, машинально задержался взглядом на ее фигуре и лице и с удивлением заметил, что она смотрит на него особенным образом, как на знакомого, ожидая от него какого-то действия. Боясь, что это могло ему показаться, он, однако, приподнял голову для кивка и поднял брови для изображения удивления, но лишь настолько, что, если тут же выяснится, что он ошибся, можно было бы перейти на совсем другое движение, сделать вид, что у него затекла шея, и он на ходу, еще по-утреннему потягивается после сна. Но притворяться не пришлось, потому что она перехватила его готовность поздороваться и тут же поощрила, опередила его, остановившись перед ним и улыбаясь. Все это произошло в течение двух или трех секунд.

— Здравствуйте, Алексей Степанович, — сказала она, глядя на него весело, даже радостно. — Сознайтесь, что вы меня не помните.

— Как, то есть, не помню? Отлично помню.

— Да нет, не помните.

— Помню, помню, прекрасно помню, — говорил Дроздов, тоже улыбаясь.

А машина его памяти, уже включенная, работала на полную проектную мощность. Она у него хорошо работала, эта машина, потому что он привык знать, и знать как следует, тысячи людей. Такой у него был стиль, дроздовский.

— Почему же не помню, помню-помню, — говорил он, продолжая улыбаться, потому что уже вышел победителем в ожесточенной и мгновенной схватке с мимолетным, ускользящим воспоминанием. — Вы в плановом отделе работаете. Хотя, я, правда, давно уже вас не видел.

— Я уже год, как в комитет перешла.

— Ну, вот видите.

Больше сказать ему, собственно, было нечего, и он хотел уже попрощаться с нею, — но спросил все же:

— Вы идете завтракать?

— Да. Подождать вас? — спросила она просто.

— Ну что же, — сказал он. — Я сейчас спущусь, только пиджак надену.

Поднимаясь по лестнице, он невольно ускорил шаги.

— Я в командировке, на ЦБК приехала. Но вы-то почему здесь?

— Я здесь инкогнито. Я сам отсюда, вырос здесь, и вот не был, понимаете, давно очень.

Странно: когда-то в Москве они были едва знакомы, то есть он ее едва знал, а его-то она знала, конечно. Он хорошо знает ее бывшего шефа, начальника отдела, тот и познакомил, сидели рядом на каком-то совещании, а по работе он с ней не мог сталкиваться. Странно: там были едва знакомы, но, встретив ее здесь, он обрадовался, как будто давно мечтал об этом.

Подошла официантка. Коротенький карандашик, которым она записывала их заказ, был привязан к ее карману длинной веревочкой.

— Как у космонавта, — сказала она, едва официантка удалилась, — чтобы не уплыл при невесомости.

— Ишь ты, — удивился он.

— Значит, вы отсюда, — произнесла она задумчиво. — Места здесь удивительные, вы удачно выбрали, где родиться. Мне страшно нравится этот Север, ста-

рый русский Север. Эта русская готика хвойных лесов.

— Это что, стихи? — спросил он чуть снисходительно. — А в Курежме вы уже были, вверх по реке поднимались? Вот где красота!

Пока они завтракали и разговаривали, сидя друг против друга, он чуть-чуть недоверчиво улыбался, с удовольствием глядя на ее свежее утреннее лицо.

Потом он хотел заплатить за обоих, но она сказала: «Ну, что вы!» — настаивать он не стал.

Можно было идти, но он закурил, сначала предложив сигарету ей.

— Не курю, спасибо, — она улыбнулась.

— А мне казалось, вы курили. Почему-то помню вас с сигаретой.

Она покачала головой:

— Вы ошиблись. А сейчас и мужчины многие бросают курить. Сила воли или страх. Или одно дает толчок другому?

— Импульс во всем нужен.

— А я вам завидую, — сказала она задумчиво. — Мне это незнакомо: посещение родных мест после долгой разлуки. Я москвичка. Наверно, интересно приезжать на родину? — спросила она просто и оживленно.

— Интересно — не то слово. Воспоминания наваливаются. Вот сейчас пойду погуляю по городу.

— А я сейчас в трест, буду там до обеда, а потом тоже собираюсь погулять.

— Если хотите, могу составить вам компанию, — сказал он, помедлив.

— Хорошо, — ответила она спокойно. — Можно встретиться здесь.

Это было поразительное смешение прошлого, настоящего и будущего.

Домики в палисадниках, каменные степенные здания и едва заложенные, тянущиеся вверх, новые современные корпуса. Все это причудливо перемежалось, и иногда казалось непонятным их соседство, но Дроздов знал, что это лишь потому, что он не знаком с общим планом застройки. Город напоминал одну огромную квартиру, где еще вполне прочно стоит столетняя дедушкина мебель, а рядом с нею легкая, современная, приобретенная детьми и внуками, и слегка смущает

лишь то обстоятельство, что точно такие же вещи у всех друзей и знакомых.

Марусиного дома не было, не было всей улицы, а была совсем другая улица — стандартные четырехэтажные дома розового цвета, чахлые газончики, играющие дети.

Той улицы не было, будто ее вообще не существовало. Будто никогда не было морозного дымного заката за окном и догорающей печки, бросающей на пол рыжий отблеск, будто не было широкого Марусино лица, ее добрых глаз и шестимесячных кудряшек, будто не было самого Лешки Дроздова, уезжающего к Москве в красной теплушке, вмерзающего в пористый мартовский снег, стонущего в ночной госпитальной палате.

Розовые дома пытались заслонить его прошлое.

Он прошелся по этой улице, свернул в другую, старую, которую вспомнил сразу, миновал ее, перешел по мосту через пути, заглянул в здание вокзала. По-прежнему он ощущал странную нереальность своего здесь пребывания, но одновременно внимательно смотрел по сторонам. Это был его город. В этом северном городе не было такси, чистильщика обуви, не было носильщиков на вокзале, не было, вероятно, много другого. Но многое, очень многое здесь было. Здесь была современная гостиница, большой кинотеатр, новые дома, точно такие же, как в Черемушках, новый вокзал с автоматической камерой хранения, ходили изящные львовские автобусы. Здесь были нормально оборудованные магазины с хорошим снабжением. Особенно его радовало обилие привозных фруктов. Люди несли в авоськах яблоки, абрикосы, арбузы, виноград. «Вот так и нужно снабжать северные районы», — думал он с удовлетворением.

В общем, это была обычная жизнь, все как полагается.

Он задумчиво пересек площадь и вышел к реке. Должно быть, река действительно сильно обмелела за лето, особенно здесь, в своем верховье, ее сузило жарой, и она немножко разочаровала Дроздова, в его памяти осталось нечто более внушительное. За рекой белели песчаные отмели — пляжи, где он купался столько раз, а еще дальше темнела зубчатая полоска леса. Погода совсем разгулялась, было тепло, голубело небо, и лишь вода была по-северному холодной и серой.

Дроздов спустился по деревянной скрипучей лестнице вниз к дебаркадеру. Там все было как на корабле, — трап, окованный железом, иллюминаторы, хронометр на стене. На дебаркадере была и своя гостиница, и он немного пожалел, что живет не здесь. Здесь всю ночь плещет в борт волна, слышны голоса команд со швартующихся судов, гомон пассажиров, гудки.

И сейчас, смутно тревожа Дроздова, у борта стоял большой теплоход, и была уже объявлена посадка, — вниз, на Архангельск, и рябило в глазах от воды.

Потом Дроздов сидел наверху на скамье и смотрел на реку, потом снова бродил по городу, задумавшись о своем и порою непроизвольно взглядывая на часы.

8

— Да, память у меня неплохая. Но должен вам честно сказать: не помню, как вас звать.

— Маргарита Александровна.

Она шла рядом с ним по деревянному тротуару и чуть касалась его плечом, когда нужно было дать дорогу идущим навстречу.

— А мне, чтобы попасть в свою юность, достаточно завернуть за угол, — говорила она. — Там моя школа. Но я тоже очень редко туда сворачиваю, только случайно...

Он слушал ее и почти не слышал, выключаясь, как он умел, лишь как бы между прочим ощущая ее присутствие, а в его душе откликались ему домики в палисадниках, деревянные тротуары, старые тополя.

Стояла уже вторая половина дня, ясная, тихая.

Было по-настоящему тепло последним теплом осени, и это действовало расслабляюще, утомляло, хотелось остановиться или сесть и не двигаться, подставив лицо осеннему солнцу. Они шли медленно-медленно.

— И долго простоит такая погода? — спросила она.

— А это посмотрим в среду. Тогда бабье лето начинается. Если утром на порог выйдет первой девка баская, то все в порядке, ясная будет погода, теплая... Примета такая, — пояснил он на всякий случай.

— Как вы говорите?

— Баская, ну, значит, красивая, — он хотел добавить: «Вроде вас», но тут же решил, что это будет лишнее, — а выйдет первой замухрышка какая, тут все

пропало. Вообще, над этим контроль бы надо установить, привлечь общественность. А то ведь красавицы спят дольше.

— Баская, — сказала она задумчиво.

Они были уже на окраине города, вдали, на холме, чернела церквушка, а за нею светилась полоска воды.

Навстречу им шла пара. Девушка и парень, оба сильно наклонившись друг к другу, прижимаясь плечами, как бы опирались друг на друга, похожие издали на печатную букву «Л». Они шли как во сне, пришлось уступить им дорогу.

Дроздов считал себя человеком современным, такие сцены его не раздражали, но сейчас он представил себе, что вот он, молодой, идет эдаким манером с Марусей, и усмехнулся, так это было неправдоподобно и нелепо.

Дроздов и Маргарита Александровна по-прежнему медленно шли по тротуару под еще теплым осенним солнцем, и он вдруг обнаружил странное ощущение: будто оба они живут здесь давно и просто вышли пройтись, прогуляться, как обычно, как всегда.

Они подошли к типовому серому зданию Дворца культуры, огромному, с колоннами, и хотя колонны были архитектурным излишеством, Дроздов гордился перед ней этим дворцом, который тоже видел впервые, так, будто сам построил его.

— Как Большой театр, — произнес он с удовольствием.

На фасаде висели афиши и объявления, и она сказала:

— А вот, видите: «Открыта выставка самодеятельных художников». Зайдем?

Они прошли через пустынный, полутемный вестибюль и фойе, невольно стараясь не шуметь, почти на цыпочках, и попали в маленький светлый зал, где и размещалась выставка. Там висели картины, стояли гладиолусы из материи и поролонa, деревянные зверюшки. Под каждой работой подпись: фамилия и профессия автора.

Дроздов наклонился, рассматривая фигурки, когда услышал ее шепот: «Посмотрите сюда!»

Он обернулся. В простенке, поблескивая и отсвечи-

вая, висела большая картина. Она называлась «Наш красный сигнал».

На ней было изображено железнодорожное полотно с одним лопнувшим рельсом. Между шпалами, на шесте, висели красные трусики. А рядом застывшие, неподвижные трое детей. Девочка, пожертвовавшая трусы, совсем голенькая сидела сбоку на сложенных шпалах, подложив под попку книжку, обхватив руками колени, с томным, понимающим видом. Вблизи с безучастным выражением лица стоял мальчик, а следом столь же нелепо-неподвижно, в одних трусах; еще девочка, с вполне сложившимися формами. Оба они смотрели из-под руки вдаль, навстречу поезду. Кожа у всех троих была какого-то сероватого оттенка, но выписано все было чрезвычайно аккуратно и покрыто лаком.

— А что, смешно, — сказал Дроздов.

— Может быть, вы и правы, потому что это пародия. Жаль, что художник не знает этого.

— Т-сс, — он отвел ее к другой стене, сообразив, что сидящий возле картины человек и есть автор, а рядом на столике лежит книга отзывов. Он кого-то напоминал Дроздову, — смотрел гордо, с достоинством, будто знал еще что-то дополнительно.

На другой стене висели небольшие картины: «Ветер», «Лес», «Поле», и на них действительногнулись под ветром кусты, взлетали ввысь красные на закате стволы сосен, темнели вдали стога. На одной картине было нагромождение различных судов, стоявших тесно, почти касаясь друг друга, под ними застыла зеленая вода, а наверху тянулась улица с маленькими домиками, деревянный тротуар, осенние рябины. Картина называлась «Улица адмирала Ушакова».

Они опять прошли через полутемное фойе, где висели портреты пистелей-классиков, и она спросила, кивнув на Чехова:

— Знаете, какой у Чехова был рост?

— Рост? Небольшой, наверно.

— Сто восемьдесят шесть сантиметров, — сказала она торжествующе.

Ее несколько разочаровало, что он не слишком удивился.

Около дворца остановился автобус. Дроздов вдруг потянул ее за руку, они бросились к открывшейся две-

ри и едва успели вскочить. Автобус, раскачиваясь, нешибко катился по разбитой дороге, вдали темнел лес— он здесь со всех сторон, лес, лес, — над ним, уже склоняясь к вечеру, стояло нежаркое солнце.

— Куда мы едем? — спросила она тихо.

— На судоремонтный завод.

Они сошли у затона и долго смотрели на корабли, заполнившие всю его акваторию, — буксиры, баржи, катера, новенькие пассажирские теплоходы. Они ремонтируются здесь и зимуют. Под ними мерцала, отражая их трубы и борта, недвижная, зеленая у берега вода. Казалось, суда тоже стоят разморенные последним осенним теплом.

По грязной дороге они долго обходили затон, пока не очутились на привычном деревянном тротуаре. Над ним склонялись рябины, и на досках тротуара густо краснели осыпавшиеся, раздавленные ягоды.

Он тронул ее за руку:

— Посмотрите.

На домике была прикреплена дощечка с надписью: «Улица адмирала Ушакова», и она тут же узнала все— и затон, и тротуар, и рябины, — и оба они обрадовались, будто это было очень важно.

— Я бы хотела приехать сюда в отпуск. Я всегда во время отпуска путешествую. Мне здесь нравится.

Вдали над затоном, в густеющей дымке, смутно лиловел перелесок.

— Как мираж, — сказала она.

— Почему мираж? — удивился он. — Ничего общего.

— А вы наблюдали мираж?

— Конечно. Много раз.

Они дождались автобуса и поехали в сторону города.

— Сейчас я в гости иду, — сказал он небрежно и почувствовал, что ему неохота с ней расставаться. Хорошо бы не ходить, поломать это дело. Или взять с собой. «Знакомьтесь, товарищи. Моя жена».

— Чему вы улыбаетесь?

— У меня плохая память на отчества. Можно, я буду называть вас Рита? Что вы делаете завтра?

— Завтра мне нужно поехать в Курежму.

Он помедлил:

— Я ведь тоже собираюсь. Вы едете одна?

— Да, катером.

— Это не годится. Удобнее туда поездом, а катером обратно. Но ведь завтра короткий день, надо рано выехать, чтоб вам успеть, первым поездом. Вы не проспите?

— Я рано встаю. Я дома до работы еще в Лужники езжу на теннис. Уже приехали?

У входа в гостиницу они остановились.

— Значит, я за вами зайду. Какой у вас номер?

Опять он сидел у Пьянковых, опять женщины хлебали бруснику из глубокой тарелки, а Елохов фотографировал, потому что накануне неважно получилось — он уже успел проявить пленку — и опять выглядывали из соседней комнаты мальчишки. А Дроздов чувствовал себя здесь совсем уже свободно, совсем своим, он смотрел через стол на круглое, доброе и дорогое Колино лицо, слушал его голос и, поднимая вместе со всеми рюмку, уже привычно удивлялся: неужели он здесь не был двадцать два года? Это выглядело диким, потому что, когда он видел Колю, он сам себе казался почти молодым.

— Дожди пойдут, — говорил Коля, — дороги раскиснут, вывезти ничего не успеют, и нас с Елоховым в район мобилизуют, по колхозам, по леспромхозам, в помощь, понимаешь.

— Вернутся заросшие, как из Антарктиды, — сказала Тоня.

— Некогда бриться. А условия там нормальные, — вступил Елохов. — Я был вот прошлый год в поселке коммунистического быта при леспромхозе. Неплохо живут, хорошо. И доверие, сознательность, — в столовой пообедал, а платить можно потом, никто ничего не скажет. Порядок там такой: тунеядцев как привозят, сразу женят. Женсовет собирается и решает. Ну, они сразу остепеняются, тунеядцы. Там женсовет — сила!

— То есть как женят? — изумился Дроздов. — На ком?

Елохов хмыкнул:

— На ком! Добровольно, конечно. Которая хочет, та и выходит. Я там присутствовал, одного семейного обсуждали: был в бараке у бабы. Жена его говорит: «Он был пьяный, полчаса полежал у порога и домой пошел». Не хочет, значит, жена раздувать. А одна из женсовета: «Нет, говорит, я видела, он в четыре часа

утра от нее ушел»... Еще присваивают звания семей коммунистического быта. Условия такие: первое — уважать друг друга...

— А любить? — спросила Тоня, но он оставил вопрос без внимания.

— Второе — хорошо работать, третье — чтобы у детей не было троек, четвертое — чтобы в семье не было блуда, и так далее. Обсуждают, отдельным отказывают. Вот одна на обсуждении говорит: «Не достойны. У них свекровь на невестку ругалась, я слышала», — и отказали...

— Послушайте, товарищ Елохов, — перебил его Дроздов, — вы меня извините, но ведь то, что вы рассказываете, отвратительно. Черт знает что! Роятся в грязном белье и с какой охотой! Доверия к человеку никакого, в столовой только и доверяют. Там что, парт-организации, что ли, нет! И райком куда смотрит!..

— Ну, почему, — Елохов очень обиделся, — поселок передовой, культурный. Клуб хороший, кружок изобразительный. У меня брат художник, ездил туда три раза на общественных началах помочь кружку.

— Художник? — спросил Дроздов. — Слушайте, это он нарисовал картину «Наш красный сигнал»?

— Нет. Почему? Какой сигнал? — удивился и вконец обиделся Елохов.

— Давайте лучше выпьем, — сказал Коля примирительно.

Потом Дроздов и Коля стали вспоминать, как они призывались и в холодный осенний день шли строем от военкомата к вокзалу и по мосту через пути, как грузились — и эти воспоминания сладкой болью отзывались в сердце. Как ехали в теплушке, и дымила печка — жестяная труба была плохо скреплена в колене, а никто не поправлял, не интересовался.

— Тебя кто провожал? Мать, я помню.

— А тебя тетя Катя.

— И Маруся такая была. Неужели не помнишь? — и еще зачем-то объяснил женщинам, которые внимательно слушали: — Девушка у меня была тогда, Маруся.

— Нет, Марусю не помню.

Дроздов на миг выключился, как он умел, мимоходом, чуть отчужденно подумал о Рите. Все-таки мысль о ней доставила ему удовольствие.

— ...И она меня тоже провожала. Зина. Не помнишь?
— Да, — неожиданно вспомнил Дроздов, — в сапогах.
— Точно, — засмеялся Коля. — Она и сейчас здесь живет. Тоня вот только ревнует.
— Полно тебе.
Дроздов посмотрел на часы:
— Ну, ладно. Спасибо хозяевам, пора мне идти.
— Сиди.
— Я же завтра в Курежму еду.
— Вот это ты молодец. Посмотри, чего там понастроили. Жалко, раньше мне не сказал, я бы отпросился, с тобой бы съездил.

В коридоре было темно, лишь на столике дежурной горела зеленая лампа.

Идя по коридору, он удалялся от зеленой лампы. Конец коридора тонул в темноте, и он с трудом различал номера на дверях. Из-под ее двери пробивалась узенькая полоска света.

Он постоял несколько секунд, чувствуя возрастающее желание тихонько постучать в дверь, но не решился.

У себя в номере, не зажигая света, он долго смотрел в окно. Вдали, за тополями, кое-где мигая, горели во мраке огоньки — люди не спали, готовясь к труду или ко сну, к отдыху или к дороге.

Он медленно разделся. Он знал, что его возбужденный мозг не даст ему сразу заснуть. И еще ему мешало что-то, он долго не мог понять — что же именно, и это мучило его, пока он не догадался: ему нужно было подумать еще о строительстве, о своих людях, о ломающем воду белом теплоходе.

9

Раннее утро было ясным и холодным. За ночь лужицы стянуло пленкой льда, на оградах и опавшей листве густо лежала изморозь. Дрожа от холода, они почти бежали по деревянным тротуарам, оставляя на инее четкие следы, — она держала его под руку, и это несколько мешало ему, — прошли над путями по влажно блестящему мосту.

— У вас вчера поздно свет горел.

— Это моя соседка к докладу готовилась. Врач из района, на совещание приехала.

Он закашлялся, закуривая.

Поезд уже стоял у платформы, и едва они сели в старый, бывший когда-то вагоном дальнего следования, а ныне пригородный вагон, разгороженный трехэтажными полками, едва они успели вскочить, как он тронулся.

Вагон был почти пустой, они сидели у окна, друг против друга, и смотрели сквозь грязное стекло на уже освещенные солнцем красные стволы сосен, на волны хвои, седой от изморози.

На первой остановке вошло много народу, и сразу началась проверка билетов, но оказалось, что это не ревизоры, а продажа билетов прямо в поезде, — такого Дроздову не приходилось видеть в Союзе, только за рубежом.

Здесь были все знакомые между собой люди, каждое утро ездившие вместе на работу и каждый вечер возвращающиеся.

Рядом компания играла в подкидного, шумя и смеясь, и называя пики винями; позвали играть и их, но они не стали. Сидящая сбоку бабка, с корзинкой, рассказывала своей соседке про внучку, — и было непонятно — случайная ли попутчица ее собеседница или старая подружка. Бабка сочувствовала своей внучке:

— Дак везде деньги-т. А она молода. На шпильки сколько надо? — Под «шпильками» она имела в виду туфли.

Дроздов, уже давно опомнившийся от сна, но еще в состоянии как бы заторможенности, впитывал в себя все это, такое знакомое и близкое ему, смотрел в окно, по сторонам, улыбаясь, взглядывал на Риту.

Потом все разом поднялись, и они тоже, спрыгнули на междупутье, в еще холодное, бодрящее, уже пронизанное солнцем утро, прыгая через рельсы, добежали до автобуса и понеслись по новой дороге в новый город — уже открывающийся сквозь редющий лес. Они уже видели огромные корпуса и трубы комбината, прямые и широкие, такие знакомые улицы, застроенные по типовым проектам.

И Дроздов, прильнув к автобусному окошечку, с волнением и гордостью смотрел на этот новый город и комбинат — уж он-то знал эту, ни с чем не сравнимую

радость, когда на голом месте твоей волей и трудом поднимается город.

В ее присутствии он чувствовал это острее.

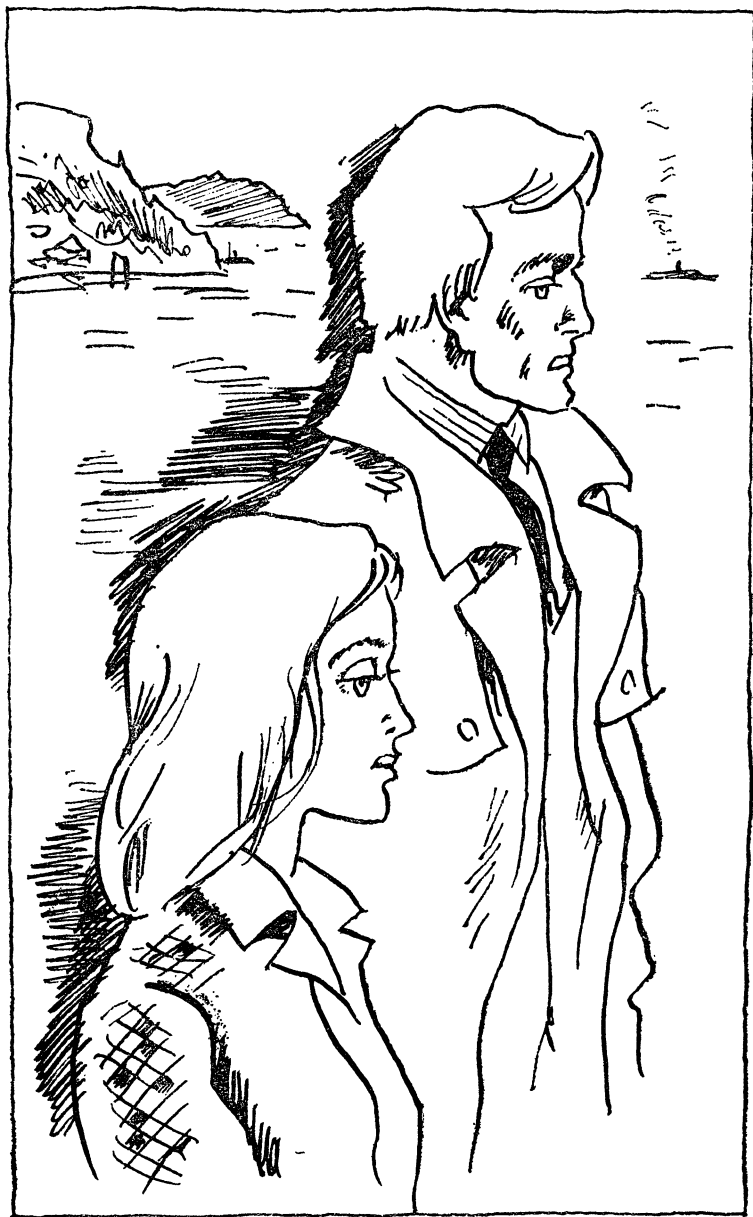
Они наскоро позавтракали в кафе «Молодежное» и расстались возле заводууправления, договорившись встретиться здесь через три часа.

И он пошел по городу. Этот новый город был похож на сотни новых городов, но для Дроздова он был особенный, единственный город. Здесь было оживленное, чем в старом городе, больше молодежи — в спецовках и ватниках, и в модных коротких плащах и пальто. Потеплело. Вдоль выложенных плиткой тротуаров шелестели последней редкой листвой уже набирающие силу насаждения. И если в старом городе больше всего было тополей, то здесь на каждой улице росли разные деревья — была улица и тополиная, и обсаженная березой, и липой, и даже рябиной. «С душой сделали», — подумал Дроздов.

В распахнутом плаще, держа в руке кепку, он неторопливо шел по тротуару. Сперва он думал побродить только внутри города, а к реке выйти уже вместе с ней, но теперь изменил свое решение. Оставляя комбинат слева, он все убыстрял шаг, не замечая этого, и шел к реке по прямой, недостроенной улице. Сначала он видел впереди только небо, потом далекий лес на том берегу, потом самый тот песчаный берег и вдруг увидел все сразу, — у него перехватило горло, и он остановился, потрясенный открывшейся картиной.

На той стороне светлели песчаные берега, редкостные здешние пляжи, прямо над ними, дальше, сдержанная пестрота осеннего северного леса, где преобладали темные краски елей. А ближе — самое главное, занимающее более всего места в этом пейзаже — река! Очень широкая, темно-серая, осенняя, и кое-где по ней шли отдельные светлые, ясные полосы, как в море бывают полосы воды разных цветов. И плоты, плоты... Их вели вниз буксиры, а на плотях — шалашики, костерки — жизнь. Повсюду лес в воде — здесь это главное — и выкаченный лебедками из воды, в штабелях, уже высохший, серый, и мокнувший в воде, и далеко от берега, на самом краю неподвижных плотов, баба, согнувшись, полощет белье.

Справа, вдали, над темным лесом — монастырь, от-



сюда ушел Ермак Тимофеевич воевать Сибирь, здесь снаряжался. Темные ели, темно-серая река и темные облака над ней — и среди всего этого, холодного, — неожиданная светлая полоска — и на воде, и в небе, и на берегу...

И множество катеров, буксиров, моторок, ежеминутно взламывающих серую гладь воды.

Если бы здесь жить и работать, и чтобы окна выходили на реку! Все бы само собой делалось, по крайней мере у него, это уж точно!

«Почему такая судьба? Почему, если я так люблю эти места, я никогда здесь не бываю, почему я должен работать за много тысяч километров отсюда, где ничего не напоминает мне об этих краях! Почему я должен давить себя во всем?» — думал он, но в глубине души признавал, что все это не совсем так, что все это не так просто.

— Вы не очень долго ждали?

— Пойдемте, скоро катер.

Он вел ее по прямой, недостроенной улице, она говорила о ЦБК, о его первой очереди, о его второй очереди, о его мощности, сыпала цифрами, все время поворачивая голову в сторону комбината. А он не слушал ее, он шагал и думал: «Погоди, я тебе сейчас покажу. Ты такого сроду не видела».

И действительно, едва они вышли к реке, речь ее оборвалась, она только сказала:

— Вот это да! — и замолчала.

Внизу, по широкой серой воде шли плоты, двигались катера и моторки, один буксирчик пришвартовался к барже и повел ее как бы под ручку. Противоположный берег сверкал белым песком, в котором там и тут торчали отставшие бревна, пестрел и темнел далеким зубчатым лесом. Справа белел монастырь, откуда ушел Ермак, и Дроздов сообщил ей об этом факте.

— А здесь что было? — она кивнула на дома нового города, уже выходящие сюда, к обрыву.

— А здесь, моя милая, была моя деревня. Я здесь родился.

— Нет, серьезно? — она глядела вдаль, за реку, на открывшуюся панораму. — Удивительная красота. Просто Нестеров.

— Какой Нестеров? — спросил он, не понимая.

— Михаил Васильевич Нестеров. Великий русский художник, один из самых блестящих мастеров.

...Ага, Нестеров... Значит, это его пробел. Он знал, что у него есть подобные пробелы в общей подготовке, и не стыдился этого, а старался от них избавиться:

— Где можно посмотреть?

— В Третьяковке прекрасный Нестеров, в Русском музее. Он не только пейзажист, но и портретист превосходный. А портрет Павлова вы, наверное, знаете?

— Академик Павлов? — Дроздов вытянул руки, сжав кулаки. — Это его?.. Я-то хорошо знаю о другом Нестерове, о Петре Николаевиче, летчике...

— Мертвая петля?

— Да. Петля Нестерова. И первый таран.

Они спустились к пристани и вместе с другими смотрели, как подходит катер — речной трамвай, какие ходят по Москве-реке, ждали, пока сойдет народ, а потом поспешили в нижний салон, наверху ехать было слишком холодно.

Немного обидно плыть по такой прекрасной, такой северной реке в привычном речном трамвайчике.

Прошел по левому борту город, целлюлозно-бумажный комбинат, близко, у самых окон, проносилась назад вода.

— Сольвычегодск уже. Пошли.

Они поднялись на палубу.

Тучи разорвало, и вверху стояла ясная холодная голубизна, солнце резко освещало реку и старинный городок на высоком берегу, где главенствовал удивительной стройности и красоты белый собор с зелеными луковичами и погнувшимся шпилем.

Катер привалился к пристани, и они побежали вверх по деревянным ступенькам и потом, вокруг оврага, к собору, они боялись, что рано закроют музей, потому что была суббота.

Он не дал ей остановиться и читать славянскую надпись на воротах, он протащил ее вперед, и вовремя: женщина-экскурсовод уже навешивала на двери огромный амбарный замок, они с трудом умолили ее пустить их ненадолго.

Их шаги гулко раздавались в пустом соборе. Лики святых глядели на них своими огромными глазами. А наверху, в зале неожиданно оказалась галерея сов-

ременной живописи — из запасников лучших музеев, как сказала экскурсовод, — и дико было видеть на этих древних стенах изображение защиты дипломного проекта и загорелых гребцов с эмблемой «Динамо» на майках.

После этого они попали опять в старый зал, и бегло, не желая задерживать экскурсовода, рассматривали иконы, утварь — пряничные и набивочные доски, подголовный сундучок для ценностей (чтобы не украли во время сна, в дороге, наверно), туеса, одежду, посуду, чернь по серебру (устюжскую или тогда и здесь чернили?). Особенно заинтересовали Дроздова переносные пушечки на деревянном основании, совсем крохотные, длиной порядка 300 миллиметров.

— Пойдемте, — позвала Рита. — Неудобно.

— Спуститесь вниз, — хмуро сказала женщина-экскурсовод, — подождите меня, я запру, и каменные мешки посмотрите. А то как же без них...

— Да, да, мешки, — вспомнил Дроздов.

Это была тюрьма, подземная каменная тюрьма, построенная под собором, одновременно с ним, в шестнадцатом веке именитыми людьми Строгановыми, их «усердием и иждевением», пока они еще не ушли отсюда на восток, чтобы стать владыками Урала и Сибири.

Внизу было полутемно и холодно.

— Вот это мешки-камеры, — с привычной значительностью сказала женщина-экскурсовод, — в эти отверстия в нижней части стены бросали узников, сквозь них же подавались еда и питье, часто они замуровывались. Внутри, за этим мешком следует второй. Можете, если хотите, попасть туда.

На корточках, почти ползком, Дроздов, привычный еще и не к такому способу передвижения на своих стройплощадках, пролез сквозь довольно узкое отверстие внутрь мешка и подал руку Рите, помогая ей.

Они близко стояли в полумраке средневекового каменного мешка, держась за руки. Слабый свет падал на бледное лицо Риты, и Дроздов слушал гулкие, как набат, звучные, каких он никогда не слышал, удары собственного сердца.

— В тысяча девятисотом году, — донесся голос женщины-экскурсовода, — мешки были вскрыты и отсюда вывезено девять возов костей.

Стояла уже вторая половина дня, самое ее начало, ясное, бодрящее холодным неподвижным воздухом, и лишь с солнечной стороны было тепло.

Они обошли вокруг собора, мимо поразительно толстых, в два обхвата, берез, — они проверили: обхватили вдвоем ствол и едва смогли встретиться пальцами.

— Как дубы!

Они миновали высохший пруд, где Строгановы разводили когда-то искусственно жемчуг, прошли мимо крытой танцплощадки и остановились над рекой, подставив лица солнцу.

Вдали дымили трубы Курежмы, комбината, где они были недавно. Рядом с собором стояла мачта высоковольтной передачи, а следующая уже за рекой, и провода шли в голубизне, а глубоко внизу холодно светилась вода. Из города в Курежму, вверх по реке, прошел речной трамвай. На его задней палубе кто-то вез зеркальный шкаф, пускавший огромных солнечных зайцев по воде и по окнам домов.

Рита захотела посмотреть, какие на берегу камушки и есть ли ракушки, и стала спускаться по крутой тропинке, а Дроздов остался стоять над высоким, укрепленным камнем, обшитым лесом обрывом.

И, глядя, как она спускается, боком, осторожно ступая и придерживая темные разлетающиеся волосы, он вдруг подумал, что, может быть, эта женщина и есть та самая, единственная, которую может посчастливиться встретить в жизни. Как и почему возникла эта мысль или это чувство, он, вероятно, не смог бы объяснить, но факт тот, что это возникло.

«Первая любовь, — усмехаясь про себя, подумал он. — Не поздно ли? Но ведь у меня ее не было. А говорят, должна быть обязательно. Жаль, что Рита работает не у меня. А что, если предложить ей поехать на строительство, попросить, чтобы оформили побыстрее». Он с сожалением подумал о Наде, о том, что она хорошая, но, наверно, он никогда не любил ее, о том, что привык жить в разлуке с нею. Он подумал — вместе — об Олеге и Рите, это показалось ему странным. «Взять ее с собой? Да я ничего не знаю о ней, я даже не знаю, замужем ли она. И не хочу знать».

Он стоял высоко наверху, подставив лицо осеннему солнцу, и видел — сразу — всю ширину серой холодной воды, и темный лес на той стороне, и трубы Ку-

режмы, и маленькую женскую фигурку внизу, под берегом.

«А ведь жизнь-то проходит, — подумал он. Он хотел подумать: «прошла», но тут же улыбнулся: — Ну ладно, это уж слишком»... Он приехал сюда на свидание с прошлым, и оно незримо присутствовало в нем, но сила его воздействия уже притупилась. Настоящее — всегда между прошлым и будущим, и с двух сторон они бросают свой свет на настоящее. И свет прошлого кажется более четким, ясным. А на самом деле это не всегда так. И свет будущего бывает острес, пронзительней, резче, особенно, когда всерьез ждешь и хочешь чего-то.

Он приехал сюда на свидание с прошлым. Встреча с этой женщиной как бы соединила для него прошлое и будущее. Прошрое, где он был молодым, и будущее, о котором он сейчас не знал ничего.

Он знал о другом будущем, знал твердо и видел его явственно: это был утвержденный проект, жара, машины, материалы, и его люди, которых он так хорошо знал и с которыми вместе прошел и сделал уже немало, и контуры домны, и бессонница, и тот белый теплоход, что ломал сейчас океанскую воду, — это было его будущее, ради этого он и жил на земле.

До катера было еще время, они прошли по городу и рассматривали второй, стоящий в стороне от реки собор Введенского монастыря, красно-белый, кирпичный, более помпезный, чем тот, белый, Благовещенский, водогрязелечебницу и рядом озеро, откуда прямо ведрами берут грязь, и домик, где некогда жил сосланный молодой, никому не известный Джугашвили.

— Смотрите, какое объявление!

**«ВОЛК — БИЧ ДОМАШНИХ
И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ.**

Областной конкурс по истреблению волков.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ	— за наибольшее количество истребленных волков, но не менее семи	— 125 рублей.
ВТОРАЯ	— не менее пяти	— 90 рублей.
ТРЕТЬЯ	— не менее трех	— 50 рублей.

125 рублей — за уничтожение логова — волчицы и не менее четырех волчат.

Кроме премий, за каждого уничтоженного волка, вне зависимости от его пола и возраста, выплачивается госвознаграждение — 50 рублей.

Включайтесь в конкурс по уничтожению волков».

— Как интересно!

— А что, — сказал он, — можно бы остаться, купить ружье и включиться в конкурс.

Они шли к пристани, освещенные осенним солнцем, и все это было нереально, невозможно, необъяснимо. «Неужели я только позавчера приехал из Москвы? Правда, как мираж. Ничего не скажешь...»

Опять они сидели в тесном салоне речного трамвая, друг против друга, касаясь коленями, было тепло и клонило в сон, а снаружи, очень близко, почти на уровне окна, пролетала выпуклая северная вода. Катер подходил к пристаням, то на одном берегу, то на другом, и в салон все больше набивалось народу, видно, на палубе стало совсем уже холодно. Рита задремывала, а временами поднимала голову и взглядывала на него, виновато улыбаясь. Вечерело. Внутри стало совсем темно, но электричества не зажигали, а за окном долго еще горели краски холодного северного заката.

С одного борта катера бежала яркая, окрашенная красным, будто подсвеченная снизу вода, а с другого — темная, свинцовая, мрачно-серая, где иногда лишь проступали розоватые блики. Потом возникла вода совсем другая, даже в темноте светлая-светлая, почти серебряная.

— Марке, — сказала Рита сонным голосом.

— Нет, это не Марке, — ответил он, не интересуясь, что это за имя, — нет, Маргарита Александровна, это не Марке, а Вычегда при слиянии с Северной Двиной. Вот так-то.

Катер подвалил к дебаркадеру, народ стал выходить, и они, внизу, еще долго ждали, пока до них дойдет очередь.

Было очень холодно, они бегом пересекли площадь, перешли через пути по мосту, замерзшие, голодные.

— Кафе сейчас уже закрыто. Пошли сразу в ресторан...

Ресторан помещался отдельно, не в гостинице, хотя и близко от нее.

Они сели за маленький столик, объединенные этим длинным днем, долгой поездкой, редкостной красотой увиденного, даже холодом, встретившим их на берегу.

Висели на окнах и дверях бархатные желтые портьеры, играла радиолa, но никто не танцевал. Подошла официантка с карандашиком на веревочке, приняла заказ.

Дроздов налил себе и Рите, и она, не споря, выпила большую рюмку водки, и еще одну, покраснелась и призналась, что вообще не пьет совсем, разве что немного сухого вина. Негромко играла радиолa. По стеклам ударили редкие капли дождя.

— Можно идти, — сказал он.

— Посидим еще немного, — она улыбалась чему-то, он не спрашивал — чему.

Вдруг, словно кто-то толкнул его, он поднял голову. В конце зала накрывала на стол полная пожилая официантка, которую он словно встречал прежде и на которую теперь он смотрел во все глаза. Машина его памяти работала на полных оборотах, и следом его будто обожгло: ему показалось, что это Маруся. Конечно, он не был уверен окончательно. Официантка поставила на стол закуски и исчезла за портьерой.

— Пойдемте, — сказала Рита.

В коридоре, на столике дежурной горела зеленая лампа.

— Моя соседка дома? — спросила Рита.

— Ваша соседка рассчиталась и выехала, — услышал он, — так что вы теперь одна.

Рита взяла ключ и медленно пошла по коридору.

— А вам из Москвы звонили два раза. Велели, как вернетесь, позвонить, — дежурная прочла вслух фамилию замминистра и номер его домашнего телефона.

— Отсюда можно позвонить?

— Можно, но талон нужен.

— Тогда я пойду за талоном, — сказал он громко.

Переговорный пункт помещался близко, и Дроздов, купив два талона, вскоре уже шел по деревянному тротуару к гостинице, решив позвонить из номера. Дождь

усилился — холодный, с резким ветром, он бил Дроздова по коленям, разбрасывая короткий плащ.

В номере Дроздов переоделся, заказал Москву и, ожидая, подошел к окну. Где-то вдали, дробясь и отражаясь в лужах, горели огоньки. Монотонное шуршание дождя сменялось звенящими дробными ударами и целыми очередями, когда ветер склонял струю на жестяной карниз. За окном, во мраке, под дождем, прочно стоял прекрасный город его юности.

Зазвонил телефон.

— Москву-т возьмите, — сказала телефонистка.

— Как отдыхается, Алексей Степаныч? — спросил замминистра. — Ну, и хорошо. Тут такое дело. Теплоход твой идет с опережением. А там не только министр стали и недр, но и президент хочет приехать, встретить и площадки осмотреть. Тебя он хорошо знает, ты все покажешь. Надо будет тебе вылететь на день-два раньше, для прочности — на три. Давай, завтра выезжай, послезавтра будешь в Москве, во вторник вылетить.

— Что же, Курочкин не может показать?

— Лучше, если ты подскочишь.

Он постоял у окна, потом вышел в коридор, углубляясь в полутьму, удаляясь от зеленой настольной лампы. Еще не дойдя нескольких шагов, он увидел полоску света под ее дверью и, словно прогуливаясь, неторопливо повернул и пошел обратно.

Звонок домой он решил отложить до утра, а сейчас быстро разделся, умылся и лег на холодные простыни, и, к своему удивлению, стал погружаться в сон, стараясь не противиться этому. Шелестел дождь, струи дробно стучали по карнизу.

Он уже почти заснул, а может быть, и вправду заснул, как вдруг он пробудился, вздрогнул от ощущения смутного, неуловимого, но вполне реального счастья. Он лежал и думал: «В чем дело? Ведь любви-то не было. Один мираж. Это я сам все, наверно, придумал, и ее, и свои чувства, я бы сказал, свои возможные чувства, — и усмехнулся про себя: — Выдал желаемое за действительное».

Да, конечно, никакой любви не было, он знал это твердо, но она была возможна, в этом он тоже был уверен теперь, как никогда. «А ведь всего-то три дня я

провел здесь, даже меньше. А кажется, что я здесь давно, очень давно, как все сконцентрировалось!»

Он с нежностью подумал о Коле Пьянкове, о жене его Тоне и мальчишках. Еще недавно они были как бы заслонены Ритой, а теперь снова вышли вперед, дорогие и близкие.

Уже совсем засыпая, он протянул руку, взял со стула блокнот и шариковый карандаш и в темноте, наугад, записал для памяти:

«Ознакомиться полнее с М. В. Нестеровым».

Шумел дождь. Было уже очень поздно.

А где-то, по зеленой южной воде, ломая ее, шел теплоход — его жизнь, его судьба.

1965

ЛЕЙТЕНАНТ КАРЕТНИКОВ

Бригада располагалась в лесу — каждый взвод в отдельной землянке. Землянки были очень тесные, и спали мы только на боку, — о том, чтобы лечь на спину, не могло быть и речи. Если кто-нибудь выходил ночью, то, вернувшись, уже на находил своего места, — каждый во сне успевал подвинуться на сантиметр, и свободное пространство на нарах тут же заполнялось. Поэтому, если кто-нибудь, да еще не один, получал внеочередной наряд и отрабатывал его ночью, это было всеобщим благом и удачей. Вместе с нами, в такой же тесноте, спали командиры отделений и помкомвзвод Пашенко.

Только один лейтенант Каретников спал с удобствами, его место, достаточно широкое, с краю, у печки, было отгорожено от остальных крепкой доской, ребром врезанной в нары.

В темноте раннего зимнего утра звучала труба. Трубач возле штаба поворачивался в разные стороны, и она звучала то звонче, то глуше. Мы, суетясь, натягивали брюки, которые почему-то назывались «шаровары», накручивали портянки и, втиснув ноги в ботинки, выбегали из землянки, — обмотки мы совали в карман, чтобы намотать их потом, сделать это сразу мы не успевали.

Лейтенант Каретников в это время еще спал, укрывшись с головой зеленой шинелью с расстегнутым хлястиком.

Мы в нательных рубашках выскакивали на переднюю линейку. Передняя линейка тянулась очень далеко и вправо, и влево, там, в других ротах и батальонах, шла своя, хотя, конечно, очень похожая на нашу жизнь.

Мы вслед за помкомвзводом шибко бежали по передней линейке, потом по задней, потом сворачивали на лесную тропинку, тут он давал команду остановиться, сойти направо и «открыть затворы, свернуть курки», что означало — оправиться. Потом мы снова бежали по тропинке, опять попадали на заднюю, потом на переднюю линейку, и, сделав большой круг, оказывались возле своей землянки.

Когда мы возвращались, лейтенант Каретников брился. При свете коптилки-фитилька, вставленного в сплюсненную наверху гильзу, он скоблил щетину широкой опасной бритвой, заглядывая в прислоненное к гильзе дамское зеркальце с изображением Большого театра на обороте.

Он поднимал голову и с некоторым удивлением смотрел на нас своими серыми глазами.

Я не знал его имени и отчества и никогда не интересовался этим.

Это был лейтенант Каретников. Обозначенный этими двумя словами он и живет в моей памяти. Так называли мы его тогда.

Разумеется, в соседних взводах тоже были лейтенанты (или младшие лейтенанты), но то совсем другое дело. То были обыкновенные лейтенанты. А когда лейтенант Каретников докладывал о чем-либо ротному или — реже — комбату, он, высокий, стройный, держался с тем почтительным достоинством и той особой, чисто воинской красотой, которая все-таки бывает чаще всего врожденной и которая так нравится начальству, считающему, что именно оно воспитало в подчиненном это качество.

Мы служили совсем недавно, мы были очень молоды, и все было у нас впереди — и жизнь, и смерть тоже. Странно, но лейтенант Каретников, такой недоступный для нас, был нашего поколения. Более того, он был

почти нашим ровесником, но он был уже порождением войны, он уже побывал там и уже нес на себе ее меты.

После завтрака начинались занятия. Бывали занятия и бригадные, и батальонные — выходы, прыжки, стрельбы, — но большинство занятий проводилось в составе взвода. Мы покидали расположение, и только один человек знал, что с нами будет дальше. Углубляясь в лес, мы никогда не могли угадать, какую подаст он команду: залечь и окопаться или развести костер и отдыхать, а если отдыхать, то как долго — до обеда или пятнадцать минут?

Однажды, после затяжной атаки по снежной целине, мы ворвались в лес, в его зимнюю тишину, и лейтенант Каретников приказал утоптать по кругу снег и развести огонь, что мы и сделали, рассевшись вокруг, кто как мог, на пеньках и валежинах.

Мы уже были связаны накрепко общим будущим и настоящим, но мы, не осознавая этого, еще жили и той, прежней, довоенной жизнью, каждый своей, каждый по-своему. Мы задумчиво смотрели на огонь, курили, а веселый и отчаянный парень Витька Стрельбицкий очень правдоподобно рассказывал о молоденькой девчонке-поварихе и потрясающем романе, который закрутил он с нею перед самой службой.

Лейтенант Каретников слушал, курил, усмехался чему-то своему, как обычно с некоторым удивлением глядя на нас, и вдруг сказал, обращаясь к помкомвзводу:

— Посмотри, Пашенко, хорошие ребята. Один у них большой недостаток, знаешь, какой? Необстрелянные.

Помкомвзвод поднял на лейтенанта круглое добродушное лицо, хмыкнул и отвечал успокоительно:

— А, это от них не уйдет.

Мы сидели, слегка смущенные.

Сейчас я очень ясно вижу тот зимний лес и желто-белый огонь костра, над которым колеблется и ломается воздух. Я вижу тех необстрелянных ребят, кого нет и никогда уже не будет. Да и сам лейтенант Каретников, о ком никак не скажешь, что он был необстрелянным, и он упал на изодранной миной черной равнине. Я вижу Витьку Замышляева и его тезку Стрельбицкого, и Колю Авдюшина, и Карпова. Мне не в чем уп-

рекнуть себя, но иногда мне все-таки немного стыдно, что это не я лежу там. Но так получилось.

А утвержденья эти лживы,
Что вы исчезли в мире тьмы.
Вас с нами нст, но в нас вы живы,
Пока на свете живы мы,

Девчонки те, что вас любили
И вас оплакали, любя,
Они с годами вас забыли,
Но мы вас помним, как себя.

Дрожа печальными огнями
В краю, где рощи и холмы,
Совсем умрете только с нами...
Но ведь тогда умрем и мы.

То утро было еще холодным, еще бодрящим, но потом, едва мы успели отойти от расположения, оно перешло уже в день, в настоящий весенний день начала апреля, полный бесконечной синевы, блеска и света, день, когда то и дело клонит в сон и неохота двигаться, даже если ты молод. Мы выбрались из лесу, где еще лежал снег, на узкую проселочную дорогу и, растянувшись, медленно шли по ней, изнемогая от тяжести шинелей и оружия. Проселочная дорога привычно вывела нас на большак, мы построились в колонну по четыре и двинулись среди сырых рощ и уже высохших открытых холмов куда-то вдаль, куда хотел вести нас лейтенант Каретников.

Он, как всегда, шел сзади взвода и вдруг, когда мы уже почти совсем забыли — кто мы и где находимся, — громко и грозно протянул:

— Взво-о-д!..

Это команда не окончательная, а лишь как бы привлекающая внимание, и взвод стал рубить строевым по сверкающим апрельским лужам, напряженно ожидая последующих всесильных слов.

— Танки справа! — крикнул лейтенант Каретников.

И взвод по его команде скатился с дороги, рассыпался, залег, начал окапываться, и только лейтенант стоял на гребне дороги в полный рост, будто был неуязвим для вражеского огня.

Потом он сказал: «Отбой», — и пока мы вылезали на дорогу и пытались немного почиститься, он один пошел по дороге вперед. Он шел высокий и стройный,

в своей зеленой шинели, заложив руки за спину и задумавшись, и ни разу не оглянувшись на догонявший его взвод.

Так мы прошли километров пять. Впереди показался старый длинный барак, но мы опять свернули в сторону, и на сухом пологом холме лейтенант Каретников приказал отрыть одиночные ячейки, а командирам отделений составить стрелковые карточки.

Мы принялись за работу, а лейтенант Каретников прошел вдоль всего фронта нашей обороны и, не торопясь, направился через поле, наискосок, к барaku. Я посмотрел ему вслед. Он шел, как тогда, по дороге — задумчиво, заложив за спину руки.

Отрыть окоп для положения «лежа» дело нехитрое, и скоро мы уже лежали на животах в своих ячейках, почти дремля под апрельской синевой. Но напряжение не отпускало нас, потому что в любой миг могла последовать команда — и какая — неизвестно! — и это ощущение мешало нам по-настоящему расслабиться. И все же мы почти дремали под апрельской синевой, сознавая смутно, что пока лейтенанта нет, мы никуда не уйдем отсюда. Сержанты и Пашенко, не обращая на нас внимания, курили, лежа на вершине холма, о чем-то тихо говорили и смеялись.

А между тем лейтенант мог бы уже и вернуться.

Часов во взводе не было ни у кого, даже у самого лейтенанта Каретникова, это потом, в конце войны, появились у всех «Омеги» да «Лонжины», это потом вошел в моду «гвардейский мах» — обмен часами «ход на ход» — не глядя, по звуку. Это потом каждый открывал заднюю крышку и ковырялся финкой в механизмах трофейных часов, когда они останавливались. Все это было потом, еще не скоро... А пока что во взводе не было часов и узнать время тоже было негде. Но уже все, абсолютно все, а помкомвзвод Пашенко в особенности, тонко чувствовали тот момент, когда пора идти в расположение, на обед, так, чтобы прийти не слишком загодя и чтобы никто не смог упрекнуть, но и не слишком поздно, а именно в самый раз, — не торопясь, привести себя в порядок, приготовиться, и с сигналом, тут же, степенно направиться к кухне.

Мы почувствовали этот момент, но лейтенанта Каретникова еще не было.

Пашенко поднялся, расправил шинель и, стоя на

вершине холма, хмуро смотрел в сторону барака. Уже никто не дремал, хотя все лежали и, покуривая, смотрели в ту же сторону, что и помкомвзвод.

Лейтенанта Каретникова не было видно.

Прошло еще минут двадцать.

— Становись! — сказал Пащенко негромко и затоптал окурки.

Мы вскочили, отряхиваясь, застегивая шинели и разгоняя под ремнем складки. Мы тоже побросали недокуренные сигарки и взяли на ремень карабины.

— Шагом-арш! — сказал Пащенко и повел взвод наискосок через поле, в сторону барака.

Барак был старый, длинный и серый, его крыша, крытая толем, немного осела посередине, перекошились окошки с ватой между рамами, с привычными, — крестнакрест, — бумажными полосками на стеклах.

Мы шли полем, наискосок, прямо к барaku, и сидевшие на солнышке возле входа ребятишки, бабы, старики, подняв головы, смотрели на нас — с восторгом, с завистью, с жалостью, с тоской, — кто как, — наверно, еще и с другими чувствами. Но никто не смотрел равнодушно.

А ребятишки не выдержали, побежали навстречу строю, прыгая через кювет, не в силах дожидаться, пока взвод сам выйдет на грязную, в щепках, мусоре, ледке и лужах весеннюю дорогу.

Но мы вышли на дорогу, подравнялись, и Пащенко сказал хмуро:

— Запелай! — и поскольку сразу не запели, добавил: — Стрельбицкий!

Витька откашлялся и запел. Голос у него был глухой, хриловатый, мужественный. Если бы Витька остался жив и ему пришлось в голову стать со временем эстрадным певцом, его бы называли «безголосым» или «микрофонным».

За Ленинград, за город наш любимый,
На бой с врагами уезжаю я.
Не забывай, подруга дорогая,
Пиши мне письма, милая моя.

И еще не дав совсем затихнуть Витьке, мы подхватили несколько медлительный, как бы раскачивающийся припев:

Не забывай, подруга дорогая,
Про наши встречи, клятвы и мечты.
Расстаемся мы тепе-ерь,
Но, милая, поверь —
Дороги наши встретятся в пути...

Помкомвзвод рассчитал правильно, мы грохнули припев как раз поравнявшись с баракom, и сразу же несколько женских ищущих лиц появилось за стеклами, за перекрещением наивных бумажных полос.

Мы миновали барак и лихо, с песней, под женскими взглядами пошли в сторону расположения, но метров через пятьдесят Пашенко скомандовал:

— Правое плечо вперед! — и взвод нестройно развернулся.

— Давай снова! — сказал помкомвзвод, поскольку песня уже окончилась, и Витька начал снова:

За Ленинград, за город наш любимый... —

и снова у самого входа грянул наш припев и снова мы миновали барак, уходя теперь уже в обратную сторону. И опять Пашенко развернул поющий взвод.

— Стрельбицкий, новую!

Витька откашлялся. Родом он был с Урала, из самых сухопутных мест, но имел пристрастие к морским песням.

Взвод снова шел к бараку.

На заводе был он машинистом,
А когда настал двадцатый год,
Он с отрядом первых коммунистов
Добровольцем уходил на флот.

Взвод поравнялся с баракom.

— На месте! — крикнул Пашенко.

И взвод, маршируя на месте, перед входом в барак, под взглядами изумленных женщин и обалдевших от счастья мальчишек, загремел:

Эх! В гавани, в далекой гавани
Пары подняли боевые корабли.
На полный ход!
Уходят в плаванье с Кронштадтской гавани,
Чтоб стать на страже советской земли.

Неожиданно помкомвзвод приказал мне выйти из строя.

— Доложите лейтенанту, помкомвзвод спрашивает:

может ли взвод следовать в расположение? — сказал он совсем хмуро и не глядя на меня.

— Есть!

После яркого апрельского солнца в барачном коридоре было темно. Лишь вдалеке, в противоположном его конце, были тоже открыты двери наружу. Я остановился, не зная, куда идти, и зажмурился, чтобы отвыкнуть от света.

Мимо кто-то прошаркал по коридору.

— Третья дверь налево! — негромко произнес женский голос.

Первая, вторая, третья... Я с ходу постучал.

— Да-да, — сказали мне, и я вошел.

Я уже полгода жил в нашей землянке с крохотным окошечком. Она была тесной, но теплой и уютной. С какой умиленностью вспоминал я о ней в походах, как мечтал спуститься по ее сбитым ступенькам и как бывал счастлив, возвращаясь в нее! Но ведь я совсем забыл и упустил из виду, что существуют бараки, а в них комнаты, залитые апрельским солнцем, а в комнате кровать с никелированной спинкой и коврик, и салфеточки, и репродукция «Девятого вала» на стене.

Эта комната ослепила меня настолько, что я не сразу заметил лейтенанта Каретникова, хотя он находился на самом виду. В своей зеленой шинели он стоял, ловко облокотившись на спинку стула, шапка его лежала на столе, а темные волосы падали на лоб.

Против него у стола сидела она. На ней был халатик, вероятно, из байки, в каких-то цветочках. Она с сочувствием подняла на меня большие голубые глаза, и в тот же миг я полетел в их глубину, жутко и неотвратно, как при прыжке, пока не раскрылся купол, и мучительной болью пронзило отчетливое сознание, что она и эта комната и вся ее жизнь не имеют ко мне никакого отношения.

...Пары подняли боевые корабли.
На полный ход... —

доносилось с улицы.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться...

— Иду! — кивнул он раздраженно и взял со стола шапку. — В общем, я сказал.

— Поживем — увидим, — ответила она спокойно.

...Чтоб стать на страже родимой земли...

Лейтенант Каретников вышел на крыльцо и, красиво коснувшись кончиками пальцев виска, поблагодарил взвод за песню. Я стоял у него за плечом, очень гордый, что нашел-таки лейтенанта.

— Ведите людей! — сказал он помкомвзводу и по обыкновению остался сзади, но не успели мы отойти и полкилометра, как он вышел вперед. Мы сразу поняли, что будет. И действительно, лейтенант оглянулся на взвод, кивнул и протяжно крикнул: — Взво-о-д! Бе-г-оо-м! За мно-ой!..

Метров сто взвод держался кучно, а потом стал растягиваться в нитку и рваться. Слабаки сразу отстали. Напрасно подгонял их бегущий сзади Пашенко. Отстал и самый здоровый парень из нашего отделения Мишка Сидоров, ну, этот исключительно из-за лени. Хорошо еще, что мы успели передать ему РПД, который несли по очереди. Я постарался выйти вперед и бежать рядом с лейтенантом. Я уже знал, что это лучше всего: отставшие даже немного — все еще будут бежать, когда мы уже будем идти шагом, а пока догонят, мы побегим снова.

Противогаз съезжает на живот, лопатка бьет по боку, карабин прыгает за спиной, а кровь, как колокол, гулко бухает в груди и ушах.

— Добежим до стога и перейдем на шаг, — говорит лейтенант Каретников тем, кто около него, и мы, дотянув до стога, действительно переходим на шаг (а отставшие все бегут), но вскоре снова бежим, хрипло хватая воздух раскрытыми ртами...

Впереди шло несколько женщин, наверное, в город, и у мосточка, когда мы их догнали, они все повернули к нам лица, и я на бегу поразился — среди них была она, но тут же она осталась сзади. А через километр другая группка женщин попалась нам, эти шли навстречу и посторонились, давая нам дорогу, и среди них опять была она, а потом опять и опять, и еще долго, не один год, и даже сейчас я иногда встречаю ее на дороге.

Прошел месяц.

Стаял уже снег и у нас в лесу, и однажды, когда мы были на учениях, затопило нашу землянку, и мы, вернувшись, долго вычерпывали воду, но сырость потом осталась все равно.

Мы ходили на прыжки, тяжело поднимались друг за другом по трапу в «Дуглас», цепляли карабин тяжелой веревки за трос, слушали, как ревут моторы, и всякий раз, когда машина разгонялась по полосе, не были уверены — катится ли она еще по земле или уже летит, но, когда она действительно отрывалась, мы замечали это сразу. Мы по сигналу сирены вставали в затылок друг другу и двигались к зияющему проему дверей, — а по самолету гулял знобящий сквозняк, потому что двери были открыты и справа, и слева. И, подходя к дверям, я еще из-за плеча других видел, как вылетают в слепящую бездну идущие впереди, — будто их высасывает снаружи. Потом я подходил к двери сам и за тот краткий миг, пока я делал шаг из машины, я успевал увидеть очень многое: и серый фюзеляж «Дугласа», и белые купола — внизу и сзади, и беспредельную широту земли, и поле, и лес, и домики прямо подо мною. Я делал шаг в тот особый мир, совсем не похожий на все остальные, и летел так очень долго, и лишь после резкого динамического удара переходил на плавное приятное скольжение.

Мы ходили на стрельбище и, лежа на животе, перебросав ноги, укрепив на земле локти и вдавив затыльник приклада в плечо или неудобно стоя на правом колене или еще хуже — в полный рост, затаив дыхание, ловили мушкой черный силуэт мишени. А потом, после сигнала «отбой», замирая, следили, сколько раз махнет вылезший из траншеи дежурный, сообщая, сколько у тебя попаданий.

Мы за землянкой чистили ветошью свои карабины без штыка (раньше все карабины были без штыков, но потом, в сорок четвертом, появились карабины и со штыками, намертво привинченными к стволу. Так что не удивляйтесь). Мы разбирали затвор и магазинную коробку, а затем, поработав шомполом, поднимали к глазу ствол и смотрели на свет, как в подозрную трубу. В таинственном, с синевой маслянистого блеска, полумраке канала ствола четко вилась нарезка, придающая пуле вращение вокруг своей оси — как планете...

Прошел месяц,— может быть, немного больше.

Ничего особенного вроде не произошло, но даже за такой короткий срок мы стали другими. И уже шли

слухи, что скоро мы уедем отсюда, навсегда покинем эти ставшие привычными места...

В тот день мне не повезло. После обеда, в свободное время, я столкнулся за землянкой с Витькой Стрельбицким, который, судя по всему, успел сбегать к овражку, где было нечто вроде маленького базарчика, бабы выносили что придется.

— Держи!— сказал щедрый Витька и выпустил из кулака мне в ладонь черную струйку каленых семечек. Плюясь шелухой, мы вышли на переднюю линейку, а здесь лейтенант Каретников строил наш взвод. В кулаке у меня еще оставались семечки, я не мог высыпать их в карман, потому что там была махорка, и я машинально продолжал их грызть уже в строю. Я стоял во второй шеренге, за широкой спиной Мишки Сидорова, и вдруг встретился взглядом с серыми глазами лейтенанта. Я постарался принять безразличный вид, но он продолжал смотреть на меня. Лицо его почти исказилось.

— Выйти из строя! — приказал он гневно и, когда я повернулся лицом к взводу, крикнул:— Строй — святое место, а вы семечки щелкаете!

Высокий, стройный, в пилотке чуть набочок, он смотрел на меня, будто впервые увидел. Пистолет ТТ с трофейным шнуром-шомполом слегка оттягивал широкий ремень, хромовые сапоги сияли.

Он помолчал и закончил, негромко, презрительно:

— Два наряда вне очереди.

А я почему-то подумал, что ничего мне не будет. Да и построение-то было по какому-то пустяковому поводу, на десять минут.

Теперь ночью я уже ждал, что меня поднимет дежурный по роте. Но меня разбудили только на четвертую ночь, вскоре после отбоя, едва я успел заснуть. Старшина светил фонариком. Дежурный стоял рядом.

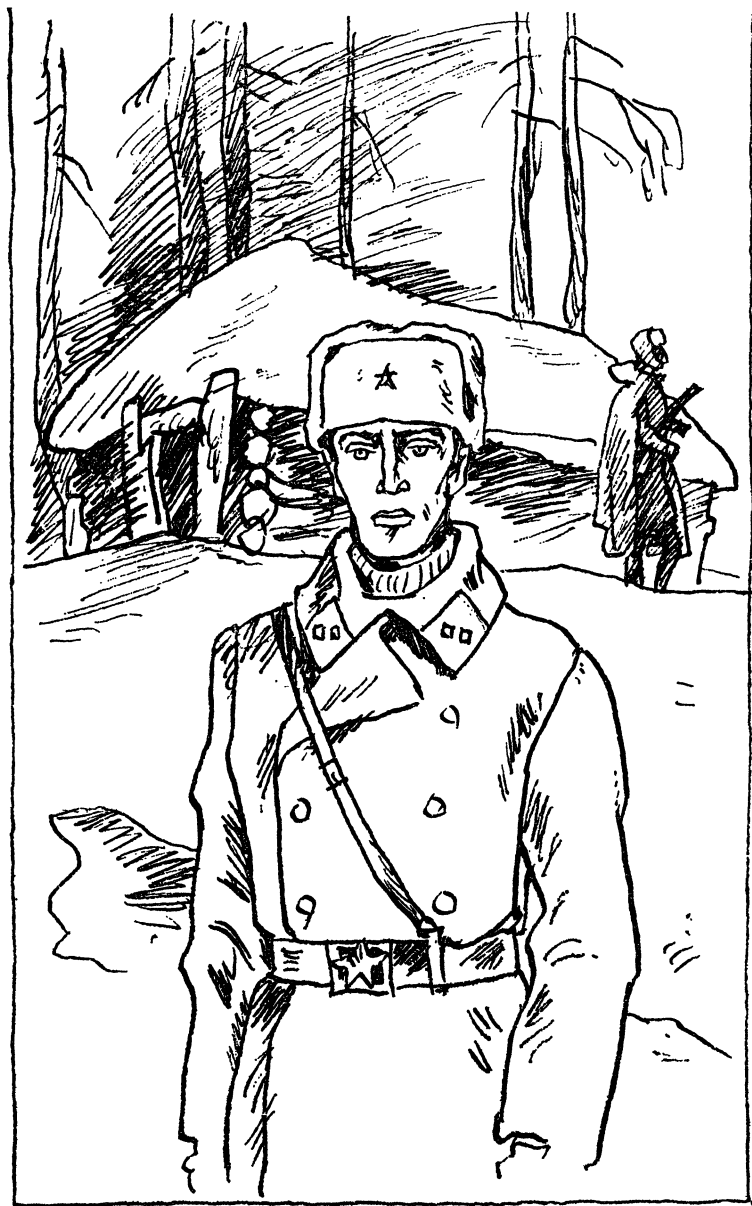
— Подъем!— сказал мне дежурный, сержант из соседнего взвода, и спросил у старшины:— Кто еще?

— Сидоров.

Сидоров получил два наряда за то, что не выучил обязанности часового из «Устава гарнизонной службы».

Мишку будили долго, он никак не мог понять, чего от него хотят. Наконец поднялся и он.

Наверху мы закурили. Ночь была холодная и тем-



ная, луна еще не всходила. Старшина вручил нам две лопаты и топор.

— Пошли,— сказал он.

Мы знали, что нас ожидает — корчевка.

Мелких нарушителей, получающих внеочередные наряды, всегда больше, чем работы для них. На кухню и в караул рота ходит редко. Есть классическое наказание — мытье полов. Но в землянке пол земляной. Тогда кто-то придумал — корчевать пни, тем более что имелись они в неограниченном количестве.

Видимо, когда строили наши землянки, свалили немало сосен, проредили, осветили лес, и теперь перед всей передней линейкой было примерно одинаковое количество,— и громадных летящих в небо стволов и широких сухих пней, которые стояли как фундаменты, оставшиеся после совершившихся здесь разрушений. Разумеется, они никому не мешали.

В полной темноте, неся инструмент, мы шли за старшиной и сержантом.

Прежде чем окончательно выбрать для нас два пня, старшина, стоя на одной ноге и упираясь другой в пень, пытался выяснить, крепко ли сидит он в земле. Смысл этой операции заключался в том, что некоторые, выкорчевав пень и сдав работу, опять ставили его на прежнее место и закапывали, — на всякий случай, про запас, до следующего наряда — своего или товарищей. Наконец старшина указал нам два наши пня и, велев дежурному принять у нас работу, удалился вместе с ним.

Мы снова закурили. Было очень тихо. Только где-то в стороне разговаривали солдаты, наверное, такие же «нарядники», как мы. Край неба между сосен над нашими землянками озарился все растущим светом — всходила луна.

Мне повезло, что со мной в компании был Мишка Сидоров, это был здоровый парень и лесной человек, хорошо разбирающийся в такой работе. Тем не менее дела было до утра,— пни так крепко держались за землю, как будто еще несли над собой могучие колонны стволов и далеко вверху вечнозеленую крону.

Мы начали окапывать пень кругом, обрубая хитроумную арматуру корней, обрывая переплетенные, как провода, тонкие корни. Мы вгрызались все глубже под пень, мы старались раскачать его, как зуб, и он уже чуть-чуть качался. Луна взошла над землянками, поч-

ти белая, она заливала лес своим зыбким светом, падающим между черных стволов и черных теней. Мы все возились с первым пнем, хотя дело и подвигалось. И тут над залитым луной спящим ночным миром раздался звук, который сразу заставил нас остановиться. Этот звук шел от штаба бригады. Это был звук трубы. Труба играл тревогу!

Мы еще подождали немного, словно не веря, а труба все звучала и звучала.

В землянке творилось невообразимое. В тесноте и темноте собирался взвод по тревоге. А мы с Мишкой только взяли вещмешки и шинели, да из ружья — карабины, противогазы и лопатки — и были готовы. Мы стояли снаружи, у входа. Старшина бежал по землянкам, светил фонариком: все ли взяли?

А труба все звучала и звучала...

И вдруг я услышал ночные негромкие голоса и вопрос ротного:

— Где Каретников?..

Помкомвзвод Пашенко, быстро идущий к землянке, вырос из темноты, взял меня за плечи и хриплым шепотом сказал:

— Беги туда, понял. Скажешь лейтенанту: тревога. На рассвете уезжает бригада. Только быстро. Бегоммарш! — он подтолкнул меня в спину.

Я отбежал немного и пошел шагом. Вокруг меня, в затопленном луной лесу повсюду слышались голоса, звон котелков и лопаток, топот ног. Я вышел на проселочную дорогу, лес расступился, и теперь луна свободно господствовала в мире, заполняя поля, озаряя холмы странным светом. Труба еще звучала за спиной, потом смолкла. Я тихонько побежал, придерживая противогаз и лопатку. Огромная белая луна стояла надо мною.

Я уже вышел на большак, миновал мостик. Я был совершенно один в этом мире. Я подумал вдруг, что будет, если бригада уедет, а мы с лейтенантом останемся, и прибавил шаг.

Барак темнел впереди, и, пока я приближался к нему, каждое стекло поочередно отсвечивало под луной.

Двери барака, как всегда, были распахнуты, и лунный свет пробивал его почти насквозь.

Я, осторожно ступая, дошел до третьей двери и остановился. Сердце у меня еще гулко и тяжело билось.

Я напряженно слушал и улавливал смутный шепот, а потом тонкий, как зубная боль, стон матрацной пружины.

Я постучал.

Сразу за дверью стало тихо. Я подождал и постучал снова.

— Кто?— спросил женский голос.

— Лейтенант здесь?

— Нет, нет, какой лейтенант.

— В чем дело, Ванюшин? — спросил лейтенант Каретников.

— Товарищ лейтенант, тревога. Бригада уезжает на рассвете.

— Подожди, я иду.

Я остался за дверью, думая, что он сейчас откроет. Но свет в комнате не зажегся, и я снова уловил смутный шепот...

Я вышел на крыльцо и ждал его там.

Передо мной простиралась озаренная луной равнина, на которой не было да и не могло быть ни одного огонька.

Где-то за другим лесом, на станции, угадывался дробный стук сдвигаемых с места вагонов,— может быть, это формировали наш эшелон.

Вышел лейтенант.

— Пошли!

Теперь мы были вместе и то, что ожидало нас впереди, было общим, — я остро чувствовал это.

— Быстрее!

Метров через пятьдесят я оглянулся. Луна уже прошла часть неба и теперь ярко озаряла вход в барак, где, кутаясь в пальто, неподвижно темнела женская фигура.

Лейтенант Каретников не оглядывался.

1965

ПОВЕЗЛО

Ему действительно повезло. Вся рота уходила в гарнизонный наряд, а они с Митей Ополовниковым накануне вечером заступили дневальными по роте и теперь согласно уставу нигде не могли быть использова-

ны, так как сами были после наряда. Ополовников, маленький, худенький, сменившись, уже спал на нижних нарах, в глубине, защищенной от света, а Игорь Саманин чуть отчужденно смотрел, как готовятся ребята к разводу караулов: подшивают подворотнички, драют ботинки. Рота шла и в полковой караул — к штабу, к знамени, к складам ПФС и ОВС, и к контрольно-пропускному пункту, и к дальнему складу боеприпасов, и патрулями по гарнизону, в поселок и на станцию. А свой взвод, второй, особенно не готовился, он шел в наряд на кухню. Потом загрели команды, и ребята, разобрав из пирамид оружие, вышли строиться, потом ушел кухонный наряд, и в ротной землянке стало непривычно пустынно и тихо. Проводив наряд, вернулся старшина, посмотрел на нового дневального, стоявшего у дверей, на другого, подметающего неровный пол в проходе, ничего не сказал и скрылся в каптерке. Саманин тоже лег на нары, но спать не стал, а с удовольствием думал о предстоящем, ничем не занятом вечере, о долгой ночи и долгом завтрашнем дне. Потом он вышел наружу и в едва наступающих осенних сумерках постоял между землянками. За стволами уже подсвеченных осенью берез, над оврачком густели сизые слои не то тумана, не то дыма, где-то вдалеке прошла рота с песней, а в другом конце другая рота, с другой песней. Потом все стихло, и где-то очень уж далеко, в другом полку, трубач сыграл какой-то незнакомый сигнал, наверно, для командиров.

После ужина, не дожидаясь отбоя, они легли и тут же уснули, но часа через два их разбудили: ребята, вспомнив о них, принесли полбачка перловой каши — остатки от ужина. Едва его толкнули, Саманин сразу понял, в чем дело, и, почти не просыпаясь, достал ложку. Вместе с Митей и новыми дневальными они за несколько минут съели кашу, и в то же мгновение Митя снова уснул, а Саманин, набросив поверх белья шинель, вышел и еще выкурил сигарку.

Утром была возможность поспать хотя бы до завтрака, но внутри уже срабатывала какая-то пружина, и он проснулся перед самым подъемом. Митя спал, накрывшись с головой шинелью, и даже не пошевелился при сигнале.

Позавтракав, они вернулись в землянку. Прежде они никогда не были близки, но теперь их объединяла общ-

ность их положения, они были странно связаны ею и держались вместе.

Старшина задумчиво посмотрел на них, он не мог примириться с мыслью, что они ничем не заняты, это было ему неприятно. Однако он еще ничего не придумал.

Митя, маленький, остролицый, снова залег спать, а Саманин, томясь, сел на край нар рядом с ним.

— Старшина, на выход! — крикнул дневальный.

Старшина проплыл в полумраке землянки, и по ярко освещенным ступенькам просверкали его сапоги.

— Старшина, — сказал властный голос снаружи. — Свободные люди есть?

— Свободных людей нет, — бодро ответил старшина, — рота находится в гарнизонном наряде. Один больной.

— А вчерашние дневальные?

Старшина мгновение помедлил:

— Есть два человека.

— Немедленно в распоряжение начальника ОВС. Получат продукты сухим пайком и в Москву поедут.

— Есть! — сказал старшина и спросил: — Шинелі им брать?

— Пусть возьмут, ночью холодно.

Старшина спустился по освещенным ступенькам.

— Саманин, Ополовников, в распоряжение начальника ОВС. Продукты получите сухим пайком. Взять шинелі. Старший — Саманин.

Они собрались у склада — восемь человек из разных рот. Дивизия переформировывалась — и меньшую ее часть составляли солдаты, которые были ее костяком, старые, свои, вместе повоевавшие. Их сразу можно было отличить и не только по медалям или нашивкам за ранения; на всех, кто уже побывал там, лежал какой-то отблеск, ответ, отпечаток — как загар. А большинство было — как Саманин и Ополовников — из заволжского запасного полка, пополнение. Но Саманину уже хотелось тоже преодолеть нечто и походить на тех солдат, он уже осознавал, что без этого служба и все ее тяготы просто не имели смысла, и еще он предчувствовал, что будет это очень скоро.

У склада ОВС стоял часовой из их роты, он обрадовался и удивился, увидав их, им это было приятно.

Став цепочкой, они начали загружать крытые брезентом грузовые «форды» старым обмундированием, б/у, настолько уже обветшавшим от ползания в нем по земле, разрывов, бесчисленных стирок, что починить его было уже невозможно. Эти гимнастерки со смутными следами от гвардейских значков и реже — от орденов и медалей, эти шаровары с неуловимым присутствием по швам карманов махорочной пыли были уложены аккуратно пачками и передавались из рук в руки. От них слабо исходил приятный запах каленого, как от жареных семечек — воспоминание о дезокамерах, куда они закладывались не раз, пока их владельцы мылись в бане.

Однажды, весенним холодным днем Саманин загружал дезокамеры — «вошебойки» — и так намерзся, что не выдержал, открыл дверцу — погреть спину. Тепло оттуда шло не так сильно, как он ожидал, и он все глубже туда вжимался и наконец залез весь, одна голова осталась снаружи, — ребята испугались, а ему ничего, погрелся и только.

Теперь, погрузив обмундирование в «форды», они все вместе пошли получать продукты. Концентраты и консервы сложили в плащ-палатку, а хлеб и сахар разделили тут же и рассовали по карманам шинелей. Часовой около склада ПФС был из своей роты и свой же часовой был у КПП, и Саманин окликнул его из кузова, а то бы он их не заметил.

Машины шли одна за другой по старой аллее, и ветки берез, уже сильно подсвеченных осенью, с шумом задевали крытые кузова, хлестали по ним, роняя на брезент желтые листья.

Саманин с Ополовниковым сидели в кузове предпоследней, пятой, машины, на старом обмундировании, от которого исходил приятный запах каленого. В последней машине, рядом с шофером, ехал краснолицый старшина-снабженец, а лейтенант, начальник ОВС, находился в головной.

Колонна выехала из расположения, миновала поселок и свернула на шоссе. С одинаковым интервалом в несколько метров, будто соединенные жестким буксиром в одно целое, слитно и мощно шли машины к Москве, лишь свистел, срываясь с брезентового верха, ветер. А кругом стоял тихий и ясный осенний день, ветер был только здесь, на шоссе, но и там, в солнечной ясности,

ощущался и угадывался непоправимо крепнувший холодок. Пестрел лес по сторонам, и уже ярко желтела на черном маслянистом асфальте облетевшая листва. Свернувшись калачиком, дремал Митя Ополовников.

Из крытого грузовика было видно только то, что оставалось позади: машина с краснолицым старшиной, сидящим рядом с шофером, лес, деревня с церковью на холме. Иногда из-за последней машины выдвигались легковушка или «виллис» и обгоняли их, но это было редко, потому что колонна шла ходко, и не каждый решался на обгон. С правой стороны, с мгновенным ревом, проносились встречные машины из той неизвестной, невидимой жизни, которая была впереди. В грузовиках стояли и сидели люди. В одном кузове, держась за кабину, стояла молодая женщина или девушка, и когда машины поравнялись, у нее ветром взбило платье, и она чуть присела, придерживая подол. В какой-то краткий миг они встретились взглядом, и он погрозил ей пальцем, а она засмеялась. Она тут же исчезла, но оставила неясное сладкое чувство, о котором уже хотелось вспоминать.

Поодаль от дороги промелькнула зенитная батарея, укрытая маскировочной сетью, потом открылось поле, где копали картофель. За лошадью шел парень и вскрывал плугом борозду, а следом, согнувшись, двигались бабы и выбирали картошку. Посредине поля розовела горка картофеля и стояло несколько твердых шишкастых мешков. Проснулся Митя Ополовников, поднял голову, сказал, улыбаясь:

— Смотри, картошка! — и снова задремал.

И тут Саманин ощутил голод. Собственно, это страстное желание не проходило, даже когда он только вставал от котелка, и даже ночью, во сне, оно жило с ним вместе. Но иногда оно уже как бы притухало, может быть, лишь затем, чтобы вспыхнуть еще ярче, крича и напоминая о себе. С тех пор как они получили продукты, каждую секунду каждая клеточка его тела знала и помнила, что в карманах шинели упруго втиснутый по полпайки (суточная норма — 800 граммов) ждет хлеб. И сейчас настал тот момент, когда терпеть больше стало невозможно. Саманин сперва решил отломить лишь корочку, но сами собой пальцы отщипывали еще, еще, он не выдержал, достал из кармана весь кусок, половину засунул обратно, но скоро и ее

пришлось доставать. Он старался есть помедленнее, откусывать поменьше и пореже, надеясь оставить еще корочку на ужин. Ведь хлеб-то был выдан и на завтра до обеда. А Митя Ополовников, который съел уже весь свой хлеб, тихонько спал, укрывшись шинелью.

Машины стали плавно тормозить и остановились. Из последней вышел, разминаясь, шофер, вылез краснолицый старшина, и по всей колонне захлопали дверцы кабин. Саманин тоже прыгнул на асфальт. Впереди был переезд, и Саманин медленно пошел к опущенному шлагбауму. Он стоял около шлагбаума, вместе с солдатами, которые уже побывали там, курил, ожидая, когда пройдет поезд. Поезд накатился слева, и вагоны, как бы приноровившись, ритмично загрохали на стыках, та-тә, та-тә, та-тә, а потом почему-то перешли на другой интервал, реже: тә, тә, тә. Эшелон был длинный, сперва орудия на платформах, а потом пошли теплушки, и во всех до одной у раскрытых дверей тесно стояли солдаты. Они спокойно смотрели на осенний лес и поля, на очередь машин, скопившуюся у переезда, и на солдат, мелькнувших внизу у шлагбаума, и в то же время они чем-то походили на людей, которые видят все это впервые. А из-за их плеча, из глубины вагонов, выглядывали солдаты, не успевшие вовремя стать у проема дверей. Опять пошли платформы с орудиями и часовыми на тормозных площадках, опять колеса перешли на скороговорку, и вдруг все оборвалось. проскочил последний вагон, стало светло и тихо. Пополз кверху шест шлагбаума, захлопали дверки кабин.

Мимо надолб и рельсовых «ежей» въехали в Москву, не в такую, которую знают все, и тряслись по булыжнику, вдоль заводских заборов, между бараков. Теперь машины шли еще более слитно, ничто не могло разорвать их колонну, и регулировщики сразу же понимали это. Остановились около кирпичных складских зданий, лейтенант звонил куда-то из проходной, ругался, поехали к другим складам, но оказалось, что они уже закрыты. Тогда лейтенант сразу успокоился, и колонна двинулась дальше. Они, не торопясь, ехали по старой рабочей окраине, мимо заводских корпусов, где на крышах были нарисованы желтые осенние деревья, мимо универсама, с витриной, зашитой досками, как в оставленной деревенской избе. И в некоторые окна в

домах была вставлена фанера, а остальные все были перекрещены бумажными полосками, чтобы не разлетались осколки, если стекло будет вдавлено внутрь взрывной волной.

На ночлег остановились в тихом переулочке со стандартными барачного типа домами и водоразборной колонкой на углу. Лейтенант отдал приказания и сразу поехал домой — он был москвич, — а они, выпрыгнув из машин, разминались после долгой дороги, поправляя обмотки.

Заметно смеркалось, но нигде не было видно ни огонька. От колонки прошла женщина с ведрами, и они, повернув головы, посмотрели ей вслед. После ясного дня вместе с темнотой внезапно похолодало, стал накрапывать дождь, и они опять забрались в кузов. Теперь уже и Саманин задремал, накрывшись шинелью.

— Эй, солдатики, — сказал кто-то около машины и стукнул рукой по кузову. — Эй, обоз!..

Они на всякий случай не откликнулись, тогда он легко вспрыгнул на задний борт и потянул Саманина за ногу. Саманин сел. Было совсем темно, но он сразу узнал солдата с соседней машины, тускло поблескивали медали у него на груди.

— Давай к нам в машину, по тревоге, — сказал он строго и прыгнул — медали тоненько звякнули.

Они поняли — зря не позовут — и тут же последовали за ним.

На газете грудкой серебрилась камса, а рядом горячие вареные картофелины — так и ударило духом в ноздри.

— Держи! — но это не им — протянулась рука, взяла кружку.

Несколько шумных напряженных глотков.

— Хорошо пошла.

— ...Комбат тогда остановил: «Что во фляге?» — «Молоко». Он взял, отвинтил. «Верно, говорит, только от бешеной коровки».

— Хороший был комбат.

— По-быстрому, пока ужин варится. Держи!

Саманин взял кружку. Она была почти полна, губы сразу окунулись в водку. Он глубоко втянул носом воздух, как будто собирался нырять, и начал пить большими глотками, не дыша и стараясь не распробовать вкус.

Он неожиданно легко опустошил кружку, лишь на последнем глотке икнул и чуть не закашлялся. Водка установилась в горле, и ее запах с такой силой ударил в нос, но не снаружи, а изнутри, как бы сверху, от лба и глаз, что чуть не задушил его. Но он перетерпел, перевел дух и отдышался. Ему сразу стало легко, как человеку, исполнившему долг, он деловито ел картофелину, подставив под нее ладонь.

— Держи!

— ...Тогда перед фронтом мы тоже в Москву ездили. Концентраты получали на фабрике «Красный Октябрь». Во дворе стоим, а бабы сверху из цеха нам шоколад бросают. Теплый еще...

— Я больше не хочу,— сказал Митя Ополовников.

— Да ты отпил хоть немножко-то? Давай допью. Заесть-то оставь.

Позвали ужинать, и они дружно попрыгали из кузова.

— Саманин, останьтесь у машин,— сказал старшина,— смэнитесь, покушаете.

Они вошли в дом, а он привалился плечом к заднему борту грузовика. Он совсем не чувствовал опьянения. Небо уже погасло, накрапывал слабый дождь. Кто-то набирал воду у колонки, женский голос звал кого-то с крыльца. Стоял полный мрак, лишь иногда чуть отсвечивали затемненные изнутри окна. (Как он тогда был молод, тем далеким осенним вечером, где-то на окраине военной Москвы!)

С шумом, как из землянки, вывалились на улицу солдаты. Теперь позвали его. В сенях его слегка повело, он ударился коленом о косяк, толкнул дверь.

Комната была большая, пустоватая, вроде казармы. В углу у дверей стоял покрытый клеенкой стол, и над ним низко свисала яркая лампочка, отчего остальная комната терялась в полутьме.

Высокая худенькая девушка подвинула к нему тарелку с пшенной кашей.

— Это тебе оставили.

Давненько он не ел из тарелки, все только из котелка. Он глотал остывшую кашу с мясными консервами и смотрел на девушку, которая то подходила к столу, то таяла в темноте. Она чем-то была занята, ну, да, она убирала со стола посуду. Она была молодая, как он, а может быть, даже еще моложе. Но она не обращала на него внимания. Он доел кашу и отодвинул тарелку.

— Обожди, чаю налью. Чаю много.

Он смотрел, как она наливает чай из большого жестяного чайника, и неожиданно сказал:

— И ты садись попей. У меня сахар есть... — И вытащил из кармана три кусочка.

— Разорять-то тебя,— засмеялась она, — ну, ладно, за компанию. Чай больно душистый.— И позвала:— Мама, иди, попьем чайку с защитничком.

Он удивился и расстроился, а из дальней полутьмы вышла моложавая и тоже тоненькая женщина и села к столу.

— Вкусный чай,— задумчиво сказала она, ловко переливая из чашки в блюдце и поднимая блюдце к лицу.— Хорошо вас кормят?

— Первая норма. А в запасном полку, там третья была. Там нас кормили отвратительно плохо.— И еще повторил:— Отвратительно плохо.

— Завтра уже обратно? И Москвы-то не видели.

— Получим обмундирование и поедем.

— И сапоги получите?— это, конечно, девчонка спросила, в самое больное место ударила.

Он посмотрел на нее с сожалением и не ответил.

— Молодая еще, глупая,— сказала мать и засмеялась:— Сам-то откуда?

Ему захотелось рассказать о себе, о матери, о сестренке, об отце, который на фронте. Но он рассказал почему-то только о домике с балкончиком. Когда Игорь был маленький, они часто гуляли с отцом у них по городку, а у пруда стоял аккуратный такой домик с балкончиком и цветными стеклами, и отец всегда говорил, вот, мол, когда будут деньги, мы купим этот домик. А его, наверно, и продавать-то никто не собирался.

— А деньги откуда будут?

— Он говорил, выиграем или, мол, поеду в Арктику, на зимовку, заработаю. А домик-то, наверно бы, и не продали.

— Значит, как бы мечта.

Он посмотрел на нее и не то чтобы подумал, но почувствовал, что еще вспомнит этот вечер, эту полутемную комнату с освещенным столом — где-то в землянке, в шатающейся теплушке, и даже там, где он, мужественный и сильный, вымахнет по сигналу за бруствер и прыжками двинется вперед, громко крича и не слыша собственного крика.

Саманин отодвинул чашку, не спрашивая разрешения, закурил и только собрался продолжать беседу, как хлопнула дверь и вошел, щурясь на голую лампу, старшина.

— Покушал?

На улице было тихо, накрапывал дождь. Саманин залез в кузов, мимо тихонько спящего Мити Ополовникова прополз на четвереньках поближе к кабине и лег на слабо пахнувшие каленым пачки обмундирования. Он уже стал засыпать, думая о доме, об их городке, об аккуратном домике с балкончиком и цветными стеклами. Потом он вспомнил о той женщине в кузове встречной машины, которой он погрозил пальцем, а она засмеялась. Теперь ее грузовик уносился все дальше и дальше, но не пропадал из глаз, а она все улыбалась. И он слышал приглушенный женский смех. Он напрягся, вслушиваясь, но было тихо, лишь дождик шуршал по брезенту, и Саманин снова начал засыпать, когда явственно услышал мужской шепот, быстрый и настойчивый. А женщина тихонько смеялась. Он понял: разговаривали в шоферской кабине. Теперь он окончательно проснулся и, стоя на коленях, стал разгребать связки обмундирования, стараясь добраться до окошечка в кабину, застекленного и забранного стальными прутьями. Он докопался до краешка стекла, но ничего не было видно, а голоса смолкли.

Потом раздались шаги по булыжнику и кто-то сказал:

— Молодой человек, у меня к вам большая просьба. Не откажите в любезности. Мне нужно немножко бензина зарядить мою зажигалку...

В кабине зашептались, щелкнула, открываясь, дверка, шофер сошел на землю.

— Большое спасибо. Очень вам благодарен. Вы добрый и благородный человек. Будьте счастливы оба, вы и ваша девушка...

Щелкнула дверка, шаги стали удаляться.

Саманин лежал на спине, широко раскрыв глаза, и слушал, как шуршит по брезенту дождь.

И вдруг он тихонько застонал, такой мучительной была мысль, пронзившая его. Что же он лежит здесь? Ему захотелось грубо разбудить Митю Ополовникова,

сорвать с него шинель, закричать: «Что ты все спишь? Вставай сейчас же! Пойдем!»

Но он не стал будить Митю, а сам спрыгнул на мокрый булыжник, нагнувшись, поправил обмотки и набросил на плечи шинель. Было темно и тихо. Моросил дождик, мимо него кто-то прошел в дом, ему показалось, что это был старшина.

Саманин медленно брел вдоль машин; не зная, что делать дальше, постоял у крыльца, свернул за угол.

И там, у глухой стены, под козырьком крыши, сидели на лавочке две девушки — он подошел в упор, — одна, с которой он пил чай, и вторая плотная, крупная, в свитере и косынке.

— Ну, что, девочки, — сказал он хрипло, — как дела?

— Садись уж, раз пришел, — ответила знакомая, и он сел на лавку, но рядом с другой, потому что стоял к ней ближе. А та с другой стороны обхватила ее за шею и стала шептать что-то в самое ухо, заходясь от приступов смеха. Смех мешал ей, она никак не могла договорить, вскочила и побежала вдоль стеночки, попадая под дождь, сгибаясь от хохота и, повернувшись на углу, помахала им.

— Чего это она дурью мучается? — спросил он неодобрительно.

— Она не над тобой, не обижайся.

Дождь заметно усилился. Они сидели рядом на лавочке, под козырьком крыши, с которого стекала вода, как бы огражденные этой стеной дождя от мира. Расположение, землянка, рота, уже вернувшаяся с наряда и отдыхающая, — все это было почти так же далеко, как дом, как домик с балкончиком.

— Что ж не спишь, солдат?

Он ответил от кого-то слышанным:

— Царствие небесное проспать боюсь. А ты?

— Не спится.

Внезапно над мокрыми крышами, легко пробив пленку дождя, мощно возник широкий луч прожектора. И с другой стороны, и с третьей тут же, будто спохватившись, всплыли такие же голубые клубящиеся столбы, и в их скрещении, в световом прожекторном поле, обнаружился маленький самолетик. И в следующий миг прожектора разочарованно погасли, втянулись, хотя глаз еще долго не мог привыкнуть, что их уже нет.

Там, вдали, за холодными мокрыми крышами, была еще другая Москва, с улицей Горького, Красной площадью и Кремлем, но туда он пока не доехал. И где-то, наверно, была настоящая любовь, до нее он в своей жизни тоже еще не добрался. Но и так можно было сказать, что ему повезло.

Стало холодно и сыро, Саманин привстал, поправляя шинель, и неожиданно для себя набросил шинель и ей на плечи. Удивительно легко и свободно он обнял ее под шинелью за спину, и его рука просунулась к ней под мышку, коснулась ее груди и осталась там. И он сидел, замерев и не веря себе, что это он сидит вот так, и сама рука его не верила, что она лежит на ее большой теплой груди. Он потянулся к ее лицу и ткнулся губами в ее сухие сжатые губы.

— Ты что, выпил, что ли?— спросила она.

— Пойдем ко мне в машину,— сказал он тихо,— там тепло.

— Ишь ты, быстрый какой!

И они сидели, прижавшись друг к другу, под его шинелью, и дождь свисал с козырька крыши, ограждая их от мира.

(Как он был тогда безжалостно молод, той дождливой московской ночью, в том далеком году.)

Они сидели, прижавшись друг к другу, но набитый карман его шинели мешал ей, упираясь в ногу.

— Ты чего ерзаешь?

— Карман мешает. Что там, хлеб у тебя?

— Хочешь?

— Нет.

Он вытащил хлеб (там было еще граммов четыреста — на завтра), он отломил и убрал корку, а остальное разделил поровну. Они ели хлеб медленно и задумчиво, глядя в темноту на ближние мокрые крыши.

Теперь ему уже было как-то нехорошо опять просовывать руку к ней под мышку, и он просто обнял ее под шинелью за плечи. Думал ли он позавчера или вчера, что вот так будет сидеть здесь, ночью, в дождь, с девушкой. А другой рукой он взял ее за руку и перебирал ее пальцы.

— Рука у тебя какая маленькая,— сказала она удивленно,— меньше моей... Мне идти пора, мне утром на смену,— еще посидела немного и встала.— Ты еще здесь будешь? Приедешь?

— Нет,— ответил он спокойно.— Завтра обмундирование получим и на фронт.

— А...

Он хотел ее поцеловать, но почувствовал, что не стоило целоваться. Как-то это было ни к чему.

Она пошла вдоль стеночки по сухому и скрылась за углом. А он еще покурил, привычно держа сигарку под полкой, чтобы не было видно.

В кузове было тепло и сухо. Беззвучно дыша, спал Митя Ополовников. В шоферской кабине разговаривали — тихо и серьезно.

Через месяц дивизия, заново обмундированная и вооруженная, находясь на острие наступления, прорвала глубоко эшелонированную оборону противника.

В тяжелых боях дивизия потеряла восемьдесят процентов личного состава.

1966

СЛУЧАЙ

Это случилось в начале моей службы, когда я прибыл из запасного полка в бригаду и попал в роту ПТР, вторым номером в расчет к Ване Шапкину. Правда, второй номер у него уже был — Черников — теперь он стал третьим. Я не обратил на это внимания, я на многое тогда не обращал внимания, и лишь потом это многое словно само собой проявилось, проступило в моем сознании, я словно заново вспомнил все это.

Впрочем, какое это имело значение: первый номер, второй или третий. Мы все были солдаты и попарно таскали нашу бронебойку, наше новое противотанковое ружье, а третий был на подмену. Нам некуда было деваться друг от друга, оно жестко соединяло нас, когда мы несли его над самой землей, низко пригнувшись и продвигаясь вперед короткими перебежками. Оно устойчиво лежало на наших плечах, когда мы шли в строю, и упруго подрагивало при хорошем шаге. При длинных переходах мы часто разымали его пополам, строго и справедливо сменяясь в пути, потому что ствол был вдвое тяжелее коробки.

До сих пор на моем правом плече осталась метка от противотанкового ружья. До сих пор остро помнится,

как мы носили ружье, и даже меньше — как мы из него стреляли. А сколько окопов отрыли мы для него — и буквой «Г», и подковой, сколько песка и суглинка, чернозема и камней выбросила моя зеркально отточенная саперная лопатка.

Командир отделения сержант Маврин заставлял нас рыть окопы поглубже. «Давай!» — кричал он зло, глядя серыми выпуклыми глазами. У него низкий, хриплый, сорванный голос. Говорили, что у него погибла в оккупации молодая жена. Он ненавидел врага истово, страстно, мы раздражали его: ему казалось, что в нас это чувство недостаточно сильно. Он весь горел — скорее отрыть окоп, скорее отстреляться, скорее на фронт, скорее, скорее!.. «Давай!» — хрипел он сорванным голосом.

А взводный, лейтенант Коноплев, напротив, был спокойный и уравновешенный. Наша жизнь и так была напряжена до предела, и он никогда не гонял нас попусту, при каждом удобном случае давал отдохнуть. Но делал он это так естественно и оставался при этом так ровен и сдержан, словно это происходило само собой и совершенно его не касалось. Я сумел оценить взводного лишь через много лет. Не знаю, остался ли он жив, потом я потерял его из виду. С годами я вообще стал часто думать о командирах моей юности, от которых зависело многое в нашей жизни, а часто и сама жизнь.

Мы попарно таскали наше ружье, а третий был на подмену, мы рыли окопы для ружья и для себя, но мы были еще разобщены, мы еще не сумели оценить друг друга, не успели привыкнуть друг к другу, мы были чужими людьми.

Ваня Шапкин из Днепропетровска был первый встретившийся мне сверстник, уже освоившийся в армии. Он уже вошел в это, он уже все понимал. Он стал для меня примером. Мы были в одном расчете, мы ели из одного котелка. Это был первый человек в армии, к которому я испытывал дружеские чувства. Потом у меня были близкие, кровные друзья, и особенно один, навсегда оставшийся лежать на венгерской равнине и навсегда оставшийся со мной и во мне, все это было потом, но и после того я с удовольствием вспоминаю о Ване Шапкине.

И вот однажды, спустя неделю после моего прибытия в бригаду, когда мы рыли в подмерзающей осенней земле окоп и Черников отошел в сторону, Ваня

Шапкин сказал мне (он чуть-чуть, самую малость, изящно заикался):

— Он т-тикать хочет.

— Как? — не понял я. — Откуда?

— С-с армии.

— Да брось ты! — не поверил я.

Но слово было сказано, и я, взглянув на Черникова, вдруг заметил в нем не то чтобы только вялость, но безразличие ко всему вокруг, отрешенность. Но ведь этого было мало.

— Это он тебе сказал?

— Н-нет, я сам з-знаю. Я ему г-говорил, чтоб он не думал. — И нарочито строго прикрикнул на подошедшего Черникова: — К-копай, н-не чухайся!..

И Черников, в осунувшемся лице которого еще угадывалась недавняя округлость, уныло глядя перед собой, начал равнодушно бросать со дна окопа комковатую осеннюю землю.

Выпал снег, присыпал лес, где мы жили, наши землянки. В городе он, конечно бы, растаял, а здесь удержался, потом подвалило еще, и быстро установилась зима.

Тут состоялись общие учения на несколько дней — «выход». Вся бригада покинула расположение, остались в опустевших землянках дневальные да освобожденные по болезни, — часто эти категории совмещались.

Мы шли по узкой лесной дороге, не умещаясь даже в шеренгу по четыре, ноги наши вязли в сухом, перетертом, как песок, снегу. Батальон перемешался, перетасовался и, взглядывая на солдат из соседней стрелковой роты, я всякий раз дивился несправедливости того, что они идут налегке, а мы тащим свои противотанковые ружья. Если бы мне так — забросил карабиншко за плечо и шагай себе, — я бы сколько угодно прошел, не пожаловался. Остальное — и вещмешок, и лопатка, и противогаз — у нас одинаковое. Даже когда меня подменяли, и я шел, как они, этот кратковременный отдых на ходу был смутно отравлен сознанием, что скоро мне брать ружье снова, и так без конца, никуда от этого не денешься.

Мы отошли от расположения всего километров пять-шесть. После десятиминутного привала Черников взял

у Шапкина тяжелый ствол ружья, Ваня у меня коробку, я теперь отдыхал. Черников все выполнял безропотно, но как-то словно в полусне, безо всякой охоты и интереса, что, собственно, и отличает плохого солдата от хорошего. Он шел сейчас передо мной, и я смотрел на его косо заправленный за хлястик брезентовый ремень. Неожиданно он повернул голову и в его взгляде отразилась решительность.

— Товарищ сержант,— позвал он.— Товарищ сержант, разрешите выйти из строя... — и, не получив ответа, добавил жалобно:— Оправиться...

Сержант Маврин быстро глянул серыми выпуклыми глазами, прохрипел яростно:

— Привал же был!.. — но смиротворился, разрешил. Черников передал мне ствол ружья:

— Подержи!— и сосупил в снег, демонстративно подбирая полы шинели.

Мы еще долго шли по узкой лесной дороге, меняясь с Шапкиным коробкой и стволом, потом выбрались на шоссе, разобрались, построились. Бронебойщики соединили свои ружья, взяли на плечи. Теперь мы были неразрывны с Ваней Шапкиным, мы не могли бы расстаться ни на мгновение. Но нас объединяло не только тяжелое стальное ружье, нас объединяло нечто большее, и не только нас двоих, и не только друг с другом, я лишь теперь почувствовал это.

Сержант выходил на обочину, оглядывался несколько раз, а потом сплюнул и сказал:

— Нарочно отстал, гад. В расположение вернулся. Ну, погоди!..

Так бывало: во время учений слабаки не выдерживали, отставали, возвращались в землянку и там безо всякой радости ждали возвращения своих и расплаты.

— Вот гад!..

А мы с Ваней Шапкиным понимали, что подмены нам уже не будет, и это соединяло нас еще крепче. Мы уверенно шли в ногу, противотанковое ружье системы Симонова покоилось на наших плечах, оставляя на них памятную метку. По шоссе мела, свиваясь, поземка, — когда стихал ветер, она застывала и лежала прожилками на асфальте, — мы шли как по мрамору.

Потом мы свернули с шоссе, окопались в снегу на опушке и пообедали сухим пайком — сухарями и шпигом. Потом на нас в атаку шел второй батальон, потом

мы атаковали его линию обороны и захватили ее. Стеннело, над лиловым снежным полем, над голым березняком остро, к сильному морозу, зажглись звезды. Мы уже привычно приплясывали около своих снежных траншей, пристукивая одной ногой о другую. Костры разжигать запрещалось — это была зона затемнения. Только поздней ночью дали приказ сняться отсюда, и батальон пошел таким ходким шагом, каким до того не ходил никогда. Но все равно пришлось покрыть километров десять, пока не отошли застывшие ноги, пока ощутили себя пальцы в ботинках. Глухой порой втянулись в улицу села, где-то в голове строя запели озорную «Калинку». Старшина повел роту на ночлег, в каждую избу — отделение. И до сих пор мое тело помнит окутавшее меня тепло и запах молока и скобленные доски пола. Очень немного в жизни может дать такое счастье.

Еще два дня выходили мы в поле и к ночи возвращались в село. На третью ночь нас подняли по тревоге до рассвета, и мы двинулись домой, то есть в расположение.

Уже рассвело, когда вышли из лесу на шоссе. За поворотом, около «виллиса» стоял командир бригады, а в стороне музыкантский взвод. Взошедшее солнце морозно сияло на его трубах. Оркестр заиграл «Эх, полным-полна коробушка», и мы прошли строевым шагом перед командиром бригады. Потом он уехал, а мы под оркестр, который почти не отдыхал, дошли до расположения. И мы шли — не каждый сам по себе, — это было уже нечто единое, сплоченное. И это чувствовали оставшиеся дневальные и больные, они смотрели на нас со скрытой завистью и опаской.

Черникова в землянке не оказалось.

— Так точно, был, — растерянно говорил дневальный. — Сказал, заболел, отпустили, в бригадную санчасть пошел.

Лейтенант приказал проверить это.

— А оружие его здесь? — хрипло спросил сержант Маврин и бросился в ружпарк. Карабин Черникова стоял в пирамиде. На стволе и магазинной коробке пятнами краснела ржавчина: хозяин не протер оружие, когда оно отпотело.

— Почистить! — прокричал сержант своим сорван-

ным голосом, обращаясь к нам с Шапкиным и глядя так, словно это мы бросили карабин.

Проверили: рядовой Черников в санчасть не обращался.

— Я г-говорил, он т-тикать хочет, — начал Ваня, но лейтенант Коноплев спокойно прервал его: — Отставить! — и добавил, подумав: — Подождем еще сутки.

А на завтра меня вызвали в каптерку, где были командир роты, взводный, Маврин и старшина.

— Пойдешь со старшиной на склад, продукты получишь,—серьезно сказал мне ротный.— В командировку поедешь с лейтенантом Коноплевым и сержантом Мавриным. Ясно?—и повернулся к взводному: — Домашний адрес его не забудь захватить.

И вот мы вышли из расположения. Впереди шел лейтенант, подтянутый, в зеленой шинели и яловичных сапогах. На левом боку его висела кожаная полевая сумка, на правом пистолет «ТТ». Следом шагал сержант Маврин. На ногах у него были кирзовые сапоги, на боку тоже сумка, но брезентовая, на плече висел автомат «ППШ». И замыкал шествие я. Обут я был в ботинки с обмотками, нес за спиной объемистый вещмешок и карабин на ремне.

На электричке мы доехали до города, а потом я стоял в запруженном людьми зале, держа, кроме своего имущества, автомат сержанта, и смотрел, как лейтенант Коноплев толчется у воинских касс, перебегая от одного окошечка к другому. Здесь, в толпе вокзала, среди множества других офицеров наш лейтенант выглядел непривычно суетливым, а сержант, напротив, имел вид уверенный, настойчивый. Они безуспешно потолкались у касс и пошли к коменданту объяснить, что дело у них срочное и необычное. Маврин для убедительности захватил свой автомат. А я остался их ждать, ничуть не беспокоясь о том, сейчас же мы уедем или следующим поездом, или на другой день.

Я, собственно, уже ехал. Прислонясь к стене, я смотрел на людей, сидящих на лавках или спешащих куда-то, на военных и гражданских, особо останавливаясь на женских и девичьих лицах. За короткое время моей службы я в первый раз стоял вот так в людном месте, один, ничем не занятый, и смотрел на текущую, беспокойную, военную жизнь, частицей которой

был я сам, смотрел жадно, благо на меня самого никто не обращал внимания. А может, и меня тоже рассматривали из угла чьи-то глаза. Так я думаю сейчас.

Появились лейтенант Коноплев с сержантом. Когда мы, торопясь, поели на продпункте пшенной каши по талонам и вышли на перрон, нас обдало холодом. Вопреки ожиданию, возле состава соблюдался порядок, и мы беспрепятственно сели в вагон. У лейтенанта была плацкарта — вторая полка для лежания, он бросил туда свою шинель и мой вещмешок. А мы с сержантом пристроились внизу, на сидячих местах. Отправление дали быстро, и когда поезд набрал ход, я ощутил смутную радость, будто сам ехал домой. Первый раз с начала службы я ехал не в воинском эшелоне. Сержант сидел рядом со мной, и я наслаждался тем, что он не может по сути ничего мне приказать, никуда послать — ну, куда тут пошлешь? Напротив меня сидел человек в синем бостоновом костюме с орденом Красной Звезды, который тогда еще носили слева, и оживленная женщина — она ехала с маленькой девочкой к мужу в госпиталь. Она была счастлива, что муж ранен, а не убит. И еще ехали моряки, которые хотя и не были офицерами, но вели себя с офицерами как равные, и тех это не задевало. Разговор сразу же пошел о положении на фронтах, о сводках, о том, когда откроют второй фронт, но у меня не было сил слушать, и я вскоре сидя заснул, сжимая карабин между коленками.

Когда я очнулся, в вагоне было полутемно, а поезд шел очень хорошо, как бы огромными скачками. За окном лежала лиловая снежная равнина. Сколько мне предстояло еще прошагать по ней, правда, в ином направлении!

Пришел морячок, звал нашего лейтенанта к себе в купе играть в карты. Слово «купе» он произносил, как «капэ». «КП».

А поезд все мчался, и наступила ночь, и утро, и солнечный морозный день за окном, а поезд все мчался, как бы гигантскими прыжками. Мы пили кипяток и ели тушенку и сало с хлебом. При всех есть это было неудобно, хотя норма питания у нас была не такая уж большая. Мы смогли угостить только женщину с дочкой.

Этот длинный морозный день пролетел мигом, пото-

му что я бы хотел ехать так очень долго, все ехать, ехать и ехать без конца, даже сидя. Это было так же прекрасно, как шагать, не неся на плече противотанкового ружья, и знать, что никто нести его не прикажет.

Прошли заметенные глухие леса, опять полиловела за окном снежная равнина. Я смотрел в окно, и что-то непривычное, странное было в проплывающих деревушках, уносящихся назад поселках. Я услышал над плечом хриплое дыхание сержанта.

— Светомаскировки нет, — сказал он мне. — Ты понял?

Да, пусть не такие уж яркие, но мигали огоньки деревень в снежных полях, светясь, выбегали к полотну заводские поселки.

Ночью, трясая за плечо, меня разбудил лейтенант. Горела под потолком свеча в фонаре, все спали.

— Подъем, — сказал лейтенант тихо. — Подъезжаем.

В скудно освещенном, теплом бревенчатом домике станции, где дремало на лавках несколько баб с узлами, ожидая утра, лейтенант первым делом внимательно рассмотрел обратное расписание.

— До Бескудникова далеко, кто знает?— спросил он громко. Бабы зашевелились, а с лавки поднялся мальчишка лет двенадцати, забросил за спину полупустой холщовый мешок.

— Пошли-те, я отведу. — Он явно обрадовался, что нашлись попутчики.

Мороз стоял крепкий, скрип от наших шагов был такой, будто шел взвод. Мы сразу углубились в лес. Слегка отсвечивала накатанная полозьями дорога. Падан шел впереди молча и очень быстро.

— Сколько до Бескудникова?— спросил лейтенант.

— Семнадцать верст будет.

— Семнадцать верст до небёс и все лесом,— прохрипел сержант.

— И полем тоже.

— Едешь откуда?— спросил еще лейтенант.

— На рынке был.

Дальше пошли молча. Мальчишка катился впереди, громко скрипели наши слитные шаги, стягивало морозом кожу лица, я то и дело потирал перчаткой нос и скулы. Как махорочный дым, белой струйкой

вылетало дыхание. Слева сквозь заснеженные вершины сосен схваченная морозным кольцом матово светила луна.

Километров, может быть, через десять вошли в спящую деревню, и где-то посередине ее мальчишка неожиданно свернул с дороги, сказал:

— Прямо идите, будет Бескудниково, — и исчез в воротах.

А мы так же молча, подобравшись, пошли дальше, миновали деревню, и вновь оказались в лесу, но теперь впереди уже смутно клубилось, угадывалось самое начало утра. Лес сразу, как отрезали, кончился, мы уже были в поле, дорога поднялась на бугор, и перед нами открылся величественный малиново-сизый, тусклый от мороза восход. И далеко впереди лежала деревня, там уже затопили печи, и над крышами абсолютно вертикально, как корабельный лес, как невиданная колоннада, подсвеченные розовым, стояли дымы.

С тех пор как мы вышли из своей землянки, за все время, пока мы ехали в том прекрасном поезде, я не думал о Черникове, словно забыв, куда и зачем мы едем. Конечно, эта мысль жила где-то внутри, но я ее откладывал на потом. И теперь, когда я, замерзший, увидел эту деревню вдаль и колоннаду дымов над трубами и представил себе спящего в тепле Черникова, я ощутил ненависть и омерзение.

А что же чувствовал сейчас сержант Маврин!

Мы спустились в низину, и деревня скрылась из глаз; лишь дымы стояли высоко над снежным горизонтом. Потом мы снова взошли на бугор, деревня была совсем рядом. И уже на деревенской улице, у бегущих в школу ребятишек с трудом удалось добиться, где же нужная нам изба — Черниковых в деревне оказалось много.

«А может, его здесь совсем и нету», — подумал я.

— Прячется, наверно, гад! — прохрипел Маврин.

— За мной, — сказал лейтенант.

Мы быстро взбежали на крыльцо — лейтенант первым, я за ним, сержант остался сзади — попали в крытый двор, в упор на нас смотрела телка. Лейтенант мигом толкнул другую дверь — в сени, и оттуда уже в избу. Пахло домовитым, расслабляющим теплом, за-

пахом теста, сквозь льдистое окошко с улицы ударил, слепя, солнечный свет.

Черников сидел у стола и ел блины. Я, как сейчас, его вижу, будто он был мгновенно заснят моим зрением и пленка до сих пор хранится у меня: на нем была нательная рубашка, гражданские брюки и валенки. И он, глядя на нас, продолжал есть, не мог остановиться. А мать стояла у печи и пекла ему блины вдогонку, руки ее были в муке.

— Здравия желаю,— сказал лейтенант. — Только приехал?

— Вчера вечером.

— Долго добирался.

Этот разговор был настолько неожиданным для меня, и говорил лейтенант настолько уверенно и спокойно, что я, как был, так и застыл в той затопленной зимним солнцем избе, и даже сержант Маврин, которого — я знал — разрывала его ярость, не показал этого.

— Здравствуйте, проходите, — кланяясь, пригласила мать. — Сейчас еще блинцов напеку, теста разведу.

— Свои есть продукты, — хрипло ответил Маврин, — и ехать нам надо.

— Ничего, съедем блинцов, время еще есть, — сказал лейтенант, глянув на ходики и снимая шинель. — Зачем хозяйку обижать?

А хозяйка разводила новое тесто и мазала сковороду маслом, макая в него длинное петушиное перо, и лила на сковородку жидкое тесто, и бросала в миску румяные блинцы, а утреннее солнце било в окна, и шестилетняя сестренка Черникова во все глаза смотрела на нас.

А он, как сидел за столом, так и не вставал и ничего не говорил вовсе.

— Сейчас, сейчас, — бормотала мать, ставя на стол стопки и выбегая.

Лейтенант подошел к висящим на стене семейным снимкам в общей застекленной «витрине», посмотрел, спросил у девочки: — А это кто, отец? На фронте?

Проходя мимо моего прислоненного к стене карабина, лейтенант открыл магазинную коробку и разрядил карабин.

— Оружие протри, — хмуро бросил мне сержант, и я протер свой карабин и его автомат.

Вернулась хозяйка, поставила на стол бутылку.

— Ну, разве что с морозца, — сказал лейтенант и спросил Маврина: — Хочешь? — и хотя тот ответил отрицательно, налил ему и себе, кивнув на нас: — А этим еще рано.

Глотнул и сморщился:

— Ох, отрав!

А сержант выпил, как воду.

— Блинцов, блинцов берите.

— Давай, хозяйка, спасибо.

Я ел пушистые румяные блинцы, один за другим, никакой выпивки мне было не нужно.

— Ну, ладно, — сказал лейтенант. — Нам пора! — и обернулся к Черникову: — Чего сидишь? Собирайся!

Тот вскинулся, спохватился, словно обрадовался.

Мать заплакала:

— Дочка, за крестной беги и за Нюркой.

Мы все трое сидели за столом и смотрели, как он натягивает армейские шаровары, накручивает обмотки.

Пришла крестная и с нею молодая девушка — Нюрка.

— Пора! — сказал лейтенант, взглядывая на ходики. — Времени больше нет.

Черников проникновенно расцеловался с женщинами и сестренкой. Все провожающие заплакали.

— Пошли! — решительно скомандовал лейтенант и, взяв мой карабин, четко, как на занятиях, бросил его Черникову.

На улице у ворот собралась небольшая толпа — бабы и маленькие ребятишки.

— Сыно-ок! Не погостил совсем! — запричитала хозяйка.

— Служба, мать! — сказал лейтенант сурово. — Шагом марш!..

Мы пошли по улице, толпа потянулась за нами, но скоро стала отставать. Все встречные смотрели на нас и кланялись и смотрели вслед Черникову, который вышагивал с моим карабином.

Потом мы спустились в низину, и деревня исчезла из виду.

— Оружие верните, — сказал лейтенант холодно.

Черников передал мне карабин.

— Ах ты, гад!—прохрипел сержант Маврин. Ноздри его раздувались. Он сейчас словно только опомнился от всего произошедшего в избе. — Ах ты, гад!—говорил он, сжимая кулаки и заступая Черникову дорогу.— Он, значит, должен (это про меня), а ты нет?

— Отставить, — сказал лейтенант. — Поздно уже.— И крикнул зло: — Шире шаг! Некогда мне разъезжать с вами.

— Он должен, — бормотал сержант, — а ты, значит, нет?..

Мы шли быстро, по-армейски, в ногу, мы шли вчетвером, но фактически было нас — трое, а он — один. А мы даже не трое, тут и Ваня Шапкин, и старшина, и ротный, и все наши ребята, и командир бригады, и музыкантский взвод, играющий «Коробушку»...

Мы уже вошли в лес и уже миновали деревню, где отстал от нас мальчишка, и снова шагали лесом. Мороз немного отпустил, но еще держал крепко, и чувствовалось, что к вечеру он усилится снова. Мы устали, не выспались и шагали молча, думая о своем.

— Товарищ лейтенант, — вдруг спросил Черников, — а что мне теперь будет?

— Под трибунал пойдете.

Он помолчал и ответил с удивившим меня спокойствием:

— А я бы теперь и сам хорошим солдатом был,— и подождал, дожидаясь ответа, но его слова были оставлены без внимания.

ГРАФИН С ПЕТУХОМ

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Он повстречал ее снова через два года, совершенно случайно, как это бывает в войну. Он ждал пересадки на узловой станции, болтался по вокзалу, обошел уже все углы и закоулки и базарчик за путями, где одноногий красавец бросал на фанерном лотке «три листика», где продавали нарезанный ломтями хлеб, дымящийся вареный картофель и всякое барахло.

Стояла ранняя весна, чернел спрессованный привокзальный ледок, но в черных железнодорожных лужах непостижимым образом отражалась голубизна. И хотя над этими незамерзшими лужами еще похрустывал легкий морозец, все уже сверкало, слепило глаза.

Он лениво бродил по станции. На левом плече у него висел вещмешок, — именно на левом, чтобы не мешал приветствовать встречных офицеров, — а в вещмешке тщательно завернутые лежали два графина с петухами. В каждом графине, внутри, намертво пристывший к донышку сидел яркий стеклянный же петух с красным гребнем и разноцветным оперением.

Воздушно-десантная бригада, в которой служил он с самого начала, отдыхала сейчас в снежном сосновом лесу, собираясь с силами для нового и, должно быть, скорого десантирования. И тут он получил письмецо от родного дяди, брата матери, жившего в общем-то совсем неподалеку — всего одна пересадка — на маленьком стекольном заводике. «Приезжай на денек,— писал дядя,— попросись, а командирам своим графины привезешь с петухами».

Он и думать не думал, ерунда, кто отпустит — только гражданскому могло прийти такое в голову, но рассказал, конечно, ребятам. Как-то стояли, курили у

землянки, мимо шел начальник ПФС бригады, и Витька Стрельбицкий, парень шустрый, вылез:

— Товарищ майор, разрешите обратиться. Смотрите, у Луткова письмо какое!..

Тот остановился, пришлось доставать письмецо — пробежал и вдруг загорелся, да настолько, что через три дня Лутков был уже у дяди, а через пять ехал обратно.

Есть ему хотелось, но не слишком, в вещмешке оставался еще хлеб, шпиг и домашний тетин пирог. И он после недолгих колебаний купил в вокзале то, чего давно уже не пробовал, забыл, как выглядит мороженое за тридцать рублей. Коммерческая цена — тридцать рубчиков отвалил, очень уж захотелось.

Развернув печатку мороженого и уже лизнув раза два, он выбирался наружу и у самого выхода, в дверях, потрясенно остановился: навстречу с чемоданчиком в руке шла Зина. Он, сам не понимая почему, вжался в стенку, она прошла рядом, почти задев его плечом в узком проходе, он ощутил ее свежий, с весеннего солнечного морозца дух. Она не заметила его, со свету попав в полумрак, а следом прошла ее закадычная подруга Аля, полностью — Алевтина, которую он тоже прекрасно знал, и еще две девчонки, он их тоже, кажется, видел, но теперь не помнил.

Они прошли мимо него, эти люди из другого, давнего, мира, и когда они исчезли, он почувствовал облегчение. Он был так ошеломлен, что на ступенях вокзального крыльца бросил мороженое. Именно это обстоятельство потом изумляло его более всего. Вероятно, не меньше, чем он, был ошеломлен мальчишка, моментально это мороженое подобравший.

Лутков закурил. Необъяснимое горькое чувство говорило ему, что эта встреча хороша была бы после войны, что вот тогда она была бы логична и естественна, а сейчас она ни к чему и лишь будет мешать. Но ощущение то было неясным и мимолетным.

Он не то чтобы забыл о ней к этому времени, но он о ней не думал, не вспоминал совсем. Он вспоминал о ней раньше, мучительно и остро, в первые недели своей службы. Он попал в карантин, очутился в огромном бараке с цементным полом и трехэтажными нарами, и его пронзила безжалостная юношеская тоска. Он был сам по себе, и еще были другие люди, которыми он не в си-

лах был интересоваться. Они имели просто опознавательные данные: фамилию и внешность, лишь потом они все более прорисовывались, кроме общих контуров, возникали краски, не похожие характеры. А некоторые так и остались смутными — не потому, что такими были, а потому что не раскрылись, не увиделись ему. Зато остальные — как они притерлись друг к другу! И среди них был Коля — до конца дней будет горько, что его нет.

И вот тогда, в первые дни своей службы, он мучительно вспомнил о ней, написал ей, и она откликнулась тут же, прислала фото, а в письме ее были слова «жду» и «твоя». Он понимал, что это не так, не может быть так, но тем не менее это сладко обжигало сердце.

В школе она нравилась многим, почти всем, это радовало ее, а на его чувство она откликалась с готовностью.

Любил ли он ее? Кто из ребят успел ответить на этот вопрос, понять, разобраться? В озарении военных пожаров многие восприятия оказывались искажены. С чего началось у них в классе? Ребята постарше, более развитые физически, начали гулять с девушками, потом это распространилось на всех. Покупали в аптеке то, что им вовсе было еще не нужно, но что следовало все же купить, в одном этом был уже смысл, одно это было жутко и не каждый мог решиться. Это, конечно, ерунда, смешно вспомнить. Другое не смешно. Война не оставляла нашему поколению времени, война сконцентрировала понятия. Отношения не успели развиваться, они из детских искусственно шагнули в иные. И эта быстрота перемен потом сказалась, и тем, кто остался в живых, захотелось проделать весь путь снова, постепенно, естественно, и тогда разрушилось многое прежнее.

Были чувства, была любовь, и все это было словно бы игра, не всерьез, но ведь остальное-то все было серьезно: война, разлука, уход, может быть, на смерть, — все это было слишком серьезно и требовало такого же отношения — в этом заключалось противоречие. Неясное сознание, что, кроме этого, в жизни может ничего и не быть.

Первый раз он пригласил ее в кино, она была с подругой, с этой самой Алей. Он после сеанса взял их под руки, вклинившись между ними. Он был выше их и тор-

чал над ними довольно нелепо. А главное, надо было о чем-то говорить. Он чувствовал себя скованно, хотя обе они были из его класса. Да и с ней одной он часто не знал, о чем говорить, и подолгу напряженно молчал. Иногда они быстро начинали болтать и смеяться, не обращая на него внимания, тут он выглядел вовсе глупо.

Он вступал в разговор:

— Ну, как картина?

Рассуждали о фильме, называя имена артистов, а не персонажей:

— А Зоя Федорова говорит...

— А Крючков не растерялся...

— А Алейников...

Девчонкам почти все нравилось.

Довели до дому Алю, пошли назад. Сколько раз он ходил вот так с ними по затемненному уже городку.

Аля и помогала и мешала им: помогала, потому что без нее они часто не знали бы что делать, и мешала, потому что была лишней, когда они знали, что им делать.

Это было первое, страшное, нереальное военное лето. Городок лежал далеко от фронта, но здесь тоже было затемнение, и иногда объявляли воздушную тревогу. А в темном городском саду, словно по инерции, крутились на радиоле довоенные пластинки, и кружились перед смертной разлукой пары.

Мать его была начальником крупного цеха на заводе и пропадала там с утра до ночи, а вскоре ее перевели на другой завод, ближе к Москве, и она уехала, пока одна, он остался с бабушкой. Отец давно ушел от них, не выдержав выдвижения матери, сперва появлялся, а потом пропал совсем, то ли спился, то ли завел другую семью, а сейчас, может, уже успел сложить голову на поле боя.

А он ждал вызова от матери, хотя и не знал, хочет ехать к ней или нет. Все вокруг было наполнено напряженным ожиданием. Ожиданием дальнейшей своей судьбы, ожиданием писем с фронта, ожиданием первых, нестерпимо нужных побед. День он проводил с ребятами на реке или в лесу, а вечером шел с Зиной и Алей в кино или в сад. Иногда он вдруг понимал бессмысленность этого, переставал ходить и тогда встречал ее с другими ребятами. Была какая-то неясность в их отношениях. Однажды он подошел к ней на главной улице,

мощенной сосновыми кругляками, поздоровался и сказал небрежно:

— Мне нужно с тобой поговорить. Сходим в кино?..

Она с готовностью согласилась.

Опять они говорили о фильме, опять проводили Алю и долго молча шли вдвоем по темной улице. Он запомнил их разговор слово за словом, столько раз прокручивал он его потом в памяти.

— Я хочу задать тебе вопрос.

— Задай.

— Только ответь мне правду. Хорошо?

— Да.

— Ты меня любишь?

— Да.

Она ответила сразу, без тени сомнения, словно не раз уже отвечала на этот вопрос.

Он не то чтобы растерялся, он просто не знал, что же делать дальше. Они шли так же молча. Возле ее дома, прощаясь, он обнял ее левой рукой за шею, нагнувшись, поцеловал в мягкие губы, и его будто пронзило, тело напряглось и стало железным. Она тоже обхватила его за шею. И он был счастлив этим, ему ничего больше не было нужно.

2

Он бросил сигарку и вошел в вокзал. Внутри после слепящего света было совсем темно, в зале ожидания полно народу, но он сразу же увидел их — они сидели кружком на своих чемоданчиках в самом конце зала. И он пошел к ним, перешагивая через узлы и мешки, расталкивая людей, обходя лавки. Лицом к нему сидела Аля, и она тоже сразу увидела его и смотрела на него, не отрываясь. А Зину он видел теперь со спины, она замерла, не понимая, что произошло с подругой, потом обернулась, и он прочел на ее лице изумление и радость.

— Борис! Боря!

Девчонки повскакали, и он поздоровался со всеми за руку, и с ней тоже.

Оказалось, что они едут на неделю домой, что учатся в институте, в областном городе, всего в тридцати километрах от расположения бригады, что их поезд будет через час, а его был через четыре.

— Пойдем пройдемся?

Все это было как в полусне. Они вышли на платформу, девчонки деликатно отстали. Она ничуть не изменилась, только стала еще лучше, и радостно, но еще с особой, знакомой каждому солдату, бабьей жалостью смотрела на него большими серыми глазами.

— Замуж не вышла?

— Нет, — ответила она спокойно, — во-первых, институт еще надо кончить.

Неизвестно почему, он вдруг отчетливо вспомнил, как когда-то давно, в той, другой, жизни, он однажды отчаянно захотел ее увидеть и пошел под дождем в прорезиненном плаще, пошел по мокрой бревенчатой мостовой, о которой, сокрушаясь, сказал ему встречный заезжий мужичок: «Дров-то сколько напортили!» Он шел под дождем, а она по обыкновению смотрела в окно, она любила смотреть в окно на прохожих. Он вынул руку из кармана, сделал неопределенное движение, означавшее приветствие, и кивнул небрежно, словно проходил случайно. Она улыбнулась, поставила локоть на подоконник и пошевелила пальцами, как бы помахала ими.

Что знал он о ней, теперешней? Не больше, чем она знала о нем. Их связывало только прошлое. У нее было еще будущее. А у него? Он об этом не думал.

Они сами не представляли, насколько каждый из другой жизни, несмотря ни на что — ни на общее прошлое, ни на связанное всеобщими помыслами и надеждами настоящее.

За то время разлуки, что он был в армии, а она в институте, они узнали и поняли очень многое и очень разное — в гражданской жизни она ушла далеко вперед, а он так и остался в десятом классе. А ведь сейчас он сталкивался с ней именно в гражданской жизни. Она училась в институте, а он был солдат в обмотках, а сейчас в чужих сапогах, которые хлопали кирзовыми голенищами на его худых ногах, но он ничуть не чувствовал себя ниже ее, и она тоже это понимала. То, что знал он, она не узнает никогда. А ему, чтобы догнать ее, тоже предстояло немало, и первое из этого — выжить.

Он глянул на нее отчужденно и подумал с неожиданной обидой, будто о себе: «Что же она про Колю не спросит?»

А она вспомнила:

— Что же ты уехал, не попрощался?

Тогда он получил вызов от матери и решил ехать. Уложил в чемоданишко пару рубашек, синие в полоску брюки — 32 сантиметра и вышел пройтись. Городок их лежал на боковой ветке в двадцати километрах от магистральной, по которой он должен был ехать на скором рано утром, расписания не совпадали удобно, лучше всего ему было идти до станции пешком. А вечером перед уходом он прошелся по городку. Он хотел повидаться с Зиной, и это волновало его, но она не попадалась, он попрощался с ребятами и по дороге к дому услышал ее голос, ее смех. Она стояла у входа в сад, вместе с Алей и двумя парнями, с которыми он был в хороших отношениях. Они стояли и смеялись, ребята курили, белые их рубашки резко выделялись в темноте. Он хотел уже подойти и вдруг раздумал — это решение пришло мгновенно и жестко, — он остановился как вкопанный совсем близко от них и тихонько перешел на другую сторону.

— Вроде Борька Лутков, — сказал один из ребят.

Чтобы не проспать, он совсем не ложился, в полвторого взял чемоданчик, терпеливо снес поцелуи бабушки и вышел. Огромной черной массой стоял лес, прорезанный полотном однокорейки. Дорога плавно забирала вправо, белая луна резко, отточенно озаряла рельсы. Иногда левый их ряд мерк, гаснул, но зато ярко, как нож, вспыхивал правый. Идти по шпалам было неудобно: наступая на каждую, приходилось слишком частить, семенить, шагая через одну, нужно было делать шаг чересчур широкий. Перед уходом он сунул в карман на всякий случай магнит — довольно тяжелая штука — и теперь ничего не боялся. Он бодро вышагивал по шпалам и рассеянно вспоминал, какой полюс магнита окрашен синим, а какой красным. То, что осталось за спиной, было отсечено навсегда. Двадцать километров он прошел очень быстро. За всю дорогу ему никто не повстречался.

У него был вызов и разрешение, поэтому билет ему выдали сразу. К концу дня он уже был на месте, в большом заводском поселке. Садилось солнце за корпусами. У самой автобусной остановки женщина с пацанами клеила на стену белые листы. Он подошел — это был приказ о мобилизации. Призывался его год рождения.

Они стояли в самом конце длинной платформы. Солнце уже померкло, лиловая тень накрыла платформу, стало холодно. Далеко позади маячили девчонки с чемоданчиками.

— Сейчас состав подадут.

— Ну так что, увидимся?

— Обязательно. Я тебе адрес запишу. Приезжай. В общежитии мест не было, я на квартире живу. Вот, не потеряй.

Она говорила быстро и вся уже была там, с девчонками, но он чувствовал, что она хочет, чтобы он приехал.

Их связывало только прошлое, но сила его была беспредельна. Как пальцы в пальцы, входили друг в друга их воспоминания.

Пятясь, подползал к перрону зеленый поезд. И Лутков с тоской ощутил мимолетность их встречи. Это задело его больно, как может задеть только солдата и только в войну. Таков человек — только что он и думать о ней не думал, а сейчас уже строил планы, как приедет к ней, прикидывал, как удобнее это сделать.

Он помог им втиснуться в вагон и удивился, как быстро и ловко захватили они хорошие места. Сквозь грязное и мерзлое стекло он увидел еще раз обращенное к нему зовущее лицо, а спустя пять минут стоял на опустелом перроне с вешмешком, в котором скрывались графины с петухами, стоял, как прежде, томясь в ожидании своего поезда. Но он был уже не тот, что час назад.

Он снова бродил по станции, смотрел, как лиловый от холода и водки красавец инвалид, окруженный друзьями, все бросает три листика — три бубновые карты: две шестерки и туза, — привычно приговаривая: «Кто шестерочку вынимает — ничего не получает, кто туза вынимает — шапку денег получает. Как туз — так и денег картуз. Последний день, последний час, завтра уезжаю на Кавказ. Телеграмма уже в кармане. У нашего Ивана без всякого обмана...» — и опять сначала, и как обалделый парень с кнутом под мышкой проигрывает ему сотню за сотней. Все это Лутков уже видел не раз, и знал секрет, и даже сам умел бросить — помком-взвод показал как-то от нечего делать.

Потом он поел и попил кипятку вприкуску, пристроившись в вокзале на окошке, и наконец с трудом, страшась за графины, пробился в нужный ему проходящий поезд.

Мест в вагоне не было, он приткнулся в конце концов на самом краешке, почти на весу, подремывал в тепле и думал о своем. Он думал о их городке, о школе, вспомнил Зину, какой никогда ее не вспоминал — наверное, в пятом или шестом классе, в матросочке. И снова ту, другую, возле дома, и ее губы и сегодняшние ее большие, тревожащие жалостливые глаза. Он вспомнил, как играл в детской футбольной команде, какие у него были трусы и гетры, и вспомнил один свой гол, который забил в левый верхний угол. Самой игры он не помнил — с кем она была и когда, а гол помнил отчетливо и даже сейчас ощутил всем телом и подъемом правой ноги этот удар.

До чего же странна и непохожа на теперешнюю та его жизнь. Она как бы из другой жизни. Или вот в книжке бывает — сначала вступление, пролог, а потом отчеркнуто, всякие картинки, заставки, и с новой страницы собственно только начинается книга — первая глава. Здесь только все и происходит. Но ведь нет — первые главы там, до заставки. А потом просто другая жизнь, другая книга, и действующие лица почти все другие. Почти все.

Он снова подумал о Коле, и снова его задело привычной уже, но такой же нелегкой болью. Он увидел его спокойное серьезное лицо, темные сросшиеся брови, говорят, счастливая примета. Он вспомнил, как впервые заметил Колю. По расположению ехал в санях кладовщик, а Коля схватился за задок саней, не остановил, конечно, но лошадь слегка приуменьшила бег, а кладовщик удивленно оглянулся:

— Здоров парень!

В каких только переделках не побывали они. И прыгали вместе, и спали на снегу, и ходили к девчонкам в барак на кирпичный завод, и лежали под огнем в перелеске у той проклятой деревни.

И много раз потом возникало у него мучительное чувство: «Эх, был бы Коля!» И сейчас он подумал не о Пашке, а снова о Коле и пожалел себя, что не сможет, войдя в землянку, увидеть его. Вот бы кто обрадовался, узнав о сегодняшней встрече. Здесь была особая история.

Однажды перед баней пропускали их одежду через дезкамеру — «вошебойку», и они сидели голые под соснами, ждали. Это был парад шрамов — от ранений, экземы, фурункулов. Только один старшина был одетый — у него вшей быть не могло. Нательное белье после бани им, конечно, выдавали чистое, а новое обмундирование получали редко и лишь те, кто совсем уж поизносился. В «вошебойку» забирали не только гимнастерки и шаровары, но даже обмотки. Оставались только ботинки, и они сложили в них документы и всякие мелочи. И тут Коля увидел у него в ботинке письма и поинтересовался, откуда. Это были старые нежные Зинины письма, которые она присылала еще в карантин, почти совсем истертые, неизвестно зачем хранимые, ведь он уже давно не думал о ней. Коля попросил прочитать, вернул и сказал, простодушно улыбаясь:

— Хорошо бы вступить в переписку.

И они действительно начали переписываться, и в каждом письме она передавала привет Боре, но переписка эта длилась совсем недолго.

Он очень много потерял, потеряв Колю. Он потерял часть себя. Ему всегда хотелось что-то значить в его глазах, ему это было приятно. Он привык к тому, что у него есть близкий человек. С этой утратой был утрачен некий смысл, стало неинтересным многое из того, что происходило и говорилось во взводе. Утром он просыпался с ужасающим ощущением пустоты и потери. Это повторялось каждое утро.

Коля погиб в его отсутствие, от случайной пули. Первый, сообщивший ему это, был совсем чужой человек, из другой роты. Все знали об их дружбе, и когда Лутков вернулся из медсанбата, все наперебой говорили ему о Коле. И он отвечал: «Я знаю. Я уже знаю». Он точно знал, что такой дружбы у него не будет никогда.

Больше, чем с кем-нибудь другим, он сблизился потом с Пашкой Кутилиным. Этот его дружок и напарник по котелку был не из своих, а новенький, по неизвестным соображениям командования переведенный из другой бригады. Помкомвзвод Агуреев сразу поставил его дневальным. Была оттепель, землянку их затопило, и Пашка стоял снаружи. Второго дневального, Стрельбицкого, не было, крутился, наверно, на кухне, и новень-

кий не решался отвлечься от дневальства и поесть — мимо, по линейке, то и дело проходили офицеры. На пеньке стоял, видимо, остывший уже котелок с супом.

— Давай подменю, — сказал Борис.

Тот быстренько похлебал супчику, потом спустился в землянку, прыгнул на сухие нары, достал из вещмешка маленькую банку американских консервов, открыл финкой и ровно половину оставил Луткову.

В деле они еще не побывали вместе, но как будто это был неплохой парень. Он быстро прижился во взводе и жалел о прежней своей бригаде, лишь когда вспоминал врачиху. Там у него был роман с молодой врачихой. Это было неправдоподобно: воинская часть, полно офицеров, сержантов и обеспеченных старшин, а она предпочла неимущего и бесправного Пашку. Но Борис поверил ему. Пашка рассказывал о своем романе спокойно, не вдаваясь особенно в подробности, как опытный человек, для которого все это не такая уж редкость. Лутков поверил и потому, что он и сам знал, что в солдатской однообразной жизни случаются редкостные минуты везения. Зимой во время выхода он отбилсЯ от своих, отстал, таща на ремне надоевший РПД, и попросился ночевать в деревушке. Великое множество раз ночевал он в попадавших на пути избах, падал на пол и засыпал мгновенно, одетый, в лучшем случае сняв шинель, никогда не разуываясь. А здесь хозяйка накормила его ужином — картошкой и молоком — и постелила на теплой лежанке. Он и не думал ничего, почти заснул, когда она пришла к нему. Он совсем не ожидал этого. Подобное бывает лишь в мечтах и так редко в жизни. Он по сути рассмотрел ее только утром, она была крупная, раздумянившаяся женщина лет тридцати. У нее был семилетний мальчик. Когда они пили чай, пришел из другой половины дома свекор, сухой старик, и спросил у Луткова, не может ли тот продать ему кусочек сахару за пять рублей. Это была ходовая цена. Борис деньги не взял, дал сахар пацану, протер свой РПД и подался. Она, будто по делу, вышла перед ним, в сенях обняла и, сильно покраснев, поцеловала на дорогу.

Он был очень горд собой. Конечно, такие случаи бывают не часто, но часто это ему было и не нужно.

Он давно уже отвык от освещенных тротуаров, даже от вида слабо светящегося окошечка — вечного знака тепла и уюта для запоздалого путника. Он перешел через рельсы и углубился в лес. Еще долго журчал вдалеке, за соснами, уходящий поезд. Кругом лежал снег, здесь было заметно холоднее, чем в городе. Сразу от разъезда начинался спуск к лагерю, каскад лестничных деревянных маршей среди заснеженного ночного леса — гордость бригадных саперов. Он спускался по скрипящим деревянным ступеням, слегка придерживаясь за перила, — нелепо было бы оступиться здесь и разбить графины. Но он крепко стоял на ногах.

Он миновал КП, длинный склад ОВС, вокруг которого, притопывая, похаживали часовой и подчасок, кухню, откуда доносились сонные голоса наряда. Он шел по передней линейке, вдоль спящих ротных землянок, и ощущал их дыхание. Над ними смутно дрожал теплый воздух. Никогда еще в этом лесу не бывало сразу столько народу.

Он спустился в огромную жаркую землянку. У печки встрепенулся задремавший, видно, дневальный, сразу узнал и сказал буднично:

— А, Лутков! Живой?

Это был один из двух старичков, служивших в их взводе, — Голубчиков. Им было лет по тридцать, Боровому и Голубчикову, и казалось ошибкой, что они служат вместе с молодыми ребятами. Они были тихие, благоразумные и держались всегда рядом.

В натопленной землянке, разметавшись, раздетая до белья, на двухэтажных нарах тяжело спала рота. Спал лихой помкомвзвод старший сержант Агуреев, и командир отделения сержант Веприк, и шустрый Витька Стрельбицкий, и главный любитель поспать — Мишка Сидоров, и белобрысый Двоицын, и другие ребята, которых он знал, как себя. В углу, отдельно, спал взводный, лейтенант Плужников, а за перегородкой, в каптерке, писарь и старшина, и еще в отдельной клетушке — командир роты Скворцов, к которому каждую субботу приезжала жена. Но сегодня был вторник.

Одни спали совсем беззвучно, другие хрипло дыша, кто-то стонал, — и снилось ребятам разное: дом, девушки, когда-то любившие их, матери, боевые прыжки, раз-

рывы мин и всякая всячина. А Пашке Кутилину, как он утверждал, вообще никогда ничего не снилось.

Лутков, легко выжавшись на руках, боком сел на край верхних нар и толкнул Пашку: «Подвинься!» — тот послушно подвинулся и улыбнулся, не просыпаясь: «Приехал?..»

После завтрака, поблескивая медалями, построились внутри землянки, в проходе, вышел ротный, высокий, свежий, приложил кончики пальцев к почти голубому меху щегольской шапки:

— Здравствуйте, орлы!

— Здравия желаем, товарищ гвардии старший лейтенант! — с удовольствием ответила рота.

Скворцова любили. Очень важно, какие у тебя непосредственные начальники. Комбат и командир бригады далеко. Ротный ближе, но и с ним солдат общается мало. Главное — какой у тебя взводный, помкомвзвод, командир отделения.

— Выводите людей!

Возле землянки успели еще покурить. Мимо уже спешили на занятия другие — бронебойщики, таща на плечах длинные противотанковые ружья, бежал на слегка подгибающихся ногах отставший пулеметчик, на нем, как хомут, сидел станок старого «максима».

Построились повзводно, пошли.

В лесу стояла целая бригада, но, странное дело, у каждой роты и даже взвода, как будто кто специально распределил, был свой и весьма обширный район для занятий, своя зона, куда обычно другие не только не вторгались, но и не замечались поблизости.

Вышли в поле, на южном покатоном склоне холма снег уже истлел, но земля еще не подсохла, грунт был вязкий, тяжелый. Взвод шел по дороге, лейтенант и сержанты сзади. Замыкающим было слышно, как Плужников рассказывает о своей давнишней поездке в Москву. Как всегда, в его рассказе фигурировала женщина. У него была привычка слегка поплевывать, будто что-то пристало к кончику языка. Отделенные почтительно слушали. Помкомвзвод Агуреев изредка еще подсчитывал ножку — голос его долетал издали — потом это ему надоело, и он сказал:

--- Веприк, ведите взвод.

Командир отделения сержант Веприк приблизился к строю и тоже подсчитал ногу:

— Раз, два, левой, левой, раз-два, р-раз, р-раз, р-раз, запевай!

Витька Стрельбицкий, кашлянув, хрипло начал:

Якорь поднят, выпел алый
Плещет на флагшто-о оке,
Краснофло-те-ец, крепкий малый...

Но подхватили нестройно, не в лад, кто-то сбился и сбил остальных. В строю засмеялись. У них было хорошее настроение. Они понимали друг друга, они знали все друг о друге. Они знали, кто из них кем был, их, правда, не интересовало, кто кем будет.

Стрельбицкий продолжал хрипеть:

Как прощали-ись мы в Кронштадте,
Цепь отгро-омыха-а-ала...

Тут одни запели, как надо:

Ты стояла в белом платье
И платком махала,

а другие, дурачась:

Ты стояла, сено ела
и хвостом махала.

— Отставить!— крикнул Веприк и возвысил голос:— Взвод, бего-ом марш! («Марш» — он мог и не добавлять, взвод и так двигался.)

Взвод потрусил легонькой рысцой, почти с той же скоростью. Никто не обижался, так было принято: они плохо спели, он их заставляет пробежаться, так уж было заведено, это была норма, своего рода правила тона.

— Правое плечо вперед!— крикнул Веприк, чтобы самому оставаться на дороге.

Взвод трусил по кругу, аккуратно, выбирая, где посуше.

— Стариков-то не гоняй!— сказал Агуреев Веприку, и тот неохотно скомандовал: — Боровой и Голубчиков, выйти из строя!

Те отстали, стояли на холме, не зная, что делать.

— Ладно, — добродушно произнес взводный. — Приступим к занятиям.

За спиной у Мишки Сидорова шишковато торчал вещмешок, набитый деревянными гранатами-болванками. Воткнули в землю палки, покидали на точность. Потом стали бросать в падении: бросил гранату и, как продолжение того же движения, упал на живот. Потом, наоборот, бросали лежа, едва приподнявшись, и тут же, быстро вскочив, делали перебежку. Лейтенант показывал с явной охотой и сам падал, не жалея шишечки.

Потом вышли к мостику. У них было такое место — овражек метра три глубиной и над ним два бревнышка без перил. Первым пошел Мишка Сидоров, на середине заколебался, закачался, крикнул: «Больно склизко!» — сорвался, но умудрился ухватиться локтевым сгибом за мосток и вылезти — больно уж здоров был малый. Остальную часть пути он проделал сидя. Пашка Кутилин пошел боком, осторожно выдвигая левую ногу и подтягивая правую. Но тоже потерял равновесие и, прежде чем упасть, долго балансировал на бревнышках, умоляюще взглядывая по сторонам хитрыми испуганными глазами и смеша взвод, насколько его можно было сейчас рассмешить. Ведь остальным испытание еще предстояло.

Лутков пошел быстрой побегкой, преодолел мостик на скорости, поскользнулся лишь в самом конце и успел прыгнуть хотя и не на другую сторону, но и не вниз, а на скат овражка и быстро вскарабкался наверх. Мосток никого не щадил. Веприк, как ни старался, слетел, зато Агуреев прошел замечательно — быстро, четко и до самого конца. Будь вдвое шире овраг, он бы все шел.

— Помкомвзвод, — сказал Плужников, — выдели человечка три людей, пускай в лесу костер большой разведут. — И сам перешел на ту сторону, не так чисто, как Агуреев, но тоже уверенно. Он построил взвод, скомандовал: — Запелай! — и взвод запел лихо и слаженно.

Через полчаса они уже сидели у костра, отворачивая лица от жара и отстраняясь от огня, когда подбирались сухие ветви и он вздымался, ревя и почти выходя из-под контроля. Но огонь быстро опадал, костер горел сильно и ровно, можно было хорошо просушиться.

На земле шла война, большинство из них знало, что это такое, а вскоре им предстояло подтвердить и умножить эти свои знания, но здесь, у костра, жизнь была устойчива, привычна. Здесь не было ничего и никого, мешающего взгляду и слуху. Это был их клуб, ассамблея. Это был час равенства.

— Умаялись?— говорил лейтенант Плужников, сухо поплеывая. Он сидел, широко расставив колени и равномерно кидая в огонь мелкие ветки и сучки. — Бросьте, вы молодцы. На выходе сколько прошли? И ничего не заметно, отстрелялись еще прилично. Вот я в училище учился в сорок первом, вот там был распорядок. Приходили — падали. Бабу голую рядом положи — не шелохнешься. Не заметишь! — это была его любимая тема, но она не получила достойного развития, потому что большинство слушателей не находило в описанной ситуации ничего необычного. Лишь немногие вообще знали, что это такое.

— Письмо получил, — невнятной скороговоркой пробормотал Двоицын, — сестра пишет, сосед воротился из госпиталя, а жена-то с другим. Ну, он выгнал и живет.

— Кого выгнал?

— Этого выгнал, с женой живет.

— Хо! — возмутился Стрельбицкий. — Да я бы убил обоих, — и, подумав, уточнил: — Если фронтовик, не тронул бы, а тыловой — на всю жизнь бы покалечил.

— А ее?— спросил Пашка Кутилин, сладко покуривая. — А как дети?..

Здесь Витьке ответить было трудно — ни жены, ни детей у Стрельбицкого не было. И никто, разумеется, не знал, что никогда их у него и не будет.

— Жизнь,— сказал Веприк,— она свое показывает.

Он стоял на одной ноге, сняв сапог, и сушил, держа в вытянутых руках, ржавую байковую портянку.

— Жизнь прожить — не поле перейти, — подддержал Голубчиков своего отделенного.

— А если оно минное, поле-то?— спросил Пашка, вскидывая карие, живые, то хитрые, то наивные — по желанию — глаза.

— Так-то, брат, — не понял, но сухо ответил Голубчиков.

— Минное-то не больно перейдешь, — усмехаясь, пояснил ему помкомвзвод Агуреев. Он ценил понятливых.

— Голубчиков, — сказал лейтенант, — а сам небось, как в деревню войдем, так и высматриваешь, как бы к молочнице подвалиться.

— Они с Боровым ведут наблюдение.

Трещал костер. Мишка Сидоров просушил портянку, надел ботинок и сидя спал, держа обмотку в руке, она развилась, упала кольцами. Белобрысый Двоицын стоял, забрав полы шинели под ремень, сушил шаровары, а потом просто грелся.

Это был счастливый час, но на них и на всем вокруг лежал отчетливый знак предстоящей вскоре перемены. Разговоры постепенно смолкли. Все сидели расслабленно, думая каждый о своем и, как Борька Лутков, были мыслями далеко отсюда.

Костер еще гудел, пощелкивал и был жарок, но он уже догорал. Никто не подбрасывал веток, все чувствовали, что вот-вот нужно будет выходить на дорогу и строиться.

5

Через три дня за Лутковым прибежал посыльный — вызывали в штаб бригады. В бревенчатой даче, где располагался штаб, Борис бывал только однажды — часовым у знамени. Зачехленное знамя стояло прямо против входа, теперь прошли мимо него по коридору, и Лутков очутился в очень большой комнате, где посредине курили и разговаривали несколько человек — начальник штаба, начальник политотдела, комбат-два и еще кто-то. Лутков тут же выделил среди всех командира бригады полковника Ковырзина, подошел строевым и четко доложил.

— Это он за графинами ездил, — подсказал полковнику начальник ПФС, и Ковырзин улыбнулся, глядя на Луткова.

— Слушай, мировые графины. Но ты представляешь, командир корпуса приезжал, я ему один подарил, а второй разбился. Я думал, там еще осталось, тряхнул, петушок и оторвался... Еще привезти можешь?

— Я постараюсь.

— Тогда оформляйся.

Комбриг уже уделил ему достаточно времени и вернулся к офицерам. Лутков не успел опомниться, отко-

зырял в направлении полковника и вышел. В соседней комнате начальник ПФС вручил ему список: «Посуда для офицерской столовой». В самом начале значилось: «Графинов с петухами — 12 шт.» Скоро предстояло десантирование в тыл противника — до графинов, до петухов ли, но все высшие офицеры штаба пожелали их иметь. Борис не стал объяснять, что теперь такие графины не выпускают, да и раньше делали редко и мало, не серийно, для себя. Он лишь сказал:

— Не мог петух от донышка оторваться.

— Какая разница, — пробормотал майор, — еще кому-нибудь подарил.

В списке перечислялись фужеры, рюмки, блюда для фруктов.

— Получишь деньги под отчет.

— Мне одному не управиться.

— Кого хочешь взять?

— Гвардии рядового Кутилина.

Поезда на разъезде останавливались редко, и, чтобы не терять времени, они, как и многие, решили садиться на ходу на товарняк. В сторону города был подъем пути, и поезда здесь теряли скорость.

Лутков и Кутилин приготовились, надели как следует вещмешки, скрепив лямки на груди, и стали ждать. Вначале прошел пассажирский — слишком быстро. Через полчаса потянулся длинный товарный состав. Если смотреть издали — вагоны катятся медленно, но, когда ты рядом, внизу, возле колес, они только мелькают, тяжело вдавливая рельс в черные промасленные шпалы.

Они стали друг от друга шагах в двадцати, высмагивая тормозные площадки.

— Давай! — крикнул Борис, пропуская площадку для Пашки и не успевая посмотреть, как он садится, ища взглядом следующую для себя. Показалась площадка, он побежал, но не набрал нужный ход, площадка уходила, хвататься было опасно. Он, отставая, глянул вперед, — Пашка уже ехал и, свесившись, махал ему. Заметив следующую, Лутков изо всех сил рванулся вдоль полотна, параллельно составу, площадка догнала его, она была неудобна, слишком высока подножка, но снова пропускать было невозможно — он уже затратил много сил. Он схватился обеими руками

за поручни, его тряхнуло, но он не отпустился, а, резко оттолкнувшись ногой, сумел сесть бочком на нижнюю ступеньку. Он сидел и смотрел, как размазанно летит рядом, под ним, земля, потом осторожно, по одной, подтянул ноги и медленно встал. Поднявшись на площадку и переждав, пока пройдет дрожь в коленях, он высунулся и помахал Пашке. Потом он закурил и, слегка приплясывая, смотрел на мелькающие голые перелески.

Подъезжая к городу, среди запасных путей и стрелок, поезд резко сбавил ход, и они спрыгнули.

Спросив дорогу, они быстро доехали на трамвае до нужной улицы, нашли старый одноэтажный дом с несколькими входными дверями. Их дверь была со двора, заваленного осевшим весенним снегом.

— Может, еще дома нет, — сказал Лутков, сильно затаившись и бросив сигарку.

Он постучал, и они вошли, ворвались, в другой, в совсем иной мир, он шагнул в дверь, но не в эту, глотнул жесткого разреженного воздуха, у него перехватило дыхание, он полетел вниз, и вдруг его что-то задержало, раскрылся купол, и он, ликуя, приземлился в другом мире — заваленный весенним снегом двор, ступеньки, обитая клеенкой дверь.

Открыла высокая девушка в наброшенной на плечи шали, взглянула вопросительно и тут же приветливо сказала:

— Вы к... Зине? Зина, к тебе! — и из глубины, навстречу, она ударила в него серыми глазами, и он сразу поймав ее волну, почувствовал и поверил, что она рада ему, взволнована его приездом.

— Боря! А я только пришла.

Он пожал ей руку, как тогда, на вокзале, у нее была теплая рука, а у другой, высокой, холодная, вялая.

— Ира.

— А я некий Паша, — сказал Кутилин, и все засмеялись.

— Раздевайтесь, — пригласила Ира. Она куталась в шаль.

— Вы в увольнении? Или как это называется? — спрашивала Зина и смеялась.

— Мы в командировку едем.

— Зачем?



— Военная тайна, — объяснял Пашка, хитро блестя наивными глазами.

И все это было странно, необъяснимо, даже нелепо.

Из соседней комнаты, торопясь, вышла, почти выбежала женщина, в платке и в куртке, спросила на ходу у Зины:

— Приехал? Который? Дай-ка гляну. Ну, что, ничего. Ну, я побежала, побежала, и так с дежурства отпустили на пятнадцать минут. Еще увидимся, солдатики.

— Мы вообще-то проездом. — начал Борис.

— Ночуйте, ночуйте. Где ж солдату ночевать. А вы, девчата, позаботьтесь.

— Конечно, мама, — сказала Ира.

— Можем и переночевать, — развел руками Пашка.

У них были с собой продукты — сухой паек, — и вскоре девчонки готовили обед. Потом они все обедали, как обедают на гражданке, сидя за накрытым голубой клеенкой столом, а за окошком сверкала весенняя улица, а перед ним сияло ее лицо.

Решено было всем пойти вечером в театр музкомедии, Пашка вызвался поехать за билетами, ему объяснили, как ехать. Борис, не одеваясь, вышел за ним на крыльцо, похвалился: «Ну, как?» — Пашка показал ему большой палец и потопал к воротам. Темнело — глуша розовое и голубое, все более густели над домами лиловые тусклые тона. Он вернулся в дом.

В доме было тепло. Свет еще не зажигали. Зина прибирала в комнате и взглянула на него преданно и нежно. Он знал этот взгляд. Ира сидела на диванчике и что-то вязала, тихая, грустная, плечи укутаны шалью, руки у нее тоже, должно быть, вечно мерзли, кожа на них была не ровного тона, а словно в крапинку. И он испытал острую нежность не только к Зине, но и к Ире, к этому дому, к этой жизни. Все здесь было просто, даже скудно, и жизнь их была нелегка — зима, дрова, карточки, — но это была другая, необыкновенная жизнь. И эта жизнь увлекала ее, радовала, и она с удовольствием принимала ее. Он чувствовал это, глядя на ее еще похорошевшее лицо. А он здесь был гостем. И он все время не забывал о недолговечности, непрочности своего теперешнего положения. Он терял

себя, растворялся в этом мире. Он, разумеется, давно уже не был тем прежним мальчиком, он был другим, но сейчас, здесь он утрачивал и что-то свое новое, теперешнее.

Что их ожидало? Они двигались каждый по своему маршруту, по своей орбите, и вот на какой-то миг, в какой-то точке их пути сошлись, но ведь ни один из них не мог дальше пойти по пути другого.

Совсем стемнело, опустили маскировочные шторы на окна, зажгли свет.

— Вот и посумерничали, — сказала она.

А он сказал, как говорил когда-то:

— Пойдем пройдемся?

На улице он взял ее под руку, они пошли по бугристому, узкому тротуару. Стало совсем темно. За опущенными шторами кое-где пробивалась полоска света, занавешивались не так строго: немец сюда давно уже не залетал. Все было тихо и спокойно. И ему тоже вдруг чудовищно захотелось устойчивости, определенности в своей жизни.

Крупная снежинка упала ей на щеку, вторая на нос, она смешно сморщила нос и сдунула снежинку. Он нагнулся к ее лицу и спросил как когда-то:

— Ты меня любишь?

— Да. Но во-первых, я должна тебе сказать: у меня был один мальчик...

— Ах, это неважно,— почти с облегчением выдохнул он и, жмурясь от снегопада, поцеловал ее в мягкие губы, и словно мгновенно перелистнули назад множество страниц и нашли нужное место: как вспышка, возникло то невероятно давнее ощущение — его словно пронзило, тело напряглось и сделалось железным.

А снег валил медленно, густо, отвесно. Лишь там, где была неаккуратная маскировка и пробивался свет, хлопья словно меняли направление и летели совершенно горизонтально. Это были тяжелые, крупные, мокрые хлопья. Приходилось то и дело стряхивать их. Улочка была окружена и придавлена снегопадом. Они разговаривали о разном. Вернее, больше рассказывала она, а он только спрашивал.

— А Аля где живет?

— Она в общежитии. А у нас мест не было, я уж три года здесь живу. Хозяйка хорошая женщина. Работает в гостинице коридорной. Только попивает она.

Всю жизнь вдвоем с Ирой живут. Отца нет. В гражданскую она была в санитарном поезде, там один поляк ее использовал...

Как иногда женщина умудряется одним движением, одним словом разрушить долго и тщательно воздвигаемое стройное здание. Правда, часто ей удается столь же быстро его воздвигнуть.

Она, наверное, хотела выразиться покультурнее, а его всего перекорежило, хотя, конечно, чего он только не слышал в армии. Интересно все же, от кого она усвоила такое?

А снегопад все не переставал, даже не редел, висел над миром, оседая на ее берете, на его шапке, на их плечах. Это была последняя весенняя метель.

Долго топали и сбивали друг с друга снег в тесном тамбуре, вошли в дом раскрасневшиеся, с мокрыми щеками. Ира тут же опять села вязать, показывая, что не обращает на них внимания.

Когда он, повесив шинель, затягивал ремень, Зина тронула кончиком пальца медаль на его груди и спросила грустно и доверительно:

— А Коля погиб?

— Погиб. Тебе кто написал?

— Не помню. Смешная фамилия.

— Веприк?

— Да. А ты почему не написал?

— Не знаю. Не захотелось.

И опять его смутной болью задело сознание, что Коли нет и уже не будет, и раздражили ее вопросы, как раздражают мужчину вопросы женщины о том, чего ей касаться не стоит.

Затопали шаги, стукнула дверь, и, еще отряхиваясь, ввалился Пашка.

— Ну, как?

— Порядок!

Девчонки засуетились — одеваться, поставили чайник на плитку, в кухне стучали ходики, — раньше Борис их почему-то не заметил. Он стоял рядом с Пашкой посреди кухни, они были близки друг другу, им было приятно, что они здесь вдвоем, от этого все вокруг выглядело более привычным. Они оба еще не пришли в себя после происшедшей в их жизни мгновенной и краткой перемены.

— Мы готовы.

Он оглянулся, не замечая, что на ней, не обращая внимания на это, посмотрел ей в лицо, подошел, взял за руку, наклонился к ней — она думала, что он хочет поцеловать ее, и слегка отстранилась. Держа за руку, он вывел ее в другую комнату и, касаясь лицом ее волос, сказал хрипло ей на ухо:

— Давай останемся, пускай они вдвоем идут.

И не успел он договорить, она тут же, с готовностью кивнула. Он отошел от нее и закурил, чтобы сдержат волнение.

Сели пить чай с пиленным армейским сахаром. Пили из обыкновенных фаянсовых зеленых чашек, но одно это было замечательно. Лутков опорожнил две чашки и сказал:

— Голова что-то болит. Я, пожалуй, не пойду, — и когда все выжидательно посмотрели на него, скованно добавил: — Мы с Зиной, пожалуй, останемся. Правда, Зина?

— Жалко, конечно. Ну что ж, посидим — повспоминаем, — ответила она, изобразив сожаление.

Те на миг растерялись, но только на миг. Пашка бодро произнес:

— Это ничего. Билеты ваши с руками оторвут. Пошли, нам пора, Ирочка.

Та слабо оживилась, зарумянилась, непрерывно управляя какую-то оборочку.

Они остались вдвоем. Никогда еще они не оставались вот так вдвоем в доме. Они оба сразу почувствовали необычность этого, их охватило общее волнение. На земле шла война, а здесь было тихо, гулко стучали ходики в кухне, за окном начинал разыгрываться ветер.

— Хочешь еще чаю?

— Нет.

Он подошел к ней и прижался лицом к ее лицу, она обхватила его за шею, и так, слушая ветер, они стояли посреди комнаты, ни ей, ни ему не хотелось двигаться. Но нельзя же было так стоять вечно, нужно было что-то делать, они оба чувствовали это, и их не оставляло напряжение. Наконец он решительно, может быть, резче, чем нужно, развернул ее за плечи и подвел к дивану. Они сели, он поцеловал и обнял ее, как никогда смело и настойчиво, на миг ему показалось

странно и неловко чувствовать под платьем ее тело. Он еще ждал, что сейчас она опомнится, отстранится, и сдерживал себя, но она потянулась к нему, и он спросил невнятно: «Дверь заперта?» Она, глотнув, молча кивнула, и едва он, подскочив к двери, взялся за задвижку, дверь перед ним отворилась, и вся в снегу вошла хозяйка.

Не отряхиваясь, она направилась в кухню, объясняя на ходу:

— Знаешь, почему раньше я пришла, а, Зинаида? Там у нас летчики живут в люксе, три подполковника, на фронт улетают, их сегодня провожали. Девушек они пригласили, ну, я проходила, мне тоже поднесли. Раз да другой, Дуська и говорит: «Ступайте домой, а то неудобно, я за вас дедежурю». Ну, хорошо, пойду...

Тут только немного пришедший в себя Борис заметил, что она действительно под хмельком, и услышал, как Зина рассказывает ей, что Ира и Пашка в театре.

Ветер все усиливался, налетал порывами, били по стеклу голые ветви, в комнатах мигало электричество.

— Помнишь, как в школе свет потух? — спросила она.

— Хорошо помню.

И мельком прошло воспоминание — во всей школе темно, в коридорах шум, свист, а они долго смотрят в окно, крепко держа друг друга за руки.

Позже, чем было нужно, вернулись Ира с Пашкой, довольные, дружные. Пашка глянул вопросительно и скрытно скорчил рожу в сторону хозяйки.

Гостей уложили в большой комнате, с удобствами — Пашку на диване, Луткова на кровати. Девчонки стелились в маленькой проходной, мать в кухне. В комнатах было уже темно, свет горел только в кухне и сюда доходил слабо. Борис, лежа, видел, как шире открылась кухонная дверь, в ее ярком прямоугольнике обозначилась фигура Зины, она неплотно приотворила за собой дверь, потонула в полутьме другой комнаты, исчезла, и вдруг оказалась возле него и села на край кровати.

— Спокойной ночи.

— Тебе там жестко, приходи ко мне, — прошептал он просто так, несерьезно, зная, что это невозможно.

— Нельзя, — ответила она шепотом, провела по его

голове, по едва ощутимому чубчику, который и такой нелегко было сохранить:— Какие у тебя раньше волосы были мягкие... Спи...

Назавтра, воскресным весенним утром, уже освоившись и с сожалением подумывая о предстоящей дороге, сидели на кухне за накрытым голубой клеенкой столом, пили чай. И тут вошел капитан пехотных войск в полурасстегнутом кителе, под которым виднелась желтая майка. Он увидел их, очень удивился, на его круглом лице появилось строгое выражение, словно он собирался подать команду: «Встать! Выходи строиться!»

— Заходите, Петя,— сказала Зина.— Познакомьтесь, это мой товарищ, мы в школе вместе учились. А это наш сосед.

Капитан сел, продолжая сохранять неприступный и несколько обиженный вид.

— Тоже заходили ко мне друзья детства, недавно были,— сказал он с достоинством.— Ну, посидели — посмеялись.

Зина восхищенно смотрела на капитана. «Зачем она его пригласила садиться?» — с неприязнью подумал Лутков. Ему было дико, что она называет капитана Петей. Зато Пашка моментально с ним освоился, держался легко и свободно и уже курил легкий офицерский табачок.

— Ирина, налей гостю чайку,— приказала мать и спросила:— Ты что, может, выпить принес?

Тот поколебался и ответил отрицательно.

— Вот тоже шел из Дома офицеров,— сказал он, подумав,— и встретил учительницу свою по химии. А ее дочка со мной с первого класса училась. Вот она остановилась со мной, представляешь, говорит, Петя, вышла дочка замуж, ну, муж заел совсем. Сам, говорит, ничего из себя, инженер, бронь имеет, но жить не дает, ревнует, пойти никуда нельзя, ничего нельзя, хоть разводишься. А ведь дети. Ну, говорю, ревнует, значит, любит. Нет, говорит, Петя, это не жизнь. И сама то она тоже грубая стала. Ты бы, говорит, зашел к ним. Ну, я зашел, посмотрел. И зачем люди женятся, чтобы так жить. Как волки. Ну, посидели, посмеялись...

За окном тонула в лужах улица, плавился под слепящим солнцем рыхлый снег. А здесь поднимался па-

рок над чаем, лежал над столом слоистый табачный дым, шли неслышные утром ходики, радостно смотрела Зина. Пора было ехать, пора было расставаться.

Хотелось только, чтобы капитан ушел раньше них.

6

Они заехали еще на обратном пути, сдав в камеру хранения огромный ящик с тяжелой штампованной посудой. Но задержались недолго — пора было возвращаться, время командировки и так было безбожно просрочено. Часть посуды побилась, когда кидали ящик при пересадках, но вообще-то выглядела она при всей своей грубости совсем неплохо, а рисунок был просто хорош — различные фрукты в обрамлении вырезной листвы. Так что начальник ПФС утешился этим — графин с петухом дядя достал всего один, да и тот с превеликим трудом. Но зато графин был большего размера и петух в нем редкой красоты и сидел уж больно картинно, растопырив яркие стеклянные крылья.

Снега в лагере уже почти не было, тянулись расчищенные сухие линейки, доносились голоса команд, обрывки далеких строевых песен, звучала труба, не часто, не без разбору, а только со смыслом, к месту: подъем, завтрак, приступить к занятиям, обед, ужин, проверка, отбой. Все шло размеренно, четко, привычно, но опытный солдат необъяснимо чувствовал, что главное его дело совсем близко. И Лутков ощущал это совершенно определенно, но если раньше в подобных случаях он спокойно ждал приказа, то теперь ему мешало сознание того, что времени осталось мало и надо торопиться.

Знакомый парень-санинструктор, — вот оно, преимущество долгой службы в одной части, — дал ему два листочка-направления на консультацию в госпиталь, уже со штампом и печатью — оставалось проставить число. И даже диагноз написал: воспаление среднего уха. Госпиталь, разумеется, размещался в городе.

И он ездил к ней и шагал по длинной боковой улице, вдоль маленьких домиков, дощатых заборов, голых палисадников, и стучал в обитую клеенкой дверь, и встречал в упор ее взгляд — это был лучший миг —

и сидел с ней в темноте на лавочке, обняв ее и попы- хивая самокруткой.

Она подарила ему фотокарточку, не очень удач- ную, в пальто и в берете. Белобрысый Двоицын, когда Борис показывал снимок во взводе, выглянул из-за плеча Витьки Стрельбицкого и спросил:

— Из ремесленного, что ли?

— Иди ты,— послал его Лутков.

А Стрельбицкий и другие одобрили.

Снимок был, конечно, мало удачным, он не пере- давал не только цвет ее глаз и кожи, но была утраче- на живость взгляда и улыбки. Для Луткова ценность карточки была в другом — в надписи на обороте. Там было написано ее округлым почерком: «Самому доро- гому». Что ни говори, на такую надпись приятно смот- реть, хотя он подумал сразу же: «Значит, есть еще другие, просто дорогие, а я самый дорогой».

Стояли темные весенние вечера. Они сидели на ла- вочке, мимо проходили люди, не замечая их. Они си- дели, прижавшись друг к другу. Борис жалел, что еще холодно и она в пальто. Они никуда не ходили, даже в кино, ему не хотелось тратить на это время, он поч- ти слышал, как оно убыстряет ход. Оно шло ровным металлическим шагом, как ходики на кухне, со зву- ком, похожим на щелканье языком.

Они сидели на лавочке в темноте. У него не появ- лялось мысли о том, что нужно бы чем-нибудь уго- стить ее или сделать подарок. Такой мысли не из чего было родиться, ведь у него ничего не было. Но у него не было и ощущения своей неполноценности. Нет денег? А откуда им быть? Ведь он сейчас солдат.

Они жили сейчас по непохожим законам, хотя и непохожие законы похожи уже одним тем, что они за- конны. Но они сидели в темноте на лавочке так тесно, что возникшее в нем щемящее ощущение быстро иду- щего времени иногда передавалось и ей.

— Когда вы уедете?

— Скоро. Будешь меня ждать?

— Да,— отвечала она с готовностью и сама начи- нала строить планы, как они встретятся, как она, окончив институт, будет преподавать свою географию где-нибудь в глуши, и он приедет, и тоже будет там работать и учиться заочно. Или устроятся и станут

жить в большом городе, там у него будет больше возможностей.

— Я в тебя верю.

Должно быть, где-то слышала или читала эту фразу и теперь говорила ему. Они тесно сидели на скамейке, мешались их запахи дешевых духов и махорки, ее волосы текли по его щеке, но оба они понимали, что все это, о чем они говорят, нельзя принимать вполне серьезно.

Резко потеплело, он был уже в пилотке и без шинели. Он постучал посредине дня в обитую клеенкой дверь. В полутемной комнате она стояла у тусклого выцветшего трюмо и повернула навстречу ему завитую голову. Ира вышла в другую комнату и плотно притворила за собой двери.

— Здравствуй,— сказала Зина как бы задумчиво.— Ах, как неудачно.

— А что?

— Ты понимаешь, я сегодня занята,— он молчал,— во-первых, мне нужно вечером пойти в институт,— как всегда она не добавляла, что же во-вторых.

— Обязательно нужно? — спросил он спокойно.

— Да, — сказала она ласково. — Обязательно. Очень неудачно.

— Я могу пойти с тобой.

— Ты понимаешь,— ответила она уже с легкой досадой,— я не могу сегодня. За мной зайдут.

— А,— сказал он,— понятно.

Нужно ли было хитрить, ловчить, садиться на ходу на товарняк, прыгивать, сторониться патрулей?! Дуррак, нужно было сидеть за землянкой, привалясь спиной к сосне, курить, прикрыв глаза, слушать, как врет о чем-нибудь Стрельбицкий, и ждать сигнала на ужин.

— Боря, давай в другой раз,— в ее ласковых интонациях угадывалось нетерпение.

Это были люди разных эпох, разных миров, люди, не понимающие друг друга. Они говорили на разных языках. На том языке, который знали они оба, нельзя было говорить обо всем, о важном, о главном. Он годился лишь на то, чтобы говорить о легком, о ерунде. На нем еще можно было говорить о прошлом.

— Другой раз не скоро будет. Ну, что ж,— и уязвленный, жалея себя за все свои старания, он вдруг в

одном слове выразил нараставшее ощущение:— На-
доело?

Спросил, уверенный в обратном, ожидая шумного воз-
мущенного опровержения, но такового не последовало.

Тогда его прожгло нестерпимой обидой.

— Все! Больше меня не увидишь,— крикнул он, с удивлением отмечая про себя, какое у него чужое лицо, и вышел, может, чуть медленнее, чем следовало, бросив за собой дверь.— Ну, погоди, пожалеешь,— шептал он, широко шагая по пыльной улице, хотя и ему самому было, по совести, неизвестно, почему она должна пожалеть. Попался молоденький инкубаторный лейтенант, Лутков заметил его слишком поздно и не поприветствовал, но тот не остановил, не сделал замечания.

На душе было скверно, но он знал, что все пройдет, и знал это совершенно точно, потому что знал на опыте.

По дороге к вокзалу он увидел из окна трамвая часы на столбе и подумал удовлетворенно: «Хорошо, сегодня на пятичасовой успēju».

И, уже сбегая по скрипучим ступеням вниз к расположению, вспомнил о фотокарточке и сокрушенно пожалел, что не вернул ее, не догадался. Нужно было спокойно положить ее на стол: «Возьми, пригодится!» Действительно, там же не было сказано, что «самый дорогой» именно он, Борька Лутков. Ее можно было подарить и другому. А может, она и до него у кого-нибудь уже побывала.

Он поспел к самому ужину. Пашка удивился его быстрому возвращению, но ни о чем не спросил.

7

А через несколько дней, когда они заступали дневальными по роте, Пашка предложил:

— Как примем дневальство, давай сразу поезжай, а часовым поездом вернешься...

Что-то внутри радостно откликнулось на эти слова, но сам он сказал хмуро:

— Все. Хватит.

— Да брось ты, помириться вам надо,— не унимался Пашка,— она ж тебя любит. Давай я сам поеду, поговорю с ней. Как примем дневальство, сразу поеду, а часовым поездом вернусь.

Лутков не ответил. И едва только с противогазом на боку, финкой на ремне и красной повязкой на рукаве он стал в первую смену на пост возле тумбочки, у выхода из землянки, Пашка натянул пилоточку на бровь и подмигнул.

— Погоди, — остановил его Лутков. — Если уж едешь, то так: я к ней не поеду, запомни твердо. Захочет — может приехать в воскресенье утренним поездом.

— Все ясно, — серьезно ответил Кутилин и выкатился из землянки.

Рота вся была наверху, ребята курили на задней линейке, потом чистили оружие, а почистив и смазав, спускались, ставили автоматы в пирамиду и сразу выходили, не задерживаясь. Наверху было хорошо, пахло весенним, вполне проснувшимся лесом. Солнце, чем ниже, тем быстрее, проваливалось между сосен, но небо над землянками еще долго жило воспоминаниями о нем и не могло погаснуть. Сыграли сигнал на ужин, рота разобрала котелки и ушла с песней.

Сквозь маленькое неотмываемое окошечко Луткову была видна сосна, вернее, ее ствол, середина ствола, — основания и вершины не было видно. Иногда ствол слегка, почти неуловимо, покачивался, но чаще был неподвижен. Сбоку смутно начинала зеленеть ветка березки, а ствол сосны, резкий, от подоконничка до верхнего оконного среза, вытянутый, четкий, в чешуйчатой прекрасной коре, был как жизнь, которой не помнишь начала и не знаешь конца.

Вернулась рота, многие остались наверху курить. Мишка Сидоров принес ужин дневальным — треть котелка перловой каши, чай в другом котелке, две пайки хлеба и сахар.

Дежурный по роте старший сержант Агуреев давно уже заметил своим блатным взглядом отсутствие Кутилина, но ничего не говорил и ни о чем не спрашивал, — слишком многое связывало их с Лутковым, слишком давно они служили вместе и слишком серьезное общее дело предстояло им впереди. Он был сейчас недоволен, но он уважал Луткова.

А тот сунул ужин на окошко и стоял возле тумбочки как ни в чем не бывало. Пост дневального это, конечно, не то что пост часового, но все равно приступать к еде было сейчас невозможно.

— Лутков! Как рота на поверку уйдет, подметешь,— приказал Агуреев.

— Есть.

Он только управился, как веселая ввалилась после вечерней прогулки рота, стала разбираться ко сну, не дожидаясь отбоя.

Они, не торопясь, разувались, расправляли портянки, ставили в ряд ботинки и сапоги, складывали в головах обмундирование.

Старички Боровой и Голубчиков, как обычно, копались в своих вещмешках, что-то проверяли, перекладывали и тихо разговаривали между собой — у них были свои дела и интересы. Мишка Сидоров уже спал, как подрубленный, разбросав могучие руки. Витка Стрельбицкий что-то рассказывал в своем углу, на верхних нарах, оттуда доносился хохот. Приглушенно прозвучал сигнал трубы. Агуреев крикнул властно:

— Рота, отбой! — и ушел в каптерку к старшине, все начало успокаиваться.

Лутков принялся за ужин. Перловая каша в котелке застыла, как алебастр, он легко и точно разделил ее пополам. Чай, конечно, тоже был холодный. Лутков, стоя возле тумбочки, быстро поел. Пашкину порцию поставил обратно на окошко.

Рота уже спала крепко и ровно, лишь временами кто-нибудь стонал или всхрапывал. Вокруг Стрельбицкого еще смеялись, но вскоре стихли. Вернулись откуда-то ротный Скворцов с лейтенантом Плужниковым. Агуреев выскочил навстречу, сдержанно, негромко доложил. Ротный, высокий, стройный, кивнул ему, пожал руку Плужникову и удалился в свою комнатку, куда по субботам к нему приезжала жена. Молодая и тоже высокая женщина,—она всегда проходила по их длинной землянке быстро и не глядя по сторонам. Но сегодня был четверг.

Лейтенант Плужников сел на нары и, сухо поплеывая, долго стягивал хромовые сапоги, наконец улегся. Агуреев прошелся по землянке, свернул и выкурил сигарку и лег, не раздеваясь, как положено дежурному.

Теперь Лутков тоже позволил себе закурить. Он глубоко затягивался, держа самокрутку в кулаке и выпуская дым в сторону двери. Стояла тишина, слышно было только дыхание роты.

Потом далеко за лесом слабо зажурчал поезд, на короткое время смолк и снова потек за леса, постепенно затихая. На карманных часах старшего лейтенанта Скворцова — единственных часах в роте — стрелки показывали один час четыре минуты. Лутков представил себе, как он, ослабив ремень, ляжет на нары и сладко вытянется. Прошло десять, пятнадцать минут — он напряженно прислушивался, но ничего не слышал. Прошло двадцать минут — он еще ждал. Через полчаса он понял, что Пашка не приехал.

Рота спала спокойно и ровно, но спать ей оставалось так совсем недолго, потому что шла война, и горела земля, и гибли люди. И многие из тех, кто прежде так же сладко спал рядом со спящим сейчас, спят уже иным сном и никогда не проснутся. И среди них первый для него — Коля.

Над землей стояла свежая весенняя ночь, крепко спали ребята, которых он знал как себя. Сотрясая нары храпом, спал Мишка Сидоров, беззвучно, незаметно Витька Стрельбицкий, постанывал Двоицын, подложив под головы сидора, озабоченно спали Боровой и Голубчиков, готовый в любую секунду вскочить, отдыхал Агуреев, откинув голову, лежал в тени от нары лейтенант Плужников. А за перегородкой спал ротный, и в других землянках спали солдаты и их офицеры, спали комбаты и командир бригады полковник Ковырзин. Он глубоко дышал во сне, четко отсвечивали ордена на кителе, пуговицы и ремень, и мерцал в буфете графин со спящим на донышке стеклянным петухом, растопырившим крылья.

Все, казалось, было объято сном. Но это лишь казалось. Не спали очень многие и в их числе рядовой Борис Лутков. Перед ним была долгая ночь, но он не мог бы допустить такого позора, чтобы уснуть на посту.

Он стоял возле своей тумбочки и рассеянно думал о доме, о матери, от которой получил недавно письмо, но еще не ответил. Он думал о том, как играл в детской команде, и вспоминал, какие он забивал голы. Хорошие голы помнятся, как женщины. Стоит подумать о них, и они возникают перед глазами. Как та, что сама пришла к нему, когда он ночевал у нее в избе, отстав от строя. Ему было ясно, что он никогда не забудет ее, а ведь он не знал даже, как ее зовут, и

почти ее не видел. Зато другую он знает хорошо, а может, и ее не знает.

Ночь все текла над землей. Время от времени кто-нибудь вставал с нар и, сунув босые ноги в ботинки, набросив шинель или просто в белье, поднимался наружу. Потом они возвращались, стуча по ступенькам незашнурованными ботинками, проходили мимо него, падали на нары и мгновенно засыпали. Он узнавал их по звуку шагов, даже не глядя. Он немного, самую малость, тревожился за Пашку.

Землянка медленно наполнялась расплывчатым утренним светом. Неожиданно резко проснулся Агуреев, внимательно, будто не спал, посмотрел на стоящего у тумбочки Луткова и ничего не сказал.

Пашка появился, когда рота уже вернулась с завтрака и готовилась к занятиям.

— Патрулей было полно на вокзале,— объяснил он, набрасываясь на еду,— побоялся — заберут, не стал садиться. Всю ночь скитался. Все в порядке, приедет она в воскресенье, сама хотела приехать. Ну, ступай покемарь.

— Ладно, потом разбудишь,— согласился Борис.

8

Он отпросился у лейтенанта Плужникова, получил на весь день хлеб и сахар. Утро выдалось теплое, ясное, но пришлось надеть шинель, чтобы можно было потом постелить на землю.

На разъезде было полно военного народа. Тут стояли группками и поодиночке солдаты, офицеры, сержанты. Все они ждали поезда из города и с этим поездом гостей — матерей, жен, случайных, но не менее нежных подруг и знакомых. Ожидающие, столь разные по званиям и положению, не обращали здесь друг на друга внимания, не козыряли, не вытягивались, здесь словно была особая зона, где на них всех уже распространились законы той, другой, гражданской жизни.

Первая светлая листва берез, ожившие сосны, покрытые травой пригорки — все это успокаивало глаз и душу, но, когда справа вблизи показался паровоз, Лутков снова почувствовал волнение и несколько раз подряд жадно затянулся.

Большинство встречающих вытянулись вдоль всей

платформы— они знали даже, у какого им стоять вагона. А он взбежал на холмик, откуда был виден весь состав, и проходил взглядом по вагонным площадкам и окнам.

Поезд остановился и ровно через минуту покати́лся вдаль, оставив на платформе пеструю женскую толпу, которая, однако, тут же начала перестраиваться и растекаться: рядом с каждой женщиной шел уже человек в форме. Одни женщины — постарше— приезжали с гостинцами, с нагруженными сумками, другие совсем налегке. Все двигалось быстро и радостно. Лишь несколько женщин еще стояли на месте, с беспокойством оглядываясь по сторонам, но и к ним уже подбегали. Через несколько минут платформа была пуста,— никто не желал терять времени понапрасну.

Он подождал, будто она могла все-таки появиться. Все равно спешить ему было некуда. Только что бурлившая пестрая волна схлынула, он один остался на разъезде. Он один уцелел на своем зеленом пригорке. Но он бы предпочел, чтоб и его смыло.

Он был оглушен ударом волны, и остро саднило покорябанное самолюбие.

Возвращаться в расположение было смешно. Он пошел по шпалам в ту сторону, откуда появился поезд,— он собирался повести туда ее. В этой стороне, он знал, бывало меньше народу.

Он шел между двух слепящих, улетающих вдаль рельсов, перебирал ногами и все никак не мог приноровиться к всегда неудобной для себя дороге. Он то семенял, то начинал шагать через одну шпалу, то опять частил. И это все было похоже на другую дорогу, только тогда была ночь и он был моложе. Но тоже было отрублено многое из оставшегося за спиною, и тоже неизвестность была впереди. И все-таки это было совсем не так, и он был не тот, потому что это происходило с ним в другой жизни.

Он перешел через железнодорожный мостик, свернул в сторону, сел и, достав из кармана хлеб, не торопясь, с удовольствием съел половину. Потом он спустился к ручейку, стал на колени и напился. Он выбрал маленькую зеленую полянку, бросил на землю шинель и лег — один, — глядя вдоль шершавых, белых с черным стволов в синее небо.

Его разбудил женский смех. Он, не шевелясь, гля-

нул в сторону и увидел, как, не замечая его, обнявшись, проходят за кустами сержант и грудастая, в чем-то нестерпимо розовом девица. Ему показалось, что сержант — это Веприк. Они быстро скрылись за кустами, снова взлетел и разом оборвался ее громкий смех.

Лес был уже затоплен тенью, лишь на больших полянах и по просекам висели солнечные столбы.

Он умыл лицо в ручейке, доел хлеб и разогнал складки под ремнем.

Неизвестно для чего, он снова вышел к разъезду. Там уже накапливалась разбитая строго парами толпа. Тут были солдаты с матерями, сержанты с девушками, в конце платформы стоял ротный Скворцов, держа под руку свою высокую, под пару ему, жену. Провожавшие не обращали друг на друга никакого внимания, они сами были сейчас, как гражданские. Показался поезд, все стали прощаться, обнимаясь и целуясь, некоторые женщины заплакали.

Через минуту поезд ушел, на платформе не осталось ни одной женщины. Теперь здесь были только военные, и жизнь шла по армейским законам — солдаты подчеркнуто торопились в расположение, козыряли командирам.

Борис тоже бегом спускался по скрипучим ступеням. Внизу над лагерем плыли лиловые дымки, трубач играл на ужин.

— Тебе привет, — сказал Лутков Пашке.

Через два дня, когда на соседней станции грузились в эшелон, Двоицын крикнул:

— Лутков где?

— Я!

— Тебя там какая-то девчонка спрашивает.

В нем что-то дрогнуло, и он подумал только: «Ах, ты, черт, в обмотках я и грязный».

Отряхиваясь, он посмотрел по сторонам:

— Где?

— Да вон Стрельбицкий сказал.

— Была, — подтвердил Витька, — но тебя не дождалась, ушла к генералу. У него знаешь лампас какой!

— Иди ты! — со злостью крикнул Лутков.

— Борька! Ладно, все! — удивленно говорил ему вслед Стрельбицкий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Двое суток не было погоды. То есть погода, разумеется была, но она была нелетной. На третьи сутки вечером подали команду, они надели десантные рюкзаки с продуктами и боекомплектom, оружие и парашюты. Они выглядели несколько непривычно, незаконченно: впереди у них отсутствовали запасные парашюты — ПЗ были только у офицеров. Они стали в одну шеренгу, начальник парашютно-десантной службы, проходя сзади, проверил их снаряжение. Потом они снова легли на сено под навес из веток, где провели уже две ночи. Теперь они напряженно ждали, каждый старался не думать о предстоящем, переключиться на другое. Но Лутков знал, что это напрасно. Можно отвлечься от многого, но не от всего же. Когда вас режут на операционном столе, отвлекающие разговоры не помогут, тут нужны средства посильнее.

Совсем рядом взревел во мраке «дуглас», сперва одним мотором, потом вторым. Ему откликнулся другой, еще, еще, машины дружелюбно перекликались своим звериным рыком.

Крикнули: «Становись!» — и вот они быстрым шагом пошли за лейтенантом и стали подниматься в самолет. Это был миг их отрешения от прежней жизни — когда нога оставляла теплую землю травяного аэродрома и ступала на стальную ступеньку трапа. Что бы ни случилось впереди — смерть или жизнь, — все равно прежнее было уже невозвратимо.

Поднимаясь по трапу, Голубчиков споткнулся и пробормотал про себя: «Что же это делается!» Двоицын подумал безо всякой надежды: «Хорошо бы опять отставили из-за погоды». Стрельбицкий: «Скорей бы!» Кутилин: «Подольше бы лететь!»

Через несколько минут машина, пробежав по кочковатой земле полевого аэродрома, оторвалась от нее. Одна за другой поднимались машины, набирали высоту, ложились на курс. И с других аэродромов взлетали другие батальоны, чтобы встретиться где-то в ночных воздушных пространствах. Это было массовое десантирование всей бригады полковника Ковырзина.

Они молчали, горел скрытный синий свет, самолет

мощно ревел моторами. Его окружала ночь, где-то далеко таилась земля в чудовищной, провальной глубине, скрытой мраком. На земле не было и не могло быть ни одного огонька. Туда, во тьму, им вскоре предстояло шагнуть в затылок друг другу. Теперь им не хотелось покидать самолет, как недавно не хотелось расставаться с землею.

Много раз поднимался Лутков с военных аэродромов, чувствуя всем телом, как машина отрывается от земли, но ни разу он не бывал в самолете, который шел на посадку. Он не знал, что это такое. Он всегда покидал машину в воздухе. Предстояло это ему и сегодня.

Самолет ровно ревел моторами, горел синий свет, и, сидя вдоль бортов, лицом друг к другу, напряженно молчали ребята. Многие прикрыли глаза, но, конечно, не спали. Агуреев, не мигая, сощурился, смотрел куда-то далеко — наверное, в прошлое, потому что рассмотреть будущее было слишком трудно. Впереди возле пилотской кабины сидел лейтенант Плужников с запасным парашютом на коленях и тихонько поплевывал, будто он свернул покурить и к кончику языка пристали табачные крошки.

И вдруг все изменилось. По проходу пробежал кто-то из экипажа. Встрепенулся Плужников. Сквозь ровный рев моторов и слитный гул от вибрации, за спиной, за бортом, угадывались посторонние лишние звуки. И совсем уже рядом ухнул глухой удар, от которого мелко задрожал самолетный металл, и машину сильно качнуло.

В синем свете круглыми расширенными глазами смотрел на Луткова Двоицын. Побуждаемый непреодолимым жгучим чувством, Борис повернулся боком на сиденье и отогнул краешек шторки на иллюминаторе. Тотчас же он отшатнулся, его ослепило близкой яркой вспышкой.

Земли ему не было видно, но были видны протянутые от земли следы огня. При каждом разрыве, вырванные из мрака, мгновенно подсвечивались и тут же гасли жутко светлые облачка. И вдруг осветилось не облако, а самолет, совсем близко. Только он был освещен своим огнем, он горел. И отчетливо, мучительно было видно, как из него стали прыгать один за другим, но тут он ярко вспыхнул, завалился, перешел в

беспорядочное падение. А те, что выпрыгнули, опускались вниз, и разрывами подсвечивались их купола.

Их корабль снова сильно трянуло, он пошел резко в сторону, вправо, но быстро выровнялся. Кроме рева моторов, ничего уже не было слышно.

Потом зазвучала сирена, над пилотской кабиной замигала лампочка: «Приготовиться!»

Открыли двери на обе стороны. Воздух, завихряясь, бил по ногам стоящих первыми.

— Пошел!

Лейтенант выпускал в одну дверь, Агуреев в другую.

— Пошел, пошел, пошел!..

Впереди, перед Лутковым, шел Стрельбицкий, перед ним Боровой и Голубчиков. Борис боялся, как бы они не замешкались. Но Агуреев был наготове, подгонял, прихватывая за плечо: «Давай, давай!» — и они выскочили друг за другом. За ними легко, словно ему это ничего не стоило, не замедляя хода, вывалился Витька, и следом он сам с усилием сделал шаг в ночную невидимую бездну, и его отбросило от машины тяжелым встречным воздухом.

Ночь была очень темна, и это было прекрасно. После динамического удара он увидел над собой белеющий перкаль и рассмотрел ниже себя смутное облачко купола прыгнувшего перед ним Стрельбицкого.

Лутков приземлился среди поля и быстро отстегнул подвесную систему. Стояла тишина, не было даже намека на звуки дальнего боя. Кто-то тяжело приземлился поблизости. Вероятно, это был Пашка, а может, уже Мишка Сидоров. Крикнула ночная птица, ей отозвались свистом. Чуть заметно бледнело небо с востока. Лутков, комкая, собрал купол и двинулся на условный сигнал.

Когда развиднелось, они оказались в степи. В редком тумане еще бежали к общей группе отдельные солдаты. Кроме их взвода, здесь был второй взвод вместе со старшим лейтенантом Скворцовым и еще один взвод из другой роты. Им все стало ясно: зенитным огнем разметало корабли, и их выбросили в стороне от основных сил. И хотя кругом стояла мягкая рассветная тишина, это открытие наполнило их новой тревогой. Впереди сквозь туман проступала рощица, и, движимый пока одним только инстинктом десантника,

Скворцов повел людей туда. Но тут же выяснилось, что это всего лишь редкий ряд пирамидальных тополей вдоль дороги — здесь даже нечем было замаскировать парашюты. Туман растворялся в теплом движущемся воздухе, распадался перед ними. Обещанного леса нигде не было видно. Зато поблизости, за бугром, выступали из зелени мокрые крыши села.

Час прошел в напряженном ожидании, пока не вернулся солдат из посланной Скворцовым разведки. Немцев в селе не было, и ротный принял единственно возможное решение — войти в село.

Броском преодолели открытое место и уже у околицы, у первого плетня, ротный построил их, сам подсчитал ногу и скомандовал:

— Запевай!

Стрельбицкий откашлялся и хрипло завел:

Якорь поднят, выпел алый
Плещет на флагшто-о-оке,
Краснофло-те-ец, крепкий ма-лы-ый,
В рейс идет дале-окий...

И все подхватили дружно и лихо, и гордо, — понимая, что нужно спеть как следует, как только возможно хорошо.

И потрясенное, в испуганной радости, застыло утреннее село, ничего не понимая, застигнутое врасплох этой песней, этим строем, захлестнутое щемящим, давним, довоенным. Замелькали в окнах неверящие бабьи лица, выбежало на дорогу несколько босых мальчишек, позабывших, что можно пылить рядом с колонной.

Мира пять шестых объездив
По различным стра-а-анам...

Но ротный оборвал песню. Он крикнул одно только слово, и его было довольно, чтобы рота ссыпалась с дороги, укрылась в зелени по обе стороны улицы. Это слово было — «Воздух!». Растворяясь в ранней голубизне теплого летнего утра, почти недвижно стоял в высоком небе немецкий разведывательный самолет.

— «Рама», — сказал Веприк довольно бодро. — Рыщет.

— Нас высматривает, гад, — произнес Лутков и сплюнул. — Больше некого.

Остальные мрачно молчали.

«Что же это будет?» — мелькнуло у Голубчикова.

«Ничего, обойдется,—успокоил себя Пашка.— Не может быть».

«Будет подмога», — понадеялся Двоицын.

И еще подумали все вместе: «Главное — дождаться темноты».

2

Они лежали на взгорке, несколько человек, боевое охранение, отдаленно слыша за спиной смутные шумы деревни. Они оседлали дорогу, замаскировались — воткнули два смородиновых куста — место было слишком открытое. Но отсюда хорошо просматривалась дорога.

— Можно спать!— сказал Агуреев.

Позади была напряженная бессонная ночь, но она была позади, и о ней уже не думали. Нужно было беречь силы для следующей ночи.

Они ненадолго, слегка задремывали беглым, поверхностным сном, тут же пробуждаясь. Над ними стояла гнетущая тишина дня.

Их мысли настойчиво возвращались к одному: уйти, исчезнуть с этих открытых пространств — в спасительные заграждения лесов, в их тень и сумрак. Как домой, хотелось добраться до бригады, хотя там, может быть, шел сейчас самый страшный бой. Но уцелеть можно было, только пройдя сквозь это.

Они уже знали, что отсюда до леса более семидесяти километров по ровной, как доска, степи.

За спиной, в селе, отдыхали ребята. Многие, наверное, уже проснулись и, ожидая темноты, разговаривали и шутили с женщинами. Ротный выяснял, нет ли в селе предателей.

Агуреев свистнул по-блатному, сквозь зубы — как сплюнул. Они подняли головы.

Далеко впереди, куда едва доставал глаз, различалось в мареве темное пятно пыли. Минуту они еще надеялись, что им померещилось, что это что-то другое.

— Двоицын,— сказал помкомвзвод тихо,— бегом к старшему лейтенанту. Доложишь: на дороге четыре мотоциклиста...

Он не окончил фразы. На щеке его, под кожей, мелко подрагивал лицевой нерв.

— ...а за ними мотопехота. Пять или шесть машин...

Сошки РПД скользили в пыли. Мишка Сидоров вжался плечом в приклад.

— С предохранителя сними,— сказал Лутков Пашке и сам поставил автомат на боевой взвод.

Немцы были совсем близко. Они ехали в колонну по два, сидели уверенно и удивительно прямо.

И вдруг один из них заметил охранение — они это поняли сразу, что он увидел их, торчащих на взгорке. Но он успел только вскрикнуть...

— Бей,— бросил Агуреев.

Мишка нажал на спуск, остальные тоже дали по короткой очереди и снесли мотоциклистов слитным огнем.

Один мотоцикл загорелся, другой, лежа на боку, дрожал и подпрыгивал в пыли, словно бился в судорогах.

— По машинам дай,— сказал Агуреев Сидорову. Машины были, наверное, в километре.

Мишка выпустил длинную очередь, и они остановились.

— Не, не попал,— объяснил Мишка.— Сами стали.

Три грузовика свернули в сторону и быстро покатили, объезжая село с другой стороны, а три остались на месте, из кузовов попрыгали солдаты и залегли.

— Минометы у них,— щурясь, сказал Агуреев.

— Ага,— согласился Мишка Сидоров.— Полковые.

От села по дороге, сильно пригнувшись, поспешал Двоицын.

— Старший лейтенант приказал отойти.

Они, пятась, сползли с бугорка и, тоже пригнувшись, побежали вдоль дороги. Легко подняв немалый груз очень черной земли, рванула совсем поблизости мина. Вторая упала почти одновременно с первой. Странно было представить, что это предназначается им.

— Вперед, броском! — кричал Агуреев.

«Во фриц дает!» — подумал Мишка Сидоров.

Пашка Кутилин: «А дальше что же будет?»

Лутков: «Надо пробиться».

А Голубчиков уже ни о чем не думал, лежа вверхом на черной развороченной взрывом земле.

Попытаться закрепиться и удержать длинное село было бы безумием. Но за селом пролежала балка, по

дну ее сочился ручеек, и, продолжая балку, тянулась осыпавшаяся, изломанная линия траншей, открытых, должно быть, нашими при отступлении, в сорок первом. Сюда и отошли сейчас люди старшего лейтенанта Скворцова.

Они были зажаты, блокированы в узкой щели под безоблачным небом, но здесь они могли держаться.

Немцы не сразу, но вошли в село, стали устанавливать в садах минометы. И только лучшие стрелки роты, стараясь помешать, не дать действовать свободно, время от времени били по ним одиночными выстрелами и короткими очередями.

— Мина! — сказал Стрельбицкий.

Ее хорошо было видно простым глазом. Она шла по дуге, слегка раскачиваясь, вихляясь, набрала высоту и стала падать на них, но это только так показалось, она ухнула, не долетев метров пятидесяти и подняв веер очень черной, долго опадающей земли.

Пашка повернул к Луткову бледное потное лицо, подмигнул и крикнул злорадно:

— Не попал, гад!

У второй тоже был недолет, но меньше, у третьей опять больше, одна рванула сзади, за траншеями.

Немцы расположили в садах два полковых миномета и несколько легких и методично чередовали общие залпы с веерным обстрелом: разрывается мина, а та, что за ней, уже рядом, на подходе, и другая тоже в полете, а следующую только выпустили, и еще одну опускают в ствол. Эта минометная очередь не давала поднять головы, а по спинам, по десантным ранцам, словно град по кровельному железу, стучали мелкие комья земли.

— У них наблюдатель на крыше, — неожиданно звонко крикнул Стрельбицкий.

— Сидоров, снять его! — долетел издалека знакомый прежде голос.

Винтовок не было не только снайперских, вообще никаких, у всех автоматы. Мишка вытащил на бруствер ручной пулемет, принаравливаясь, что-то бормоча. Это был совсем другой человек, он только внешне напоминал Мишку Сидорова, да и то не очень. Сквозь поднятые черные смерчи он, мокрый, грязный, смотрел вперед, туда, где засел немецкий корректировщик. Сейчас он ему врещет.

В следующий миг неожиданный чудовищный удар пришелся по ним, но не спереди, а сбоку. С поразительной легкостью оторвавшись от дна траншеи, спиной вперед прыгнул на Луткова Стрельбицкий и сбил с ног. Страшный фонтан земли и рваных осколков застыл в воздухе и тяжело осел в траншею.

Мина разорвалась в самой траншее, но не в их колене. Теряя силу при поворотах, прошла сбившая их взрывная волна.

— Кто живой, поднимайся! — донеслось еле слышно, совсем уже издалека.

Там, где упала мина, траншея, как водой, была заполнена до краев густым темным дымом.

У Луткова заложило уши, он делал непрерывные глотательные движения. Долго не исчезал въевшийся в одежду и поры острый запах взрыва.

3

Немец в атаку не шел, лишь густо обстреливал из минометов.

Если бы было где укрыться, они вырвались бы отсюда и раненых бы вынесли. Но им некуда было деваться. На открытой со всех сторон равнине они были беспомощны. И немцы, понимая это, не торопились, не рисковали, а покидывали мины и, вероятно, ждали танки или авиацию. Особенно долго возиться им тоже было ни к чему.

И действительно,— обстрел вдруг прекратился, и десантники, еще оглушенные, не сразу слышали зудящий звук моторов.

Два «мессера» появились из ничего, из синевы, из не осевшей пыли, один остался вверху и стал ходить кругами, а второй, снизившись, прошел не над самой траншеей, а чуть в стороне и не стреляя,— должно быть, летчик хотел сперва посмотреть.

— Гвардейцы! — прокричал Скворцов. — Встретим их шквальным огнем! — и громко выругался.

«Мессер» на бреющем казался огромным, от него на миг стало темно, он заслонил свет. Траншея тянулась зигзагом, он не мог прошить ее всю сразу, на каждое колено нужно было нацеливаться чуть ли не отдельно. Он с ревом прошел над ними и полез в вы-

соту, второй уже заходил на его позицию, вычерчивая с ним вместе гигантское невидимое колесо.

А они подняли навстречу стволы автоматов, не слишком надеясь на удачу, но показывая, что не уступят врагу. Борис вогнал приклад в плечо и держал палец на спуске. Автомат бился в руках, и Лутков видел его защищенную мушку и вмятину на кожухе, и черное брюхо «мессера», и белые кресты на крыльях. Он замечал теперь все, что происходило вокруг. Самолеты заходили и заходили, поочередно закрывая свет и словно длинным бичом пыльно хлестали по земле очередями. На дне траншеи лежал на спине сержант Веприк и делал слабые попытки подняться. На него со стенок текла земля. Мишка Сидоров укрепил сошки РПД на бруствере и стрелял, сидя на корточках.

— Попал! — закричал он вдруг во всю глотку. — Товарищ лейтенант, попал, ей-богу.

Никаких внешних признаков не было заметно, но самолет действительно не зашел на них снова, а сделал широкий круг и стал удаляться. И второй последовал за ним.

Может быть, у них кончилось горючее или их смущало приближение темноты.

Пашка, осунувшийся, бледный под грязью, сидел, привзлясь спиной к стенке. Борис разрезал финкой темный намокший рукав. Рана была выше локтя, сквозная, из нее сочилась яркая кровь, стекала по руке, капала с кончиков пальцев. Лутков зубами разорвал индивидуальный пакет, бинт был удивительно бел в его черных руках.

— Помогл, Витька.

Стрельбицкий отогнул разрезанный рукав, и Лутков накрепко забинтовал Пашке руку.

Боровой, Двоицын и с другой стороны Мишка Сидоров тащили на плащ-палатке сержанта Веприка в балку, к ручью. Он был ранен в грудь и уже впал в беспамятство. В начале траншеи, возле балки, полулежал на расстеленной шинели ротный. Два санинструктора склонились над его ногой, жутко белой в наступающих сумерках. Рядом валялся хромовый сапог с располоснутым голенищем.

Стояла полная тишина, из села не долетало ни звука. Красноватый закат был притемнен еще не осев-

шей пылью от взрывов. Все понимали, что сегодня ничего уже не будет: немец отдыхал. Но возбуждение еще не оставляло их. Они ощутили голод и стали вынимать сухари и консервы. Фляга у Бориса оказалась пустой, он, удивляясь, тряс ее, он не помнил, когда выпил воду. Они не думали о том, что их ожидает. Только старик Боровой, потерявший напарника, безучастно сидел в стороне и думал с беспощадностью: «Передущит, как курей, танки еще подтянет с утра, и все, конец». А Двонцын, думая о будущем, полагался во всем на командиров.

— Агуреев! — позвал ротный. — Посчитать раненых!

Он говорил спокойно, и можно было не понять, спутать, что же лучше: быть раненым или нет.

Агуреев стал считать в темноте, и раненые сами назывались, откликались с надеждой, с готовностью.

— Двадцать три.

— Орлы! — сказал ротный. — Слушайте мой приказ. Все раненые остаются здесь со мной. Мы будем держать оборону. Остальные под покровом темноты совершат марш туда, где они должны находиться. Марш нелегкий, всем приготовиться, переобуться, наполнить фляги. Старшим назначаю лейтенанта Плужникова.

В полной тишине слушали они эти слова, отсекающие их друг от друга. Только что они были одно целое, теперь их судьбы стали столь несхожи. Это было больно сознавать, но это свершилось мгновенно и бесповоротно, у тех и у других была теперь своя задача, и следовало думать о ней.

Они передавали из рук в руки полные тяжелые фляги в мокрых чехлах.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Пашка убежденно. — Я в руку ранен, я могу бежать.

— Нет, не дойдешь.

— Я в правую ранен, мне и стрелять-то не с руки...

— Отставить! — прервал его Скворцов.

— Все готово, — доложил Плужников.

— Ну, счастливо, гвардия, — громко сказал ротный.

Плужников нагнулся к нему, и они обнялись.

— Пошли! — бросил лейтенант.

Лутков хотел попрощаться с Кутилиным, но была в этом горькая, мучительная неловкость, и он не решился.

— До свидания, Паша! — крикнул он в темноту и выпрыгнул из траншеи.

Через несколько минут они, огибая село, ходким шагом шли по степи. Плужников впереди строя, Агуреев сзади. И едва отошли на километр, там, за спиной, простучало несколько очередей, показывая немцам, что десантники на месте и ждут утра. А скорее всего это был прощальный салют. И всю жизнь, что осталось им жить — а им оставалось по-разному, — он звучал и звучал в их памяти.

Потом там поставили небольшой обелиск — пионеры переписывались с родственниками погибших, с теми, кого удалось разыскать, дважды за все годы приезжали матери двух солдат и один раз высокая женщина, та, что когда-то навещала по субботам старшего лейтенанта Скворцова.

Но все это было потом.

4

Они шли быстрее и быстрее, постепенно перешли на равномерный бег, который показался им не слишком быстрым. Пробежали метров шестьсот и снова пошли шагом, — Плужников словно примерялся, втягивал их, давал настроить дыхание. Опять побежали рысцой и бежали долго, строй начал растягиваться, Агуреев не успевал подгонять. Передние тоже дышали с трудом, но держались за лейтенантом. Когда и они стали отставать, Плужников замедлил бег и опять перешел на скорый шаг, делая передышку. И опять бегом, и опять шагом, и следом новое ускорение.

Лутков бежал в середине взвода, делая большие тяжелые шаги и наступая на всю подошву. Нагруженный рюкзак и лопатка, и фляга, и автомат — все было подогнано хорошо и не мешало, но бежать было тяжело.

Минувший день вспоминался отдаленно, приглушенно, а затем совсем исчез, на него невозможно и незачем было оглядываться. Он скрылся за густой пыльной пеленой, поднятой их строем, и лишь для тех, кто останется жить, он потом, не скоро, проступит из черной пыли. Но когда он появится вновь, тут уж он будет видаться все явственней, зримей и чаще.

Они вышли на дорогу. Там лежала пыль, теплая,

мягкая, по щиколотку. Они подняли эту пыль, окунулись в нее, она забивала им рты и ноздри.

— Привал!— крикнул Плужников.

Они свернули с дороги и рухнули на теплую, милую, пахучую землю, с которой невозможно, немыслимо было расстаться телу. Но уже властвовало над ними жесткое слово: «Подъем!».

Но почему? Сколько они отдыхали? Минуту?

Если за всю ночь не встретится на пути охранения или заставы, тот, у кого хватит сил, кто добежит до старого темного, глубокого леса, тот мог надеяться, лишь надеяться, что будет жить. Остальные такой надежды иметь не могли. Это было ясно. Если они не дойдут до своих, то не имело смысла все это затевать, бросать товарищей и так мучиться. Это тоже было ясно.

Он вдруг подумал о Коле с острой, подсознательной жалостью к себе: «Эх, был бы Коля». Такое, как искра, как удар, часто возникало у него, всякий раз, когда ему бывало очень хорошо или очень плохо. И сейчас он подумал не о Пашке, а о Коле. «Эх, был бы жив Коля!»

— Привал! — они падали и засыпали.

И тут же, почти тут же:

— Подымайсь!

Шатаясь, дергал за плечи, пинал ногами Агуреев:

— Подъем!

А Плужников с расстегнутым, с разорванным воротом стоял уже на дороге, ждал, переминался в нетерпенье.

— Мишка, вставай, гад! Не спи, уходим!

— Сколько прошли, товарищ лейтенант?

— Еще мало.

Лутков хлебнул из фляжки. Вода была теплая, она нагрелась от его тела. Он заложил большие пальцы за лямки рюкзака, подтягивая его, и бежал, бежал, сильно подавшись вперед.

Не существовало ни матери, ни девушки, ни жизни, ни смерти, было только ухающее, разрывающееся сердце, забитое пылью дыхание, был только этот бег.

Ночь была еще темна, но чувствовалось, что скоро начнет светать. Мелкий, мелкий просеялся над их головами дождик, он не смог освежить их. Трава на привале была совсем мокрая, уже от росы.

Чуть начинало светлеть. Плужников все бежал и

бежал, он боялся остановиться, чтобы не упасть. Агуреев уже не мог подгонять отстающих, иначе он сам начинал отставать. Но он хрипел:

— Двоицын, шире шаг.

— Ногу натер, не могу.

— На мослах беги! Застрелю!

И Двоицын бежал, шатаясь, и бежал широким шагом Мишка Сидоров, как дубину неся на плече РПД, и, чуть отстав, семенил по обочине Боровой, и на зависть легко шел рядом со взводным Витька Стрельбицкий.

Становилось все светлей, утро было пасмурное, тихое. Лица у ребят были густо залеплены грязью, ворота разорваны, закатаны рукава.

— Какие на всех черные лица! — сказал Лутков вслух и засмеялся. Впереди, закрывая горизонт темной полосой, тянулся лес.

Стало совсем светло. Выслав вперед охранение, они вошли в полумрак настоящего, большого леса. Лутков заснул на ходу, ветки задевали его лицо, он, покачиваясь, шел и шел, пока сухой сук не разодрал ему на лбу кожу.

Кровь заливала глаза, и, еле-еле двигая руками, Стрельбицкий бинтовал ему голову.

За кустами в ложбинке что-то белело.

— Никак, снег? — удивился Двоицын.

Это был перкаль парашюта.

5

Лутков демобилизовался через год после окончания войны, приехал к матери в новое, неизвестное ему прежде место, но опять в заводской поселок. Мать посела за войну, но была, как всегда, бодрa, энергична и занята своей работой.

А он не знал, где приткнуться, чем заняться — до начала приема в институты оставалось еще несколько месяцев. Эта старая жизнь, куда он возвратился, не была прежней, привычной, это была новая жизнь. Демобилизовавшись, он оказался столь же одинок, неприкаян, как первое время в армии, в карантине. И опять он остро пожалел себя: «Эх, был бы Коля!..» И опять ему захотелось письма, участия, поддержки.

Он не знал, где Зина, но у него был адрес Иры, ти-

хой, вялой, мерзнувшей Иры из той военной весны, с боковой улочки под снегопадом, и он написал ей. Она ответила тут же, письмо ее было суховато и кратко. Она сообщала, что Зина уехала на Крайний Север, что переписка их оборвалась. Там еще была такая фраза: «Не понимаю, зачем ей нужно было лгать и обманывать». Эти слова неприятно задели его. «Это она по злобе пишет, от обиды, от зависти», — подумал он, но тут же вспомнил и тот день, когда она собиралась куда-то, и они поссорились, и того капитана, кажется, Петю.

Но все это было далеко позади.

С осени он поступил в институт, в один из труднейших из знаменитых вузов страны. Он шел как фронтовик, вне конкурса, но экзамены сдал более или менее прилично, правда, еле-еле вытянул немецкий.

Теперь он обосновался в общежитии, за городом, возле леса, как на даче, и ездил каждое утро с ребятами на занятия в институт. И эта дорога — ранний холодок, дощатая платформа в росе, гул электрички за лесом, и его причастность ко всему этому смутно радовали его. Иногда это напоминало нечто похожее, давнее. Но это была другая жизнь, совсем другая, третья жизнь, неизвестно с какой более связанная.

У них в группе было несколько фронтовиков, а остальные ребята из десятилетки, молодые, башковитые, пробившиеся по тяжелому конкурсу, нужно было стараться вовсю, чтобы от них не отстать. Конечно, он многое перезабыл, но многие его силы и способности бездействовали, отдыхали все эти годы, и сейчас, получив толчок, рванули вперед.

В общем, он втянулся, зацепился, поймал ту площадку и уже ехал, как положено.

И пошли мелькать недели и месяцы, и семестры новой его жизни — теснота электричек и метро, гомон столовых, торжественная утренняя тишина большой двусветной аудитории, уходящей амфитеатром высоко вверх, освещенный морозный город, и первая их работа, напечатанная в научном журнале, правда, сокращенная до невозможности, изрезанная, но своя, первая, и там и его есть труд, и его бессонница. И людные поэтические вечера в Политехническом, и танцы у них в институте — под радиолу и свой оркестр, и вечерняя лестничная площадка, и долгий разговор, и ее шепот о

том, что волосы у него пахнут талым снегом. А внизу белый двор, туда забрели с улицы двое и стоят, обнявшись, среди белизны, очень долго, весь вечер, а возможно, это уже не та пара, а иная совсем.

У них в институте приходящие письма раскладывали внизу в специальные ячейки, по порядку, по буквам. Он стал перебирать целую стопку писем и открыток на «Л» и вдруг, как тогда, в карантине, вздрогнул от ее почерка.

Он давно уже о ней не думал и не вспоминал, и может быть, именно эта внезапность взволновала его. Он сунул конверт в карман, вытянул из пачки «Прибоя» сплюсненную папироску и выкурил ее в несколько затяжек прямо на лестнице, где курить строжайше воспрещалось.

Письмо он вскрыл, когда началась лекция.

Она писала, что прочла сообщение о нем и их студенческой работе в «Комсомольской правде», если это однофамилец, она просит извинения, но думает, что это он, ее одноклассник. Она писала, что приезжает через неделю на три-четыре дня к родственникам, и просила встретить ее.

Они шли по сухому весеннему тротуару. Они были теперь людьми одной жизни, одной и той же, она, собственно, всегда жила в ней, а он пришел недавно оттуда, где все не такое, где все не так. Теперь наконец они были людьми одной жизни, но это не соединило, не сблизило их.

— Женился?

— Собираюсь. А ты?

— А я замужем. У меня сыну два года.

Он не понял, правда ли это.

— А кто муж?

— Ты не знаешь. Он учится в военном училище.

— Ишь ты,—удивился он.— Все же не отвертелась от армии. Любишь его?

— Я его уважаю,—ответила она серьезно.

Потом они сидели в кафе, в самом центре, пили — он водку, она портвейн «777» — и вспоминали их городок, затемнение, кино, их встречу на вокзале.

Она теперь спокойно смотрела на него большими серыми глазами — не было в них ни жалостливости, ни

радостной преданности. Она долго рассматривала широкий шрам, светлеющий у него на лбу, и сказала робко:

— Тогда этого у тебя не было.

— Тогда у меня много чего не было. Давай выпьем.

И когда она спросила про Пашку, ему не захотелось рассказывать о той ночи. Он стал сдержан и часто находил удовлетворение не в том, чтобы рассказать что-либо, а в том, чтобы промолчать.

Перед тем как проститься, он все же не утерпел:

— Что ж ты не приехала тогда?

— Когда? Я не помню,— сказала она искренне.

6

Прошло много лет, как пишут в романах.

Однажды он сидел после ужина дома, в своем кабинете, и работал — просматривал корректуры. Было уютно, спокойно, жена читала в соседней комнате, дети смотрели телевизор.

Отвесно стоял снегопад за окном. Стол был удобно освещен, комната тонула в тени. На полках, среди книг, поблескивали всякие безделушки, и мерцал памятный дядин подарок — графин с петухом. Петух был красивый, яркий, сидел, растопырив крылья, утолщенный тем, что смотрелся сквозь налитую в графин водку, — сверху торчал только красный гребешок. Такие графины не выпускают давно, но все же их можно встретить иногда у самых разных людей, например, у генерала Ковырзина.

Лутков отложил работу и стал смотреть на снегопад. Хлопья, тяжелые, крупные, опускались медленно и только возле фонарей, в их свете, меняли направление и словно летели горизонтально. Этот снегопад напоминал что-то далекое, смутное, что можно было при желании приблизить, но не хотелось делать усилия. Но само собой пришло другое: он дневальный, стоит возле тумбочки в полутемной землянке, на нарах спит, разметавшись, рота, а он ждет Пашку из города и слышит, как далеко-далеко журчит за лесом поезд. Он вспомнил, как Пашка вернулся только утром и жадно ел застывшую кашу, вспомнил, как он, Лутков, дожидался Зину на разъезде, как схлынула с платфор-

мы пестрая толпа и он остался один. Сейчас мысль его двигалась сама собой, выбирая дорогу совершенно интуитивно. Он вспомнил то ответное письмо Иры: «Не понимаю, зачем нужно лгать и обманывать» — и как Зина спрашивала его о Пашке.

Мгновенно все это соединилось, стало в один ряд, но важнее всех в этом ряду был сейчас Пашка. Лутков хотел сохранить его таким, каким знал в те дни, дни своей наивности, доверчивости, неопытности. В дни своей молодости.

1968

В ПОЕЗДЕ

Лейтенант-пограничник, высокий, чернявый, приехал в отпуск после училища к родителям, в южный город, женился и теперь вез жену на заставу. Получилось все быстро и неожиданно. Девушка, с которой он гулял до училища и которая обещалась его ждать, уехала поступать в институт куда-то на Урал и там вышла замуж, — он уже давно знал об этом. Ребят знакомых в городе почти не осталось. Он болтался, не зная, куда себя деть, часами валялся на пляже и как-то, уже к концу отпуска, встретил на бульваре свою одноклассницу, разговорился, и словно искра ударила между ними. Неделью они почти не расставались и за три дня до отъезда сыграли свадьбу, — расписаться им разрешили в виде особого исключения.

И вот теперь, еще ошеломленные происшедшим, еще не опомнившись, они ехали в купированном вагоне на далекую заставу, ехали в свое свадебное путешествие. И, как поезд на стыках, уже отстукивал дни их медовый месяц.

Соседи по купе их сковывали, и поэтому они с утра стояли у окна в коридоре. Он обнял ее за плечи, она прижалась к нему, взволнованная, испуганно глядя круглыми серыми глазами. По коридору вагона гулял сквозняк, и лейтенант набросил ей на плечи свой китель, она немного стеснялась других пассажиров. Потом она захотела пить, он пошел по проходу за водой, уронил чашку, опустился на корточки, подбирая

крупные осколки, и, смеясь, сказал проводнице: «К счастью!»

Они снова стояли в коридоре. Через два или три купе от них ехал офицер с семьей. Он подошел к ним — в синих с малиновым кантом брюках навыпуск и в белой майке — и спросил лейтенанта, не играет ли тот в шахматы или в преферанс.

Лейтенант отказался.

Офицер был еще не старый, но голову его покрывали полуседые слипшиеся кудряшки, словно голова была намылена, но волосы не промыты, и мыло засохло. А на тыльной стороне руки, от запястья к локтевому сгибу, была — они заметили — татуировка: женщина в лифчике и трусах на фоне моря — трех извилистых линий. Они заметили и, когда офицер отошел, обменялись взглядом, рассмеялись и тут же забыли об этом.

Офицер ехал с семьей: с шестилетней серьезной и самостоятельной девочкой, годовалым сыном и женой, которая иногда проносила по проходу эмалированный горшок с крышкой. Это была солидная женщина в тренировочных сатиновых шароварах, лакированных туфлях на пробке и панбархатной безрукавке. И девочка, серьезная, деловитая, в мать, брала на руки брата, крепко держа, выносила в коридор и говорила: «Видишь, березка? Бе-рез-ка...»

А эти двое все стояли и смотрели в окно, ничего не видя и не запоминая. Потом они пошли в вагон-ресторан, где было совсем еще пусто, сели у окна, заказали шампанского и, чокаясь, смотрели друг на друга. Поезд шел быстро, и впереди, после пересадок и других поездов, в конце их свадебного путешествия их ждала глухая застава, напряженная, строгая жизнь, тяготы и тревоги. Им еще предстояло научиться все это выдерживать, суметь все это пройти, как до них умели это другие.

Наступило обеденное время, вагон-ресторан начал наполняться пестрой поездной публикой, а они все пили шампанское, смотрели друг на друга, к ним за столик никто не садился.

Потом пришел сосед-офицер с женой и детьми, он был теперь в кителе и оказался капитаном. Они сели за их столик, и тут же к ним подошла официантка, и жена капитана деловито заказала обед, малышу моло-

ко и манную кашу, остальным обычное: борщ, ромштекс, компот. Мужу она по его просьбе неохотно взяла портвейна, сама пила пиво, налив немножко и дочке. Молодожены снова заказали шампанского.

Лейтенант посмотрел в окно на близко бегущую землю, на быстро меняющиеся столбики с цифрой, — через каждые сто метров — раз, раз, раз, — и сказал, обращаясь к жене и капитану:

— Я когда в училище учился, пришла телеграмма: братан разбился, положение тяжелое. Старший брат, он в Воронежской области, в совхозе работал, зима была, он поехал в район на мотоцикле, одна еще доярка в коляске сидела, на совещание ехали. Ну, стемнело, метель, видимость плохая, и двигатель отказал. А сзади грузовик шел без фар, ну и налетел. Доярка — сразу, а братана в больницу. Без сознания, положение тяжелое. Меня отпустили, я чемодан брать не стал, взял в вещмешок кой-каких продуктов, поехал. А мне, если до станции ехать, потом сорок пять километров добираться еще нужно, а так поезд проходит рядом. Ну, я решил прыгнуть...

Он зажмурился, покрутил головой и ясно представил себя тогдашнего, в золотых курсантских погонах, с вещмешком на спине. Он вышел ночью в тамбур, там было холодно, тесно прижавшись, стояла парочка, на него они не обратили внимания. Он открыл дверь, близко и жутко неслась внизу белая земля, он сел, свесил ногу, нащупал ступеньку, ухватился одной рукой за поручень, повисел несколько секунд, услышал писк наверху, в тамбуре, а здесь, рядом, тяжелый грохот колес и отпустился. Он полетел, зарылся лицом в жесткий снег, а вещмешок стукнул его по затылку...

— Только боялся о столбик удариться, при такой скорости — все... Ну, в больницу прихожу утром, самый первый приехал из всей родни, а братан очнулся: ты, говорит, чего тут делаешь? Что у тебя случилось?

— Живой остался? — спросила жена капитана.

— Живет, ничего.

— Он живет, а ты бы мог уже не жить, — сказала жена лейтенанта.

— А у нас тоже, — задумчиво улыбнулся капитан, — поезд прямо мимо деревни проходил. В базарный день едут из города мужики, бабы, темно уже, так обяза-

тельно кто-нибудь стоп-кран сорвет. Разве в темноте найдешь? Безобразие, конечно...

Жена капитана расплатилась за обед, и они ушли, а молодожены еще посидели в уже опустевшем вагоне-ресторане. Потом они вернулись к себе и снова стояли у окна в коридоре, опять вышел капитан и опять в белой майке, постоял рядом и, перехватив взгляд лейтенанта, объяснил:

— Молодой был, глупый. Сделал наколку — голая женщина. Потом поехал учиться, с девушками познакомился, летом неудобно, длинный рукав носил. Стал сводить, на бойню ездил, мясо, понимаешь, парное прикладывал, ничего не помогает. А потом один друг, спасибо, надоумил. А ты, говорит, приодень ее. Труссы наколи ей и бюстгальтер. Ну, я еще раз помучился, в купальный костюм ее нарядил. Теперь ничего, верно? Они переглянулись и дружно засмеялись.

Садящееся солнце висело над полем на уровне их поезда, его лучи затопляли коридор, и когда открывались двери в купе, там стоял полумрак, но солнце тут же пробивало вагон насквозь. А поезд мчался навстречу их новой жизни, не похожей на прежнюю.

1968

РАЗГОВОР О ПТИЦАХ

На исходе долгого больничного дня я очнулся и наконец освободился от рваного тягостного сна. В нашей большой палате разговаривали о птицах.

Вернее, рассказывал один — наш морской капитан Поликарп Герасимович. Говорил он, как всегда, спокойно, негромко, не торопясь.

— Замечательно красивая птица. Альбатрос. Судно дает, вы представляете, тридцать узлов, а он стоит над палубой, парит, крыльями вроде не шевелит, а не отстает.

— Это где же? В каких водах? — поинтересовался Витя, мой сосед, атлетически сложенный парень из рязанской деревни, ныне студент Нефтехимического института.

— Пятидесятые широты, — охотно объяснил Поликарп Герасимович и продолжал: — Ну, мы поймали

одного. Есть еще голубые альбатросы. А этот белый...
— А размеры у него какие? — любопытствовал Витя.

— Крыло сто сорок три сантиметра. Измерили. Грудь,— Поликарп Герасимович показал руками,— сантиметров двадцать. Клюв, правда, здоровый. А перышко каждое с узором, исключительно красивый рисунок, тонкий. Царская птица. Но особенно он хорош, конечно, в полете.

— А как поймали, Поликарп Герасимович? — не унимался Витя.

— На крючок.

— Рыбу насадили?

— Конечно, рыбу. Прыгающую. Ну, как называют, летающую. Врач его с крючка снял аккуратно, чтобы не повредить. А он с палубы сам взлететь не может. Его надо на борт посадить, он бросается вниз, и пошел. А сам взлететь не может...

Я замер, ожидая, что сейчас он скажет о Бодлере, и, поскольку он все еще не упоминал о нем, хотел сам сказать: «А вы знаете, был французский поэт Шарль Бодлер, в середине прошлого века. И он написал знаменитое стихотворение «Альбатрос»... Но я был еще слишком слаб и не смог бы прочитать его вслух целиком.

Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжело влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся
к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, Поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе¹.

¹ Перевод В. Левика.



— Исключительно красивая птица, — говорил между тем Поликарп Герасимович. — Чучело хотели сделать на память, для кают-компании, но команда запротестовала. Пожил три дня, и отпустили. Пищи, правда, много берет...

Наша палата была самая большая в отделении, и к нам заходили многие, запросто, поболтать.

— Ну что? — спросил Поликарп Герасимович стоящего у дверей человека. — Завтра операция? А жена уже прилетела?

— Да, — смущенно улыбнулся тот. — Как погоду дали, первым бортом вылетела. — И, продолжая улыбаться, рассказал: — А вы знаете, у нас птица кедровка, леса кедровые сажает. Она птенцов-то поздно выводит и вот на зиму заготавливает им корм, кедровые орешки. А уж выбирает самые отборные, ни одного бракованного. Ямки она выкапывает обязательно на полянке, на открытом месте, и прячет орешки-то. И всегда запасает больше, чем нужно. А зимой под снегом находит — нюх такой, что ли, или ориентировка такая. Но не все лунки все же находит, вот они и прорастают потом и растут, кедры-то. Будете в тайге, увидите, на полянке кедры молоденькие растут, три-четыре из одного места, — считай, кедровка посадила. Клюв у нее сильный, мерзлую землю долбит, никого она не боится, но когда орешки откапывает, в снег углубится, увлечется, тут ее хищник сверху-то берет беззащитную.

— Ишь ты! — удивился Витя. — А величина ее какая?

— Величина? Как вам сказать? Знаете скворца? Так вот примерно один с четвертью скворца.

— Интересно, — задумчиво сказал Витя. — Бывает, идешь в поле — так? видишь: что за птица здоровая такая? А подойдешь ближе — скворец. Так расхохлился.

— Нет, — возразил кто-то, — это когда они весной прилетят, худущие, в скворешник так и проскакивают, а уж осенью с трудом пролезают.

— Один с четвертью скворца, — повторил сибиряк.

— Как голубь?

— Что голубь! Голуби — тунеядцы!

— Тунеядцы! — обиделся слесарь Николай Степанович, работающий здесь же, в больнице, и заходящий к нам в палату провести знакомого. — Это же не голуби, которые под колесами по асфальту ходят. Я до

войны тридцать голубей держал. Два нагула у меня было. Почтовые у меня все отдельно, никогда в другое не зайдет. Ну, я вступил в Осоавиахим. Приехали шесть человек, сетку мне поставили, все сделали. А кидать я голубей из разных мест, чтобы запутать, ну там из Марьиной Рощи, от Савеловского. Потом из пригорода, ну там из Пушкина, из Раменского. Каждый раз из другого места. Осоавиахим билеты оплачивал мне, проезд в электричке. Ну, они все приходили, как часы. Потом стали их кидать из других городов, ну там из Одессы, из Ленинграда кидали. Ружье взял и зеркало.

— Это как? — не понял Витя.

— Ну, трельяж. Призы. Кинули с Дальнего Востока. Всесоюзное соревнование. Моих было четырнадцать голубей. Пришли два. Один в срок, другой через полтора месяца. На кого ожидал — не пришли, на кого не ожидал — вот они, явились.

Ну, после войны один друг, с которым гоняли, вез мне из Германии двух галок, такая порода редкая, черные-черные, потому называются галки. Так они не очень интересные, а в голубятне, когда свет поступает, исключительно черные. Вез пару. А через границу их провозить нельзя, спрятал в чемоданчик. Пока то да се, открыл, самец уже погиб. Самка осталась, они более живучие. Ну, я когда на рынок ее носил, искать ей пару, мне давали за нее пятьсот—семьсот рублей. Знаешь, какие там люди ходят? Вот с такой бородой. Ну, месяц я ее держал, не пускал, потом решил рискнуть, пустил. Другие почтовые всегда уходили часов на пять и кого-нибудь приводили. А этой весь день не было, с утра. Потом смотрю: идет. И промазала, села около Колькиной голубятни, на гребне сидит. А уже стемнело. Все соседние голубятники фонари зажгли, они все злые на меня были, я у них многих уводил, а Колька пополз к ней, хотел схватить, но промахнулся. Она взлетела и села около меня на дерево. Я зажег три свечи, и она зашла. После этого жила у меня четыре года...

Позвали ужинать, и все ходячие, покопавшись в своих тумбочках, потянулись в столовую. В большой нашей палате остались только мы с Витей.

За окнами небо еще светлело, но на земле уже совсем смеркалось, и у перекрестка ясно стали видны сразу три светофора — будничная иллюминация, световая реклама размеренности и порядка.

Мы в задумчивости следили, как на всех трех одновременно вспыхивал зеленый, потом желтый, потом красный, потом на одном сбоку приклеивалась зеленая стрелочка поворота и вновь отпадала, потом опять желтый, опять зеленый — и так без конца.

1969

КАК СОЛОВЕЙ ЛЕТА

В детстве я жил в заводском поселке в Сибири. Наш двухэтажный бревенчатый дом стоял в последнем ряду, за ним тянулись только деревянные сараи, уборные, а дальше уже — тайга. Бывало, что волки подходили к самому поселку, я видел отпечатки их лап, огромные, расшатанные тем, что ступали они след в след.

Однажды я проснулся ночью. Отец, видно, только что вернулся со смены. Он стоял у окна. На столе горела керосиновая лампа с высоким, сужающимся кверху стеклом. Вообще у нас было электричество, но его часто, когда попало, выключали, и лампа всегда была наготове.

— Слышишь? — сказал отец матери.

И тогда я тоже услышал далекий — я сперва подумал, что это заводской гудок, — вой.

— Да, да, — испуганно кивала мать.

А отец размял папиросу и начал прикуривать над ламповым стеклом. Я всегда удивлялся — как это у него выходит: фитилек далеко внизу, но отец усиленно чмокает губами, и на конце папироски просто из ничего возникает, разгораясь, красная земляничина.

Я дружил с братьями Узловыми — Юркой и Колей. Они жили в нашем доме, внизу. С Юркой мы вместе учились тогда в четвертом классе и сидели за одной партой. Мне было одиннадцать лет, ему четырнадцать, потому что на каждый класс он затрачивал по два года. Я помогал ему, как мог. У нас была учительница, местная, чалдонка, Ариадна Поликарповна, полная, статная и властная женщина. Помню, был как-то диктант. Она ходила по классу и, следя, чтобы не списывали, размеренно повторяла: «На плите стояла кастрюля».

Сперва я не обратил внимания, но когда она про-

изнесла это слово дважды, я засомневался. Я был уверен, что нужно писать «ю», и подумал: «Нарочно сбивает», но она с такой убежденной твердостью в третий раз сказала «каструля», что я не смог заподозрить ее в столь низком коварстве и поверил ей. И я оказался прав — получил пятерку. Вернее, тогда не было пятерок, не было и отметки «отлично», тогда высшей оценкой было «очень хорошо» — «оч. хор.» Юрка получил «посредственно» — «посик», не потому, что написал «каструля», а потому, что, списывая у меня, допустил три ошибки.

А Юркиному брату Коле было уже шестнадцать, он работал слесарем на заводе. Он был степенный, спокойный, совсем взрослый парень. Я писал письма его девушке. У него была девушка, я ее никогда не видел, она уехала в город, и вот теперь они переписывались. Сперва Коля пытался отвечать ей сам, но у него ничего не получалось, он попросил меня и дал прочесть ее письмо.

В самом конце этого письма были слова, поразившие меня своей печалью и образностью. Там было написано: «Жду ответа, как соловей лета». В тех местах соловьев не было, я вообще не знал, где и как они проводят зиму, но очень уж отчетливо представил себе этого бедного соловья и эту девушку, которая с такой же тоской и надеждой ждет Колиного, а собственно, моего ответа.

Конечно, я догадывался, что она не сама придумала эти удивительные слова, но сладкая их сила от этого не уменьшалась. Я надеялся, что когда-нибудь тоже буду получать письма с такими словами. С тех пор прошло много лет, и я, конечно, получал много писем, и были среди них прекрасные, приносившие мне истинную радость, но ни в одном из них так и не было слов: «Жду ответа, как соловей лета».

На кухне у Узловых мы разогревали над плитой наши лыжи, перед тем как натереть их мазью, и, небрежно бросив их на снег у крыльца, легко надевали. Крепления были подогнаны как следует: сшитый крепкой дратвой носковой ремень, узкий, по мерке, чтобы нога не протискивалась до подъема, а к ремню прикручена мягкой проволокой резиновая аптечная трубка, захватывающая валенок за пятку и держащаяся особенно прочно, если у валенок подшиты задники.

Стуча разъезжающимися лыжами по плотно утоптанной улице, мы углублялись в лес. Коля, если бывал свободен, всегда присоединялся к нам. Я неплохо тогда ездил на лыжах. Именно не ходил, а ездил, съезжал с гор, удерживаясь на ногах там, где падали многие взрослые, прыгал с небольших самодельных трамплинчиков, присев на корточки, пролетал под преграждающими путь низкими еловыми ветвями, сев верхом на палки и тормозя таким образом, благополучно спускался с длинной крутизны Лысой сопки. Я объясняю эту устойчивость своим малым тогда ростом. Но и мне, разумеется, случалось падать, да еще как, и терять на склоне лыжу и ломать лыжу и палки.

Но в тот день мы не собирались кататься с гор. Стояла уже середина недолгого зимнего дня, неожиданно дали ток, и на улице зажглись все фонари. Идя друг за другом, мы углубились в лес.

Сразу за нашими домами начинался постепенный подъем, долгий, но нетрудный. Идти было лишь чуть-чуть тяжелее, чем по ровному месту, но зато обратно, хорошо разогнавшись по накатанной лыжне, можно было мчаться без особенных усилий до самого дома.

Уже слегка смеркалось, было тихо, и мороз, как обычно, не замечался, но рука в рукавчике уже сама то и дело трогала нос и скулы. Наушники у шапок были опущены, и мы, конечно, были не в лыжных костюмах, а в шубейках.

Мы мерно и ходко шли друг за другом, впереди Коля, за ним Юрка, за ним один рыжий парень — Юркин сверстник и бывший одноклассник — и последним я. Мы шли вверх по нетрудному подъему, по хорошей, аккуратной лыжне, со следом от лыжных бороздок посередине, мимо огромных сосен. Извилины в их коре были забиты снежком и морозом.

В тайге уже стояли лиловые морозные сумерки. Мы вышли на поляну, откуда и собирались повернуть назад, и остановились. До дома было километра три с половиной, четыре.

Мы не очень устали, но все же отдыхали, наклонившись вперед и навалившись плечами на палки, и спорили, кому теперь ехать впереди. Дело в том, что под уклон лыжня несла хорошо и идущим первыми нужно было работать, чтобы на них не наезжали задние.

Мы лениво спорили, кому ехать впереди, а над вечерней уже, зимней поляной за вершинными сосновыми ветвями горела звезда. Она горела так остро, будто это была не целая звезда, а осколок звезды. И ведь сколько прошло лет — больше тридцати — и каких лет, а я все помню, все вижу эту звезду в вышине над поляной.

Мы спорили, и тут совсем близко, почти рядом, раздался хриплый, какой-то сперва надтреснутый вой, который, однако, тут же несколько выровнялся, и к нему, как след в след, подстроились еще два или три, повыше. И, забыв обо всем, слыша только этот чудовищный, такой реальный звук, мы кинулись на лыжню — первым, кажется, Юрка, за ним рыжий, или наоборот. Я замешкался, у меня одна лыжа попала носком под другую, но Коля наступил на нее, помог вытащить, подтолкнул в спину и крикнул страшным шепотом: «Давай!»

И я покатился по пологому спуску, меж черных сосен, вниз, домой, домой, а за спиной, тоскливо и жутко звучали в морозной тайге слитные звериные голоса.

Но между ними и мной еще шуршали Колины лыжи, и свистел, толкал меня в спину его голос: «Давай, давай! Молодец!»

И я всем телом слушал этот жуткий вой и этот свистящий голос, и мчался, мчался, потому что я хотел жить, видеть мать и отца, ходить в школу. Я жаждал, я желал, я ждал этого, может быть, как соловей лета. Как соловей лета. Как соловей лета. Даже сильней.

Я мчался и мчался, весь мокрый, сосны уже начали редеть, а огней поселка все не было видно, и тут лыжи у меня разъехались, я едва устоял. Это я вылетел уже на улицу, утопанную и укатанную до каменной твердости зимнюю улицу поселка. Не дорогу, а именно улицу, потому что в тех краях выпадает немного снега и он весь утрамбовывается ногами, полозьями и шинами — вся площадь поселка.

Мы ворвались в поселок и лишь теперь заметили это. Электричество опять было отключено, в замерзших окнах слабо светились керосиновые лампы. Юрка и рыжий ждали нас.

Мы медленно поехали к нашему дому. Ноги наши

разъезжались, мы просто шли, стуча лыжами и не замечая этого. Мы не замечали и того, что молчим.

И тут дали опять ток, и разом ярко зажглись все окна и фонари на улицах.

1969

ПОЧТА ПОЛЕВАЯ

Эту короткую историю рассказал мне художник Петров.

В начале войны он учился на третьем курсе, институт их эвакуировали, а он и еще несколько ребят — у всех у них была броня — пошли в армию добровольцами. К тому времени немца от Москвы уже отбили, и Петров попал в часть, формирующуюся за тихой дачной станцией. Гудела за лесом электричка, напоминая, что Москва рядом, но жизнь была здесь совсем другая. В лесу стояла грязь. Лили дожди, нагоняя на молодых солдат пронзительную, ни с чем не сравнимую тоску, которая помнится потом всю жизнь. Спал Петров на верхних нарах, в огромной землянке, освещенной всего одной лампой, но тоже большой, — и как уж с ней нянчились, и вкручивали ее по мере надобности то посредине, то у выхода, то в старшинской каптерке.

А занятия проводились снаружи, с утра до вечера, под дождем. Больше всего его поддерживало сознание, что он доброволец. Сам пошел, а мог бы и не идти. Это ощущение не раз прибавляло ему сил и твердости. Сам!

Вспомнили, что он с художественного факультета, позвали раскрашивать акварелью аккуратные штабные карты. Потом в клуб, писать плакаты и афиши. В клубе было лучше, в маленькой комнатенке за сценой всегда топилась печка, можно было покурить и понежиться. Киномеханик, молчаливый уральский парень, старше Петрова на четыре года, ходил прихрамывая. Сперва Петров сгоряча подумал, что он вообще хромой, но сразу вспомнил, что хромым в армию не берут. Киномеханик был после ранения. Каждую неделю он ездил в Москву за картиной, которую сам же крутил в субботу и воскресенье, а потом ее еще отвозил.

Вот тут и начинается самая история.

Ездить в Москву киномеханику было тягостно и неинтересно. Петров заменил его, к взаимному удовольствию.

Теперь он со сладким замиранием сердца ждал субботы, а иногда и пятницы — тогда удавалось переночевать дома, остро наслаждаясь всем близким, родным — вещами, укладом.

Рано утром он отправлялся за фильмом. Документы у него, разумеется, были в полном порядке, но он уже инстинктивно сторонился патрулей, получал картину и вез коробки с лентой, похожие на диски для РПД.

И вот однажды, когда он торопливо шел по хмурой мокрой Пятницкой, его окликнули. Он обернулся и посмотрел на нее, не сразу поняв, кто это. Но это длилось всего мгновение. Они учились в одном классе, долго, лет, наверное, семь или восемь, но они принадлежали к разным компаниям, были далеки друг от друга и с тех пор, как окончили школу, ни разу не виделись. Но теперь они бросились друг к другу на уютной утренней улице, расспрашивая, радуясь и печальясь, — они были почти дороги друг другу. Сейчас оба они торопились, но было бы нелепо не встретиться снова — может быть, они потом вспомнят о чем-то очень важном.

— Хочешь, пойдем в театр? — спросила она. — У меня тетя может доставать билеты.

Он сказал, что хочет.

— Телефон есть у тебя?

Телефона не было, но был адрес. Не адрес подмосковной станции, а номер полевой почты.

И через несколько дней он получил от нее письмо с этим номером и штемпелем на конверте: «проверено военной цензурой». Она сообщала, что билеты есть, и в очередной его приезд они пошли на концерт мастеров искусств, а в следующий на «Свадьбу в Малиновке». Тетя доставала билеты исправно. Раз в неделю он получал письмо, где сообщалось, что их ожидает. Ему и в голову не приходило, чтобы она навестила его в части. Для него была важна Москва.

В антрактах они не прогуливались по фойе, а оставались в зале. Прежде, в школе, он почти не замечал ее. А теперь смотрел на нее во все глаза, желая уви-

деть, что она похорошела, и это ему, кажется, удавалось. Они ни разу не поцеловались, они, как дети, держались за руки, объединенные прошлым, потом он вез в мерзлой электричке похожие на диски от РПД коробки с картиной, потом хромающий механик крутил фильм, а зрители, намаявшись за день, спали.

А время шло быстро. С утра взводы спешили на занятия, бросали болванки, окапывались, стреляли. Дожди давно кончились, подморозило, лег снежок. Киномеханик почти перестал прихрамывать.

Подняли их по тревоге. На соседней станции уже стоял в тупике эшелон. Мигом построили нары в вагонах, деловито погрузились. Даже лампу не забыли в своей огромной землянке. Вечером, обогнув затемненную Москву, их эшелон уже вовсю стучал на стыках, с тревожным громом проносился по мостам. Не стояли ни часу,— видно, позарез оказались нужны фронту, когда столь решительно двинула их Ставка. Они подоспели вовремя. Ими закрыли брешь, образовавшийся зазор, но они тогда этого не знали. Они выгрузились в снег и сразу двинулись полем, а потом лесом в смутно начинающийся день. Лес, где они окопались, был весь побит, стволы стояли без вершин и без веток.

Десять дней продержались они в этом лесу, под артоналами и бомбежками, десять суток, где каждые можно было считать не за три, как полагалось при подсчете выслуги лет, а за год или больше. Многих они оставили в этом лесу. Потерял Петров и своего киномеханика с Урала. Но выстояли. И вот в первое утро, когда стало очевидно, что они удержались, в первое тихое утро, кто-то крикнул:

— Почта! — А потом, среди других фамилий:— Петров!

Он вскрыл письмо с номером полевой почты и штемпелем цензуры на конверте и смотрел в листок, ничего не понимая. Там было сказано, что тетя достала билеты на спектакль «Золотая долина» и что они встретятся в пятницу, как всегда, у театра.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГЕ

(Из дневника)

В купе были только свои, хорошо знакомые между собой люди, и после вечернего чая неожиданно затеялся разговор о дороге, наиболее запомнившейся в жизни каждому. Начали со вкусом, по очереди, рассказывать, но мне не захотелось слушать, и я вышел в коридор. Поезд шел мощно и плавно, за окном летел черный сплошной мрак, я испытывал некоторую беспомощность, какую мы испытываем всегда, стоя у освещенного окна. Правда, сейчас я был защищен скоростью движения.

Я думал совсем о другом, но потом, при синем свете ночника, который не удалось погасить, я стал размышлять о том же самом, все более растравляя собственную бессонницу.

Легко сказать — дорога. Мне доводилось плавать на красавцах теплоходах и на захудалых пароходиках, в жестокий шторм и во льдах. Я летал на многих современных лайнерах, и вертолетами, и военным «Дугласом», и открытым «кукурузником», где борт, когда сидишь, едва достаёт до груди. Я делал один только шаг, выбрасываясь в слепящую синеву или в мутную пелену неба. Я мчался, едва удерживаясь, в кузовах бесчисленных автомашин. Я грузился в воинские эшелоны — в обычные теплушки и в товарные пульманы, где ухитрялись построить нары в три этажа, — и ехал, ехал, ехал. Но главную свою дорогу я прошел, конечно, сам, таща на себе винтовку, а потом карабин, а потом автомат, а случалось, ПТР или ручной пулемет Дегтярева. Ну и к тому же — вещмешок, противогаз или его сумку с чем-нибудь более полезным, лопатку, боезапас, гранаты, фляжку, финку, котелок — всего не перечтешь. И не только прошел, но и пробежал, и прополз, — эту мою дорогу запомнили и потертые ноги, и набрякшие руки, и сбитые локти. Невозможно подсчитать ее протяженность, но нетрудно прикинуть, что исчисляется она не сотнями километров, а тысячами — притом немалыми.

Теперь я думал об этом, и, может быть как потребность чего-то иного, противоположного, пришла на ум дорога, совсем не похожая на прежние.

Дорога из Алма-Аты. Но сперва я ехал туда в командировку, не один, а с товарищами.

Тогда не было реактивных лайнеров, винтовые самолеты летели долго, со многими посадками, но зато раз в несколько дней ходил особой категории экспресс. Мы им и ехали. За окном сверкала под морозным солнцем снежная равнина, в вагоне было уютно, тепло. И великий казахский писатель, умерший менее чем через год, говорил мне, кивая в сторону окна:

— Здесь нет вершка земли, которого не коснулось бы конское или овечье копыто...

Вагон, раньше называвшийся «международный», а теперь «СВ», был старой конструкции, просторный, удобный. Он помещался, как было принято, в хвосте состава, и из заднего тамбура, если не бояться замерзнуть, открывался поразительный вид уносящегося не вбок, как из окна, а строго назад пространства. Так всего лишь чуть измененный угол нашего взгляда создает ощущение неожиданности и новизны.

Потом была скорее уже весенняя, чем зимняя, Алма-Ата, новая, еще не достроенная гостиница, несколько дней, наполненных встречами с друзьями и работой по отбору стихов для журнала. Потом мои товарищи поехали дальше, в Киргизию, а мне пора было возвращаться.

Нужно признаться, что денег у меня осталось в обрез, и, хотя редакция оплачивала проезд в «СВ», я удовольствовался мягким. Меня проводили до вагона, вошли, конечно, и в вагон, внесли мой легкий багаж и подаренные яблоки, шумно прощались, дружно махали с перрона. Поезд быстро набрал ход, и я начал осматриваться.

В вагоне оказалось, считая меня, шесть пассажиров, неравномерно разместившихся в трех купе.

В первом ехала пара — и ему и ей лет по тридцать, оба высокие, подтянутые. Они выходили из купе только по делу — за чаем или в туалет, затем дверь снова закрывалась и металлически щелкал замок. Еще они появлялись за минуту до каждой дневной остановки, уже тепло одетые. Стоянки были редкими и короткими, за окном клубился мороз, но они не пропускали случая прыгнуть на платформу. Он крепко и высоко брал ее под руку, и они почти пробегали вдоль состава.

ва, вернее, это больше походило на спортивную ходьбу.

Я был уверен, что это муж и жена, но, когда они в очередной раз возвращались раскрасневшиеся, я случайно расслышал обрывок их разговора. Она сказала ему, к слову: «...моя сестра тоже в столовой работает...» Тут он открыл дверь, они вошли и щелкнули замком.

Во втором купе располагался один я.

В следующем ехали трое. Их дверь всегда была открыта, и кто-нибудь из них, а то и все сразу стояли у коридорного окна. Двое были молодые ребята, лет шестнадцати—восемнадцати, а с ними старик, совершенно седой, но еще крепкий, коренастый. Кем приходился он им — отцом ли, дядей, но только они были связаны какой-то прочной связью. Они были одеты в хлопчатобумажные брюки и гимнастерки, похожие на те, что носили когда-то фэзэушники, «ремесло». Волосы всех троих еще недавно были подстрижены «под ноль» и только-только стали отрастать.

Этих людей отличала невозмутимость и замкнутость. В их лицах угадывалось что-то отдаленно монгольское. Но скорее всего они были все-таки русские, и эти смутные черты оставались от долгого соприкосновения с Азией, с Сибирью.

Поезд шел ходко, вечерело, за окном тянулась все та же снежная, потухшая и от этого еще более холодная равнина. Ее многоверстое однообразие и страшная незаполненность вагона рождали ощущение грусти и необъяснимой тревожности.

Проводница принесла хорошего чаю, я пристроился читать, но не читалось, и тогда я вспомнил, как мечтал отоспаться в вагоне. Тут же стало клонить в сон, я, не задерживаясь, разобрал постель и действительно сразу уснул — как провалился.

Я не сам проснулся — меня разбудили.

Кубическая комнатка купе была слабо освещена только летящей за окном белой равниной... Стояла тишина, колеса постукивали мягко, не нарушая ее, а лишь убаюкивая плавной скоростью. Со стороны любителей станционных пробежек не доносилось ни звука. Зато за другой стенкой явственно слышалось пение. Оно было приглушено перегородкой и ходом экспресса, иначе бы казалось даже громким. Поющие

не сдерживали себя, они полагали, что стенки надежно ограждают их от постороннего слуха.

Двое вели низко, а один шел на пределе, невозможным фальцетом,— я почему-то решил, что это был старик. Слова не доносились совсем, но они безусловно присутствовали. И это непрерывное пение было исполнено такой безысходной печали, такой волчьей острой тоски, что мне стало не по себе.

Я лежал на спине, мучительно вслушиваясь, стараясь разобрать слова. Я был уверен, что пение вот-вот оборвется. Но оно непостижимым образом все длилось и длилось, как длится зимняя ночь, как поет за окном выюжный ветер.

Я устал и старался уснуть, и, может быть, засыпал на миг, и вновь пробуждался, а они всё пели, и их пение все не утрачивало первоначальной наполненности и боли.

А экспресс мчался по нескончаемой снежной равнине, и я уже знал, что никогда не забуду эту ночь.

Я не заметил, как заснул, и открыл глаза при полном свете дня. Дверь первого купе была, как обычно, плотно прикрыта, зато другие мои соседи невозмутимо и молча стояли в коридоре у окна.

Потом была остановка, и в вагон, держа легкий саквояжик, поднялся краснолицый с мороза человек в железнодорожной форме, а следом — несколько, тоже в форме, провожающих.

— Помести, чтоб не одному, одному скучно! — громко и весело сказал он проводнице.

Проводница была должной выучки, из-за его плеча вопросительно глянула на меня, я кивнул, и через мгновение один из провожающих резал на столике красную рыбу, а другой нес стаканы, опустив в них пальцы, не показывая, что торопится.

Разлили водку, гремя о стекло стаканов горлом бутылки,— не спрашивая, налили и мне, выпили за удачную дорогу и ссыпались на перрон, пропустив навстречу возвращавшуюся с прогулки пару.

Мой новый сосед оказался человеком общительным, и через несколько минут мы уже говорили обо всем на свете — о войне, о молодости, о футболе. Потом мы пошли в ресторан, а когда вернулись, он взялся за «огоньковский» кроссворд, то и дело привлекая и меня, шумно радуясь каждой удаче.

Экспресс шел так же ходко, но по местам куда более заселенным. Пения за стенкой я больше уже не слышал — то ли оно не повторялось, то ли я спал спокойней и глубже.

Ну что бы я мог рассказать сейчас попутчикам об этой дороге, об этой ночи? Ведь никакой истории, происшествия там не случилось. И вместе с тем это одна из самых памятных моих дорог.

Или вот еще.

Мы с моим другом, известным композитором, находились в Польше. Была с нами и довольно молодая певица, которая при выступлениях исполняла, или, как говорят музыканты, показывала, наши песни. Но выступали мы довольно мало, а все пытались сочинить новую песню, что нам в конце концов удалось. Мы жили на одном и том же месте, и вдруг нас пригласили на север страны. Почему-то не было твердо известно, сколько туда езды. Одни говорили: три часа, другие — четыре и даже больше.

Мы устроились в купе первого класса — для сидения, провожавший нас капитан обратился с принятой здесь неофициальной комплиментарностью к нашему соседу, польскому подполковнику:

— Не будет ли пан полковник так любезен взять шефство над нашими товарищами...

Подполковник охотно согласился. Когда-то он учился в Москве и теперь с удовольствием вспоминал это время. Правда, он выходил раньше нас.

Остановки были частыми, потому что частыми были города и городки, аккуратные, с красной черепицей и стрельчатыми костелами. Они тянулись по обеим сторонам пути, — застекленная дверь купе позволяла обозревать и другую сторону.

После подполковника в купе вошла миловидная женщина с пятилетним мальчиком, мы угощали его московскими конфетами, потом соседкой нашей стала пожилая крестьянка, обремененная двумя большими корзинами, затем сошла и она.

Стало смеркаться, зажгли свет. Прошло уже и четыре часа, и пять, и шесть, а конца не было видно. За окнами совсем стемнело, пассажиров в соседних купе резко поубавилось, а поезд все катил во мрак, оставливаясь у освещенных пустынных перронов и снова набирая скорость. Был момент, когда нас посетило

сомнение: в ту ли сторону мы движемся? Утешало одно: наша станция была конечной, мы, по крайней мере, не могли ее проехать.

А поезд все шел и шел; казалось, так будет продолжаться вечно. Мы уже смирились с нашим положением, никто не нарушал молчания и не смотрел на часы.

Неожиданно в коридоре началось шевеление и несколько раз прозвучало название, которое мы уже почти перестали ждать.

Конец перрона, где остановился наш вагон, был слабо освещен. Мимо нас прошли редкие пассажиры, и мы остались одни, не зная, что делать дальше. И тут вырос из тьмы и стремительно приблизился бравый лейтенант. Вглядываясь в лица, он жал нам руки, спрашивал:

— Багажа больше нет? Отлично! — и окликнул кого-то.

Из темноты, стуча сапогами, появился рослый солдат, мне так и захотелось назвать его красноармейцем, взял наши вещи.

— Извините, можно побыстрее? — говорил лейтенант.

У нас уже отлегло от сердца.

— Но почему? — недоумевал композитор с некоторой жеманностью, как все композиторы.

— Извините, потом объясню.

— Нам говорили, что езды четыре часа, — пожаловалась певица.

— Четыре? Ну что вы! Восемь часов.

Мы вышли на пристанционную площадь, к машине. Солдат сел за руль. Лейтенант распахнул передо мной переднюю дверцу, явно уступая свое место. Я сперва удивился, чему обязан такой честью, но тут же понял, что просто он хочет сидеть рядом со знаменитым композитором.

Через минуту стало ясно, что большой, бросающий в небо свое сияние город остается в стороне. Мы углублялись в черноту предместий.

— Отвечаю на ваш вопрос, — сказал лейтенант. — Нам нужно будет переехать на остров, а паром польский и работает только до нуля часов.

— А если не успеть? — спросил композитор, подумав. — Неужели нельзя попросить?

— Попросить можно — перевезут. Но неудобно беспокоить. Случалось, в машине ночевали. Но, думаю, успеем. Успеем, Толя?

— Должны.

Мы еще покружили по засыпающим улочкам, в одном месте водитель засомневался: сюда? Лейтенант выскочил, добежал до угла, осмотрелся и вернулся:

— Правильно!— И наконец мы с облегчением выбрались на дорогу.

Это была очень старая и потому узкая дорога, ограниченная по сторонам рядами могучих, маститых стволов. Сейчас, в темноте и при скорости движения, трудно было разобрать, какие это были деревья,— может быть, липы или вязы, а скорее всего, породы менялись, чередовались на протяжении пути. Летом они соприкасаются вверху ветвями, образуя длиннейший зеленый туннель, гигантскую подзорную трубу дороги.

Сейчас она была пуста. Редкие встречные замечались издали, приближались долго, постепенно, а затем, подобравшись, внезапно оказывались рядом, с коротким шумом снаряда проносились мимо и исчезали навсегда. Зато обгоняемые нами машины мы сперва насквозь пробивали своими фарами, обнаруживая рядом с водителем бодрствующую пассажирку, а иногда спящих на ее руках детей.

Нас не обогнал никто.

Вдоль дороги, еще более сужая ее, тянулись белые надкуветные столбики. Они были почти незаметны до тех пор, пока на них не падал свет фар,— тогда они мягко и таинственно озарялись как бы изнутри, словно просвеченные фонариком пальцы, и тут же гасли, едва луч проходил мимо, уступая право осветиться следующим.

— Специальным составом покрыты, люминесцентным,— объяснил лейтенант с невольной снисходительностью, с какой объясняет что-либо приехавшим соотечественникам наш человек, временно живущий за рубежом.

— Да, да,— вяло отозвался композитор.— Я видел в Англии. Там светящиеся знаки еще и на асфальте, называются «кошачий глаз».

Сзади затихли, может быть — задремали.

Дорога была совершенно пуста, и мы мчались по ней со скоростью, которую могла выдержать наша машина.

Солдат зевнул, поежился, сжал пальцами подбородок.

— В наряде был, не выспался,— сказал он доверительно и довольно бодро.— В сон клонит.

— Смотри, Толя,— я кивнул через плечо,— помни, кого везешь, и возьми себя в руки.

Он засмеялся.

И мы летели вдоль стены из слившихся черных стволов, мимо поочередно освещающихся и гаснущих дорожных столбиков.

— Узкая дорога,— сказал водитель со вздохом,— днем еле продерешься. Придется валить аллею с одной стороны, ничего не попишешь. А как жалко...

— Теперь не валят,— возразил я,— нашли выход. Оставляют аллею для одностороннего движения, а рядом строят другую дорогу...

Он помолчал и заметил восхищенно:

— Вы подумайте, как просто! А я не знал, не встречал еще...

«Интересно, откуда он,— попытался я угадать,— вряд ли из лесных мест, скорее из таких, где знают цену каждому дереву». И спросил:

— Сам-то откуда?

Он ответил в лад моему вопросу, даже, нечаянно или нет, в рифму:

— Я-то? С Арбата.

— Земляк, значит.

В дороге что-то неожиданно изменилось, я понял: исчезли светящиеся столбики, а присмотревшись, обнаружил, что нет уже и стены стволов. Мы повернули направо, потом налево, влажно блеснул забор, где-то в самой глубине окна промелькнул огонек.

Машина, мягко выруливая, пошла вниз, вниз, перед самым радиатором угрожающе выросла огромная темная масса, я, всматриваясь, различил в ней светлую полоску ряби и понял, что это вода. Машина тяжело осела, провалилась, и тут же ее плавно подняло вверх — под ее колесами покачивалась палуба парома.

Я посмотрел на часы. Стрелки показывали без четверти двенадцать. Хлопнув дверцей, я вылез из маши-

ны и, стоя у одних, а потом у других поручней, смотрел сперва на уходящий, а затем приближающийся черный — в темноте — берег.

1969

ХУДОЖНИКИ

Душным июльским вечером, ожидая электричку на людной московской платформе и потом с усилием втискиваясь в вагон, художник Сергей Попов остро вспомнил — и острота эта все не отпускала, — как когда-то ротный послал его в Москву к женщине — он сказал: к сестре — с продуктами. Часть формировалась на маленькой станции, по этой же дороге, и вот-вот должна была сниматься с места. Ротный не мог отлучиться и послал единственного москвича. Вещмешок был запакован намертво, удобно лежал на спине, и Сергей отдал его с некоторым сожалением, только остались торопливые слова благодарности и взгляд испуганных молодых глаз. До дома было отсюда порядочно, и он не стал терять времени: мать приезжала к нему прощаться накануне.

Молодой и голодный, он стоял на платформе в полном, без единого огонька, мраке, из которого неожиданно выплыл тоже темный состав. Люди цеплялись на ходу, стараясь захватить место. Когда его внесло внутрь, вагон был уже полон, но долго не отправляли, и народу все прибывало. И на каждой станции садилось больше, чем выходило. Потом остановились в поле, и люди в тесно набитом темном вагоне молча слушали отдаленные взрывы и где-то рядом скорострельную зенитную пальбу.

Попов, конечно, и раньше не раз вспоминал все это, но от многочисленных повторений ощущение постепенно стерлось, размазалось. А сейчас он даже не вспомнил об этом, сейчас он это увидел и почувствовал.

Так получилось. Летом он бывал в городе только при крайней необходимости. Сегодня нужно было срочно сдать портрет маршала Толбухина, выполненный для музея окружного Дома офицеров. Все прошло нормально, как говорит его сын Витя, а затем на раскаленной московской улице Попов, уже слегка обремененный

ненный несколькими необязательными покупками, встретил Игоря Метелина. И тоже—они частенько виделись на выставках и на собраниях, а здесь оба как бы придали особое значение этой встрече, остановились, обрадовались. Вскоре они уже сидели в полупустом зале большого ресторана, где Игоря знали и были поэтому довольно внимательны,—и пили вино, лучшее, что нашлось,—каберне. Игорь мимоходом разъяснил, что в принципе вино это зимнее и, как все красные, хорошо чуть подогретым, к мясу, а летом приняты сухие, охлажденные («Знаешь, в запотевших бутылках!») белые вина. Попов в этих тонкостях не разбирался, ну, а Игорь—он во всем был дока.

И сейчас Сергей, улыбаясь, смотрел на него, с удовольствием отмечал его изящество и осанку.

Они вместе учились, сразу после войны, и хотя Сергей жил дома, а Игорь в общежитии, были неосознанно близки друг другу,—оба мальчишками ушли на фронт, да и вернулись совсем молодыми. Тогда ничего еще в них окончательно не устоялось, их связывала только одинаковость их судьбы. Время было голодное, но радостное. И еще сидело в крови ощущение, что нужно чего-то добиться, самому, своими руками. Процветал жанр. «Пресловутый жанр»,—говорил Дударов, их профессор Дударов, Петр Григорьевич, которого они за глаза любовно называли «Петя», он и сейчас преподает в их институте. «Нужно видеть общо,—учил он, — а у вас литература!» Все так, но, что ни говорите, перед «Письмом с фронта» толпы стояли.

А Игорь Метелин был прирожденный график, работал изяшно, легко. Он был уверен, что время его придет. Теперь он вместе со стариком Дударовым преподавал в их институте, студенты его обожали за его работу, за повадку и язык. Попов всегда угадывал его руку и, встречая в салоне эстамп или беря книгу, называл художника, не глядя на подпись, слегка гордясь, что это его однокашник и друг. А старик Дударов и сейчас ворчал: «Французисто!» или «Среднеевропейский стандарт».

По правде говоря, не такой уж и стандарт!

Они сидели в полупустом ресторане, болтая о чем попало, как два близких человека, довольные лишь присутствием друг друга. И они к тому же помнили, какой снаружи зной.

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает! —

подчеркнуто произнес Игорь, рассматривая на свет бокал с вином.

— Это кто написал?

— Одоевский. Декабрист.

— «Во глубине сибирских руд»? — уточнил Сергей.

— Нет, то Пушкин. А этот — ответ. «Струн вещей пламенные звуки».

— Да, да! — обрадовался Попов. — Помню. Еще в школе. Но вообще-то, знаешь, если к нам применить, сильных впечатлений было порядочно.

— Были, — согласился Игорь и, вытянув шею, приблизил к нему лицо: — Слушай, Серега, а ведь лучшее в нашей жизни все уже было.

— Так, значит, считаешь? — спросил серьезно Попов. — Так ставишь вопрос?

— Да брось ты дурака валять. Послушай. Юность была какая! Война. За Родину воевали. Друзья были какие! Женщины какие нас любили! И работа по душе, и успех мы знали. И дети есть. Судьба есть.

— Считаешь, уже всё?

— Да не все, но главное уже было.

— Не удивил, — сказал Попов, подумав. — К нашему возрасту надо же что-то сделать, чтобы основное уже было. Это нормально. Вопрос: есть ли у нас, у меня, к примеру, ядро это?

Ему вдруг ужасно жалко стало себя, растроченных дней, он поразился своей разболтанности, лени, хотя всегда считал себя работником.

— Работать надо, — сказал он жестко. — Вот это верно. Как нам старик Петя всегда говорил? «Поталантливей, ребята, поталантливей!» Ну, давай выпьем этой кислятины.

Они чокнулись краешками тяжелых бокалов, отпили, и Сергей, неожиданно для самого себя завладев разговором, продолжал:

— Это ты верно говоришь, нужно успеть побольше. Жизнь-то не ждет. Пускай ты сделал уже что-то, надо еще, и получше. Надо пользоваться тем, что не погибли, не умерли, а живем, надо же это оправдывать. У меня на даче, за забором, Сенька Глухов, вот у них дед, семьдесят семь годов, крепкий дед, дай ему бог здоровья. Вот слышу, говорит внуку, а внуку младше-

му десять лет.— ох-хо-хо, говорит, тебе жить, а я, говорит, уже на финише.

— Телевизора насмотрелся, — вставил Игорь.— С Олимпиады.

— Да. Ты, говорит, когда жениться станешь, из меня уже береза вырастет. А пацан стоит, глазами хлопает, не знает, что сказать. Ну, зло меня взяло. Что ты ноешь! Ты ведь, думаю, в более выгодном положении. Живи еще двадцать лет, на здоровье, но ты ведь жизнь прожил, а это прекрасно. Все у тебя было. А с ним еще неизвестно что будет. Может, он завтра умрет или утонет, ничего не испытал.

— Верно,— согласился Игорь.— Со временем нас волнует не кто раньше или позже помер, а кто сколько жил. Возьми Васильева Федора. Восемьсот пятьдесят тире семьдесят три. Двадцать три годочка, всего-то навсего! А, скажем, Илья Ефимович? Посмотришь в словаре,— ага, значит, восемьсот сорок четыре и девятьсот тридцать. Прикидываешь машинально — восемьдесят шесть, так? И сердце радо. А кто раньше, кто позже — это дело второе, так уж устроено.

Сергей посмотрел на худошавое, такое дорогое для него сейчас лицо Игоря и негромко спросил:

— А мою дипломную работу помнишь?

— Конечно,— удивился Игорь.— И захочешь забыть — не дадут. Каждый год какой-нибудь журнал воспроизводит. Но я и без этого помню. И «Стучат?» тоже.

Да, все есть, выставки, имя приличное. Но все-таки всерьез остались две картины. И первая — как сейчас ни удивительно — это его диплом.

Он ее задумал давно, на втором курсе, но не торопился, сдерживал себя, чувствовал, что это будет не рядовая работа. Она подолгу стояла у него перед глазами — каждый раз по-другому, не так. Там были две фигуры — молодая женщина и солдат. Солдатом он твердо решил написать по памяти Колю Ермачкова, погибшего в самом конце войны в Чехословакии, чтобы Коля остался жить хотя бы на его холсте. Женщину он бы мог написать из головы, но у них было принято обязательно писать с натуры, и самому хотелось, чтобы вышло подостоверней. Институтские натурщицы, которых они без конца писали и рисовали на занятиях, в различных постановах, явно не годились. Он

присматривался к девчонкам со своего и с других курсов, к соседкам по двору, но подходящей не было. Можно было писать ту или другую, но не находилось безусловной, единственной. Он раньше читал о мучительных поисках художниками натуры, но как-то не принимал этого вполне всерьез. Сейчас это занимало и задевало его все более.

В тот счастливый январский день, в воскресенье, он ехал в гости. Проезд в трамвае стоил еще пятнадцать копеек. Вагон был насквозь проморожен, жутко скрипел, на окнах пророс густой мохнатый иней, а с улицы сквозь него пробивалось солнце. Лютые, прочные стояли тогда зимы. Или просто мы были скверно одеты? Англичане говорят: «Плохой погоды не бывает, бывает плохая одежда». Он был в шинели, на брюках латки. Мать исхитрялась ставить их так здорово, что они были почти незаметны, не то что теперешние кожаные заплаты на Витькиных джинсах.

Он не видел, как она вошла. Обернулся — она уже стояла на площадке.

Сперва она ничем его не поразила. На ней была беличья шубка, а руки спрятаны в беличьей муфте, — сейчас такие почти не носят.

Эта муфта была слегка поновей шубки, — видимо, хозяйка брала ее с собой не всегда, а только в сильные морозы. Голову покрывал пушистый белый платок, на ногах белые бурочки. И чем дольше смотрел на нее Сергей, тем дольше хотелось смотреть. Ее милостивое, поначалу показавшееся ему заурядным лицо привлекало необъяснимой прелестью. Оно вызывало в душе доверие.

Он даже не сразу осознал, что уже видит ее на том холсте, в тот хмурый зимний день, рядом с Колей Ермачковым. Он просто смотрел на нее.

Он знал себя. Если бы она сошла раньше, он бы никогда не решился выйти следом. Если бы она ехала дальше, он бы сошел на своей остановке, и все. Но она приготовилась выходить одновременно с ним. Это была судьба. Гулко забилось сердце, и в ушах пронзительно прозвучал сигнал — к действию. Морозное солнце ослепляло, он чуть не потерял ее из виду. Она остановилась у забора, читая афишу, и он, изумляясь своей пусть кратковременной, но столь решительной смелости, заговорил. Она обратила на него большие

серые глаза, и, вероятно, он тут же сказал что-то не так, потому что они сделались строгими. И хотя он был как во сне, его осенило, в чем причина этого: она могла понять, что он говорит об обнаженной натуре, — и он уточнил, успокоил ее. Он, сбиваясь, говорил о своей работе, о войне, о Коле, — и она слушала его терпеливо и внимательно.

— Один сеанс, в крайнем случае два. Соглашайтесь, пожалуйста. Это будет замечательно!

— Картина? — спросила она, улыбнувшись.

— Что? — он смутился. — Я не то хотел сказать. Но картина тоже.

— Но разве так делают? — в ее голосе прозвучала нерешительность.

— Именно так. Только так и бывает. Можно вам позвонить?

Она посмотрела на него, чуть задумавшись, и сказала просто:

— Пожалуй, я сама вам позвоню. Есть у вас телефон?

Он вырвал листок из записной книжки, крупно записал номер мягким жирным карандашом.

И она пришла. Позвонила накануне вечером, — он после этого не мог заснуть, наутро с трудом заставил себя выпить стакан чая. Мать была на работе, он ходил по комнате из угла в угол, останавливался, прислушивался. При каждом звуке на лестнице его начинала бить дрожь. Когда он открывал ей дверь, обе старушки соседки вылупились из своих комнат. У себя он помог ей раздеться. Шубка была морозной сверху и теплой изнутри.

Она стала с преувеличенным вниманием осматриваться, как это делают в незнакомом доме, когда хотят побыстрее освоиться. Вряд ли что-нибудь могло ее здесь заинтересовать. А он, став у окна, не спускал с нее глаз, уже совершенно не заботясь, что ей может стать не по себе от его пристального взгляда. Сильно сощурился, он начал рисовать ее, углем и карандашом, делал наброски и небрежно швырял листы на пол, разговаривая с ней деловито, строго, как с натурой, с моделью, — прося изменить положение головы, смотреть вправо или влево. Потом он стал писать ее маслом, только голову, и наконец отложил кисть, вытирая пестрой тряпкой руки.

— Хотите чаю?

Она благодарно улыбнулась ему, но отказалась.

— Можно посмотреть? — попросила она робко.

— Пока рано.

Назавтра она пришла снова, и он опять, торопясь, писал и рисовал ее. День выдался пасмурный, Сергей работал, расчистив окошки от герани и столетника, все равно было темновато, он морщился, шурился, но получалось, получалось, он чувствовал точно.

Она опять торопилась, но согласилась выпить чаю. Посуда была довольно убогая, но чай он заварил крепкий, пахучий. Спасибо «Пете», старику Дударову, — научил, сам не заметив. Сказал о чем-то, — о чем именно, Сергей давно забыл, — сказал: «Это так же отвратительно, как жиденский чаек». Это Попов крепко запомнил.

Они пили чай, — Сергей-то давно привык к устоявшимся в комнате запахам масла и пинена, но ей, наверное, было не очень приятно. Много раз слышал он байки о романах художников со своими натурщицами, но это был явно не тот случай. Он смотрел на ее лицо и все с большей и большей уверенностью понимал, что картина получится. С такой силой он ощущал это впервые в жизни. И еще ему жалко было расставаться. Немыслимо жалко. Ведь он о ней ничего даже не узнал.

Она поднялась.

— А может, останетесь? Немножко.

— Никак нельзя.

Он подал ей шубку. Она завязала концы платка.

— А как я вас найду? — спросил он тихо. — Я бы хотел показать готовую работу.

Она чуть-чуть поколебалась.

— Я позвоню сама. Желаю удачи.

Потом открыла дверь и быстро пошла по коридору. И, подчиняясь острому предчувствию, он схватил картон, где была написана ее голова, взял этюдник с красками и выбежал следом.

— Еще минутку, — сказал он. — Во дворе. При другом освещении.

Он поставил картон, прислонив к спинке скамьи, и, взглядывая то на него, то на нее, шурясь и отклоняя голову, добавлял белил, снегу, света. Сзади уже скап-

ливались ребяташки и няньки. От такой дремучей бесцеремонности возненавидишь все эти пленэры!

А она, улыбаясь, стояла среди снежного двора и говорила:

— Ничего, что я смеюсь? Можно?

— Можно, можно, — отвечал он, продолжая работать. — Даже хорошо...

На картине был хмурый зимний денек. Лишь угадывалась деревенская улица. На переднем плане молодая женщина с полными ведрами на коромысле. Собственно, видно только одно ведро. А солдатик попросил напиться и пьет, придерживая ведро обеими руками. Оно, чувствуется, слегка подрагивает на весу. Солдатик не видит ее, как бы не замечает, он смотрит перед собой, в снежную даль, в свою судьбу, а она — на него, спокойно, терпеливо, с оттенком материнства, хотя сама только чуть старше его. И все это исполнено тревожащей смутной печали. Ни деревни, ни других солдат не видно, но сразу чувствуется, что война, идут войска и впереди еще длинная и долгая дорога.

Картина имела несомненный успех. Как-то никто и не спорил — жанр это или нет. В ней ощущалось нечто более важное — время. Все это было еще живо, остро, задевало многих.

Он назвал ее «Полные ведра», — по примете: к удаче, к доброму пути. Перед защитой встретил Игоря Метелина в институтском коридоре, и тот спросил сочувственно:

— Ты, говорят, работу хорошую представляешь — «Полные бедра». Правда?

Сергей так разозлился, так обиделся, что Игорь долго бежал за ним следом и уговаривал не сердиться, извинялся, обещал, что никому не скажет. И точно, больше Попов этого не слыхал.

Потом была городская выставка дипломных работ художественных вузов, и о его картине писали, хвалили. Он как-то пришел на выставку — они целыми днями там толклись, наблюдали реакцию посетителей, болтали, им было жаль расставаться со своими работами, с институтскими годами, друг с другом. Он как-то зашел после обеда, и к нему бросились Игорь и еще две девчонки с курса.

— Слушай, твоя приходила. Долго смотрела.

— Кто? — спросил он, холодея.

— Кто! Натура. Модель. Да как тут обознаться! Все видели... Минут сорок, наверно, стояла.

А он так больше ее и не видел. По правде говоря, работая, он в какой-то миг решил было написать рядом с ней не Колю Ермачкова, а себя, но устыдился и оставил Колю.

Но это желание, эта мечта родили вторую его картину — «Стучат?».

Он выставил ее через два года. Вокруг нее был шум. Не в том дело, что тоже говорили: «литература». Она показалась слишком смелой, почти фривольной. По тем временам.

В маленькой комнатенке общежития или барака, почти в темноте, привстает на коленях совсем молодая женщина — не она, юная, но очень похожа. На голые плечи наброшен лейтенантский китель со смутно мерцающими медалями. Взор испуганный, но и уверенный, счастливый. «Стучат?» А его почти не видно, только белая рубашка и папироска на оглете.

На картину сначала напустились не на шутку, но столько было в этих ее грудях и в наброшенном кительке наивности и правды, что постепенно отступились. Да и по цвету картина вышла хороша, — он не раз ставил ее на пол вверх ногами, боком — как учил «Петя», — чтобы отвлечься от содержания, воспринять только колорит, и друзья одобряли.

Эту картину приобрел областной музей, восстанавливающийся после войны и оккупации, — директор, недавний фронтовик, прельстился, бредил этой картиной, пока не купил.

Они еще поболтали о новостях различной степени интереса и ценности, потом расплатились, причем каждый обязательно хотел выступить в роли угощающего, и вышли на улицу. Самая жара как будто спала, но город вобрал ее в себя, всю целиком, в свой асфальт и камень. Им сразу попалось такси, и Игорь довез его до вокзала.

Теперь Сергей сидел в прокаленном вагоне электрички — ухитрился занять место — правда, не у окна, на проходе, но и это сейчас был немалый комфорт. Покупки он пристроил на багажной сетке и ждал от-

правления. Но и сквозняк, на полном ходу, при всех опущенных окнах, не принес облегчения,— воздух был слишком разогрет.

Сперва ехали по самой Москве, останавливались у ближних платформ, и народу набивалось все больше, потом пошли дачные места, и с полдороги начали выходить все заметнее, вагон опустел.

Попову ехать было почти до конца. Он уже сидел у окна, расстегнув на груди тонкую рубашку, и смотрел на привычные заборы и сады. Проехали мимо платформы, где когда-то в лесу формировалась их часть и откуда ездил он неправдоподобно далеким тревожным вечером в Москву, с продуктами, по заданию ротного. Теперь он всегда совершенно спокойно проезжал здесь,— все было настолько застроено и так изменилось, словно это было совсем другое место. Он с нетерпением ожидал, когда сможет соступить наконец на деревянный настил платформы, перейдет через пути и зашагает по сухой песчаной тропинке мимо огромных старых сосен, которые он писал столько раз. Верхи их были металлически-бронзового цвета, и чем ниже, тем стволы все больше темнели, и все утолщался панцирь похожей на крокодиловую кожу коры.

Он устал за сегодняшний день. И еще ему хотелось работать. Завтра, послезавтра, всегда. Как что-то сейчас почти нереальное, он вспомнил свою уютную, несколько захламленную московскую мастерскую, запахи масла, разбавителей и клея, сизый зимний закат за окнами. И желто-красный нарядный трамвай плавно катится вдоль заснеженной длинной аллеи.

В вагоне стало прохладней, можно было свободно дышать. И, уже готовый к своей остановке, Попов думал о минувшем дне, об Игоре, об их молодости, о первой своей картине.

Он время от времени вспоминал и думал об этом и, конечно, о женщине, так коротко мелькнувшей в его молодости и так долго остающейся в его жизни. Что побудило ее прийти и позировать ему? Доброта, женское тщеславие, любопытство? Когда-то он решил, что она несчастна. Но потом, с годами, подумал, что она, может быть, как раз была очень счастлива.

Он иногда, когда его спрашивала какая-нибудь незнакомая женщина, приходила или звонила (а звони-

ли часто — приглашали на всевозможные встречи или по делу, с заказами), иногда он позволял себе подумать, поверить на миг, что это она. Потом решил, что она умерла, и это его немного успокоило, примирило, но когда он думал об этом, то необъяснимо для домашних становился задумчивым и грустным.

1969

МОСКВИЧИ

Минувшей ночью, за два часа до рассвета, первый эшелон мощно форсировал великую водную преграду, неожиданно легко закрепился на правом берегу и до сих пор удерживал занятый рубеж, хотя и не развил успеха.

Сделать это предстояло им.

Петров вышел из полуосыпавшегося, лишь слегка подновленного замученными саперами блиндажа, где комбат ставил задачу командирам. День выдался по-осеннему холодный, сухой и чистый, он уже кончался, едва ощутимо наплывали сумерки.

Блиндажи были открыты в ложбине, среди рощи старых акаций, и потому не видны с той стороны.

И сейчас, когда дело шло к вечеру, в лозняке, за вторым холмом, начиналось неторопливое, почти безбоязненное копошение, подтягивалась и накапливалась техника. Что ни говори, война уже шла под горку, они давно чувствовали себя прочно, и нынче, оттого что ночная операция прошла столь удачно, настроение у всех было приподнятое, верилось в успех.

И Петров не испытывал никаких предчувствий, никакой маеты. Безотчетно прислушиваясь к смутным и редким шумам того берега, он смотрел, как стягивается за холмом техника, ждал обычной в таких случаях мимолетной встречи с Витей и с удовольствием чувствовал на себе новую, едва обмятую офицерскую шинель. Двубортная, ловко приталенная, да еще схваченная широким ремнем, она сама заставляла делаться стройным, подтянутым.

По званию он все еще был старшина — сержантский состав, но должность с тех пор, как под Сычевкой убило комсорга батальона, вот уже семь месяцев

исполнял офицерскую. Недавно его представили на младшего лейтенанта, но он пока не уяснил для себя — лучше ему будет или хуже.

По крутым, сбитым ступенькам поднялся парторг батальона мелкокорябой Казарычев и, как всегда не сразу, а осмотревшись и оценив обстановку, не то приказал, не то посоветовал:

— Пройдись, потолкуй с ребятишками!

— Есть, товарищ старший лейтенант! — ответил Петров. — Разрешите только, земляк тут у меня в артдивизионе...

Мимо, в сумерках, уже медленно тянулись 76-миллиметровые орудия, впереди что-то застопорило, колонна почти остановилась, и Петров пошел вдоль нее, всматриваясь в солдат, но его окликнули первого:

— Толя!

Они учились вместе, на художественном факультете, и вместе пошли добровольцами, да и служили до сих пор рядом, видясь раз, а то и два раза в месяц.

— Ну, как ты? — спросил Петров, глядя на Витю с некоторой временной отчужденностью, заторможенностью, отмечая про себя, что шинель на друге сидит колом. — Поддержи огоньком-то, не забудь!..

— Не беспокойся, старшина, поддержит, — обнадежил кто-то из солдат. — Наводчик первый сорт...

И Петров, как уже бывало не раз, почувствовал, что Витю здесь уважают нешуточно.

— А ты как думал! — сказал он солдату. — У художников глаз точный.

— Рисуешь? — спросил Витя.

— Нет, не до этого.

Неожиданно вдали, на гребне холма, подняв столб песка, разорвался одиночный снаряд, все повернули в ту сторону головы, вслушиваясь и желая убедиться, что это случайность.

Мимо пробежал ординарец комбата, крепкий, складной, уже возбужденный предстоящим, крикнул Петрову:

— Дрейфит, падла!

Петров с удовольствием отрекомендовал его вслед:

— Лихой парень. Ленька Рогов. Москвич, зацепский, — и, так как никто ничего не ответил, добавил: — И еще один есть. Старшина. С Арбата...

К лафету была привязана железная печка.

— Холодно, ребята? — посочувствовал Петров. — Но как ночью топить? Ведь искры...

— Ольховые дрова искр совершенно не дают, — пояснил Витя.

— Так где их взять, ольховые?..

Тут колонна двинулась, все подхватились.

— Витя, а ты-то рисуешь? — крикнул Петров уже вдогонку, будто вспомнил.

— Немножко.

Как всегда, при расставании с Витей он испытывал некоторое облегчение — свои, батальонные, сейчас были ближе. И все-таки, объясняя солдатам, что он там делал у артиллеристов, он произносил с истинным удовольствием: «Земляка встретил!» И теперь, почти неосознанно, он шел к еще одному москвичу.

Было уже совершенно темно, но Петров ориентировался безошибочно, хотя они выдвинулись сюда только прошлой ночью. Лишь изредка он приостанавливался, пропуская очередную колонну незнакомых подразделений и частей, именуемых, согласно приказу, хозяйствами.

Он скатился по сбитым ступенькам вниз, отбросил плащ-палатку, закрывающую вход, и оказался в глубоком и весьма просторном блиндаже. Светили три фитиля в сплюснутых сверху крупнокалиберных гильзах.

Дневальный, сидящий на краю нар, у входа, вскочил и крикнул протяжно:

— Взво-о-од!..

— Отставить! — сказал Петров. — Взводный здесь? Здорóво, старшина.

— Здорóво, старшина. — добродушно ответил рослый парень, выйдя из полумрака.

Их сближало то, что оба они были москвичи, что оба старшины и оба на офицерских должностях.

— Чаю хочешь? — спросил хозяин. — Обожди только, сейчас они хлеб доделят.

Лишь теперь Петров заметил, что посредине блиндажа, на расстеленной плащ-палатке, делят хлеб. Долгое время, уже привыкнув, они получали сухари, и лишь недавно, когда фронт притормозил, тылы догнали их, полевые пекарни обосновались где-то поблизости.

Занимая середину блиндажа, на полу была разостлана плащ-палатка, солдат, которому это было доверено, опустившись на колени, умело резал финкой хлеб, остальные стояли кругом и смотрели. Вероятно, было буханки три с половиной или четыре,—сейчас он уже заканчивал. Он разделил очень тщательно, с довесками, и, не вставая, подался назад, сел себе на пятки, давая дорогу товарищам. Они быстро, но не суетясь, с достоинством, взяли каждый свою, по возможности заранее присмотренную пайку. Он, поднявшись, положил оставшуюся на край нар и стал счищать мякиш, налипший на лезвии.

— Садись,—пригласил Петрова старшина.— Спирту выпьешь?

— Нет, я только чаю.

Ему подали зеленую кружку горячего, дымящегося чая, он, дуя, отхлебывал по глоточку.

— «Боевой листок» выпустили,—сказал солдат, деливший хлеб, и кивнул на освещенную стену.

— Ну-ка, ну-ка? — Петров, не выпуская кружки, приблизился, рассматривая. Над статейкой, зовущей совершенствоваться боевое мастерство, красовался откровенно неумелый, но убедительный в своей наивности рисунок: река, на той стороне немец, заметно наложивший в штаны, и наш боец с автоматом, уже решительно занесший ногу над водной преградой.

— Молодцы! — похвалил Петров. — Так и будет.

И, движимый невольным юношеским порывом, он поставил кружку, нетерпеливо порывлся в полевой сумке, не нашел того, что искал, и вытащил тетрадку, разграфленную платежными ведомостями... На обороте последнего листа синим крошащимся карандашом, скупно, лаконично, но с изумившим самого проникновением в суть, он изобразил встающих в атаку наших солдат, деревеньку на взгорке, перелесок вдаль. Совершенно непонятно, по каким признакам, но определенно угадывался рассвет. Солдат на рисунке было всего несколько, и не было ни танков, ни самолетов, но тоже непостижимым образом чувствовалось, что за ними сила.

— Здрóрово! — сказал кто-то.

— Во дает старшина.

И сам он, глубоко взволнованный, захлопнул тетрадку и сунул обратно в сумку.



— Слушай, старшина,— говорил меж тем хозяин блиндажа.— Вот окончится война, встречаемся мы с тобой на Арбате. На Арбате-то бываешь? Дорогомилово твое рядом, через мост, и все дела...

— Конечно. А у меня еще друг Витя Куликов из артдивизиона, он у Красных Ворот, в Хоромном тупике живет. Он прекрасный рисовальщик.

— Да, ладно. Вот встречаемся на Арбате. «Здорово, старшина». — «Здорово, старшина». — «Ну, давай-ка зайдем»... Куда бы нам с тобой зайти?

— Посидеть? В кафе «Кавказское».

— Можно и так.

— Ну что ж,— Петров встал.— Надо двигать. А сыро тут у вас!

— Зря, что ли, я тебе спирт предлагал.

— Хорошо, ночью в воду полезем, а то здесь загнешься, — сказал кто-то, и многие засмеялись.

— Это у меня бабка была, покойница, да не бабка, прабабка,— вставил деливший хлеб,— так она мне все говорила, мол, миленький, не простужайся, а то носморк будет, носморк. Она считала, если — нос, то, значит, носморк,— еще пояснил он кому-то непонятливому.

— Ну все, покурим еще на дорожку, чтобы светомаскировку не нарушать.

Петров оторвал листик от сложенной гармошкой газеты, разровнял в нем махорку и залепил сигарку. Поднесли пунцово разгоревшийся трут, он почмокал губами, но сигарка прикурилась плохо, прожглась сбоку, куда со свистом стал проходить воздух. Петров попробовал еще ее отремонтировать, слюнил, зажимал и заклеивал бумажкой это место, но ничего не получалось.

— Плохо дело,— притворно посочувствовал делильщик. — Примета такая. Зазноба-то, наверно, того...

— Скурвилась, что ли? — произнес за него Петров, подумал, к кому бы это могло относиться, и сказал беззаботно:

— А ты знаешь, некому! Никто не ждет...— И попрощался:— Счастливо!

— Счастливо, — ответил старшина.— Нам тоже пора.

И пока Петров карабкался по сбитым ступенькам, в блиндаже деловито прозвучала команда:

— Ста-новись!

В темноте, слабо подсвечиваемой далекими вспышками разрывов или ракет, он опять столкнулся с бегущим куда-то Ленькой Роговым, и тот, приостановившись, уверенный и чуть фамильярный, как все ординарцы, жарко шепнул ему в ухо:

— Уже скоро! Не дрейфь, земляк!..

Петров снисходительно усмехнулся, но неожиданно вспомнил эти слова, потом, когда плеснула под ногою черная вода, ощутимо качнулся и осел понтон.

Заняли оборону на том берегу, окопались. Петров вылил воду из сапог, отжал портянки. Песок близ берега был мокрый, плотный, хорошо брался лопаткой. Но когда продвинулись вперед, видимо закрывая бреши в первой линии, картина изменилась: в сухом, текущем песке было трудно вырыть даже ячейку для положения «лежа». Он курился, тек, из него торчали только мелкие кустики да, как из-под снега, полузасыпанные мертвецы. Это была пустынная, чуть наклоненная к реке равнина с редким леском на горизонте, песок струился по ней, словно мела поземка.

Стояла убаюкивающая, дремотная тишина. Конечно, она не была абсолютной: с правого фланга доносился дальний гул боя, все более уходящий от реки, но он лишь резче эту тишину подчеркивал.

С вечера и ночью, да и утром, они были готовы ко всему, но, не встретив сопротивления, невольно ослабились, и теперь появление самолетов было для них особенно неожиданным. Самолеты пошли кругами — «лаптежники», с неубирающимися шасси, — поливая из пулеметов, а между колесами, хорошо было видно, у них висели бомбы, которые они почему-то не бросали, а берегли.

Это нужно было переждать, перетерпеть, не могло же это продолжаться долго, должна же была появиться наша авиация, пока они чертили в небе черные круги и, вихляясь, заходили на свои одиночные цели.

И тут неизвестно откуда возник и незнамо как распространился неприятный слух: немцы в лесочке!

У Петрова висел на груди трофейный цейсовский бинокль в алюминиевом корпусе — предмет особой гордости, — он вынул его и, чуть привстав, вобрав голову в плечи, стал наводить, крутя регулятор, стараясь

что-нибудь разобрать. Сперва он видел только деления на стеклах и вдруг, как будто рядом, обнаружил опушку леса, немцев меж стволами. Он чуть повел биноклем и ахнул: немцы шли в атаку. Они шли в рост, не таясь, а посреди строя горизонтально несли за углы красное полотнище со свастикой: знак для своих самолетов. Тут за спиной тяжело, удручающе громко рвануло,— он понял, что «лаптежник» бросил первую бомбу,— его сильно придавило к земле, сперва волной, а потом лавиной обрушившегося сверху песка. Он с трудом свалил его с себя, приподнимаясь, выгребая сзади, из-за ворота шинели.

Мимо него в тучах песка пробежал солдат, за ним другой.

— Куда? — крикнул Петров, вскочив и хватая его за плечи.— Назад!

— Приказ был,— тоже прокричал солдат,— к реке отойти и закрепиться...

Петров не знал, так ли это, но отпустил его. Мимо проходили и пробегали солдаты. Некоторые оборачивались и стреляли. Самолеты все крутились, но поднятый взрывами песок, вероятно, мешал им вести огонь прицельно.

Петров тоже двинулся к реке. Обернувшись, он увидел сквозь тучи песка тот немецкий строй с полотнищем, он был заметно ближе. Петров снова поднял бинокль. Были хорошо видны лица, и это неожиданно напомнило ему кинотеатр «Арс», фильм «Чапаев», психическую атаку белых. И вдруг он увидел, что часть строя, два его правых ряда, исчезли, словно срезанные, и тут же полетели в разные стороны и вверх, но уже искромсанные, жуткие. Полотнище со свастикой упало. Следующий снаряд прошел по середине.

— Дает Витя прикурить! — радостно закричал Петров.— Как в бабки!

Он был коренной москвич, и хотя видал бабки, но сроду в них не играл, но здесь почему-то крикнул:

— Как в бабки!

И снова он двинулся к реке.

Его ударило в правое плечо, и, упав лицом в мелкомолотый песок, он успел поразиться, с какой для себя легкостью сбила его эта сила. Он захотел было встать, но не сумел, и охватившее его безразличие показалось ему обычным его состоянием.

Но его потянули, схватив под мышки, он встал на колени и, поддерживаемый, выпрямился.

Он увидел рядом с собой рябое лицо парторга Казарычева.

— Пошли! — сказал Казарычев строго, положив левую руку Петрова себе на плечо и обняв его за талию.

— Пошли, — согласился Петров. Во рту у него скрипел песок. Кровь текла по животу, в штаны, но он еще не понимал и не верил, что это его кровь.

Кругом поднимались столбы разрывов, но стояла тишина.

Неожиданно Казарычев исчез, будто его и не было.

Петров пошел один, на заплетающихся ногах, цепляя носками песок. Правая рука повисла и не действовала. Он заметил, что на груди нет бинокля, это не огорчило его. Может быть, когда он упал, ремешок перекинулся через голову или его рассекло осколком.

Ему стало душно. Он расстегнул пальцами левой руки все пуговицы шинели, но не мог расцепить душивший его шейный крючок.

Мимо бежал солдат. На нем была не каска, а потерявшая форму, растянутая, совершенно круглая пилотка. Петров окликнул его:

— Помоги, солдат!

Тот посмотрел с удивлением и побежал дальше, — на бровях и щеках его налип песок.

Петров с непостижимой быстротой, выгнувшись, перетянул за спиной по ремню (мешал хлястик!) кобурку на левую сторону и выстрелил в воздух из ТТ, с левой руки.

Солдат проникся, вернулся, расстегнул ему крючок и отвел немного в тыл. А кровь все текла.

Он плелся, опираясь на солдата, и запоминал все: каждый кустик, каждую былинку.

Потом встретились свои солдаты, и среди них тот, что делил вчера в блиндаже хлеб. Петров не сразу узнал его. Они говорили ему о чем-то очень важном, но он не мог понять, — лишь потом, в санбате, он, услышав это снова, вспомнит, что уже знает обо всем.

Они перевязали его, отрыли неглубокий окопчик от осколков, и он лежал в нем на спине, глядя на ос-

тывающее небо. Его бил озноб, зубы стучали невыносимо.

В темноте появилась первая санитарная повозка. Санитары ходили и спрашивали раненых, какого они полка. Он был из другого, но попросил: «Ребята, возьмите меня, мне очень худо!» — и они положили его в темноте на повозку, на других стонущих раненых.

В санбате, где было много своих, он перед эвакуацией в тыл узнал, что убиты парторг Казарычев и земляк — старшина с Арбата, и вспомнил, о чем ему говорили солдаты. Но и здесь, сквозь полузабытье, известие об их смерти не поразило его, ведь он мог погибнуть и сам.

И еще он услышал, что немцев погнали хорошо, наступление разрастается.

В госпитале он снова начал рисовать.

Сперва, когда рука долго не разрабатывалась, сказал себе горько: «Ну вот, дождался». И, едва зашевелились пальцы, обрадовался несказанно, сунул в них карандаш, повел линию. Двинулось дело быстро, и вскоре он уже мог рисовать в блокноте, жадно набрасывать по памяти фронтовые сценки: рытье окопов, делжка хлеба, чистка оружия. И еще — атака на расвете, перелесок вдаль и деревенька на взгорке. Этот, последний сюжет он повторял множество раз, и все ему было далеко до того, сделанного в вечернем блиндаже наброска.

Он изображал и госпитальную жизнь: обед в палате, получение письма из дома, врачебный обход.

Он стал в госпитале популярным человеком. На списанных, в неотмываемых пятнах крови и тем не менее всякий раз с трудом отбиваемых у начсклада простынях он писал сухой кистью портреты маршалов.

Вернувшись, он опять поступил в свой институт и благополучно окончил его. Двумя годами позже воротился и Витя. Он так и прошел всю войну без единой царапины. Теперь они опять были вместе. Учились, потом сами преподавали, потом работали — каждый в своей мастерской.

И чем дальше отходила война, тем пристальнее стали вглядываться люди в те годы, в свою юность, в свою молодость, в лица тогда живых еще друзей. И,

как многие бывшие части и соединения, их дивизия тоже организовала встречу ветеранов. Пришли и Петров с Куликовым. Вокруг были постаревшие, растроганные, но незнакомые им люди. Однако они знали других людей, которых знал и Петров. Оживали безнадёжно потонувшие в памяти названия сел и деревень, вызывая реальнейшие, до подробностей зримые картины и лица.

Внезапно Петрову показалось, что впереди, по диагонали, сидит Ленька Рогов, ординарец их комбата. В перерыве он двинулся туда и еще раз увидел его за толпой и крикнул: «Рогов!» Но когда пробился, Леньки там не оказалось.

И еще один раз, через полгода, он встретился Петрову на улице, на Кузнецком, около Выставочного зала: он шел по другой стороне, но Петров был уверен, что тот заметил его. И опять, пока Петров переходил, Рогов как растворился.

К двадцатилетию Победы, когда память о войне вспыхнула особенно ярко и живо, решено было провести встречу на отдаленной подмосковной станции, где в сорок первом формировалась дивизия.

Петров и Куликов тоже поехали. Поселок сильно расстроился, ничего нельзя было узнать. Правда, школа, где стоял тогда штаб, сохранилась, и теперь в этой школе, в зале, они и провели свое заседание. Немногие из тех, кто был здесь когда-то, со слезами на глазах вспомнили себя и своих товарищей.

В местном кафе на организованно собранные пятёрки был заранее подготовлен банкет, и вскоре они уже веселые сидели за сдвинутыми пластиковыми столиками и пели песни.

И напротив Петрова сидел Рогов.

— Ты что, Леня,— спросил Петров, слегка захмелев,— никак, сторонисься меня?

Тот глянул в глаза и тоже спросил:

— Зла на меня не держишь?

— Нет. За что?

— За тот день, когда ранило тебя.

Петров помолчал, раздумывая:

— Нет.

— Ты хорошо все помнишь?— зашептал Рогов.

— Все помню. А что?

— Ничего. Я бегу, а ты стоишь, качаешься, шинель

расстегнута, и говоришь мне: «Помоги, Леня», а я говорю: «Не могу!», а ты мне вслед: «Леня, ведь ты же москвич». Так всю жизнь этот твой голос в ушах и стоит. А я правда не мог. Ты видел, что делалось. Меня комбат в штаб полка послал. Ты уж, земляк, меня прости...

— А ведь я этого совершенно не знал,— говорил Петров, потрясенный его рассказом,— ведь я этого, Леня, совершенно не запомнил.

До сих пор ему казалось, что он помнил все.

1970

ЛЕША

Кто хоть когда-нибудь был маленьким, помнит, как это прекрасно, когда рядом есть не только сверстник, но и старший, тем не менее по-человечески относящийся к тебе сосед. Не какой-нибудь маменькин сынок, что совершенно обесценивало бы его примерные качества,— напротив, человек известный и могущественный.

Леша был старше меня на шесть лет. Честно говоря, кому не случалось в жизни, даже не желая того, мимоходом, обидеть, унижить младшего и слабейшего! Леша принадлежал к числу редких натур, обладающих врожденным чувством справедливости. Он ни разу не шелкнул никого из нас, мелюзги, по затылку, не отогнал, не обозвал.

А между тем слава его была велика.

Он был вратарем заводской детской команды. Вижу его, высокого, гибкого, в желтом свитере и черных перчатках. Почему-то особенно ярко запомнилось, как он ставил мяч на угол вратарской и, повернувшись для разбега, поднимал руку,— мне был тогда непонятен смысл этого жеста. Но именно с него я невольно стал замечать, кто как выбивает: один, согнувшись, прямо из-под ладони пасует защитнику, другой отходит в сторону, сразу давая выбивать беку, третий пятится в ворота, а потом сам резко бьет в поле. А самый знаменитый в моем детстве вратарь, поставив мяч, шел к штанге, обязательно поплеывая для чего-то в перчатки, затем поворачивался лицом к полю,

ударял носком правой бутсы в землю и лишь тогда выбивал.

Это — с земли, но и с рук выбивали по-разному, однако не так далеко, как теперь, отчасти, вероятно, потому, что не выходили к линии штрафной площадки, а били с вратарской.

Благодаря Леше я и пристрастился к футболу; подражая ему, мечтал сделаться настоящим вратарем, но однажды утром забрел с ребятами на городской стадион, приблизился к воротам и ужаснулся их ширине — можно было играть вдоль ворот, от штанги к штанге.

Когда я пошел в школу, Леша уже учился в седьмом. Разумеется, и здесь он был знаменитостью.

Я был достаточно самостоятелен, во дворе и на улице чувствовал себя вполне свободно, но школа меня ошеломила, это был совсем другой мир, я растерялся, потонул в нем, пока не опомнился, не пришел в себя, не выплыл. Подобное ощущение я испытал через много лет — в армии.

Иногда я подгадывал, чтобы выйти из дому вместе с Лешей, но он сразу уходил вперед — для закали бежал к школе бегом по нашим тихим переулочкам, вдоль дощатых замшелых заборов, а я, далеко отстав, плелся со своим портфелишком.

Как-то раз, пасмурным утром, еще не совсем проснувшись, я тащился по безлюдному узкому переулку с глухими заборами и заметил происходящее, лишь когда меня толкнули и сказали: «Обожди!»

На дороге стоял Рыжий с двумя приближенными. Это был действительно рыжий, густо заляпанный веснушками, довольно хилого вида малый из третьего класса. Я уже знал, что он всемогущ и связываться с ним не стоит.

Неизвестный мне кудрявый мальчик, уже пропущенный через эту заставу, с полными слез глазами подбирал с грязной земли тетради. На очереди был мой одноклассник Славик, беленький, аккуратный. Я сделал попытку пройти, но один из свиты оттолкнул меня к забору.

Славик с живейшей готовностью, глядя на Рыжего преданно, почти радостно, сам скинул с плеч и раскрыл ранец. Рыжий задумчиво повертел на пальце целлулоидовый угольник и, видимо решив, что пропаша

такой ценной вещи может встревожить родителей Сла-
вика и побудить их к активному расследованию, су-
нул его обратно. Зато он ловко распаковал заверну-
тые в вощеную бумагу два пышных ломтя булки с
яблочным повидлом между ними, разъединил их, один
зажал в зубах, пачкая щеки, а другой, кое-как замо-
тав, бросил обратно в ранец. Он отпустил гордо сия-
ющего Славика, обложив его постоянной данью: пове-
лел половину домашних гостинцев ежедневно переда-
вать ему, Рыжему.

Дело в том, что время тогда было голодное: кар-
точки, — не военные, конечно, а те, что были раньше, —
отменили их еще через год.

Теперь они взялись за меня. Рыжий уверенно, как
к своему, потянулся к моему портфелю, но я, прижав-
шись спиной к забору, крепко держал за дужку, не
отдавал. Он, несколько как бы удивившись, замахнул-
ся на меня и, когда я отстранил голову, неожиданно
ударил меня ногой и попал в колено.

И, возмущенный его подлостью, ничуть не думая о
последствиях, я резко выбросил вперед левую руку и
прямым ударом, острыми костяшками, сам дивясь,
как это ловко у меня получилось, дал ему по носу.
Я даже испугался, но еще сильнее было пронзительно-
радостное чувство: постоял за себя.

Рыжий зажал лицо ладонями, отвернулся, подо-
ждал несколько секунд и, нагнувшись, высморкался.

Потом они втроем бросились на меня.

Я стоял спиной к забору, это мне помогало, иначе
они сразу сбили бы меня с ног. Но и так я не про-
держался бы больше минуты.

Меня спас сильный и властный окрик:

— Ну, вы, сладили? Отставить!

По проулку шагал рослый красноармеец в фураж-
ке с малиновым кантом и даже с винтовкой на рем-
не, — над ней, тревожа синеватым отливом, торчал
тонкий изящный штык.

Они отступились и быстро пошли к школе, я бес-
препятственно — за ними.

На первом уроке меня колотило возбуждение, я ни-
чего не понимал и не слышал и даже получил «неуд»,
впрочем, тоже почти не заметив этого. При звонках на
перемену я уже не первым выбегал в коридор, внима-

тельно осматривался, ожидая нападения, но меня никто не трогал, и я постепенно успокоился.

В большую перемену был обед: учительница раздавала ломтики черного хлеба, из принесенного в класс бачка разливала по алюминиевым мискам вкусный гороховый суп. За наклонными партами есть было неудобно, но мы не жаловались. Я уже доедал, придерживая легкую миску, когда в класс прошмыгнул один мой знакомец, исключительно ценный человек: он всегда все знал, кроме разве заданного урока.

— Тебя ждать сегодня будут,—прошелестел он мне в ухо и тут же исчез.

И радость моя померкла.

Теперь я сидел погруженный в уныние, с тоской размышляя о том, что меня ожидает, почти уже безразличный к собственной судьбе. И вдруг меня осенило, я едва не вскочил, хлопнув крышкой, и еле-еле дождался звонка. Не понимаю, как я сразу не догадался!

Сквозь привычное бурление и гвалт коридора я добрался до лестницы и не без робости поднялся на второй этаж. Нельзя сказать, чтобы здесь было тихо, но сразу чувствовалось, что это мир аристократов. Здесь учились старшие — пятые, шестые и даже — седьмые! На лицах этой касты лежала высокая печать значительности и достоинства.

Я бочком двигался вдоль стенки, понимая всю незаконность своего здесь появления. Леша стоял у окна и разговаривал с девчонкой.

Конечно, я так подумал о ней только стгоряча, сначала, и то лишь для придания себе уверенности. Это была не девчонка, а Девушка. И сейчас я помню ее стройные матовые ноги, ее обтянутую белой кофточкой круглую грудь. Она была хороша, да и не мог же он так стоять с кем попало.

Он разговаривал с ней очень внимательно, спокойно и просто — как обычно с нами — и смотрел на ее лицо. Я несколько раз прошел мимо них, а потом остановился рядом, — он все еще не замечал меня.

Протрещал звонок, и они, продолжая разговаривать, медленно пошли по коридору. Тогда я окликнул его:

— Леша!

Он с удивлением посмотрел на меня:

— Ты чего?

Я начал торопливо объяснять, но то ли я говорил бестолково, то ли он думал о другом, Леша ничего не понимал, и я уже отчаялся, когда он тряхнул волосами и сказал ей:

— Извини, тут важное дело. Я к тебе подойду.

Она улыбнулась нам и пошла, и он сразу меня понял.

— Я ему скажу. Хотя лучше выйдем вместе. У тебя всего четыре урока?

После занятий я нарочно вышел из класса в числе последних. Леша стоял на ступеньках.

— Ну, ты чего? — сказал он нетерпеливо. — Мне же еще возвращаться надо!

Мы зашагали. Сердце мое громко стучало. Больше всего я боялся, что их не окажется на месте и Леша усомнится в обоснованности моих волнений. Но они ждали. Я с удовлетворением отметил, что их не трое, как утром, а пятеро. Они выбрали место возле большой лужи, — мне, строптивому, готовилась жестокая расправа.

Мы приближались. Было видно, что они растерялись, не уверенные, вместе мы или нет.

— Вы чего тут, ребята? — спросил Леша, приостанавливаясь.

— Да так...

— Ждете, что ли, кого?

— Да нет, Леша...

— Ну, пошли, — кивнул он мне и положил на мое плечо свою длинную вратарскую руку.

На этом все и окончилось. Никогда потом у меня не было таких могущественных покровителей.

А наш беленький Славик на каждой большой перемене приносил Рыжему ломтик булки с повидлом. Однажды, когда того не было в школе, Славик растерянно бегал с этим бутербродом, заглядывал в разные двери, спрашивал всех, где Рыжий, не встречался ли. Им двигал даже не страх, а радостная добросовестность, уважение к своим обязанностям, любовь к порядку.

ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ

(История одного пристрастия)

1

Его первое футбольное впечатление: ощущение утомительной пестроты, рассеивающей внимание. Очень много людей. Время от времени накатывает яркая, блестящая зелень поля, приближаются красные или желтые майки играющих. Видимо, он совсем маленький, потому что запомнилось — до стадиона шли долго, а ведь они и тогда жили рядом. Отец берет его на руки. Это прекрасно.

— Смотри, Игорек, они в футбол играют. Ногой можно мячик бить, головой, грудью, чем хочешь. А вот руками нельзя. Понял? А это ворота, в них голкипер...

И отчетливое чувство разочарования при следующем объяснении отца, что голкиперу играть руками разрешается. Какая несправедливость!

Потом другое. Красно-синий резиновый мячик. Ребята постарше играют, кидаются на него тучей, каждый норовит ударить, а Игорь следит не отвлекаясь. Мяч отскакивает как попало и вдруг отлетает в сторону и катится к нему. И он бросается навстречу, — не затем, чтоб схватить мяч, а чтобы тоже ударить ногой, и пинает его, но, к своему удивлению, не попадает по мячу, а вместо этого с размаху шлепается на попку.

Потом бывало всякое. Бывали и мячи из тряпок, и покрышка, набитая сеном. Но такие заменители никогда не доставляли ему удовольствия. Мяч должен был прыгать.

Во дворе было две или три покрышки, вполне приличные, но лишь одна камера, и, играя, они постоянно боялись за нее, особенно при сильных встречных ударах, — она и так еле дышала. Надували каждый раз заново, потому что и накачанный до отказа мяч держал недолго, за ночь совершенно спускал, да и в игре часто начинал катастрофически съеживаться. Это было ужасно, — только разыгрались, а каждый видит и чувствует: отскок уже не тот, сейчас все кончится.

Расшнуровывали опавшую покрышку и с трепетом вынимали камеру. Не лопнула? Пока еще нет, просто где-то пропускает.

Камеру надували. Она давно уже потеряла симметричность — была вся в заплатках, а сбоку, ниже соськи, пугающе выпирали пористые грыжи. Прикладывали ухо, определяя, где проходит воздух. Если оставалась вода в кадке под водостоком, поиски упрощались, — камеру смачивали, и пузырьки безошибочно выдавали пораженное место.

Все смотрели на Пашу Сухова. Он был старший среди них, и, кроме того, у него был резиновый клей. Паша не спеша поднимался домой и выносил все, что нужно. С замиранием сердца следил Игорь за его действиями: степенный Паша вырезал заплатку, защищал резину шкуркой, мазал клеем. Теперь нужно было ждать, еще боясь поверить, что все обошлось, что все будет хорошо.

Но вот Паша сам надувает мяч, воздух из его легких наполняет камеру, а она изнутри прорывает к крышке, раздвигает, расправляет ее складки, делает неузнаваемой. Мяч уже позванивает, а Паша, красный, все дует, и хочется крикнуть: «Да хватит!» Но вот он сам перехватывает мокрый сосок, ловко загибает, и еще раз — обратно, и держит, пока кто-нибудь другой затягивает бечевкой. Потом шнуруется крышка — и все! Неужели это правда?

Горькое воспоминание. Они играли во дворе, просто били в одни ворота против глухой стены двухэтажного дома. Мяч срезался, покатился поперек двора к дороге. А там ехал грузовик. Он ехал совсем небыстро, а они застыли на миг, прикидывая, и закричали все вместе, но по-разному — одни: «Стой!», другие просто «А-а-а!», а кто-то даже: «Дяденька!»

Шофер не свернул, не прибавил скорость, не притормозил. Он как ехал, так и ехал. Мяч перед самой машиной миновал первое левое колесо, с внутренней стороны толкнулся в переднее правое и медленно-медленно, будто это был сон, откатился влево под задние парные скаты. Раздался не выстрел, нет, — взрыв!

Они, словно не понимая, со всех ног бросились к дороге и подняли разорванную пополам — даже не по шву, прямо по коже — крышку.

Грузовика давно уже не было видно.

Эта беда имела самые неожиданные последствия.

Отец с бригадой ездил в командировку в Москву, получать для завода оборудование, и привез Игорю не только новый мяч, но и тридцать пятого размера бутсы, и щитки, и гетры, и наколенники, и в придачу пластмассовый судейский свисток-сирену на четыре трубочки.

Он выложил все это нарочито небрежно, сказал подчеркнуто буднично:

— Примерь! Впору?

И все. Вот это был отец!

Бутсы поразили всех даже больше, чем мяч. Это были совсем настоящие бутсы с твердыми носками, обязательными ушками и шипами — по шесть на подошве. Ах, как он гремел ими по лестнице! Бутсы не то чтобы добавили ему авторитета, а скорее узаконили его. Важно, на чьих они ногах. Ведь если бы их обул не умеющий играть, над ним только бы посмеялись.

А он уже был человек. Его уважали. Не то что иных: пришел — играет, не пришел — тоже не беда. Его звали. Его ждали.

— Игоря подождет Алтынова.

— Алтын, пошли!

Какое это счастье, когда ты можешь подбросить мяч головой, покидать с ноги на ногу, когда ты не боишься ударить с лету или приземлить высокую свечу.

Если время позволяло, играли не во дворе, а около леса, там была большая, ровная поляна, и стояли даже ворота, одни, правда, без перекладины. Тут же разбивались на две команды. Делалось это по справедливости. Определяли капитанов, а они уже быстро составляли всех по двое, так, чтобы в каждой паре были игрок примерно одинаковой силы. Те расходились, обняв друг друга за плечи или за шеи, и сговаривались. Потом возвращались и называли свой засекреченный девиз, а капитаны выбирали по очереди.

— Вам «Спартак» или «Динамо»?

— Москва или Ленинград?

— Сосна или елка?

У кого сколько хватало фантазии. А самый малень-

кий, вертлявый Левка Шухов, по прозвищу Щучка, всегда предлагал какую-нибудь похабную несуразность.

2

В ту весну Игорь учился во вторую смену и с утра до школы проводил время на поляне. Иногда он появлялся первый, чаще там уже ожидали трое или четверо. Потом подходили еще, и уже можно было сыграть в двое ворот.

Нет, он учился вполне прилично, упрекнуть его было трудно. Но его обуяла страсть — играть, играть и играть. Вдвоем, вдвоем, одному, но только играть, чувствовать ногами, да что ногами — каждой порой и нервом, всем собой, — чувствовать этот мяч, это поле. Лишь зимой он немного отдыхал от своей страсти.

Как же он играл? У него были недостатки и слабости. Многого он не умел. Придет время — ему скажут об этом. Кое о чем знал он и сам. Он не любил играть головой, особенно сильно пробитый мяч или идущий с дальнего высокого навеса.

Однажды — он учился во втором или третьем — в доме были гости, и зашла речь о футболе. И один старинный приятель отца, который, правда, бывал у них очень редко, сказал:

— Самое совершенное и тонкое устройство на земле — это человеческий мозг. Природа спрятала его, поместила в удобную и довольно прочную шкатулку. Это сделано не просто так и не затем, чтобы ее трясти без надобности.

Вероятно, эти слова произвели на мальчика впечатление. Мать тут же стала высказывать опасения, что Игорь слишком увлекается футболом. Но другой друг отца, частенько бывавший у них, сказал слова, тоже запомнившиеся крепко:

— Футбол воспитывает настоящего мужчину. Он прививает смелость, силу, сметливость.

— Стойкость, — вставил отец, — благородство.

— Правильно. И нет лучшей игры для мужчин. Так что ты за него не бойся...

Что же еще?

У него не было сильного удара. Может быть, от-

того, что он был такой легкий, худой, стесняющийся своих тонких ног. А с левой он хотя и бил, но гораздо хуже, чем с правой. «Одноногий» — скажут ему потом.

Но у него были и достоинства. Скорость! Никто не мог с такой резвостью рвануться с места, да еще нетеряя мяча, и столь же неожиданно затормозить, — противник в первом случае отставал, во втором пролетал мимо. У него было умение обыграть, обмануть, качнуться в одну сторону, а пойти в другую, и еще одно редкостное качество — чутье, футбольный инстинкт: он и не глядя чувствовал, где свои, где чужие и как следует поступать. А сильного удара у него не было. Но у него был точный удар. И почти каждый его пас был как подсказка, как шпаргалка. По голу издали он не бил, но когда уж выходил на ворота, вратарю бывало трудно угадать, в какой угол влетит мяч.

Он уже не раз слышал за спиной: «Здорово играет Алтын!» — и чуть не подпрыгивал, но кровь не прилиwała к щекам и он не сиял, а, как отец, сохранял спокойствие. Так было еще приятней. Да он и играл-то не для похвалы, а для себя — для удовольствия, для радости, для счастья.

За час до школы он бросал играть и шел к дому. Шел именно он, — ноги не шли, при каждом шаге приходилось преодолевать их упрямое сопротивление. Все свои силенки он оставлял на поляне. Усталость в ногах сидела такая, что можно было думать лишь об одном: дотащиться до дому и рухнуть, — пропуск занятий подразумевался. Правда, глядя на него, никто об этом не догадывался.

В пустой квартире он разувался прямо в коридоре, бережно ступая, входил в кухню и, поочередно стоя на одной ноге, задира л другую в раковину. Смывая руками ввевшуюся в кожу, но легко сходящую грязь, он затыкал пяткой выливное отверстие, а потом отворачивал ногу и смотрел, как, закручиваясь, проваливается в трубу ледяная артезианская вода.

Потом он, чаще всего не разогревая, съедал оставленный матерью обед и вскоре, размахивая портфелишком и пиная по дороге камешки, вышагивал в школу.

По вечерам, если задавали не слишком много, он еще успевал поиграть во дворе. День заметно удлинялся, но все равно между домами сумерки сгущались быстро,

нужно было спешить. Вот уже посторонние не видят мяча, а они, как кошки, видят и все играют, но вот и они уже замечают мяч в последний миг, когда он, пугая и заставляя невольно отшатнуться, вылетает из мрака, а потом совсем ничего не видно, и нужно кончать. Ах, еще бы немножко, такая обида!

А кругом покой, где-то вдалеке поют, уютно светятся окна, кто-то курит возле крыльца, и голос матери зовет наугад:

— И-и-горь!..

А самое скверное, когда, проснувшись, видишь за окном низкое серое небо, уныло стучит дождь, мокро, холодно, и чувствуешь себя обманутым, брошенным, никому не нужным.

Сладостное воспоминание. Играли во дворе, а мимо шли два футболиста из взрослой заводской команды — вратарь Платов, знаменитый на весь городок, и один нападающий — Игорь не знал его по фамилии, но видел на поле много раз. Они остановились, посмотрели, и нападающий сказал:

— Ну, давайте сыграем по-быстрому. Вас сколько, пятеро?

В воротах стоял Щучка, но он испугался, и его заменил Паша Сухов, — и вправду, они били сильно, не церемонясь. Платов тоже водил и бил по воротам, но успевал вернуться и около своих ворот брал мяч руками. Они забили очередной гол и отошли, а Игорь, начав с центра, тут же обыграл нападающего. У него был такой фокус: приближаясь к противнику, он отпускал мяч, и когда тот, уверенный, что завладевает им, ослаблялся и терял бдительность, Игорь резким рывком доставал мяч, бросал себе на выход и на скорости обходил опешившего противника. И сейчас, догнав отпущенный мяч, он еще чуть изменил направление, заставив нападающего сделать шаг в сторону, и безжалостно оставил его за спиной. У того на лице задержалось выражение снисходительности, будто он нарочно пропустил мальчишку, а может быть, ему показалось, что все произошло случайно. Игорь выскочил на ворота. Платов стоял, чуть пригнувшись, большой, загорелый. Игорь замахнулся изо всех сил, весь нацеленный на левый угол, где вместо штанги лежала чья-то кепка. Он сделал это как только мог правдоподобно, но Платов не двинулся с места. И тогда в отчаянии Игорь решился ударить

туда же, в левый угол, рядом с кепочкой, низом, носком правой ноги. И он так и сделал, но в самый последний миг, неожиданно для себя, глядя только влево, ударил по мячу внешней стороной подъема. Мяч пошел точно в правый угол. Хорошо, что правая штанга была настоящая — столб, а то гол можно было и оспорить. Но мяч, слабо чиркнув по столбу, вошел в ворота. Футболисты посмотрели друг на друга, засмеялись и, больше не обращая на пацанов внимания, удалились, но все слышали, как Платов сказал нападающему: — А шустрый парень...

3

Да, была взрослая команда. Команда завода имени Чапаева. Она и называлась «Чапаевец». В маленьком подмосковном городке ей не с кем было играть. Не было никакого чемпионата, первенства. От случая к случаю наезжали команды из других райцентров и поселков, иногда из Москвы. И еще был основной, постоянный соперник из соседнего городка, команда паровозоремонтного завода — ПРЗ, потом она стала называться «Локомотив». Это была сильная, уверенная в себе команда, каждый выигрыш у нее воспринимался особенно радостно, каждое поражение — настолько же горько.

Всякий раз неожиданным счастьем было увидеть у ворот стадиона афишу. Футбол! Потом несколько дней мучительного ожидания — вдруг отменят? Но нет, как будто все хорошо — народ к стадиону валит густо. И еще издали изошренный футбольный слух ловит непередаваемо прекрасные звуки, заставляющие бледнеть от волнения и прибавлять шагу, — тяжелые, как отдаленный гром, гулкие удары мяча. На ворота уже навешены сетки, и команда только что вышла размяться, и вот уже форварды бьют по воротам, а Платов в удивительных прыжках, горизонтально лежа в воздухе, отбивает или ловит их мячи.

А где же противник? Еще не прибыл, запаздывает, но стадион ждет терпеливо, долго, и вдруг удовлетворенный шум: «Приехали!» — и видишь в сторонке, за трибуной, чужих игроков, прыгающих из кузова грузовика. Но случалось, что соперник так и не появлялся, и публика разочарованно расходилась.

А однажды не пришел судья. Замену ему нашли,

конечно, сразу, но теперь не оказалось свистка. Команда уже стояла за воротами, мальчишки, напирая, толпились вокруг, и Паша Сухов, кивая на Игоря, сказал Платову: — Вот у него есть свисток!

— Где? Давай сюда.

— Дома. Вот он здесь, рядом, живет.

Новый судья схватил велосипед, Игорь сел на раму, и они помчались. Напугав до смерти мать, он вломился в квартиру, мигом перерыл ящик, где обычно валялся свисток, не нашел, в ужасе перевернул другой ящик, опять открыл первый — свисток лежал на виду.

Они смотрели за игрой не отрываясь, запоминая все не только памятью, но и ногами, телом. Перед ними был образец, эталон. Они старались снять с него копию, разве только уменьшенную. Они ловили каждый жест, каждое слово, каждое движение. Они всасывали в себя и удар защитника «ножницами», и то, как наглухо берет мяч Платов («Как в мешок», — сказал Паша), и уж конечно — как с ходу бьет по воротам Кубасов.

После матча они испытывали острейшее желание сейчас же играть самим, Игоря пронзало все растущее нетерпение, и, ощущая каждой клеточкой легкость и приподнятость, он почти бегом спешил к дому, к мячу.

А Кубасов был его кумир, вызывающий радость, гордость, обожание и уверенное чувство, что это на всю жизнь, какие бы великие игроки потом ни встретились.

Он играл без майки. Едва начинался матч, он стаскивал ее и отдавал Платову, — майка ему мешала, в ней было жарко. Его мускулистый,крытый ровным загаром торс сразу бросался в глаза. Кубасов играл правого инсайда и много забивал, именно так, как не умел этого Игорь. Подхватив мяч в глубине или получив пас на выход, он мощно разгонялся и, не меняя ритма шагов, не семеня, не подлаживаясь, в неуловимый миг наносил чудовищный удар с ходу. Это был сильный, резкий футболист, и, хотя не он был капитаном, с поля часто доносился его властный голос: «Не спать!»

Как-то он опоздал на игру с рядовой приезжей командой, но пришел уже в бутсах и, сев за воротами на траву, стал раздеваться. Игорь стоял вблизи и слышал, как Платов, полуобернувшись, бросил: «Вдесятером играем!».

Кубасов усмехнулся: «Что же, вы без меня не може-

те обыграть этот мусорный ящик?» Встал, потопал на месте и вышел в поле.

Еще он потрясаяще бил пенальти. Едва назначался одиннадцатиметровый, пацаны с криком «пендаль!» срывались и неслись к воротам, наискосок через поле, срезая поле, шарахаясь от игроков и боясь не поспеть вовремя к месту действия. Игорь до этого никогда не унижался.

Судья, держа мяч под мышкой, демонстративно отмеривал широкие метровые шаги, ставил мяч и отходил в сторону. Кубасов приближался к мячу, брал его руками и снова клал на то же место, затем, повернувшись к вратарю спиной, шел разбегаться. Некоторое время он внимательно смотрел на вратаря, начинал длинный разбег и, не доходя до мяча двух шагов, перед самым ударом резко протягивал вперед руку и указывал, куда будет бить. Вратарь терялся: верить или нет? А в следующий миг мяч уже бывал в воротах, не обязательно в том углу, куда показывал бьющий.

Кубасов выделялся, запоминался. После каждой игры только о нем и было разговоров. Вечером, после матча, когда они сами наигрались и стало темно, Щучка рассказал, что видел, как Кубасов вел одну девушку в деревянной сарай.

— Я бы не узнал, да он фонариком светил, когда замок отпирал. А она вроде в клубе работает кассиршей.

— Да иди ты,— не поверил Игорь, а сам про себя заколебался: а может, и так? И сладко, несбыточно кольнуло: он, Игорь, знаменитый футболист, ведет в темноте девушку и светит фонариком.

— Гад буду,— уверял Щучка.

— Ну и что, дети будут,— сказал, зевнув, Паша.

— Дети? — удивился Щучка.— Почему дети?

— Дети от этого бывают.

— Да брось ты,— Щучка был уверен, что над ним смеются. — От этого бывают дети?

Паша теперь вправду похохатывал:

— А ты и не знал? Спроси у Игоря.

— Правда, Игорь? — спросил Щучка неуверенно.

— А ты что думал?

Все громко смеялись.

— Да бросьте вы,— произнес Щучка с сомнением и обидой в голосе, посидел немного и ушел растерянный, но не убежденный.

Кончалось лето. Небо еще сверкало насыщенной голубизной, но березы уже не купались в нем, не блаженствовали, а стояли, безрадостно опустив плети, как ученицы, не выучившие урока, — отбывали повинность. А в листве старой липы в разных местах разрозненно вспыхивала желтизна. И в пожухлой траве, в кустах все больше застревало опадающих постепенных листьев. Потом и остальные с шумом обильно повалили вниз, по ним было жалко ступать, перед входом в лес хотелось вытереть ноги.

Зарядили дожди, начиналась иная жизнь, по иным законам. Вот уже поутру щиплет ноздри дымок в школьном коридоре — после долгого перерыва затопили печи.

Игорь Алтынов, как в холодную речку, отважно бросался в учебу. Сперва вроде лезть страшновато, а попривыкнешь — идет в охотку, с удовольствием, — не докличешься. Его иногда вдруг раздражало, что уроки задают маленькими кусочками, еще в пятом классе он от нетерпения прочитал за несколько дней учебник географии — всю годовую программу, так что учительница потом то и дело ахала: «Откуда ты знаешь?»

Вот уже морозцем обожгло голую землю, и зима, спохватившись, подбросила снежку — прикрыться. Течет жизнь, размеренная школьными звонками. Светает поздно, первый урок при электричестве, а пришел домой, туда-сюда, и сумерки. Но стоит ли жаловаться? Время есть и для лыж, а зима синяя, хрустящая, обдающая снежной пылью, слепит глаза, прихватывает за нос. И березы, изукрашенные инеем, привычно нереальны в дневной синеве.

На девчонок он пока еще не обращал явного внимания, хотя слышал, как они говорили у него за спиной не всерьез, конечно, а чтобы слышал:

— А Игорек у нас симпатичный.

Хотя, может, отчасти и всерьез.

Он стал больше интересоваться своим отображением, щурил перед зеркалом зеленоватые глаза, — их цветом он втайне гордился, — старательно прикрывал светлым чубчиком несколько прыщиков на лбу, о которых мать сказала: «Возрастное!»

Однажды Игорь поздно задержался после уроков, уже стемнело, и когда он спустился по странно пустой

лестнице в раздевалку, там висело всего несколько пальтишек. Перемахнув через барьер, он пошел между вешалками, в проходе на полу валялось чье-то пальто, он перешагнул и только стал снимать свое, как его схватили сзади за плечо.

Это был высокий парень, старше на класс.

— Зачем сбросил? — закричал он. — Лучше подними!

— Оно там и было, — ответил Игорь спокойно.

— Не поднимешь? Ну погоди, сейчас выйдем! — И он сам поднял пальто.

Мимо них по проходу промчался Толя Коляда, сорвал с крючка длинное черное пальто, набросил, как бурку, на плечи и пронесся обратно. Он хорошо играл в футбол, в защите, и был, пожалуй, самый здоровый парень в школе. У Игоря были с ним дружественные отношения.

Стоило дернуть его за руку или еще окликнуть вдогонку, а потом сказать возмущенно: «Толя, смотри, пристает какой-то...»

Но гордость не позволила, и Коляда умчался.

— Ну погоди, сейчас выйдем! — прошипел парень.

Когда-то Игорь читал роман из старинной жизни. И там было одно предложение, которое ему очень понравилось, и он его крепко запомнил: «Если видишь, что тебя хотят ударить, бей первым!»

— Вот сейчас выйдем!

Они были вдвоем в раздевалке. Игорь не стал ждать, пока они выйдут, а ударил парня в скулу. Удар получился не очень сильный, парень только мотнул головой и сказал:

— Ну сейчас выйдем, погоди!

Игорь дал ему еще раз. Так они и шли рядом по проходу, парень грозился, а Алтынов всякий раз отвечал ударом, одновременно ужасаясь того, что с ним будет на улице. Вместе они вышли на освещенное крыльцо и по разметенной дорожке, плечо к плечу, бодро направились к воротам. Там парень, что-то неразборчиво пробормотав, до смешного слабо толкнул Игоря в грудь, круто повернулся и зашагал в другую сторону. А тот сунул руки в карманы и с облегчением, но еще ожидая подвоха и на всякий случай оглядываясь, пустился к дому.

В горячке его правая рука не сразу обратила внима-

ние на какую-то бумажку в кармане. Что это могло быть? Конфетная обертка или билет с оторванным контролем? Но только утром бумажки в кармане не было.

Он остановился под фонарем и разжал кулак. Это была записка. Сверху было выведено четко: «Игорю Алтынову». Сердце его застучало громко и резко. Он развернул и прочел: «Игорь! Я тебя люблю и уважаю. Валя Круглова».

Сперва он подумал, что его разыграли, но почерк был ее, ровный, с наклоном и нажимом, знакомый чуть не с первого класса. Дома он раз десять вынимал и тайно рассматривал записку. Он испытывал гордость, однако же все с большей примесью разочарования. Он снова представлял себе Валу, большую, спокойную медлительную, смотрящую на него долгим взглядом. Он и потом часто нравился таким вот крупным, вальяжным женщинам. Она была, пожалуй, ничего, может даже красива, но все-таки при чем здесь он?

Не зная женщин, он больше всего дивился ее отчаянной смелости, риску. Ведь записку могли найти, и даже он сам мог показать ее ребятам. Хотя в нем-то она была уверена.

Ни назавтра, ни потом он ничего ей не сказал, никак не ответил. И никогда не испытывал угрызений совести.

5

В школу пришла новая учительница физкультуры, Вера Николаевна. До нее был пожилой дядя, который все заставлял делать зарядку и устраивал кроссы, где первый же отставал. Здесь без кроссов тоже не обошлось, но многое на ее занятиях было и неожиданно. И вообще было приятно, что она миловидна, молода, почти их возраста, что с ней можно переброситься шуточкой. Когда она, белокурая, в малиновом спортивном костюме, входила в класс, мальчишки преображались, старались выглядеть молодцевато, подтягивались.

— Я ее знаю, она с Кубасовым гуляет, — сообщил во дворе Игорю и Паше Сухову Щучка. Они в ответ не удостоили его вниманием.

В физкультурном зале она ввела для ребят прыжки через «козла», но не просто разножкой, а ласточкой и кульбитом. Это было страшновато, но она сама, взяв в

помощники Толю Коляду, подстраховывала, стоя у края мата, в этом тоже была прелесть, хотелось отличиться, услышать похвалу.

Но главным новшеством стали эстафеты. Она разбила их на «первый-второй», потом команды разува-лись,— возникало ликование, если у кого-нибудь из противников пробивалась сквозь чулок голая пятка. Взяв с них обещание не шуметь, она выводила их в длинный коридор. Они разговаривали шепотом, как заго-ворщики.

Еще заранее она улавливалась с учителями, что если кто-нибудь будет выходить из класса во время урока, чтобы делал это осторожненько, не помешал им широко открытой дверью.

Школа стояла тихая, но заряженная шумом, готовая к взрыву на перемене. Да и сейчас ощущался еле слышно ее смутный, словно подземный гул.

Каждая команда выстраивалась в затылок по одному, и обе подходили к старту. Нужно было добежать до конца коридора, коснуться подоконника, повернуть назад и, проделав обратный путь, передать эстафету следующему.

Сперва бежали девочки, небыстро, по-девчоночьи разбрасывая в стороны словно связанные в коленях ноги. Потом включались мальчишки, азарт резко воз-растал, Вера Николаевна напоминающе прикладывала палец к губам.

Здесь Игорь Алтынов был в своей тарелке, здесь он был фаворит. Именно потому, что дистанция состояла из двух половинок. Ребята, с которыми он играл в фут-бол, знали, что Алтын бежит лучше всех. Бывший учитель физкультуры считал, что Алтынов бега-ет очень плохо. На 100 метров он приходил в числе по-следних, на 60 — примерно в середине. Но если бы про-водились забеги на 30 метров, он был бы первым, а на 20 или тем более 10 — и говорить нечего, тут уж ему не было равных.

Даже девчонки под конец заражались азартом — уже как зрители, нетерпеливо прыгали на месте, махали ру-ками:

— Скорей!

Все чувствовали свою причастность, ответствен-ность.

— Тсс!

Потом в зале хотелось еще попрыгать, повозиться — для разрядки.

— Обождите, — обращаясь к мальчишкам и улаживая Алтынову слух, говорила Вера Николаевна, — скоро в футбол поиграем.

Зимой появилась еще одна новенькая — в параллельном классе. Игорь шел на перемене по коридору среди гвалта и суеты, и его словно толкнули: смотри! Коротко стриженная, она стояла у окна и грызла яблоко. Он прошел мимо, не остановился, не стал пялиться. Только заметил — на ней кожаная курточка и что-то клетчатое, яркое. Так и осталось это ощущение яркости, необычности, а за плечами у нее зимнее пасмурное окно.

Потом услышал: Мещерякова Лариса. Отец — военный, служит где-то далеко, воевал на Хасане и на Халхин-Голе.

Она ни минуты не бывала одна, девчонки будто помешались, стояли и ходили, вцепившись в нее. Игорю показалось, что она этим слегка тяготится. Она не была старше их, она была взрослей.

Его чувство выразилось отчетливо: «Вот бы от кого записку получить!» Но подумал он об этом просто так, без всякой надежды. Он теперь старался при случае пройти мимо нее, но не взглянув в ее сторону, а если замечал, что она в другом конце коридора, шел навстречу.

Когда он видел ее издали, за чьими-то головами, он уже испытывал мгновенный краткий восторг и, если она не попадалась на глаза, ощущал смутное беспокойство.

Однажды он задержался в буфете, звонок давно уже прозвенел, и, взбегая через три ступеньки, он догнал ее на лестнице и почти остановился, глядя на ее ноги, клетчатую юбку, аккуратно остриженную голову. Она словно почувствовала, обернулась и, сторонясь, пропуская его, сказала с улыбкой:

— Опаздываем?

И этот не требующий ответа праздный вопрос наполнил его жгучей радостью, показался ему полным смысла, потому что как бы предполагал их общность, одинаковость их положения.

Он еще помедлил у двери, подождав, пока зайдет в свой класс она, и, сделав глубокий вдох, потянул дверь к себе и извинился за опоздание.

Едва подсохла площадка на школьном дворе, Вера Николаевна затеяла футбольные встречи, целый турнир, в каждом из старших классов образовали по команде. Пока девочки нудно прыгали в длину или неумело и однообразно играли в волейбол, при каждом ударе почти ловя мяч и снова его подбрасывая, ребята ненасытно упивались футболом, и сидящие за партами среди урока жадно улавливали близкие, гулкие удары, у них завистливо сжималось сердце. Вера Николаевна тоже играла с ними. В коротких, чуть ниже колен, шароварах, в тупоносых ботинках на крепких голых ногах, она сильно была по мячу, вызывая общее одобрение.

А Игорь, счастливый, перед игрой принаравливался к мячу, бил, подбрасывал, останавливал. Как всегда по весне, немного удивляло, когда мяч не слушался его, но Игорь знал, что нужно только напомнить ему о себе, как старому знакомому, который не сразу узнал вас после разлуки.

В тот день играли между сменами с десятым классом, и Игорь сразу ощутил особую приподнятость, когда игра пошла и у тебя все получается. С самого начала он выдал два таких паса, что ему следовало поклониться в ножки — именно в ножки! — но партнеры не сумели оценить их, а может быть, и сумели, но не подали виду. Тогда он сам двинулся вперед. Против него в защите играл Паша Сухов, и это было приятно — играть против своего, который не сделает тебе ничего плохого. Особенно же Игорь боялся неумеющих или играющих плохо, что для него было одно и то же, бьющих изо всех сил по мячу и попадающих тебе по ноге, когда мяч неожиданно убран.

Правда, Паша знал Алтына насквозь и мог угадать его ход, но и Игорю были известны Пашины слабости. Сухов поступал разумно, как можно теснее приближаясь к Игорю и стараясь отбить мяч, пока он еще к нему не попал. Но тогда он отрывался от ворот, и стоило Алтынову бросить мяч себе на выход, как он тут же оставлял Пашу за спиной. Сухов был обречен. Он отошел назад. «Ну, держись, сосед!» — лишь подумал Игорь — он не любил разговаривать на поле. С мячом в ногах, на скорости, внезапно притормаживая и меняя направление, он шел на ворота, словно на лыжах летел с горы. Он

проходил защитников так, что со стороны могло показаться, будто они нарочно пропускают его. Одного хава он обошел рывком, а перед Пашей приостановился, рванул было влево, но тут же всем телом показал, что пойдет вправо. Паша выкинул наперехват ногу, на миг потерял равновесие, и Алтын обошел-таки его слева. Вратарь был слабоватый, на ложные замахи реагировал с большим опозданием. Игорь просто вкатил ему мяч в дальний угол.

Вера Николаевна судила, а вокруг площадки стояло довольно много народу, и отучившиеся в первую смену и пришедшие ко второй. Подойдя к краю, принять мяч из аута, он увидел Ларису и испытал уже привычный краткий восторг, но больше ни разу не взглянул в ее сторону, только где-то в самой глубине радостно помнил, что она здесь. Среди толпы стояли и учителя и еще мелькнул человек — Игорю показалось, что он встречал его и раньше.

Игорь Алтынов играл. Его никто никогда не учил. Он только смотрел, как играют другие. А сейчас он делал, что хотел. У него был прием, он повторял его без конца, когда бывал один: за спиной подправлял левой ногой мяч на правую пятку и сразу бросал его через плечо вперед. Получалось не всегда, но когда получалось, это ошеломяло противника и производило впечатление на зрителей. И сейчас он проделал этот трюк. Но сам бить не стал, а перед воротами щедро откатил мяч своим под удар. Но попали во вратаря, тот, правда, отпустил мяч, однако успел судорожно вцепиться в него. Игорь медленно пошел от ворот, но, когда вратарь подбросил мяч для выбивания, мгновенно повернулся, высоко поднятой ногой перехватил мяч в воздухе и мимо растерявшегося голкипера пустил мяч в ворота.

Свои старались и помогали ему, как могли. Но особенно хорош был Толя Коляда — Игорь только успевал восхищаться.

Коляда держался всегда несколько обособленно, замкнутый, задумчивый, учился неровно, иногда отвечал неожиданно хорошо. Он играл центрального полузащитника. Высокий, длинноногий, на поле он словно пробудился. На поле это был Король. Он прерывал почти все атаки, перехватывал мячи головой или вытянутыми, как шлагбаум, ногами. И неожиданные пасы его из глубины, и удары издали по воротам—все было пре-

восходно. В конце игры он, пройдя далеко вперед, отдал Игорю, а сам продолжал двигаться, и Игорь дал ему, тут же получив мяч обратно. Паша Сухов угадал, что Игорь не будет бить сам, а снова отдаст Коляде, бросился наперехват, но опоздал самую малость. Теперь они вдвоем очутились перед воротами. Коляда замахнулся своей длинной ногой, но тоже не пробил, а вновь откатил Игорю. Вратарь уже лежал. Алтынов показал, что сильно ударит, но вновь дал мягкий пас Коляде, отвернулся и пошел к центру. Коляда засмеялся и легонько бросил мяч через вратаря.

Вслед за свистком залился звонок — на занятия, толпа смешалась, стала расходиться. Футболисты потянулись умываться: за школой, внизу, был кран для поливки, они подставляли под струю руки, брызгаясь и мешая друг другу.

Игорь выбрался, утираясь мокрым носовым платком, и услышал рядом ее голос. Тогда, во время игры, он увидел ее и ощутил радость, но ее присутствие не относилось только к нему. А теперь она подошла. Женщины любят героев и поклоняются им!

— Ты хорошо играешь, — сказала она и пожала ему руку, — я в этом разбираюсь, у меня брат играл.

Она остановилась перед ним, почти касаясь его, он никогда не стоял так с девушкой. И лицо ее было так близко, что слегка расплывалось перед глазами, и у него чуть не закружилась голова.

— А кто твой брат? — выговорил он.

— У меня брат летчик.

— А-а! Это хорошо...

— Алтын! Вера Николаевна вызывает! — кричал Коляда.

Вера Николаевна сообщила, что их игру смотрел Кубасов и предлагает троим — Сухову, Коляде и Алтынову — записаться в юношескую команду «Чапаевец».

7

Они пришли с Пашей на маленький заводской стадиончик, Коляда был уже там, они сели рядом с ним на скамеечку. На едва начавшем зеленеть поле, вытаптывая непрочную еще траву, возились с мячом несколько парней в желтых майках. Особенно бросался в глаза

один — широкий в плечах, круглоголовый, он лепил с обеих ног, как машина. Ноги у него были могучие, резко утолщающиеся кверху от колена.

Появился Кубасов, остановился, засунув руки в карманы.

— А, пришли? Хорошо. Ты и ты — на Пашу и Коляду — в защиту, а с тобой...

Игорь смотрел на него во все глаза. Кубасов обернулся к полю и крикнул:

— Барабанов!

Широкоплечий подкинул мяч, еще раз, как из пушки, пустил его в ворота и направился к скамейке.

— Барабанов! С тебя причитается, я тебе напарника нашел, вот знакомьтесь.

Они сдержанно пожали друг другу руки.

— Все! Вы тоже раздевайтесь! — и сам потянул через голову рубашку. — Сейчас по воротам постучим. — И окинул встречным взглядом Игоря: — Больно уж ты тощей, парень!..

Начали бить по воротам, в них стал самоуверенный гибкий малый в черном свитере, но чем сильнее и точнее били, тем большим уважением проникался к нему Игорь, тот был прирожденный вратарь, не хуже самого Платова. Он кидался молниеносно и совершенно бесстрашно, отражая чудовищные удары Кубасова и Барабанова.

— Хорошо, Евтеев, — похвалил его наконец Кубасов. — Растешь!

А Игорь по воротам почти не бил, но очень удобно и естественно бросал под удар другим — кому под правую, кому под левую, кому на голову. Лишь изредка, неожиданно сам посылал мяч то в верхний, то в нижний угол, заставляя Евтеева пластаться в воздухе и напоминая, что тоже не лыком шит.

— Давай, левой тоже работай, — говорил ему Кубасов. — А то одноногим так и помрешь. Ах, потяжелей бы еще удар, цены бы не было. Верно ведь, бодливой корове бог рогов не дает. Но ничего, мяса наберешь, были бы кости.

Потом поиграли в двое ворот. И тут они вправду поняли, насколько подходят друг другу. Барабанов был не по годам силен, пробоен, а у Алтынова давно уже обнаружилось редкостное для его возраста умение и желание разыграть мяч, приобщить партнера. Он мог

дать хитрейший пас, но Барабанов умел его оценить и использовать. Он схватывал с полувзгляда, и это было замечательно. Они вскоре уже чувствовали себя словно в хорошей дружной компании, но знающими еще что-то такое, чего не знают остальные. Игорь уже отдавал ему пас, глядя в другую сторону, а тот как гвозди вколачивал.

— И ему давай, и ему давай, на ход, на ход! — подсказывал Кубасов.

Новенькими он остался доволен, велел обождать и вскоре вынес из дощатого павильона с надписью «Раздевалка» и раздал им форму — черные трусы и желтые хлопчатобумажные майки-футболки с длинным рукавом, белыми манжетами и воротничками.

Вероятно, при желании это нетрудно было приобрести в магазине, но тут было совсем другое. Получить форму из рук Кубасова — это было событие, которое взволновало их и, потом оказалось, запомнилось на всю жизнь.

— Бутсы будете получать только на игру!

По дороге со стадиона поговорили. Барабанов учился в техникуме и был на год моложе Игоря. Он носил черный флотский ремень с бляхой.

...И команда вскоре заиграла, загремела, обыгрывая всех подряд в округе. Даже Игорь никогда еще не получал от футбола такого удовольствия. Сзади играли свои — Паша и Толя. Их пасы ему из глубины были как по знакомству. А дальше он уже выбирал, что сделать, как поступить — рвануться ли вперед самому или бросить в прорыв своего правого крайка, маленького крепенького Полунина, или пробить по диагонали влево, где уже готов выйти на мяч ловкий, мелкокучерявый Витька Хмель, или разыграть одно из мгновенных представлений с участием двух актеров — Алтынова и Барабанова.

Команда пока что обыгрывала всех и многих — крупно, но был главный противник, известный только понаслышке, такой же, как у первой мужской команды, — ПРЗ — «Локомотив».

Теперь он был знаком с ней; встречаясь, они здоровались, но он чувствовал себя скованно и не знал, о чем говорить. Он заметил, что она приходит в школу к само-

му началу, и минут за десять до звонка становился в классе у раскрытого окна. Старшие классы помещались на втором этаже, и дорога была хорошо видна. С безразличным видом рассматривал он текущий к школе, все густеющий поток, мельком взглядывая на своих закадычных друзей, на давным-давно знакомых ребят и девчонок. Потом поток начинал редеть, последние спешили поодиночке. Класс наполнялся. Алтынова охватывало нарастающее чувство опустошенности, не только не слабеющее от ежедневного повторения, но с каждым разом делавшееся острее и безвыходнее. И почти тут же он испытывал такое внезапное и глубокое облегчение, что сам поражался: у ворот показывалась она. Очень стройная, чуть покачивая небольшим портфелем, она шла легко и быстро, но не было впечатления, что она спешит. А рядом обычно семенила одна из подруг. Ему требовалось несколько минут, чтобы вполне прийти в себя после пережитого волнения.

Он уже привык как бы удовлетворяться таким положением. Учебный год кончался, а он еще не нашел случая встретиться с ней.

Перед экзаменом по литературе была консультация сразу для обоих параллельных классов. Он сперва не хотел приходить, решив почему-то, что ее не будет, но все же пришел. Сидели тесно. Народу набралось много, ее действительно не было. Вошла преподавательница, Галина Ефимовна, и уже вслед за ней тут же появилась она. Он ничего не слышал, ничего не понял. Он никогда еще не сидел с ней в одной комнате. Она пристроилась впереди, — он никогда еще так подолгу не смотрел на нее, на ее коротко стриженную голову, незащищенную шею. Когда консультация кончилась, многие сгрудились у стола, стали спрашивать дополнительно, но она поднялась и вышла, и он сразу вышел вслед за ней. Он догнал ее на лестнице, она кивнула ему, и они пошли рядом по коридору, потом по дорожке к воротам, по улице. Он предполагал, что они перекинутся несколькими словами на крыльце и расстанутся, и еще не мог опомниться от сознания того, что идет рядом с ней, даже не смотрел на нее, только чувствовал изредка мучительно-мимолетное прикосновение ее плеча.

Она повернула к нему голову и негромко спросила: — Не боишься?

— А чего бояться? — небрежно ответил он.

— Экзаменов, конечно.

Он был несколько разочарован.

— Мать боится, — сказал он доверительно. — Думает, не сдам из-за футбола.

— А за меня мама спокойна. Ну, а папа тем более.

— У меня отец тоже... А твой что, на Хасане был?

— Да, он во многих местах был. Понял?

— Понял. В Испании? А сейчас он где?

— Служит. Там старших классов нет, вот мы и приехали сюда к тете, к маминой сестре.

Разговор получался неожиданно простой и серьезный.

На углу они остановились, и она опять стояла от него неправдоподобно близко. Он видел рядом ее нежно-красный рот, отчетливого, завершеного рисунка, и все в ней было как бы очерчено — грудь, ноги, трогательно подстриженная сзади шея.

Она тоже внимательно и быстро посмотрела на него.

— Я тебя как-нибудь в гости позову. Придешь?

— Конечно, приду, — ответил он. — Ты чего смеешься?

— Потом скажу.

День выдался жаркий. Когда Игорь шел к дому, у него под ногой пружинил, вдавливался местный асфальт, на нем оставались медленно затекающие отпечатки.

9

Экзамены он сдал, по основам дарвинизма получил пятерку, а за сочинение четверку, тему взял Чернышевского «Что делать?» и ни одной ошибки не допустил, у него была врожденная грамотность, но написал, что Рахметов мог бы для тренировки воли и тела подобрать упражнения получше, чем спать на гвоздях. Этого ему Галина Ефимовна не простила. Ну, а остальные — птицы-тройки. Теперь они все были свободны — только Паша Сухов еще сдавал — и готовились к игре с «Локомотивом». Игры, собственно, должно было состояться две — на их поле и на своем — через неделю.

Он встретил ее снова, когда шел на тренировку, шагал по щербатому тротуару, а она ехала навстречу на велосипеде по краю мостовой и была отделена чахлой

полоской газона, но сразу заметила его и соскочила с машины. Он перешагнул через одну и другую ограду, приблизился, — как ему показалось, хорошо скрывая радость.

Велосипед был дамский, чуть меньше обычного, ярко-красный, с деревянными ободами на колесах.

Он удивился:

— Наверно, тяжело?

— Ничего. Зато уж «восьмерки» не будет.

Заднее колесо было защищено красно-синей шелковой сеткой, чтобы не попадало платье. А на руле, около звоночка, лежала ее маленькая, но скорее женская, чем детская, рука.

— Откуда такая машина?

— Из Риги. Хочешь попробовать?

Он взялся за седло и руль, его рука коснулась ее руки, и несколько секунд их руки были вместе. Потом он сел, оттолкнулся и поехал. На него оглядывались, а он, сам не понимая, зачем уехал от нее, развернулся и, набрав скорость, резко затормозил.

— Ну как? — она улыбалась.

— Жалко, рамы нет, — нашелся он наконец, — я бы тебя посадил. — И действительно очень захотел этого: она впереди на раме, сидит, свесив ноги, ее волосы возле его лица. Но своего велосипеда у него, конечно, не было.

Они стояли на краю мостовой, между ними был ее красный велосипед, они оба держались за него, едва ощутимо касаясь друг друга руками. Она говорила, он близко смотрел на ее губы.

— В субботу вечер в школе. Придешь? Я тебя буду ждать.

— Ты знаешь, я не могу. У меня игра на выезде.

— Конечно, я понимаю.

— Ты знаешь, никак невозможно, — повторил он почти с отчаянием.

Ужасно не повезло, что так совпало, но в глубине души он сознавал, что это не было жертвой и что, если бы ему приказали, заставили остаться с ней на вечере, это тоже было бы ужасно.

— С «Локомотивом»?

— Да, а через неделю, в ту субботу, здесь. — И пригласил, так же как она: — Придешь? Я буду ждать.

— Наверно, приду, — сказала она просто.



На тренировку он опоздал, но Кубасов не сделал ему замечания. Когда играли в двое ворот, кто-то из ребят крикнул:

— Алтын, ты чего сегодня как вареный?

Паровозоремонтный завод был предприятием богатым. Команда, как и взрослая, одета в шелковые красные футболки с двумя белыми продольными полосами и в белые, тоже шелковые, с красным лампасом, трусы. Все рослые, здоровые, — чапаевцы рядом с ними выглядели мелкогато.

Игра не получилась, она получиться и не могла. На стадионе набралось довольно много народу, и только поэтому решили все же играть. Дело в том, что вдоль поля, от одних ворот к другим, дул очень сильный, ровный и жесткий ветер. Флаги на мачтах были как жестяные.

Первый тайм железнодорожникам выпало играть по ветру. Не сразу смогли начать — мяч, положенный на центре, не лежал, а катился. Судье пришлось поставить на него ногу и лишь тогда дать свисток. А в воздухе мяч вел себя нелепо и, пущенный к воротам Евтеева, планировал и коварно менял направление, сам делая финты в неуловимых порывах ветра. Выбитый Евтеевым с рук, он поднялся над штрафной, и тут же его стало сносить обратно в ворота. Коляда в прыжке, пятясь, отбил его головой на корнер. Подали далеко за ворота. Чтобы подать во вратарскую площадку, нужно было бить в направлении центрального круга.

Игорь пытался продрасться вперед, вывести Барабапова, но и без мяча пройти к воротам противника было трудно, а отдать пас совершенно немыслимо, и он чувствовал, что без паса выглядит слабо. Тараня стену ветра, он вскоре выбился из сил. Однажды ему удалось протащить мяч до штрафной, но тут его встретил их капитан, защитник с черными раскосыми глазами, зацепил, сбил с ног. Игорь не сразу смог подняться, так он устал. Судья дал штрафной, но мяч, пушечно посланный Барабановым, едва достиг вратаря.

А те били по воротам без конца. Мяч их тоже не слушался, они не могли его догнать, но каждый удар представлял угрозу для защиты и Евтеева. Чаше дру-

гих выходил на ворота их левый инсайд с сильным ударом и широкими бедрами, видимо вследствие второй этой особенности носящий прозвище — Баба. Так к нему обращались партнеры. Он забил два мяча из трех.

Со стороны матч выглядел комично. Стадион сперва смеялся, а потом и ему это надоело.

Начни чапаевцы по ветру, может быть, и они могли бы выиграть. Но теперь, ко второму тайму, они были слишком измучены бессмысленной борьбой, и Барабанов сумел только размочить счет.

— Ничего! — сказал Кубасов мрачно. — Игра! Полезно и это попробовать.

— Дома мы их разорвем! — пообещал Барабанов.

На другой день, в безветрие, проиграла «Локомотиву» и первая команда «Чапаевца».

Через неделю предстояли ответные встречи.

11

Во вторник, после тренировки, которая, как обычно, состояла из ударов по воротам и двусторонней игры, Игорь отозвал Коляда и сказал таинственно:

— Алтын, надо отметить.

Тот изумился:

— Что отметить?

— Ну как? Что учебный год окончили. У Барабана есть.

— А что у него? — спросил Игорь с испугом.

Вина в их доме не держали. Мать не одобряла даже редких выпивок отца. Она многого в отце не одобряла. Игорь любил и отца, и мать, но их трудно было любить вместе, настолько разны были их суждения и поступки. Все же ближе ему был отец.

— «Спотыкач», — охотно сообщил Коляда.

— Ну, пошли, — согласился Игорь неуверенно.

Они по одному незаметно отстали от остальных — Барабанов, Евтеев и их двое. Лес начинался сразу за заводским стадионом. Нынче Игорь еще ни разу не бывал в лесу и сейчас пожалел об этом как о невольной утрате. Листва набрала силу, но не успела еще потемнеть, в сочной траве было мало нового лесного мусора. Перед вечером лес весь светился — березы естественным дневным светом, сосны будто лампы, и даже стволы осин излучали зеленоватый свет. Сколько набирал он когда-то грибов в этом лесу, в этом осиннике, среди

папоротников, слева от дороги. Однажды, едва вошли сюда и не успели еще разбрестись, он с екнувшим сердцем увидел в зелени большой рыжеголовый подосиновик и, пока другие не заметили, небрежно сказал, направляясь к нему:

— Чур, мой!

— Погоди, погоди, Алтын! — закричал тогда Щучка. — Там змея, гадюка, я видел, под шляпой обвилась.

Все остановились, а Игорь, поколебавшись, поширял палкой вокруг гриба, наклонился и срезал. Никакой змеи, конечно, не оказалось. А подосиновик был хорош, крупный и одновременно чистый, первый, он особенно дорог, потом это ощущение немного — совсем немного! — тускнеет, когда у тебя почти полная полумерная. а то и мерная корзина.

Теперь они прошли по длинной просеке, рассекающей разнообразный смешанный лес, и очутились на поляне. Она была очень ровная, почти круглая, и обставлена прямыми старыми березами и соснами с многослойной внизу, на комлях, могучей корой.

— Зря мяч не взяли, — сказал Евтеев, — могли бы мне здесь постучать.

— Тебе бы все мячик, — осуждающе вздохнул Коляда, садясь возле широкого березового пня.

Закуска была не ахти какая: полбуханки хлеба, сырок и банка кабачковой игры. Домашняя стопочка, извлеченная из кармана Барабанова, выглядела довольно вместительно, но при исследовании выяснилось, что литое толстое дно занимает в ней ровно половину объема. Пили по очереди, что несколько лишало торжественности, заставляло спешить, потому что стопочка требовалась следующему. Вино было густое и приятно пахло. Первую Игорь выпил даже с удовольствием.

Это был пир избранных.

Выпили за удачное окончание учебного года, без перекзаменовок на осень — те у себя, эти у себя. Потом за дружбу. Жалко, что нельзя было чокаться.

Евтеев повалился на спину, задирая по очереди правую и левую ногу за голову.

— Да брось ты!

— Вратарь должен быть всегда готов.

— Не вратарь, а пионер.

— Сейчас выходит, например, из кустов Старостин и говорит: «Давай я тебе пробью...».

— Какой Старостин? Их четыре брата.

— Три!

— Да нет, четыре: Николай, Александр, Андрей и Петр. Все из «Спартака».

— У Николая, говорили, на правой ноге череп нарисован и кости, и написано: «Смертельно!»

— Это дети говорят.

— Еще у них Леута, Соколов, Глазков, — перечислял Коляда, — Семичасный.

— Семичасный в «Динамо», — поправил Игорь.

— Федотов.

— Федотов в ЦДКА. «Спартак» его для укрепления брал.

— А вратари Жмельков и Акимов, — вздохнул Евтеев. — Как думаете, нас возьмут когда-нибудь в «Спартак»?

— За воротами трусиками махать.

— А почему, могут взять! Толя, да?

— Нужно говорить не «Толя, да?», а «Коля, да», — сказал Игорь.

— Почему? — ахнул Барабанов.

— Ко-ля-да! Понял? Коляда.

Темнело. Они были веселы, счастливы, мешало только, что в бутылке порядочно оставалось и еще предстояло пить. Теперь «Спотыкач» был очень сладким и вязким.

— А я буду играть, — произнес Барабанов задумчиво. — В «Спартаке» не в «Спартаке», а буду.

— Может, костер разжечь? — спрашивал Евтеев.

— «Мой костер в тумане светит», — тянул в ответ Коляда.

А за стволами, вдалеке и вверху, гасло небо, становилось сыро, холодно. Они встали и, громко разговаривая, пошли по темной просеке.

— Игорь, вот ты объясни... Толя, погоди... Игорь, объясни мне, как ты их обходишь, в чем секрет?—говорил Евтеев, обняв Алтынова за плечо.

— Сейчас объясню. Вот по улице идешь, а навстречу человек...

— Девочка, — вставил Барабанов.

— Неважно, но можно и девочка, и вот ты направо, и он туда же, ты хочешь его пропустить, берешь левей, а он опять туда же. И тут он остановится, так запутался, хотя ты и не хотел его запутать. А я, когда с мячом, хочу его запутать, а это еще легче! Понял?

— Понял! Молодец!

— А я не понял, — бубнил Коляда.

В городе пошли чинно и вскоре дружески, растроганно расстались. Игорь двинулся бодрой, пружинящей походкой, думая то о Ларисе, то об игре с «Локомотивом», о той, что была и которая будет. Вблизи дома почувствовал себя нетвердо, сел на скамеечку переждать, но хорошего самочувствия не прибавлялось. Тогда он свернул в переулок, к водоразборной колонке, нажал на рычаг, неудобно согнулся и сунул голову под струю. Потом он долго вытирался, сняв рубашку, и стряхивал воду с брюк. Впрочем, родителей дома не оказалось, он благополучно улегся и, засыпая, удовлетворенно подумал: «А здорово, что игра не завтра...».

12

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Поле городского стадиона у реки, где он ни разу еще по-настоящему не играл, а лишь прежде пролезал иногда с ребятами постучать, пока не погонят, было ровно-зеленого приятного цвета, только на штрафной трава была заметно повыбита, а у ворот, на которые уже навесили сетки, темнела совсем голая земля. Он оглянулся на пеструю трибуну и, конечно, не увидел Ларису, но остро ощутил, что она здесь и будет смотреть игру. Где-то на трибуне был, наверное, и отец. У самой бровки, как всегда, разобрались: Барабанов первым, за ним Евтеев, потом, по росту, но не строго, Коляда, Сухов сам Игорь шестым или седьмым, следующий Хмель, а последним маленький Полунин. Потрусили поперек поля и у начала свеженаведенного круга пошли по дуге влево. «Лотомотив», блистая формой, уже вставал напротив.

Стройно, но не надрываясь выкрикнули «Физкульт-привет!», Барабанов с их раскосым капитаном подали друг другу руки. Все! Напряжение, так и звеневшее в нем, разом отпустило.

«Локомотив» наступал правым краем. Оттуда навесили в штрафную, но длинный Коляда головой выбил мяч чуть не к центру. Хмель подобрал его, но тут же потерял снова. И вот уже из вратарской, «ножницами», через себя, отбивает Паша Сухов. Что же, и ветра нет,

а опять в одни ворота? Железнодорожники давят. Баба, сам как паровоз, проходит защиту, но чуть отпускает мяч, и Евтеев беззаветно, лицом вперед, кидается ему под ноги. Если уж он взял мяч, значит, взял, не выпустит. А через минуту их правый крайний наносит удар в самый угол. Евтеев, как бы лежа на боку, стелется над землей, прогнув спину, до предела вытянув руки, и достает самыми кончиками пальцев. Мяч от его перчаток попадает в штангу, отскакивает в поле, но Евтеев, опередив всех, упавший, взлетает, как на пружинах, и накрывает его.

А вскоре они прорываются втроем, и Баба с пяти метров бьет в «девятку». Ничего поделывать невозможно.

И тут игра неожиданно изменилась. Причину не каждый мог объяснить, они ее и не доискивались, но это сразу почувствовали все — и обе команды, и зрители.

Раз за разом Игорь стал получать мяч. И пошли в ход его опасные пасы. Вот он, обыграв хава, бросил в прорыв Полунина, тот покатился по самой ленточке и хлестко подал на ворота. Витька Хмель завис в высоком прыжке, склонил голову к плечу и, резко мотнув ею, послал мяч в верхний угол, но вратарь угадал и взял его. Теперь Игорь пошел прямо на их капитана и поймал его на финт — выпад вправо, ложный рывок влево и уход опять вправо. Второго защитника, бросившегося наперерез, он пропустил, внезапно притормозив, и с новым ускорением вышел на ворота. Осталось точно пробить, но помешала неприметная неровность поля, способная обмануть хитрее всякого ловкача, — мяч не так отскочил, сорвался с подъема, пошел мимо. Потом Игорь щечкой, через головы защитников, мягко и точно выдал пас-ватерпас Барабанову, и тот нанес свой излюбленный, прямой как стрела удар. Мяч смачно влетел в перекладину, Барабанов обернулся к Алтынову и развел руками, что должно было означать: «Извини, сделал, что мог».

Свистка на перерыв Игорь не расслышал, только увидал, что все пошли к раздевалке. Там, стянув с себя майки, сели на скамью и слушали, что говорил Кубасов, — Игорь ничего не понимал, кроме отдельных слов: «Правильно!», «Так и надо!» — но сам вид Кубасова его ободрял.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Опять пошли вперед, но случилось то, что уже было в первом тайме, — «Локомотив» начал давить, и минуте примерно к десятой — часов на стадионе не было — произошло самое неприятное: чапаевцы пропустили второй гол. Баба, за которым смотрели теперь в оба, получил слева пас, раскачивая широкими бедрами, вошел в штрафную, изготовился бить и, когда его закрыли, отбросил центру, а тот без сопротивления вколотил мяч в ворота.

Воцарилась тишина. Стадион понимал, что либо все уже решено, либо, если это не так, сейчас, на его глазах, должно случиться необыкновенное. Многие обратили внимание на то, что сразу после гола Игорь подбежал к Коляде и что-то сказал ему. Что это могло быть: упрек? утешение? Нет, это были вполне деловые слова: «Толя, ну, ты дашь мне на выход?»

И Толя дал. «Локомотив» продолжал уверенно напирать, желая поскорее дожать противника, лишить его малого шанса, самой слабой надежды. И тут от своей штрафной, вдоль по центру, в открывшийся на мгновение коридор между игроками, словно опомнившись, Коляда выделил ему длинный, как удар бича, снайперский пас. Алтынов рванулся вовремя, ловко пропуская мяч у себя под ногой, подстраиваясь к нему и как бы на несколько секунд составляя с ним нечто единое. Это было сделано так быстро и точно, и он миновал всех с той поразительной легкостью, когда кажется, что это не стоит труда. Перед ним был только их капитан, рослый защитник с черными раскосыми глазами. Игорь пустился на старую уловку: сделал вид, что слишком отпустил мяч, что теряет над ним контроль, и защитник почти остановился, посчитав его своей верной добычей. Он просто не сознавал, какая у Алтынова скорость. В тот же миг Игорь молниеносным рывком достал мяч и, бросив его себе вперед, оставил защитника позади, только чиркнуло по подошве, по шипам, — это раскосый бил ему по ногам, но не дотянулся.

Вратарь бросился навстречу, ему тоже показалось, что он успеет к мячу раньше, но тут же запоздало попытался в ворота. И пока он пытался, Игорь низом ударил в угол.

Но «Локомотив» не выказал никакого смущения.

Это снова была сильная и уверенная в себе команда, отчего она делалась еще сильнее. Она заработала, как машина, и то, что это случилось после пропущенного гола, говорило о ее здоровье и несокрушимости. И не в «Локомотиве», а в «Чапаевце», который уже было подумал, что игра переломлена, вдруг что-то дрогнуло. Его растерянность была мимолетной, но ее оказалось достаточно. В течение двух минут железнодорожники несколько раз не забивали только чудом. И вот Евтеев непостижимым образом отразил сильнейший мяч, пробитый почти в упор, и не успел вскочить к повторному удару. Мяч пошел под самую планку, и Паша Сухов в прыжке, не доставая головой, на всякий случай поймал его руками.

Огорчение трибун было столь глубоко, что даже пацаны не осмелились понестись к воротам.

Одиннадцатиметровый. Кто же у них бьет? Баба, что ли? Нет, к мячу со своей половины поля бежал капитан. Игорь понял, что он из тех, кому не нужно обманывать вратаря, нужно только попасть в ворота. И правда, в жуткой тишине, которую Игорь не слышал — как, впрочем, и шум, — тот разбежался и пустил свое ядро в метре от пригнувшегося Евтеева. Удар был настолько могуч, что Евтеев не успел схватить мяч или даже коснуться его руками. Но, как истинный голкипер, он успел инстинктивно метнуться в ту сторону. Мяч попал ему в плечо, — у многих создалось впечатление, что Евтеев оказался на земле не сам, а сбитый с ног этим ударом. Но мяч отскочил от него за линию ворот. Не в ворота!

И опять произошла перемена. Теперь преобразился «Чапаевец». Это была другая команда. Исчезли беспомощность, скованность, и это ощущение было прекрасно. Теперь отбивался уже «Локомотив». Игорь опять бросил в прорыв Полунина, тот не подал, как делал чаще всего, а, срезав угол, вошел в штрафную, отдал Хмелю, а Витька со своим хавом и краем раскрутил локомотивскую защиту, как на карусели, и кинул мяч под удар Барабанову. Он пробил с левой с поворотом, мяч по пути кого-то еще задел, попал в штангу и от нее в сетку. 2:2!

Теперь они уже знали, что выиграют, хотя сами пропустили вскоре еще один гол. Баба сильно пробил издали, Евтеев бросился, но Коляда, желая перехватить

мяч, вытянул длинную ногу и всадил мяч в другой угол. Но и это их не сломило. Атаки их нарастали. Вот Игорь получил мяч из глубины, от Паши Сухова, и сразу, будто кто ему подсказал, увидел бегущего вдали слева Барабанова. Между ними словно прошла искра. Верхняя передача Алтынова была — как вольтова дуга. А тот с правой, с ходу, вlepил в верхний угол. Здорово у него работали обе его колотушки.

Чапаевцы продолжали наступать. Раз за разом, желая искупить вину, неосмотрительно шел вперед Коляда, вызывая, однако, всеобщее одобрение. Вот он послал мяч в штангу, тут же ударил Барабанов, попал в защитника, и мяч отскочил к Игорю. Прямо перед ним были двое, плечо к плечу, можно было их обходить справа или слева, но он с мячом нырнул между ними, произведя корпусом два таких правдоподобных финта, что они потеряли ориентировку и развалились, пропуская его. Вратарь бросился в ноги, под удар, но Алтынов ударил чуть позже, когда тот уже лежал.

4:3! — они впервые вышли вперед. Они очень устали. Им что-то кричали, с трибун и с дорожки, но они не понимали, сколько осталось до конца. «Локомотив» еще попытался отыграться, но это уже не было прежним давлением, просто железнодорожники шли на чужую половину и старались ударить. Один из таких высоких навесов выбил из штрафной Коляда. Игорь подхватил мяч и заметил впереди, на обычном его месте, чуть левей, Полунина. Игорь дал ему пас далеко за защитников, на ход. Полунин рванулся, мяч догонял его, показалось, что он попадет ему в спину или в затылок, но нет, мяч, как по заказу, пролетел над плечом и показился перед ногами. Полунин чисто выходил на ворота. Вратарь обреченно выбежал вперед, все же надеясь испугать, сбить с толку, но Полунин еще уклонился влево и пустил мяч по земле. И они оба, он и вратарь, остановились и смотрели, как мяч вкатывается в ворота.

Это была победа.

Потом неожиданно многие зрители повалили на поле, — оказалось, что кончилась игра. Кругом были улыбающиеся, радостные лица, но Игорь догадывался, что по-настоящему счастливы они сами будут потом, что сейчас они для этого слишком устали.

— Где же у вас мешок, голы складывать? — кричали мальчишки «Локомотиву».

— Молодцы! — сказал Кубасов в раздевалке. — Нам бы завтра так!

Это была высшая похвала.

13

Они немного остыли, очень медленно оделись.

— Искупаемся? — позвал Барабанов.

Публика уже растеклась, лишь самые отъявленные любители ждали их и пошли к реке вслед за ними. Был уже вечер, но он почти ничем не отличался от дня: солнце стояло еще высоко, было светло и лишь не так жарко. Но река была вечерняя, тусклая, с красновато-лиловым подсветом.

Толпа смотрела, как они раздеваются — длинный, как верста, Коляда, широкий в кости Барабанов, мальчишески легкий Алтынов. Сами зрители деликатно не купались.

Игорь, вытянув вперед руки, нырнул в прогретую за день воду, с открытыми глазами пошел вниз, видя перед собой увеличенные пальцы рук, а потом гладкие камни на песчаном дне. Тело охватило холодом, но это было только приятно. Он резко оттолкнулся руками от дна, перевернулся и полетел в стремительно светлеющую высоту. Теперь наверху было еще теплей, чем раньше, он, раскинув руки, блаженствуя, немного полежал на воде и саженками быстро вернулся к берегу.

Он опять был свеж, как когда-то после мытья ног под краном, — хоть снова на игру.

Утереться было нечем, переодеться негде, да и не во что. Они сильно отжали трусы прямо на себе, это, правда, сделалось заметно вскоре после того, как они натянули брюки, — особенно сзади, — но самим им не стало холодно.

Толпа почти разошлась, и тут он увидел Ларису, и как бывает во сне или в кино, она была только что в отдалении и вдруг приблизилась, заполнила весь экран, — так радостно он к ней бросился.

— Здравствуй! — Он совершенно забыл про нее!

— Это называется: буду ждать? — поинтересовалась она снисходительно.

— Я и жду! В порядок себя немножко привел, — он посмотрел на свои брюки, и она засмеялась:

— Ладно, первый раз прощается... — и взглянула через его плечо.

Он обернулся: в двух шагах стоял Барабанов.

— Познакомьтесь! — предложил Игорь.

Она довольно безразлично подала ему руку, а он разве что рот не раскрыл. Игорь усмехнулся про себя, но все же его запоздало кольнуло: «Зря познакомил!»

— Пошли? — обратилась она к Игорю, но Барабанов сделал вид, что это и его касается, и они вышли со стадиона втроем. На улице она неожиданно взяла их обоих под руки.

Над районным городком все длился, светлел вечер. В городском саду заиграла радиолa, там, в аллеях, было, наверно, уже сумеречно и зажгли фонари. Над рекой пластами висел туман, меж домами лиловел воздух.

Они оба были в белых рубашках, в слегка намокших брюках, которые, впрочем, уже высыхали, она в синем платье шла между ними. Когда Игорь косился вниз, он видел, как она стройно выносит вперед ноги в белых носочках. Он по-прежнему остро чувствовал сквозь рубашку ее руку, — полному счастьем мешало то, что она так же держит Барабанова.

Они степенно, в ногу, двигались по шербатову тротуару. И вдруг она сквозь рукав захватила пальцами его кожу и несильно ущипнула. Его, как током, пронзило нежностью. Она ущипнула снова, сильнее, он не подал виду. Она, спокойно разговаривая, очень больно, словно с негодованием, скручивала ему кожу, а он испытывал сладкое удовлетворение, что этого не знает никто, кроме них. Он был уверен, что Барабанова-то уж она не щиплет.

На углу одноэтажной, уже вечерней под старыми липами, улицы Робеспьера она остановилась, отпустила Барабанова и сказала ему вежливо:

— До свидания. А нам сюда...

Он опешил, а они пошли вдвоем под старыми, еще не зацветшими липами, разом оглянулись — его уже не было, — она рассмеялась коротким нервным смешком и убрала ладошку с его согнутой в локте руки.

— Это разве твоя улица? — спросил он, чтобы что-то сказать.

— Нет,

Прошли несколько шагов, он сам скованно взял ее под руку, пообещав тихо:

— Я шипаться не буду.

В тени лип было почти темно, они сели на пустую лавочку под чьим-то глухим серым забором. Она, словно всматриваясь, приблизила лицо:

— Помнишь, ты спросил, чего я смеюсь? У тебя глаза такие смешные, я все смотрю: не то серые, не то зеленые...

— А у тебя, — и задохнулся, не смог договорить, коснулся губами ее лица, а она, закрыв глаза, мягко и длительно поцеловала его в губы. У него словно молния ударила перед глазами.

— Ты зачем его с нами повел, — отрываясь, быстро и ласково сказала она, — Игорище поганое?..

Договорились встретиться завтра, когда стемнеет, около городского сада.

14

Утро было ясное, солнечное. Он проснулся с ощущением полного счастья и лежа стал вспоминать, перебирать весь вчерашний бесконечный день, все более радуясь и изумляясь. И среди многого, что захлестывало его — и игра, и как они шли вдвоем по улице, и скамеечка под липами, — волновало больше всего то, что они встретятся сегодня.

Это не было лишь воспоминанием о прошедшем дне. Наоборот, все только начиналось!

Он опустил на пол ноги и начал рассматривать полученные вчера ссадины и царапины — ему немало досталось. Вывернув наружу правую руку и легко напрягая небольшой, но твердый, как камень, бицепс, потрогал пальцами левой руки еще бледный, желто-зеленый синяк.

После завтрака он спустился во двор. Посреди двора, на солнышке, бросали ножичек пацаны, и Щучка одобритительно крикнул ему издали:

— Здорово вчера сыграл, Алтын! А потом бабу в кусты повел!..

Игоря мгновенно охватило такое бешеное возмущение, такая ненависть, что у него раздулись ноздри. Лет уже, наверно, тринадцать, а все как дурачок! Но откуда

он знает? Особенно задело и покорило, что он назвал ее бабой.

Едва сдерживаясь, Игорь медленно пошел в сторону мальчишек, Щучка поднялся с колен, готовый к бегству. И тут Игорь рванулся, прыгнул через спинку скамьи, Щучка побежал, но, видя, что это бесполезно, повалился навзничь, поджал ноги:

— Не буду, Алтын, не буду!..

Игорь, бледный, нагнулся над ним и сказал шепотом:

— Если еще раз услышу, удавлю! Понял? — а пока дал ему шалобан.

Потом он, успокоившись, прошелся по переулку. Впереди был длинный летний день, нужно было чем-то заняться. Он вернулся домой, сел на диван, раскрыл книгу Чехова «Рассказы». Он ее читал уже несколько раз, поэтому взял снова. Отец был в смене, мать убиралась на кухне. А по радио повторили несколько раз: «Слушайте выступление главы Советского правительства...». Но пока Молотов не начал говорить, Игорь ничего плохого не подумал.

Вечером, как договорились, он пришел к городскому саду. Весь этот длинный день, с речами и маршами по радио, с решительной хмуростью мужчин и слезами женщин, весь этот день пролетел в незнании, в напряженной надежде, что все повернется как надо. Но по первой сводке Командования не чувствовалось, что уже наступил перелом.

Густел вечер. Он был так необычен, что лишь сейчас по-настоящему, нутром, ощутилась беда, тревога, неизвестность в дальнейшей судьбе. Это был первый вечер войны. Это был первый вечер затемнения. Фонари не горели, окна были жутко черны.

В зыбкой тьме у ворот сада стояла под репродуктором огромная толпа и в полном молчании слушала первые указы и законы войны, имеющие отныне над жизнью этих людей и над жизнью их близких самую безграничную власть. Срочно призывались мужчины — рождения с 1905-го по 1918-й включительно. «Первым днем мобилизации считать двадцать третье июня тысяча девятьсот сорок первого года», — гремел грозный голос из темноты. В толпе раздались приглушенные женские рыдания.

Отец пока не поднадал.

Следом читался длинный перечень — по алфавиту — областей и целых союзных республик, которые объявлялись на военном положении. И толпа тоже с жадностью слушала этот список, и каждый представлял себе те или другие места — где жила родная душа, где бывал он сам или о которых только слышал.

Игорь стоял, прислонясь к ограде, и ясно, как на раскатанной школьной карте, представлял себе этот вертикальный простор — от Черного моря до Ледовитого океана, всю великую равнину, где, истекая кровью, дерутся наши войска. Он и не предполагал, как скоро подойдет его очередь.

Лариса так внезапно появилась из темноты, что он отшатнулся. Она прижалась головой к его груди и сказала горько:

— Ты давно здесь? Я так боюсь за папу и Сашу!..

15

В августе ребят послали на торфоразработки, на болота-торфяники в двадцати километрах от городка.

А до этого случилось многое, и главное — призвали отца. Он уехал вместе с другими, в зеленом пригородном поезде, в сторону Москвы, долго махал из окошка вагона. Этот уходящий в неизвестность, такой мирный зеленый поезд словно весь оброс неведомыми растениями — горестными, машущими, прощающимися руками.

Игорь стоял рядом с матерью среди толпы на перроне, смотрел вслед уходящему составу, не ведая, что попрощался с отцом навсегда.

А теперь они жили в землянке, среди полупустынных болот, вставали рано, рубили лопатами торфомассу, сушили под солнцем и вместе с постоянно работающими здесь бесшабашными бабами, которых в городке называли «торфушки», грузили на платформы коричневый, пыльно крошащийся торф. Потешный маленький паровозик «кукушка», с несоразмерно большой трубой, давал высокий, печальный гудок и тащил платформы к городу. По вечерам они сидели под звездами, возле землянки, отбиваясь от комаров, пели песни, иногда подходили торфушки, подпевали, начинали дурачиться, тормошить кого-нибудь из ребят.

А над землей текло первое, страшное, военное лето. И все они — каждый миг! — не забывали этого.

Их отпустили через три недели. Поздно вечером они ехали по узкоколейке, стоя на крохотной шаткой платформе, среди черных болот, под густо-звездным небом.

Потом они шли по темным и пустым улицам, их останавливал патруль, требовал пропуск.

Утром мать сказала:

— Тут приходила девушка, Лариса Мещерякова. Милая, немного ломака. Просила передать тебе привет. Они уехали.

Он не сразу понял:

— Куда?

— Под Казань, по-моему. Она говорила, что напишет. Ты поставил чайник?

Милый мой Игорь!

Я уже на новом месте, на Волге. Как жалко, что не удалось попрощаться. Мы уехали внезапно. Мама не сразу сказала мне, что здесь папа. Он тяжело ранен и лежит в госпитале. Мы останемся здесь. Мама уже работает, и я хочу поступить на работу. Я часто думаю о тебе и о твоих смешных глазах, но переписываться нет сил. Я надеюсь еще обязательно приехать. Крепко тебя целую.

19./IX 41.

Лариса.

Внезапная разлука, и ожидание письма, и ее отказ переписываться — все это такой болью отзывалось в нем, что порой он готов был застонать, но, как отец, никогда не показывал виду. Пускай они вдали друг от друга — не они одни! — и не увидятся долго, — что они могут совсем не увидаться, он был не в состоянии себе представить, — на их долю выпали такие общие воспоминания, что они не смогут забыть друг о друге. Не футбол, не красный велосипед или лавочка под липами и поцелуй, а потом еще темные дорожки сада, — нет, даже это все можно забыть. Нельзя забыть слитное дыхание толпы в темноте, грозный голос из репродуктора, который слушают и они, прижавшись друг к другу. Нельзя забыть ночь, затемненный городок над рекой и пожилого солдата в обмотках, смотрящего за реку, за лес, где расплывчато, слабо, но

со всей очевидностью угадывается в небе далекое зарево.

— Это что? — робко спросила Лариса, и солдат ответил с поразившей их простотой и печалью:

— Москва горит. Больше нечему.

Такое не забывается.

16

Сперва их класс — уже вместе с девочками — послали собирать грибы. Жили в пустом пионерском лагере — многие из них когда-то, детьми, бывали здесь. Рядом же была устроена грибоварка. Разбредались по пестрому влажному лесу, с криками, ауканьем. Нормы не было — кто сколько принесет. Густо шли грузди, рыжики, волнушки, иногда попадался запоздалый красный гриб, даже боровик.

Едва вернувшись, поехали в отдаленную лесную деревушку, в колхоз копать картошку. Здесь уже была норма: две борозды в день, но всегда дружно помогали тем, кто не управлялся, особенно девочкам. Жили по избам, вечерами подолгу гуляли в обнимку по широкой деревенской улице. И там, в лагере, и здесь, ни с того ни с сего, с безжалостной, проникающей насквозь остротой, Игорь вдруг ощущал ее отсутствие. Он явственно представлял себе ее лицо, губы, ее подстриженную сзади шею, и его обжигало мучительное сознание, что ведь она могла быть здесь. Какое бы это было счастье! Но, не подавая виду, он пел песни и, обняв девчонок за плечи, ходил вместе с другими в темноте по деревенской улице.

Потом они вернулись, и он был в комсомольской пожарной дружине, тренировались на случай налета, раскатывали рукавную линию, подавали ствол, ненароком попадая под короткие удары холодной, жесткой струи.

Стояла глубокая, предзимняя осень. Занятия начинались в сумерках — в третью смену. Паша Сухов был уже в армии. Коляда по-прежнему учился вместе с Игорем. Иногда встречались на улице ребята из «Чапаевца» — Барабанов, Полунин, Евтеев. Почти все они уже работали.

Наступила зима, долгая, морозная, но прекрасная первыми — и какими! — победами. Жили впроголодь, дома было холодно — плохо топили, — но они уже втя-

нулись в эту новую, нелегкую жизнь, в самые ее будни, понемногу привыкли к ней. Только слушали с жадным напряжением сводки, словно боясь пропустить хоть одно упоминавшееся в них разбитое, заснеженное селение. Только верили, что бросят к ним в дверь родной треугольник, а не казенное письмо...

Весной получили участок под огород, он вскопал его, мать продала свое демисезонное пальто, купили мешок мелкой семенной картошки, теперь можно было ждать, что новая осень не будет такой голодной.

Окончание школы было обставлено довольно торжественно — вечер, цветы, бодрые напутствия учителей даже танцы. Девчонки, с которыми они проучились десять лет, висли, заглядывали в глаза, словно уже прощались. Как все будет дальше?

Девочки обсуждали, куда поступать. Выбор у них был широкий, но предстояло уезжать, отрываться от дома, жить в общежитии, и это было жутковато. Да и среди ребят слышалось: «Ты куда?» — «Еще не решил». — «А ты не знаешь, в авиационном броню дают?..»

А Игорь Алтынов вспомнил вдруг, как когда-то прочитал за три дня учебник географии, и подумал: «Поступлю-ка на географический. А там видно будет...»

— Алтын, а броня там есть?

— Броня крепка, и танки наши быстры,— ответил Игорь.

В конце августа он устроился в старинном студенческом общежитии, в одной из множества комнат, выходящих в длинный коридор. Правда, сейчас не все они были заняты. И в его комнате из четырех коек две пустовали, неприятно зияя голой проволочной сеткой. Его сосед, хромой пятикурсник, регулярно ночевал у какой-то женщины, и Игорь жил, по сути, один. По вечерам он ложился грудью на подоконник большого открытого окна, смотрел в темный, слабо шумящий привядшей листвой парк, за которым предполагались крыши, улицы и площади Москвы. Он был привычно голоден и одинок.

Летний удар немцев по Югу замедлялся, крепла надежда на встречный внезапный ввод в дело скрытых резервов, как уже было прошлой зимой.

На курсе были почти все девушки, ребят совсем мало. Никто еще не успел толком узнать другого, познакомиться ближе, не то что подружиться.

Повестки они получили в октябре.

У него оставался один день, и он поехал к матери попрощаться. Мать была на работе, он долго ждал, ей звонили, соседка вызывала из проходной, наконец она прибежала, когда совсем стемнело.

Он надел, что не жалко: телогрейку, старые брюки, мать нашла мешок-сидорок, но положить в него было почти нечего. Пора было торопиться, поезда ходили плохо, а утром ему уже предстояло являться «с вещами».

— Давай здесь попрощаемся,— сказал он, обнимая мать за спину,— я сейчас быстро побегу. Да и назад тебе путь неблизкий...

Она, глядя куда-то сквозь него, согласно закивала, и они расцеловались.

— Возвращайся, пожалуйста,— попросила она и заплакала.

...Он не побегал, как говорил, но пошел ходким шагом по затемненному городку, и, хотя он не мог многого рассмотреть, он все помнил и чувствовал. Здесь прошла вся его жизнь. Вся, вплоть до этого холодного осеннего вечера. А что будет с ним дальше, он не знал и слишком далеко вперед не загадывал.

Было совершенно темно, но за время войны он, как и другие, давно приноровился к этому и в мелькающих навстречу зыбких фигурах время от времени угадывал знакомых или просто часто виденных прежде людей.

На углу, около светлой стены магазина, стоял Барабанов.

Игорь замедлил шаги.

— Здорово, Алтын,— сказал Барабанов, протягивая руку, и всмотрелся в него: — Забирают?

«А тебя?» — хотел спросить Игорь, но вспомнил, что могучий центр-форвард на год моложе его.

— Хмеля тоже берут, Полунина.

— А ты как живешь? Играешь?

— Какая уж тут игра. Команды нет.

— Ну ладно, — сказал Игорь, — бывай. Ты что, ждешь кого?

Она вышла из темноты, решительно направляясь к Барабанову, и приостановилась, видя, что он не один.

— Игорь?

Чего угодно он мог ожидать, только не этой встречи.

Он шагнул к ней в своем ватничке, с мешочком за плечами, радостный, растерянный, уязвленный.

— Ты что, вернулась?

— Да, мы здесь три недели. Я знала, что ты в Москве. Ждала, когда приедешь.

— Я уезжаю.

Она взяла его двумя руками под руку, прижалась щекой к плечу:

— В армию?

— Да, мне пора, — сказал он, только теперь вдруг осознав, что она шла к Барабанову.

— Пойдем, пойдем, — согласилась она, не отпуская его руки, и, идя рядом, подстраиваясь под его шаг, стала говорить, что хорошо было бы ему уезжать со своими ребятами, а ведь там все новые, чужие. А он мимолетно подумал, что это невозможно на такой войне и что это вообще не главное. Какая, собственно, разница — ведь начинается совсем другая полоса в его жизни, и все там будет другое, и товарищи тоже. Барабанов молча шел рядом, уверенный, что теперь-то его не отошлют, не погонят.

К поезду успели вовремя. Билеты на Москву давали только по специальным пропускам, но у Игоря был студенческий билет, да еще и повестка.

На темном перроне Лариса потянулась к нему, обняла и мягко поцеловала в губы. Но он чувствовал, что она делает это только для него.

— Ну, счастливо тебе, — сильно ударил ладонью в его ладонь Барабанов.

— Счастливо оставаться.

Поезд трогался. Игорь кивнул и, не оглядываясь, поднялся в набитый тамбур. Все же он умел держать себя — отцовская закваска.

За окнами мелькала чернота, поезд все набирал скорость.

...Интересно, о чем они говорят, возвращаясь.

Он попал в полковую школу, готовящую младших командиров. Ранний, ошеломляюще быстрый подъем, зарядка снаружи, в темноте, длинная винтовка, которую нужно зачем-то носить не на ремне, а прислонив к левому плечу, подставив ладонь под затыльник приклада и размахивая свободной правой — вперед до пряжки, назад до отказа. Все эти построения, объяснения устройства оружия, стрельбы — все это было как сквозь сон, и однажды он очнулся и увидел себя — худого, обветренного, крепче многих.

Ими пополнили потрепанную в боях дивизию, влили свежую кровь, которая, мешаясь со старой, быстро стала своей в этом организме и в дальнейшем еще не раз постепенно заменялась почти целиком.

Можно было бы многое рассказать о его жизни, — впрочем, он еще расскажет о ней, — затопленный блиндаж, экзема на ногах и фурункулы на шее, ночевки в снегу, марш под многодневным дождем, тяжесть глины, налипшей на каждом ботинке, и атака на рассвете из узкой глубокой балки, и жестокий удар, в плечо, и горячая струйка, бегущая под гимнастеркой, вниз, по ноге, в сапог. И долгое, бесконечное, прерываемое беспомощностью путешествие, и белеющий бинтами и бельем госпиталь, где его обмывают в ванне две нянечки, и лишенная смысла, безнадежная боль, и ужас ожидания новой боли. Можно было бы вспомнить счастливые привалы, молодую хозяйку в пустой холодной избе, и лихих командиров, и дорогих промелькнувших друзей, с ними все делится пополам — место у огня, сухари, патроны и воспоминания.

Обо всем этом можно было бы написать, но это была бы иная, совсем отдельная книга.

После ранения он оказался на другом участке, в другом корпусе, но и здесь он чувствовал себя на месте — и вскоре был почти старожил. И хотя он уже немало умел, повидал и испытал на войне, он так и не смог мало-мальски приучить себя к разлукам и потерям. Более всего его поражала быстрота перехода из жизни в смерть. О том, что могут убить его, он в то время не думал.

Сразу после войны, в Венгрии, он поиграл немного за команду полка, а потом и дивизии. Удивительно,

как все хотевшие играть, помнившие об этом, быстро и безошибочно нашли друг друга. Теперь у него прибавилось веса, удар потяжелел, как предсказывал Кубасов. И все его было при нем, только, разумеется, несравнимо выросла выносливость. Они могли играть сколько угодно. Для Игоря, да и для других, наверное, тоже, это было сейчас не просто игрой. С каждым рывком, ударом, пасом, прикосновением к мячу он окунался в довоенное, далекое, милое. Он играл, словно подтверждая для себя, что все это было и что все это еще будет, есть.

Многие играли неплохо, но он скоро понял, что получает истинное удовольствие только от собственного общения с мячом. Барабановых среди его партнеров не было.

О Ларисе после госпиталя он почти не вспоминал.

Однажды осенью, когда стояли в Будапеште, на улице Вац, он зашел к радистам и присел у дверей: они невнимательно слушали по трофейному приемнику футбольный репортаж из Москвы. И вдруг Игорь встал и подошел ближе: в прорезаемой помехами, отдаленной скороговорке комментатора, среди известных ему прежде и незнакомых имен он явственно уловил одну фамилию — Барабанов.

Само по себе было странно слышать ее рядом со знаменитостями, а комментатор еще уточнял, одобрял: «...молодой Барабанов удачно влился в прославленный коллектив», «...последние игры без гола не уходит», «...вот и сегодня, в подтверждение нашего о нем мнения, он забил важный, нужный команде гол...»

— Я с ним вместе играл, с Барабановым, — сказал Алтынов, боясь, что ему не поверят, и кивая на приемник. Но радисты не проявили к этому известию ни малейшего интереса.

19

Демобилизовался он в конце следующего лета. Городок совсем не изменился, но изменились — постарели или, напротив, возмужали, выросли — многие, кто встречался ему на пути.

Мать, конечно, тоже сдала, но была еще бодра и полна планов. Приятно было рассматривать неж-

данно знакомые вещи, которые были новыми невероятно давно, когда он был мальчиком. А на стене висел портрет отца, увеличенный с давней, молодых лет, фотокарточки. Как это было прекрасно, когда был отец!

Первое время он ожидал, что встретит Ларису, и каждый день готовился к этому, но вскоре узнал, что ее давно уже не видели в городке, а прежде она гуляла с Барабановым. Зато он встретил как-то Валю Круглову, с которой проучился десять лет и помнил чуть ли не как себя — с самого детства. Она похудела и даже еще немного вытянулась, а за руку держала мальчика лет двух. Они поболтали с минуту, и он вдруг спросил — впервые:

— А помнишь, ты мне записку в карман положила?

Она сделала вид, что не понимает, но тут же вспомнила, улыбнулась:

— А, баловство! — и посмотрела на него внимательным взглядом.

На городском стадионе играли в футбол. Играл левый полузащитник из их команды, Игорь не мог вспомнить, как его зовут. А справа играл Полунин, маленький крепкий краек, которого он любил бросать в прорыв точным пасом. Теперь он был еще плотнее, крепче, но у него по локоть не было левой руки. А в воротах стоял Платов, тот самый кудесник Платов. И когда он двинулся навстречу мячу, у Игоря сжалось сердце — Платов хромал, тяжело припадая на одну ногу.

После игры Игорь подошел к Полунину. Тот обрадовался, спросил возбужденно:

— Будешь с нами играть?

— Мне в Москву надо, учиться.

— Ну что? Барабанов — ты знаешь. Евтеева в Пруссии убило. Хмель не знаю где. Паша Сухов без вести пропал в самом начале, ты тоже знаешь. Кубасов? Служит, подполковник... Алтын, ну, может, поиграешь у нас немного?

Он отворил дверь с табличкой «Деканат», объяснил сидящему за столом седому человеку:

— Я ушел в армию отсюда в сорок втором.

— Ежели так, милости просим. С какого курса?

Девчата, поступавшие вместе с ним, уже кончали и не помнили его, не успели запомнить. Сейчас на пер-

вом курсе были молодые, из десятилетки, а те немногие, что вернулись, тоже запомнили друг друга не все, но встречались тепло, как близкие, пережившие одинаковое люди.

Он обосновался в том же общежитии, но теперь переполненном, допоздна освещенном, шумном.

20

Во второй день майских праздников Игорь отправился на футбол. На всех станциях этой линии, особенно в центре и на «Белорусской», завихрялась, теснилась в узких переходах толпа, на перронах было черно от народа. На «Динамо» эскалаторы работали только вверх. Соскучилась по футболу послевоенная, праздничная Москва, радостно и озорно рвалась на открытие сезона.

Билетов в кассе, разумеется, не было. Игорь без колебаний купил с рук билет на Восток — отдал почти все — сорок рублей — и, забирая вправо, зашагал вдоль металлической ограды.

Место у него было за воротами, масштаб поля скрадывался, западные ворота слишком далеко, но зато ближняя штрафная площадь хорошо просматривалась.

Он пришел рано и теперь, все более волнуясь, смотрел на нежно-зеленый прямоугольник поля — с его места он выглядел, как квадрат, — на заполняемые натекающей толпой трибуны. То и дело он оглядывался на укрепленные позади стадионные часы, сверял их со своими ручными, трофейными. Трибуны были уже плотно полны, что тоже доставляло удовольствие. И вдруг их монотонный гул нарушился, возвысился оживлением, аплодисментами, свистом. Игорь завертел головой, не понимая, куда нужно смотреть, но тут же догадался, повернулся вправо, вытянул шею. Из туннеля по ступенькам медленно поднимались футболисты.

Они остановились, топая бутсами, подтягивая гетры. На них были длинные, почти до колена, трусы, а на майках, на спинах — английское новшество — четко различались номера. Игорь привстал, напряженно вглядываясь, пытаясь угадать, безотчетно страхась: играет ли, здесь ли? — и в тот же миг увидел его. Барабанов, стоя на одном колене, дошнуровывал бутсу. И словно когда-то, когда Алтынов играл сам, напряжение

неожиданно отпустило его, он облегченно вздохнул и успокоился.

Все же, пока шел парад открытия, несли красивые яркие флаги на длинных древках и говорили речи, он томился и нетерпеливо ерзал на месте.

Хотя на поле находились многие знаменитости — через два десятка лет некоторых из них будут называть: великие, — Игорь невольно наблюдал только за Барабановым. Конечно, трудно было выделиться среди этих виртуозов и провидцев, но Барабанов не пропал, был виден. Опытный глаз отмечал не только его умение пробить, но и понятливость. А это качество высоко ценилось. Игорь смотрел на Барабанова с трибуны, стиснутый с двух сторон соседями, но одновременно он сам словно был Барабановым и видел происходящее на поле так, будто сам сейчас играл. Он тонко схватывал все, на что ему намекали партнеры, и мгновенно догадывался, в чем должен состоять его ответ. Именно это было главной радостью игры. Он запутывал противника, менялся позицией с партнерами, отдавал внезапный пас на свободное место и испытывал острое удовлетворение от того, что его понимали. И в ответ, как знаки доверия и уважения, он получал такие передачи, которые могут лишь привидеться в счастливом предутреннем сне. И он выпускал свои снаряды по цели, а там уж как хотите: отобьетесь — ваша удача, пропустите — моя. Стадион только ахал.

Барабанов и сегодня не ушел без гола, во втором тайме он разыграл с крайним и инсайдом хитрейшую блицкомбинацию в одно касание и с неуловимо короткого замаха выстрелил в верхний угол. Это был безукоризненный гол.

За пять минут до конца, едва прозвучал гонг, Игорь встал и начал медленно, боком, пробираться вправо, а потом вниз, к началу трибуны. Он успел вовремя. Поднимаясь на цыпочки, заглядывая через головы других, он близко увидел за барьерчиком, охраняемым милиционером, уходящих в раздевалку футболистов. Сойдя с поля на дорожку, они все разом топали бутсами, выбивая налипшую между шипами землю. Лица и волосы их были мокры, майки темны от пота. Они проходили мимо и спускались по ступенькам в туннель, не глядя по сторонам и, скорее всего, не слыша одобрительных возгласов и едких замечаний толпы. Бара-

банов прошел совсем рядом. Он тоже смотрел прямо перед собой, у него было усталое, жесткое лицо.

Плотно сжатый со всех сторон, продвигаясь между двумя рядами конной милиции к метро и потом внесенный в набитый вагон, Игорь чувствовал давно уже не испытываемую им телесную усталость.

21

Через неделю Игорь Алтынов сидел у окошка пригородного автобуса, смотрел на светящийся новой листвою лес, на облитые мягкой зеленью поляны. И солнце, процеженное этой ранней листвой, живыми теплыми пятнами дрожащее в кюветах, тоже казалось молодым, несмелым, лишь набирающим силу. Сегодня после двух первых лекций неожиданно отменили занятия, и он решил поехать. В автобусе было мало народу, утренняя волна схлынула, последующая еще не подступила. Этот светящийся лес, нешумная загородная дорога, еще влажная после короткого предрассветного дождя, полупустой автобус с дребезжащим треснувшим стеклом располагали к расслабленности, созерцательности. И было еще немного странно, что вот это он едет так безмятежно, будто не было в его жизни ни зеленого поезда, увозящего отца, ни первой метельной зимы, ни узкой, глубокой балки, откуда он по сигналу безотказно поднялся в атаку. Но все это было!

На конечной остановке он вышел, осмотрелся, сам догадался, куда нужно идти, но спросил на всякий случай у мальчишки, тот подтвердил, и Игорь пошел по асфальтовой дорожке до закрытых ворот, над которыми висел знак, запрещающий въезд. Мальчишка смотрел ему вслед и видел, как он задержался у калитки, объясняя что-то дежурному, и тот его пропустил.

Меж угольно-черными стволами лип, над которыми, осыпанная солнцем, сияла настолько светлая, младенческая листва, что не верилось, будто она связана с ними, по прямой аллее Игорь вышел к дому.

На крыльце, облокотясь на перила, стоял белокурый, с крупными чертами лица человек в синем тренировочном костюме и равнодушно смотрел на Алтынова. У Игоря зашло от восторга сердце — он узнал его по портретам и остановился, все еще не смея поверить, что это

действительно он. Это был классик и гигант футбола, признанный всеми непререкаемо.

— Вы не знаете, Барабанов здесь? — искательно обратился к нему Игорь и начал было объяснять, что, мол, они друзья, вместе росли, но тот, не слушая, повернул голову и только крикнул за плечо, в двери:

— Барабанов далеко там? — И через две минуты, в красной майке и синих рейтузах, появился Барабанов, глянул вопросительно, но тут же сбежал по ступенькам, сказал обрадованно, тряся руку:

— О! Алтын!

— Не было ни гроша, да вдруг Алтын? — смеясь, сказал Игорь.

— Ну, гроши кой-какие были.

Они сели на скамейку.

— Видел тебя второго.

— Ну как, ничего?

— Хорошо отыграл.

— Да, а команда какая! — и признался: — Знаешь, долго я тебя вспоминал. Ох, такой, как ты, был мне нужен!

— А сейчас? — спросил Игорь просто так, но с невольной надеждой.

— А сейчас ты видел, люди какие! Хочешь попробовать?

— Нет! — ответил Игорь твердо. — У меня теперь дорога другая.

— Может, еще когда-нибудь попрошусь к тебе, — задумчиво сказал Барабанов. — Чем черт не шутит.

Мимо них проходили игроки, кто в рейтузах, кто в трусах, Игорь узнавал только некоторых, и у него радостно екало сердце.

— Давненько не виделись, — говорил между тем Барабанов, — отметить бы, конечно, надо. Тут, за воротами, харчевня есть, но я никак не могу. Режимим!

— А как Лариса? — спросил Игорь, и у него стало сухо во рту.

— Лариса? — переспросил Барабанов просто. — Я не знаю, где она. — И добавил, помедлив: — В этом, я думаю, моя ошибка.

Прошел высокий парень, таща в сетке мячи, как арбузы.

Барабанова окликнули.

— Сейчас иду. Это мой друг, играли когда-то. Луч-

ше меня играл! — крикнул он кому-то вслед. — Нет, не хочет!.. — Поднялся и протянул руку: — Ну, побежал. Приходи восемнадцатого, с «Динамо» играем...

И Алтынов пошел по аллее, меж черными стволами лип, под беспомощно-светлой листвой, пошагал пружинистой легкой походкой, слыша за спиной такие прекрасные, волнующие его звуки — гулкие удары мяча.

Автобуса на остановке не было. В павильон «Пиво — воды» завезли раков. Он взял двух крупных, клешневатых и кружку пива.

За дорогой чисто, по-весеннему, светилась листва. Маленький мальчик играл с крупной волосатой собакой неизвестной Игорю породы. Он бросал палку, и пес тотчас находил ее в траве и приносил мальчику. Потом к мальчику подошел другой, тот, что указывал Игорю дорогу, они стали разговаривать, а собака прыгала вокруг, возмущалась, просила снова бросить ей палку.

«У нас режима нет, нам это ни к чему», — думал Игорь, беспечно прихлебывая пиво, ломая оранжевого рака и посмеиваясь. И даже выпил сто граммов теплой водки, хотя водки ему совсем не хотелось.

СУХАЯ СОСНА

Мои родители снимали комнату на даче, — мы жили там постоянно, круглый год. Кроме нас были еще жильцы — мой сверстник, тихий мальчик Коля, с матерью и бабушкой, но без отца. И, конечно, хозяйева. Глеб Васильевич был строен и сухощав, с независимо откинутой назад сидящей головой. Я и потом редко встречал людей, так гордо держащих голову. Он работал на соседней станции, в кооперации. Я, разумеется, не знал, что это значит. Как-то раз, когда я не спал, но притворялся спящим, отец сказал о нем моей матери: «из бывших». Я не мог спросить объяснения, и это меня долго мучило. Из бывших? Может быть, он уже был раньше?.. Его жену звали Ариадна Арсентьевна. Она прежде играла на сцене, и сейчас в ней оставалось что-то от театра — не только красивое имя, но особенная, немного грустная и порою чуть растерянная улыбка. Он продолжал быть ее поклонником.

Наша комнатка выходила окном на ведущую от во-

рот аллею, Колина — на другую сторону, а комнаты хозяев — на фасад. У них было несколько комнат, и в особенности поражала одна, почти зала, заставленная столиками, тумбочками с множеством белого и цветного стекла, увешанная по стенам коврами, картинами, медальонами, веерами. Я был там всего два или три раза, по несколько минут, и уходил ослепленный ее общей пестротой, — у меня даже не возникало охоты рассмотреть все подробно и не торопясь. Я ничего не могу вспомнить оттуда, — только окна и за ними голые осенние яблони в крупных каплях дождя.

Это была большая дача, почти усадьба. За домом помещался давно и кем-то утоптаный до бетонной твердости хозяйственный двор: дровяные и прочие сараи, погреб, хлев, сеновал. Сейчас все это пустовало. Справа, перед Колиным окном, тянулся огород, впереди — фруктовый сад: яблоня, слива, груша, вишня, вдоль заборов — густо — крыжовник и та и другая смородина. Но основное пространство участка занимал парк — иначе не скажешь: несчетно березы, сосны, липы, ну, а рябины, сирени, жасмина — и говорить нечего.

Но это только казалось, что несчетно. Каждое дерево было учтено и записано. Дом принадлежал Глебу Васильевичу, а деревья — нет. Деревья принадлежали поселковому Совету. Глеб Васильевич не имел права свалить ни одного ствола. Но ведь близилась зима, а печей, облицованных синими уютными изразцами, было в доме немало.

Сухая сосна стояла у переднего угла, по краю аллеи. Она была не совсем сухая, не совершенно высохшая, как столб, по которому стукнешь обухом или даже палкой, и он звенит, — но сухая. Лишь на самом верху, на двух сучьях, оставалась не только рыжая, но и тускло-зеленая хвоя. Она была обречена, эта сосна, она стояла слишком близко от дома, корни ее были давно и непоправимо повреждены, — и теперь она стремительно угасала. Она не погибала, она, собственно, уже погибла. Она и по виду была уже легкой. Всякий, кому доводилось поднимать на плечи сосновые кряжи, знает, сколь разительно отличаются по тяжести сырой от сухого. В этом поджаром стволе сохранилась лишь самая малая часть былых его соков.

В тот день, перед сумерками, Ариадна Арсентьевна

постучала в нашу дверь и сказала мне доверительно, как умеют артисты: «Зайди, пожалуйста, на минуту...»

Я, недоумевая, вышел за ней и увидел впереди покорную спину Коли. В большой комнате она усадила нас на бархатный диванчик и, глядя сразу обоим в глаза и грустно улыбаясь, четко объяснила, в чем дело, и попросила никому не рассказывать.

Мы, польщенные доверием, обещали и в довершение беседы получили по темно-коричневой рубчатой ириске. И в это время через комнату прошел Глеб Васильевич со своим приятелем, который часто бывал у него. Они прошли быстро, словно только что решившись.

Ранней весной, еще по снегу, в поселке стреляли собак, сперва говорили, бешеных, потом — просто бездомных. Наклеили объявления на заборах и столбах, призывающие не выходить на улицу в определенное время, и подняли пальбу из винтовок. Это были молодые ребята, осодмильцы. В соседний двор забежала собака, они за ней и все никак не могли попасть, а живший там красный командир вскочил на стул и через форточку с первого раза уложил ее из револьвера. Мы с Колей, конечно, только слышали об этом, — на улицу нас тогда не пустили. Не хотели пускать и теперь, но мы пробилась, даже Коля.

Глеб Васильевич, высокий и стройный, стоял около сосны и, подняв пилу, шаркал подпилком по ее зубьям. Потом они пригнулись и начали. Приятель пилил напряженно, втянув голову в плечи и держась за ручку пилы обеими руками. А Глеб Васильевич, широко расставив ноги, действовал одной рукой; вторая, согнутая в локте, была картинно уперта в колено, он напоминал человека, сидящего на низком диване. Со свистом летели на две стороны желтые щепотки опилок.

Они пилили не сразу до конца; время от времени вынимали синее полотно пилы из разреза и опиливали сосну с другого бока, так, чтобы она упала туда, куда им было нужно.

И вдруг они быстро выдернули пилу, я еще заметил восторг в тихих глазах Коли; вершина качнулась, и ствол сначала очень медленно — так, что Глеб Васильевич, перед тем как отпрыгнуть, еще нарочито небрежно подтолкнул его рукой, — а потом все стремительнее, чертя гигантскую дугу в вечерющем воздухе, стал па-



дать и с треском рухнул точно посередине аллеи. В нем еще была своя мощь.

Они на миг словно испугались и раскаялись. Будто результат их действий оказался для них неожиданным.

Потом они взялись обрубать сучья, распиливать ствол. Так после удачной охоты свежуют и разделявают добытого зверя.

Я и заснул, различая под окном их возню и сдержанные голоса. Утром аллея уже была чисто подметена. Они бились только над пнем, выкорчевывая, выдирая его из земли. Они уже глубоко окопали и раскачали его, обрубали вокруг тонкие белые корни и теперь добирались до главного, нижнего. Наконец и он различимо хрустнул, а пень все еще сопротивлялся, хотя и без прежней уверенности. Они выволокли его, тяжелый, черный, с трудом завалили в тачку. Он был похож на осьминога. Его вывезли через заднюю калитку — мимо аккуратно сложенной поленницы, в которой он не смог узнать того, что еще столь недавно возносилось над ним, — и скатили в овраг.

Глеб Васильевич со своим приятелем долго мылись, стуча цинковым рукомойником, затем сели обедать на открытой веранде. Ариадна Арсентьевна, улыбаясь, подавала им, они чокались рюмками и наливали опять, — водка с кудахтаньем лилась из графинчика.

Яма, в которой стояла сосна, была уже засыпана заранее приготовленной землей, а поверху заложена желтым дерном. Если ничего не знать, то на это место вряд ли можно бы обратить внимание. Но когда мы с Колей, будто нечаянно, ступали на него, земля, пугая, оседала под ногой, колыхалась, как болотная трясина.

Вскоре, однако, начались дожди, сходить с дорожки уже не хотелось, потом землю подсушило морозцем и лег снег, укрыв под собой многое из того, что мы видели летом.

Зима тянулась долго, она была такой же бесконечной, как лето.

Глеб Васильевич возвращался домой поздно, отец еще позже — ведь он работал в городе. Начиналось время входящих в моду и обиход длительных вечерних задержек на службе — действительных или мнимых. Их обоих тревожно ждали, и они, подойдя к дому, стучали — каждый в свое окно, каждый своим

стуком. Но еще перед этим ждущие улавливали скрип промерзшей калитки и хрустящие вдоль аллеи шаги.

Дело в том, что вокруг было беспокойно, ходили слухи о страшных бандах, грабивших в Москве квартиры, о бесследно исчезающих молодых молочницах, убиваемых теми же бандитами — почему-то «на мыло». А одна будто бы знакомая жительница поселка рассказывала, как купила в городе на улице пирожок с мясом и в начинке ей попался женский ноготь.

В ту зимнюю ночь, о которой пойдет речь, обоим не было долго. В доме, замершем среди недвижных стволов, в глубине заснеженного дачного участка, лишь в Колиной комнате никого не ждали. Сжатая жестоким морозом, светила луна, голубые параллельные тени лежали поперек аллеи, смутное мерцание пробивалось сквозь щели внутренних ставней. И вдруг — слабо стукнула калитка, зазвучали по аллее уверенные скрипящие шаги. Человек прошел мимо одного окна, за которым ждали, потом мимо другого. Настала короткая томительная тишина и следом — сильный наружный стук.

Ариадна Арсентьевна в накинутом на плечи шерстяном платке бесшумно подошла к дверям, склонив голову, послушала и спросила, кто там.

— Милиция, — отвечали хрипло. — Откройте.

На вопрос, кто ему нужен, человек назвал Глеба Васильевича.

— Зачем он вам? — спросила она независимым голосом.

Тот отвечал, что должен его арестовать.

— Глеба Васильевича нет дома, — сказала она твердо, — а без него мы вас пустить не можем.

Он предупредил, что если это обман, то она за него ответит, и отошел от дверей.

Теперь, набившись в нашу комнату, все напряженно слушали, как он ходит по аллее. Он ходил быстрее и быстрее, потом стал прыгать на месте, потом пробежался немного, потом резко до калитки и обратно — будто кого-то догонял.

Снова настала тишина, и снова стук в дверь, только он не был таким сильным.

— Послушайте, — сказал человек, — вы же не одна. Пустите меня погреться.

— Здесь одни женщины, — возразила Колина мать.

— Ну и что же, — настаивал он. — Что я вам сделаю, я же из милиции.

— А откуда мы знаем, что вы действительно милиционер? — спросила моя мать.

— Давайте я подойду к окну, а вы на меня посмотрите, — предложил он.

— А может быть, вы убили милиционера и надели его форму? — высказала предположение Колина бабушка.

Он засмеялся.

— Еще немного, и я замерзну совсем. Вы видите, я же не ломаю вашу дверь.

— Не так-то ее просто сломать, — заметила Ариадна Арсентьевна.

Ему велели стать на дорожке против нашего окна и приспособились смотреть сквозь двойное стекло, отодвинув внутренний ставень.

В лунном морозном свете, среди недвижных деревьев, приплясывал на месте невысокий и нестрашный милиционер. Они смотрели довольно долго, боясь ошибиться, желая удостовериться, что это настоящий представитель власти. А он все прыгал и хлопал в ладоши.

— Ну, что? — спросила хозяйка.

Колины мать и бабушка были тихие женщины, но за долгие годы жизни без мужчин они привыкли принимать самостоятельные решения. Они предлагали пустить. Моя мать тоже не возражала.

— Ну что же, — вздохнула Ариадна Арсентьевна. — Быть по-вашему.

Пожалела она его или хотела заручиться его сочувствием? — ведь она ни на миг не забывала, зачем он пожаловал.

Загремела щеколда, подняли огромный стальной крюк, дверь с визгом растворилась, и он вошел в облаке морозного пара, синий от стужи. Он еще долго топал ногами, дул на руки, сморкался и вытирал платком слезящиеся глаза. Потом пристроился у самой двери, на табурете.

И тут отдаленно скрипнула калитка, затрещали по снежку шаги, замедлились у нашего окна, и отец условным стуком четырежды щелкнул по стеклу. Мать бросилась открывать.

Пройдя по такому морозу от станции, отец все еще

был занят тем, чтобы сегодняшнее опоздание выглядело достаточно убедительно и не вызывало сомнений в его служебной целесообразности. Он был сдержан и исполнен достоинства. Он был так увлечен этим, что почти не обратил внимания на милиционера, посмотрел на него столь равнодушно, будто тот навещал нас регулярно, много раз.

И милиционер сразу понял, что нужен ему не отец.

Я уже спал, когда вернулся Глеб Васильевич. Мороз стрелял и звенел по парку, поезда уже не ходили. Они с милиционером пили чай, и увел он его только под утро.

Вскоре уехала и Ариадна Арсентьевна, одевшись определенным образом — строго и скромно, со сдержанным уважением к себе.

Возвратилась она вечером и не одна, а с Глебом Васильевичем, который был устал, небрит, но выглядел довольным и так же гордо нес седеющую голову. Ариадна Арсентьевна была, против обыкновения, возбуждена и объясняла, что в кооперации у него все в полном порядке, а арестован он был по наговору командира-соседа за то, что якобы свалил сухую сосну, но был отпущен с миром. Она предложила отметить радостное событие. Колины мать и бабушка, оживленно вспоминая подробности минувшей ночи, заторопились в большую комнату, но моего отца еще не было дома, мать ждала, чтобы открыть ему, и обещала зайти позже.

1974

ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ

Женщины в детстве. Не женщины в своем детстве, не девочки. Женщины в нашем детстве. У Пастернака есть стихотворение с таким названием.

И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.

Это очень точно, именно загадкой.

Мы жили на даче. Сын хозяев, Митя, учился играть на гитаре. Он перебирал рокочущие струны и пел:

Ах, мама, мама, мама,
Со мной случилась драма.
Вчера была я дева,
Сегодня стала дама.

Мне было шесть лет, ему двенадцать. Впоследствии, как я слышал, он сделался священнослужителем.

Я ничего не понимал, — думаю, он тоже. Но было ощущение чего-то смутного, тайного.

Мы жили там и зимой. Помню, я вышел за калитку, к шоссе. Стоял ясный морозный день. А по дороге шли две девушки. Может быть, это были старшеклассницы или уже студентки. Одна несла в руке аккуратный портфель, у другой висела на плече командирская сумка, что выглядело тогда особенно шикарно. Но, главное, обе они были в брюках. Должно быть, я видел такое впервые, и это меня поразило. Они и вели себя соответственным образом. Они шли по накатанной полозьями, блестящей под зимним солнцем дороге и увлеченно пинали мерзлый навозный катыш. Они были возбуждены, в них ощущалась какая-то свобода, смелость. От них веяло женской молодостью и свежестью. Они прошли, не заметив меня, но я запомнил их на всю жизнь.

И еще. Мне было уже семь лет. Я и мой сверстник, тихий мальчик Коля, пошли с его матерью на пруд, купаться. Это была высокая тридцатилетняя женщина. Не знаю, как и почему, но я понимал, что она молода.

Конечно, сейчас там понастроили больших одинаковых домов, и ничего не узнать. Но все-таки удивительно, что тогда, теплым летним днем, на пруду, по обыкновению, было совершенно безлюдно — ни купающихся, ни стирающих белье, ни рыболовов.

Мы подошли к старой корявой иве. Колина мать бросила на плотно-кудрявую травку полотенце, взялась за края платья и, потянув вверх, вывернула его. Под ним ничего не было. Не обращая на нас никакого внимания, она, крепко ставя ступни, сошла по тропке к воде, взбивая ногами воду, прошла по отмели и, бросившись животом вперед, поплыла.

Мы побултыхались около берега. Она плавала довольно долго, вернулась, поднялась на берег, нагнувшись, взяла с травы полотенце, набросила на плечи и стала неторопливо вытирать руки, грудь, потом ноги.

Коля косил в сторону, ему было неприятно. Она по-прежнему не видела, не замечала нас.

Женщины в детстве. В нашем детстве...

Потом мы выросли.

1974

ЗАТВОР И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Наконец взводный разрешил мне не брать винтовку на занятия.

А дело было так. Морозным вечером, в час, именуемый в распорядке личным временем курсанта, мы складывали на плацу сброшенные с грузового прицепа сосновые бревна. Завтра или послезавтра им предстояло быть распиленными, но законы училища не могли допустить, чтобы хоть день они пролежали в беспорядке. Поотделенно, с жалостью ломая картонку или фанерку, вложенную для шика в только что полученные погоны, мы поднимали бревно на плечи и, спотыкаясь, на дрожащих ногах, заносили его в огражденное кольями пространство. (Сперва задирали один конец, наваливали его на плечи двоих или троих, наиболее крепких, затем, разом взявшись под другой, отрывали все бревно и подставляли под него плечи.) Сержант следил, чтобы несли честно, не приседая, и бросали вместе.

Все шло хорошо, но вскоре нас уже пошатывало, когда мы только направлялись к очередному бревну, а руки тоже не успевали восстанавливать силу. И вот за мгновение до того, как четко, по команде, сбросить ствол на остальные, он сам пополз с плеч, пошел ко-со, мы постарались удержать, чтобы он, спружинив, не отскочил нам на ноги, но не сумели и отпустили — кто как. Я едва успел отдернуть руку, — так зверь отпрядывает от лязгнувшего капкана. Чтобы раздавить ее, бревну не хватило сантиметра. Но перчатки на руке не оказалось, и по пальцу все же чиркнуло мерзлой крокодиловой кожей сосновой коры. Это был правый указательный — главный палец при стрельбе из любого личного оружия.

Кожа была вспахана довольно глубоко, начинала саднить, из-под нее проступала кровь. Сержант послал

меня в санчасть. Там скучающий фельдшер-лейтенант густо покрыл палец черной едкой мазью, забинтовал и велел приходить послезавтра. Я пришел. И началась моя эпопея.

Палец уже успокоился, подсох, но фельдшер снял бинт, содрал корочку. Обнажилось мясо. Он опять намазал,— это было больнее, чем в первый раз,— завязал и велел приходить послезавтра. Так продолжалось недели две или три. Рана выделяла гной, сквозь бинт неприятно пахло. Палец перестал сгибаться. В очередной мой приход фельдшер, крепко ухватив меня за запястье и поворачивая кисть в разные стороны, неожиданно предложил злополучный палец ампутировать. Я отказался.

Вернувшись в казарму, я с помощью моего друга Сережи Юматова снял повязку, обмотал палец по мази папиросной бумагой, а потом Сережа опять, но несильно его прибинтовал. Может быть, это было варварство, не знаю, но я перестал ходить в санчасть. Мне казалось, что рана пахнет меньше, я боялся верить, но она затягивалась, подсыхала. Когда я решился снять совершенно грязный снаружи бинт, мне открылся мой палец, нет, не палец, а пальчик, неестественно тоненький, розовый, без ногтя, в следах истлевшей папиросной бумаги. Он по-прежнему не гнулся, и на стрельбах я приноровился нажимать на спусковой крючок средним пальцем. Но потом он разработался, утолщился, хотя ноготь появился не скоро, может быть, через год, причем отличающийся от остальных—как бы роговой, выпуклый.

Так вот, в самый разгар еще официального лечения, когда мой негнувшийся палец был толсто забинтован, а освобождения тем не менее я почему-то не получал, взводный сам разрешил мне оставлять винтовку в пирамиде. Он понимал, что в моем положении очень трудно не только носить, но и чистить ее.

Одно из основных занятий в армии — чистка оружия. Так же как строевая подготовка. Иные говорят: зачем это? На фронте никто не ходит строевым, выбрасывая прямую в колене ногу с оттянутым носком. Однако это надолго добавляет людям лихости. Чистка оружия в училище — тоже скорее ритуал, условность. Оружью не обязательно быть настолько чистым. В боевой обстановке это невозможно и даже противосто-
естественно.

Училищу свойственны преувеличения. Когда старшина говорит: «На казеннике грязь!» — то, скорее всего, это пылинка, пушинка. Но все равно, если оружие признано плохо почищенным, наказание неотвратимо.

Каждая рота помещалась в огромной отдельной спальне, тесно уставленной двухэтажными сетчатыми койками,— на коечном этаже спали по два курсанта. Двери всех рот выходили в общий батальонный коридор. Пол этого коридора и предстояло мыть провинившимся.

Следует сказать, что основные работы в казарме и на пищеблоке производились вольнонаемными. Курсанту было некогда. Его распорядок был так насыщен, что для отработки нарядов, по сути, не оставалось времени,— ведь он должен был что-то еще и усвоить из военных наук. Но и отсутствие дисциплинарных взысканий армии противопоказано.

Крашенный пол в коридоре, вымытый уборщицами, пока мы бывали на занятиях, блестел даже в самую слякотную погоду: внизу стоял дежурный, и войти в плохо вычищенной обуви было невозможно.

Пол сиял. Его и мыли ночные «нарядники». Производилось это следующим образом. В батальоне имелось тонкое байковое одеяло без хозяина, оно хранилось в вентиляционном люке под лестницей. Его погружали в ведро с водой, в меру отжимали и аккуратно расстилали на полу. Затем двое провинившихся брали его за углы и волокли по полу, оставляя позади широкий, влажно мерцающий след. Обычно, когда они доходили до границы своей роты, одеяло перехватывали наказанные из соседней, а там еще из следующей. Через несколько минут пол принимал свежeweмый вид.

Разумеется, старшины и сержанты знали об этой хитрости, но не замечали ее и по окончании процедуры тотчас засчитывали выполнение наряда. Они попросту жалели нас: им было лучше нашего известно, что ждет нас впереди.

Уже третий день я выходил на занятия без оружия. Остальные разбирали из пирамиды свои винтовки, построившись внизу, брали их на плечо, и мы покидали

расположение. Чтобы хорошо петь в строю, требуется умение. Мы еще не научились этому, мы отработывали шаг под барабан. Гулкая барабанная дробь напоминала пионерский лагерь, от которого мы ушли не так уже и далеко, но к нему и, главное, к тому времени не было возврата. Винтовку барабанщик нес не на плече, когда под ее тяжестью, изнемогая, затекает левая рука,—его винтовка, чтобы не мешать, удобно висела за спиной. Мы уже начинали понимать, как это важно — что-нибудь в жизни уметь, чего не умеют остальные.

Под непрерывную барабанную волну, как во сне, мы шли по весеннему миру. Булыжные и грунтовые дороги, перелески, мокрые снежные поля — с этим я еще общался. Но дома, женщины, дети — это было в стороне, мимо них я проходил только в строю, это был другой мир, как за стеной, хотя и стеклянной. Исчезла она, когда я попал в часть,—я расслышал их голоса совсем рядом, я останавливался, подходил, сам говорил с ними.

После строевой бывали тактические, полевые занятия. На привалах каждый оберегал, опекал и нянчил свою винтовку. Если давалась команда составить их в козлы, то старались сделать козлы поустойчивей, чтобы, не дай бог, не завалились и не испачкалось оружие. Если же держали винтовку при себе, то даже затыльник приклада примаживали на сапоге, хотя уж затыльник-то почистить — минутное дело.

Один я был свободен от этих забот и с достоинством нес необычность своего положения. И вдруг на привале, когда уже поднимались, я увидел, как Валька Портнов пьет из ручейка. Он стоял неудобно, на четвереньках, едва доставая губами до воды. Но поражало, конечно, не это. Он пил, наступив коленом на цевье, вдавливая винтовку в мягкую весеннюю землю. Я смотрел на него несколько мгновений, и меня прожгло страшной догадкой: это не могла быть его винтовка. Я подбежал и тут же узнал ее, оставленную мною дома, в пирамиде. Но что он с ней сделал!

Переборщил Валька. Прихватив вместо своей мою винтовку, он обращался с ней слишком уж бесцеремонно. Это его и выдало.

К моему удивлению, взводный и сержанты отнеслись к происшествию довольно спокойно. Вальке было приказано только почистить мою винтовку. Он почис-

тил, но кое-как, и гнев дежурного по роте был обращен на меня. Остальное его не касалось. За оружие отвечал его владелец.

У нас был безответный белобрысый парень Коля Свистков. Однажды утром, перед началом занятий, возле пирамиды раздался его полный отчаяния вопль:

— Товарищ сержант! Затвора нет!

Сбежались — действительно нет. Остальные винтовки стояли чинно и строго. Эта — резко выделялась. У нее как будто вынули челюсть. Сержант сказал:

— Ищи!

Свистков покрутился возле пирамиды — затвора не было. Доложили взводному, потом ротному. Целый день искали, скорее, ждали, что найдется. Пришлось доложить командиру батальона. Потеря затвора оказалась невосполнимой для училища. Это было чрезвычайное происшествие. ЧП! Все-таки еще надеялись. Комбат разрешил проверить номера затворов у винтовок всего батальона. Несколько сотен номеров.

Осунувшийся Свистков в сопровождении сержанта пошел по длинному коридору, по крашеному полу, который ему уже случалось с помощью отжатого байкового одеяла столь невинно освежать. Теперь дело было посерьезнее. Уже сыграли отбой. Все спали. Винтовки мерцали в своих пирамидах.

Мне доводилось пользоваться и ловким, удобным карабином, и легким автоматом ППС, и другим добротным оружием. Но ни с чем не сравнима красота винтовки с примкнутым штыком, ее подчеркнутая элегантность и боевое изящество. Ее длинная полированная ложа, синий четырехгранный штык, вороненый ствол и светлая сталь затвора.

Теперь винтовки с открытыми затворами и свернутыми курками стояли в пирамидах. Они только выглядели совершенно одинаковыми.

Свистков протягивал руки, нажимал на спусковой крючок, и винтовка доверчиво отдавала ему затвор, падающий в левую ладонь, — холодный, чуть скользкий от тонкой смазки. Он проверял номер. В глазах рябило от цифр.

Пропажа не обнаруживалась.

Старшина притащил откуда-то бросовый, насквозь проросший ржавчиной затвор. Днем, пока Свистков был на занятиях, затвор отмокал в жестянке с керосином.

Ночами Свистков чистил его. Он драил его песком, битым кирпичом, наждачной шкуркой,— ничего не помогало, даже не видно было никакого просвета. И не раз встающие оправляться видели ночью Свисткова, сидящего на полу возле пирамиды. Он спал, держа рыжий затвор в руке.

Я потом думал: куда же мог деваться тот свистковский затвор? Кто-то по злобе, по подлости, мстя, не знаю за что, сунул его незаметно в карман, а потом бросил в очко длинной батальонной уборной.

Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы в соседней роте не объявился курсант, бравшийся достать новый затвор, если его отпустят на неделю домой, в Тулу, где его родня работала на оружейном заводе. Его отправили в служебную командировку, он отгулял неделю, вернулся и действительно привез новенький затвор, даже с выбитым на нем нужным номером.

Мучения Свисткова завершились. Командиры тоже были довольны. Но уже следующей ночью дежурный по роте будил помкомвзвода, говоря громко и взволнованно, почти крича:

— Опять затвора нет!

— У Свисткова?!

— Свистков! Подъем!

Свистков, свесив с двухэтажной койки белобрысую голову, протягивал что-то сержанту. Это был завернутый в носовой платок новый затвор.

Война тянулась еще долго, не один месяц и не один год, и многих из этих ребят не осталось. А те, что уцелели, повидали такое, что давнее, училищное, совсем стерлось, забылось и всплыло в памяти лишь потом, немало лет спустя.

1974

ВИНОГРАДНИК

Остров назывался «Прощай, молодость». Конечно, это было не официальное наименование, а солдатский фольклор. Но оно так укоренилось, что казалось единственно возможным. Оно, как это случается и с настоящими географическими названиями, вскоре уже утратило первоначальный, горько-иронический, смысл и стало

лишь ориентиром, определением места. Потом просто говорили: «Это когда мы стояли на острове «Прощай, молодость». Недавно жена генерала (тогда он был старшим лейтенантом) спросила меня:

— А что, правда, был у вас какой-то остров, где вы жили...— И, чувствуя странность вопроса, закончила неуверенно: — «Прощай, молодость»?..

— Был, был. Все верно.

Шло к концу первое послевоенное лето. Войну мы закончили в Чехословакии, на Влтаве, а затем своим ходом, в строю, возвратились в Венгрию, по которой проходили с боями еще совсем недавно. Здесь и был приготовлен остров для нашего расположения, остров между двумя рукавами Дуная — Большим и Малым. У топкого, неудобного для купания берега Малого Дуная, под старыми акациями, из досок, глины и черепицы выстроили мы себе домики, — в каждом домике — взвод, — и стали привыкать к новой жизни.

Вот здесь, на безлюдном, не считая нас самих, острове, и возникло это народное название, с замечательной точностью выражающее наше тогдашнее положение. Дело даже не в том, что мы повидали Будапешт и Вену, — с окончанием войны мы надеялись вернуться, пусть не сразу домой, но в Россию, — не задерживаясь в дороге, вернуться победителями. И вот этот остров.

Мы еще были полны войной. Мы отходили от нее очень медленно. Разговоры наши то и дело возвращались к местам, по которым мы прошли, ко всем мелочам и подробностям. Мы только умом понимали, что войны уже нет, мы еще не вошли в новую полосу жизни, не представляли, какой же она будет, и попросту находились далеко от этого.

Мы были очень молоды. И командиры, прошедшие с нами весь путь, знавшие нас насквозь, не были слишком строги сейчас, они старались дать нам возможность прийти в себя, опомниться.

Служба, разумеется, шла своим чередом, прибыло пополнение, начались занятия. Для нас, однако же, делались все-таки послабления.

В нескольких километрах от лагеря на пологом холме тянулись под синим небом ранней осени томящиеся виноградники. Кто был прежде их хозяином, бежал ли он, погиб ли, — мы не знали этого. Время от време-

ни, по двое, по трое, старшина отпускал нас туда — полакомиться.

Издали виноградник густо темнел. Мы приближались и вступали в него как в лес, который был нам по пояс. Мы шли, задевая коленями плотно собранные кисти ягод. Виноградник был отягчен ими, как недоеное стадо.

Мы выбирали место и опускались между кустами. В нас жило столь знакомое солдату прекрасное ощущение естественности и удобства лежания на земле. Земля была здесь не сырой и черной, как в расположении, а светлой до белизны, глубоко прокаленной солнцем и, как старая печь, испещренной трещинками. Над ней и над нами стояло еще насыщенное синевой небо.

Виноградная лоза, цепляющаяся ловкими усиками за струганую подпорку, аккуратные зубчики листьев — все это было рядом, смотрелось в упор, но было не главным. Главным были нереально приближенные к лицу полновесные гроздья. Давно не шли дожди, и на ягодах, с наружной стороны, лежал налет тонкой, как мука, легко стирающейся пыли.

Виноградник был спланирован таким образом, что различные сорта шли не отдельными рядами или участками, а вперемежку. Я был тесно окружен свисающими кистями самых разных цветов и оттенков. Здесь был черный виноград, и синий, и зеленый, однако вполне спелый, и розовый, и почти совершенно белый. Этот белый виноград запомнился удивительным вкусом сливочной конфеты-тянучки, — вероятно, вприкуску с ним можно было пить чай.

Урожай того года был столь обилен, что я наедался, не сходя с места и не меняя положения. Конечно, я ел не все, я только надкусывал ягоду и всасывал сок и самую мякоть, виноградное мясо. Иногда я устраивал перекур и, лежа на спине, чувствуя сквозь гимнастерку и нательную рубашу слабое тепло земли, не спеша затягивался, смотрел в высокое, ровной синевы небо. Где-то рядом, за кустами, угадывались движения моих товарищей, это добавляло уверенности и спокойствия.

Порою я замечал, что не могу подняться с земли, и засыпал, как триумфатор, осененный благородными виноградными листьями. Лишь много времени спустя я догадался, что просто пьянел.

Потом я просыпался — сам или меня будил кто-нибудь из своих. Небо и особенно земля уже заметно утрачивали часть недавнего тепла. Мы отряхивались, затягивали ремни, торопились.

Почти всегда одновременно с нами поднимались и выбирались из виноградника на дорогу солдаты соседних рот, среди них встречались и хорошо знакомые. Никто не спрашивал, успеваем ли к ужину, — трофейные часы были у всех.

Часто старшина, отпуская нас, давал поручение: принести виноград с собой. Мы расстилали на земле шершавую линиялую плащ-палатку, складывали в середине срезанные финкой отборные крупные кисти и связывали углы. Продев под узел жердь, мы разом поднимали ее на плечи. Жердь прогибалась, пружинила, и мы старались идти не в ногу, чтобы уменьшить тряску. Однако нижние ягоды все равно лопались и давились, и, распаковав около каптерки наш груз, мы сливали из плащ-палатки котелок, а то и два соку.

Небо над старыми акациями, быстро, как это бывает на юге, тускло и гасло. И когда мы еще издали улавливали звук трубы или, войдя в расположение, различали внятные голоса команд, мы вздыхали с невольным облегчением, нам начинало казаться, что мы уже дома.

1974

КОСТЮМ

Бернес долго и внимательно смотрел на меня и наконец сказал:

— Знаешь, когда будет война, блокада, все умрут с голоду, а ты — нет.

Я уже хорошо знал его, но все-таки удивился и спросил:

— Почему?

— Потому что рукава твоего пиджака длиннее, чем следует, на восемь сантиметров. Они так промаслятся, что ты будешь их потом сосать целый год и выживешь. Где ты купил этот костюм? Как — шил?

Я подтвердил довольно небрежно, что да, шил, в на-

шем писательском ателье, но я не придаю столь большого значения своему гардеробу.

— Не придавал, — поправил он. — Ты этого просто не понимаешь. Тебе необходим приличный костюм. Я сам займусь.

И он занялся — со всей серьезностью. Первым делом нужно было подобрать материал. Два дня колесили мы на его машине по городу, многократно причаливая под фирменную вывеску с белыми буквами «Ткани». Казалось, это был один бесконечный магазин.

— Только не говори там: «Да ладно», — предупреждал он меня.

Это было время расцвета его славы, самый пик его популярности. Впрочем, спад так и не наступил. Его знали все, а любили многие.

Мы входили. Ближайшая продавщица замирала, не веря своему счастью.

— Здравствуйте, — говорил он негромко.

Полотнища тканей тяжело, как портьеры, свисали вдоль стен. Иногда они казались мне знаменами неведомых государств.

Нас окружали продавцы. На меня, разумеется, никто не обратил внимания. Он и не говорил, что материал нужен мне, — они вмиг бы охладели. Под взглядами тоже столпившихся, взволнованных его присутствием покупателей они одну за другой бросали на прилавок «штуки» материи — полный или уже початый плоский рулон. Он внимательно смотрел, порою брал край в пальцы.

За все время я не произносил ни слова. Я был как коронованная особа, путешествующая инкогнито, но они об этом не догадывались. Правда, однажды он спросил:

— Ну, как тебе?

Меня заметили и посмотрели с удивлением.

Уходил он не прощаясь.

Нашлось то, что нужно, лишь на третий день, совсем близко от его дома, на Сретенке. Это была серая, стального оттенка, итальянская шерсть, в выделанную не крупную клетку, различимую только вблизи.

Бернес сразу кивнул мне, многозначительно прикрывая глаза веками: «Плати!»

Девушка, улыбаясь Бернесу, трижды взмахнула деревянным, с окованными жестью концами эталонным метром, лязгнула ножницами.

— Полдела сделали, — сказал он, садясь в машину. — Теперь слушай внимательно: заказывай однопортный костюм. Я тебе здесь не нужен. Я приду на примерку. Даже не на первую, на вторую.

Ателье помещалось на Тверском бульваре, в подвале Литературного института — Дома Герцена. Примерка была назначена на девять утра, сразу после открытия. Не такой я был важный клиент, чтобы беречь мои утренние часы.

Мы подкатили к самым дверям.

Потрясение было еще большим, чем в магазинах. Никто не мог понять, почему и зачем приехал со мной, да еще в такую для артиста рань, сам Бернес.

— Давайте побыстрей, — сказал он строго и повернулся к модному закройщику, подававшему мне мой будущий пиджак, пока еще с одним рукавом: — Что это такое? Кто так шьет? Оторвите этот рукав!..

— Да, да, конечно, — закройщик чуть не подавился булавками, — сейчас...

— Что это за хомут на спине! — продолжал Бернес грозно, а тот соглашался, обещал убрать, черкал по серой материи плоским портняжким мелком.

Ох этот Бернес! Умел он нагнать на людей страху, когда видел или считал, что работают они скверно, равнодушно, недобросовестно. Случались на этой почве и забавные истории.

Мне рассказывали, как он пришел однажды на запись фонограммы. Вероятно, не все знают, что это такое.

Естественнее всего тот случай, когда певец записывает песню одновременно с оркестром. Раньше только так и бывало. Дирижер замедляет или убыстряет темп, сообразуясь с характером и желанием солиста, это придает исполнению особую окраску — стремление найти еще многие тонкости.

Но с развитием техники появилась возможность записывать оркестр и певца отдельно. Сначала это изумило, потрясло, но очень скоро выяснилось, что такой вариант самый удобный, потому что чаще всего, когда свободен оркестр, занят солист, и наоборот, и даже непонятно — как это прежде им удавалось собираться вместе.

Теперь сперва пишут фонограмму, то есть все музыкальное сопровождение, всю оркестровую часть, а затем,

через час, или день, или месяц — когда угодно, происходит наложение голоса.

На одной или нескольких дорожках широкой магнитофонной ленты записан оркестр, на другой, параллельной, запечатлевается голос. Почти как на стадионе — бег по раздельным дорожкам, оставляющий, однако, цельное впечатление.

Все прекрасно, кроме того, что певец неминуемо оказывается в тисках заданного музыкального темпа, а изменить что-либо, даже чуть-чуть, уже невозможно. Правда, некоторые стараются присутствовать при записи фонограммы, но таких мало. Чаще всего приходят на собственную запись, нетвердо помня мелодию, совсем не зная слов, и только здесь впервые слышат оркестр. И это не какие-то новички, это известнейшие артисты, вальяжные, томные. Они спешат, им некогда. Впрочем, это никого не смущает.

Открою еще одну тайну. Публика, слушая звучащую с пластинки или по радио песню в исполнении своего любимого певца, уверена, что он знает ее и может спеть когда угодно. Это не так. Большинство записанных им песен — и это известно ему заранее — он отныне не споет никогда. Он их только записывает. Он выступает в роли редкой аппаратуры, на которую постоянный спрос. Не потому ли так много вокруг нас ничтожных песен!

То, что записывал Бернес, он не только хорошо знал, — он это обязательно исполнял с эстрады. И он всегда приходил на запись фонограммы, надоедая дирижеру и композитору бесчисленными просьбами и требованиями. Они сердились, раздражались, но всегда уступали и потом только уважали его, артиста, — ведь петь-то предстояло ему.

Так вот, он пришел однажды на запись фонограммы перед самым началом и увидел в руках одного из музыкантов маленькую гармошечку.

— Что это? — хмуро поинтересовался Бернес.

Ему объяснили: это пневматическая гармоника. Называется — концертино.

— Что же, не смогли достать нормальный аккордеон? — спросил он зловеще.

Решили, что он шутит, вежливо посмеялись в ответ, но он вдруг закричал:

— Работаешь, все отдаешь, жизни не жалеешь, а тут такое отношение.

Его еле успокоили.

Я вижу за этим анекдотическим случаем не вздорность Бернеса, которая, быть может, иногда и была ему свойственна, а усталость и глубокую обиду. Сколько пришлось ему испытать несправедливых нападков, выслушать нелепых упреков и обвинений. И это при огромном, поистине народном признании. Он был новатором по натуре. Он одним из первых у нас взял в руки микрофон. Его обзывали шептуном, микрофонным певцом, как будто он хотел пробиться в оперу. Теперь микрофоном обязательно пользуются и самые голосистые.

У него был поразительный дар: он создавал песни. Он сам находил стихи или убеждал поэта написать нужное ему, Бернесу. Он, не зная нот, безошибочно угадывал мелодии, которые будут широко и долго петься, и буквально заставлял композиторов сочинять именно такую музыку. И что же? Стоило прозвучать очередной бернесовской песне, как ее тут же переписывали каким-либо голосовым певцом, и она звучала главным образом в новом исполнении.

Другой бы отступился, а он и опять брался за это «не свое» дело и говорил в свойственной ему иронической манере:

— Пора уже нам что-нибудь сделать для Отса!

Или:

— Не находишь, что у Кобзона не слишком хороший репертуар, а мы сидим сложа руки?

Он был настоящим артистом, художником, его ничего не могло сбить с толку. Время показало, что он был прав.

...А костюм действительно получился удачный. Сначала, как водится, он был выходной, парадный, потом стал служить мне чуть не каждый день. Я носил его долго и даже летал в нем на сибирские лесные пожары шестьдесят второго года. Он был хорош тем, что в нем еще вполне прилично было зайти к местному начальству и не жалко сидеть и лежать на земле.



ШУМАВСКИЕ ВОЛКИ

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ПОЕЗДКЕ

... При повторных встречах через много лет обычно все выглядит меньше, уже, ниже, чем казалось, чем жило в памяти. А здесь — нет!

Мост очень высок, и мы почти летим (во всяком случае, я), когда смотрим сверху на темные ели на берегу, на желтый песок, на серую воду. А река — странное дело — будто бы даже шире. Гораздо шире!

— Раньше Влтава поуже была, — говорит Ян у меня за спиной. — Помните? А теперь наверху плотина.

Ах, вот в чем дело! Подвесного моста над самой водой уже нет (как он раскачивался, когда мы по нему ходили!). А там, где мы жили, еще ниже, разноцветные палатки туристов, маленькие автомобильчики. Глубоко-глубоко под нами надувная лодка и на песчаной отмели стоит женщина в красном купальнике. Глубоко-глубоко, как на дне памяти. И как тихо кругом!

...Но все это будет потом. А еще на другой вечер будет идти дождь и шуметь горная речка, и греметь музыка, и тонкий чернявый парень возле стойки бара будет разговаривать с Яном. И Ян скажет ему к слову, что тогда, очень давно, я был в городе Писеке... Ну!.. Парень что-то говорит.

— Что он сказал?

— Он сказал, что недавно приезжал советский генерал, который в войну был в Писеке.

— Спросите — кто.

Парень неуверенно назвал фамилию, я никогда такой не слышал.

— Нет, он ошибается, у нас не было такого генерала. Я знаю своих генералов. Я знаю Виндушева, Утвенко, Глаголева...

И тут Николай Иванович положил мне руку на плечо и сказал:

— Чудак, он же говорит о каком-нибудь новом генерале. Тогда он здесь, может быть, капитаном был.

— Верно, Николай Иванович. Так оно и есть, это точно.

...Идет дождь, шумит горная речка, звучит музыка. Но все это будет потом...

Мы выехали из Праги ранним и ясным августовским утром.

Капитан Ян Червень постучал в комнату, где жили мы с Николаем Ивановичем, и вошел, громадный, как всегда радостно глядя голубыми, чуть навывкате глазами.

— Как спали, товарищи? Готовы? Тогда — в дорогу! — восклицал он возбужденно, не закрыв за собой двери.

Весь его вид говорил о важности задуманного нами предприятия.

— Впереди — Шумава!

Мы спустились по крутой, покрытой ковром лестнице.

Около блистающей «Татры-603» стоит наш Йозеф, на редкость серьезный и рассудительный парень, о котором мы уже знаем следующее — ему 27 лет, у него два сына — двух лет и девяти месяцев. Он улыбается в ответ на наше приветствие. На нем белоснежная рубашка с закатанными рукавами. Она очень подходит к этому раннему летнему утру. Йозеф поднимает передний капот машины, и я в который раз обманываюсь, думая, что случилось что-то с мотором, и опять забыв, что впереди у «Татры» багажник. Йозеф ставит наши дорожные сумки и хлопает крышкой. Ян садится рядом с ним, сдвигая на затылок свою офицерскую фуражку, — он военный журналист и носит форму.

Хорошо выезжать из города ранним летним утром, когда еще нет пыли, на улицах малоллюдно, а впереди — длинный-длинный, почти бесконечный день, и ты можешь распоряжаться им по своему усмотрению: захотел — остановился, пообедал в придорожном ресторанчике или поспал на траве под кустом, захотел — поехал дальше.

А если вы едете поездом, то покидать город лучше всего вечером — вокзал в огнях, тревожный полусвет перронов, за окном огоньки, а потом чернота, и не нужно томиться, можно укладываться, а утром вы уже будете бог весть где, и — странное дело — все, что бы вы ни увидели за вагонным окном, осветится для вас задумчивостью и новизною.

— Сейчас на минутку заедем за Врбецким, — говорит Ян, повернувшись к нам. Мы уже знаем по рассказам Яна, кто это такой — Франта Врбецкий. Это знаменитый шумавский пограничник, подпрапорщик, задержавший множество нарушителей и диверсантов. Последнее время он начал писать рассказы, и вот его забрали в Прагу, в пограничный журнал («А то там он не растет, — объяснил Ян, — негде учиться».) Семья у него пока еще там, на Шумаवे, поэтому мы и берем его с собою, просто как попутчика. Я грешным делом подозреваю даже, что идея показать нам именно Шумаву и возникла у Яна из-за заботы о друге. Они же названные братья, и жены их — лучшие подруги, и еще он мечтает, чтобы его разбойник женился на младшей Марушке Врбецкой, конечно, в будущем, не очень скоро. Все это Ян громко рассказывает нам, пока мы кружим по утренним пражским улицам. Но вот «Татра» останавливается напротив красного казарменного здания, и тотчас из проходной выходит невысокий полноватый человек в военной форме и с портфелем и направляется к нам.

— О! — кричит Ян возбужденно. — Врбецкий! Брат Франта! Знакомьтесь, товарищи! Это брат Франта. Пижма! Это наш Пижма!..

Йозеф смеется. Врбецкий несколько сконфужен всем этим шумом, он слегка пожимает плечами и произносит:

— А!

Он садится рядом со мной, на заднее сиденье. Теперь Ян совсем поворачивается к нам и едет задом наперед, радостно взглядывая то на нас, то на Врбецкого выпуклыми голубыми глазами.

— Брат! — восклицает он. — Скоро мы будем на Шумаве. — О, там ждет тебя твоя любимая жена, твоя красавица Марушка. Она смотрит в окно и не может дожидаться своего Пижму.

— А! — говорит Врбецкий и прикрывает веками глаза.

Впереди, в зеркальце, я вижу улыбающееся лицо Йозефа.

— А почему — Пижма? — спрашивает Николай Иванович. — Имя ведь как у него — Франта? Франтишек?

— О, это целая история! — кричит Ян. — После войны приехал на Шумаву Кантор, это старший лесничий, инженер, прекрасный парень, вы увидите Кантора, и он говорит Франте: — Ты — Пижма! — такое у него было слово. Франте понравилось это слово, и он стал говорить всем: — Пижма, Пижма, — и его все стали называть: Пижма. Все теперь знают: Пижма — это Врбецкий. Он там депутат был восемь лет, его любят. Он добился, школу открыли в Сушицах, больницу, его любят.

— А! — говорит Врбецкий.

— Пижма — это, по-моему, какое-то растение, — вспоминаю я. (И точно: уже в Москве я нашел в словаре: ПИЖМА ж. растн. (*Tanacetum vulgare*), дикая — рябина, желтая, полевая, рябишник... Оказалось, что это имя еще носят две речки и один городок у нас на севере.)

— Кантор, молодец, охотник, смелый. Когда заносы были сильные после войны, снег два с половиной метра, и окончился хлеб, он на лыжах ходил в Сушицы за хлебом, его диверсанты обстреливали. Тогда много было этих диверсантов, потом их Пижма всех переловил, брат Пижма.

— А, — говорит Пижма.

— А когда Марушка рожать собралась, Пижма был на границе в секрете и не мог прийти к ней, к любимой Марушке, а снег был полтора метра, пограничники поместили носилки между двух лошадей, положили Марушку и повезли верхом в больницу. И она родила маленькую Марушку, красавицу. Я мечтаю, чтобы мой разбойник поженился за этой младшей Марушкой. Можно так сказать по-русски?

— На этой Марушке, — поправляет Николай Иванович. — А вообще ты здорово говоришь по-русски, Ян.

— Только сам учился, в школе и сам. У вас я еще не был, но все знаю про Москву, Ленинград. — Он становится коленями на сиденье, совсем повернувшись к

нам: — Брат Пижма! Мы покажем нашим дорогим друзьям нашу Шумаву, наши леса. Пусть они станут шумавскими волками. Шумавские волки, Пижма!

Пижда дремлет. Ян встречается взглядом со мной и, вспомнив, говорит с подъемом:

— Но сначала мы покажем город Писек и высокий мост, где вы кончали войну. Сначала это.

Да, мне нужно только это. Городок с несколько неблагозвучным для русского уха названием — а почески Писек — песок, там в средние века мыли золото на реке Отаве, — а не доезжая километров десяти, высоченный мост над Влтавой. Я уже бывал там когда-то, но это было так давно, и я был так молод, что это словно был и не я.

Тогда в самом начале мая, когда мы отдыхали, отойдя во взятую нами Вену, нас подняли по тревоге — все бывшие воздушно-десантные войска, всю 9-ю ударную армию и перебросили с 3-го Украинского фронта на 2-й. Мы наносили удар в северо-западном направлении. И немцы, боясь попасть в котел в самом конце войны, оставили фронт и покатились на запад, стремясь уйти к американцам. Началась гонка преследования. И те немецкие и власовские части и подразделения, которые слышали уже за спиной наше дыхание, торопливо сходили с шоссе, углублялись в леса и там, хоронясь, ночами продолжали движение, уже отстав от нас. А мы рвались вперед! С ходу вошли мы в Чехословакию, взяли город Зноймо. И потом мы уже двигались по человеческому коридору, среди радости и ликования. Нам бросали цветы и протягивали кувшины с вином, нам махали руками, нас обнимали. На этой дороге и застала нас весть об окончании войны.

А утром дорога оборвалась и перед нами открылась удивительная картина. Прямо перед нами высоко-высоко в воздухе повис мост. Всем показалось, что мы летим, ведь все мы знали это ощущение, все были парашютисты. Он был переброшен не с берега на берег, а, собственно, с горы на гору. Сама река была далеко внизу, и над самой водой был еще один мост — подвешенной, а у воды желтел песок и росли темные старые ели — они тоже были глубоко внизу, и мы смотрели сверху на их вершины.

Все-таки довольно много довелось увидеть в жиз-

ни и до этого, и особенно потом, но ничего подобного я не встречал нигде. И мы стояли, потрясенные, на этом мосту, двадцатилетние солдаты, уже прослужившие по три года, прошедшие немало дорог, потерявшие немало друзей, мальчики, как мне кажется сейчас, ветераны, как мне казалось тогда, в выцветших латаных гимнастерках, в пыльных сапогах или ботинках с обмотками, в просоленных пилоточках набекрень.

А по мосту навстречу нам уже ехали в открытых «виллисах» американцы. Мы встретились с союзниками.

Долго еще плыли по Влтаве трупы в серых немецких мундирах...

Двадцать лет прошло. Немалый срок в нашей быстротекущей жизни. И сейчас, сегодняшними глазами, мне хотелось увидеть то давнее утро и себя, того, давнего, и своих давних друзей. Ради этого я и ехал туда.

И сейчас я испытывал беспокойство. Мне хотелось увидеть мост и город Писек, где стояли мы потом недели две, бок о бок с американцами. Мне хотелось посмотреть только на это и вернуться в Прагу, почти как домой. Зачем мне Шумава? Я боялся нагромождения новых впечатлений, страшился, что в них утонет, затеряется и то, нужное мне, трепетное, важное для моего сердца.

Я не предполагал писать об этой своей поездке. Вообще. сколько раз вспыхивало во мне желание описать, например, чуть грустную дымку над Парижем или марево над летним Римом, но я всегда подавлял в себе это желание. Как писать о чужой стране? Очевидно, надо очень хорошо узнать ее. Если вы едва познакомитесь с человеком, а вас тут же попросят дать ему точную характеристику, вы растеряетесь. Часто бывает трудно охарактеризовать даже тех, кого мы знаем много лет. Проще всего схватить внешнее.

Все труднее находить какие-либо ценности на поверхности, такое теперь может быть лишь счастливой случайностью. Нужно бурить скважины, очень глубокие, применяя самый тонкий, современный инструмент. Главная ценность поэзии — как и прежде — простота, естественность, органичность, но смешно было бы думать, что это легко достигается. Это, как правило, тре-

бует больших затрат и душевных, и чисто специфических, технических, чем при работе на материале, который сам кричит о себе, привлекает внимание — острота, злободневность, фельетонность и тому подобное. Беда современной поэзии и многих ее представителей как раз в подмене глубины расширением ассортимента предлагаемых товаров. Расширение тематики часто идет по чисто географическому принципу — описание все новых и новых мест, куда попадает поэт. Путешествие в пространстве — дело нехитрое, особенно в качестве пассажира. Путешествие в душе — потруднее, и, главное, это совершенно разные сферы, не надо их путать.

Я знаю одного поэта — человека невероятной энергии, которая проявляется у него во всем и в течение многих лет с одинаковым напором. Начинал он сразу после войны — и весьма заметно. Но потом интерес к нему ослабел. Однако поэт не мог примириться с этим. Он купил автомобиль-вездеход и совершил путешествие из Москвы во Владивосток. Подумать только! Затем он продолжал автопробеги по Северу, по Средней Азии. Он написал несколько прозаических книг об этом. Я прочел их и с грустью увидел, что его путешествия ничего не дали не только литературе, но и ему самому. Он все мчался и мчался и ни разу не задумался. Можно повторить его судьбу и не выходя из дому. Известны поэты, которым бы в самый раз остановиться и задуматься, а они все мчатся по строчкам своих стихов и поэм, уже не чувствуя, что это лишь видимость движения.

Углубленный в себя Йозеф ведет машину. Пижма дремлет, а Ян, обернувшись к нам, рассказывает о чем-то Николаю Ивановичу, и то и дело шуршит в его рассказе это слово: «Шумава».

— На Шумава леса. У вас много лесов, а у нас очень мало. У нас говорят, когда вы покупаете мебель... Можно так сказать по-русски?

— Покупаете, — поправляет Николай Иванович.

— Когда вы покупаете мебель, вам говорят: на этом дереве еще вчера пела птичка. Но на Шумава — главное это, знаете, дерево для музыкальных инструментов. Оно дает резонанс. Сердцевина.

— Древесина.

— Да, резонансная древесина. Такое дерево, знаете, с иголками.

— Хвойное.

— Да, хвойное.

— Ель?

— Нет, не ель.

— Но ведь не сосна?

— Нет, нет, не сосна.

— Лиственница? Кедр?

— Нет, нет. Как это по-русски?

— Пихта?

— Во. Пихта. На Шумаवे пихта. Она идет на экспорт во весь мир. Пихта. На Шумаве холодно. Там снег падает в сентябре, а тает в мае. Там живут лесорубы и пограничники. Пограничники, друзья нашего славного Врбецкого, брата Пижмы. Шумавские волки. Вы тоже будете шумавские волки.

Пижма спит. Йозеф гонит машину.

Летний жаркий день. Серая полоса шоссе. Красная черепица добротных домиков, зеленые холмы. Время от времени впереди появляются аккуратные перелески, но, когда мы приближаемся, оказывается, что это плантации хмеля. По врытым в землю высоким шестам вьется хмель. Пивочко! Национальный напиток. Какого только нет пива — и пльзенское, и праздрой, и совсем светлое, и черное, и слабенькое, и крепкое. В свое время американцы купили пивной завод со всем оборудованием, но пиво получалось невкусное — оказалось, что у них не было такой воды. Чешское пиво известно во всем мире. Сейчас оно завоевывает еще один континент — Африку. Африканские студенты, получающие образование в Чехословакии — а таких много, — вернувшись домой и заняв там высокое положение, заключают договора, покупают чешское пивочко, они уже привыкли и не могут без него. Рассказывают, что чешское пиво в бутылках случайно простояло несколько дней в пустыне под палящим солнцем — и ничуть не пострадало от этого.

Переводчик Вацлав Данек обещал нам показать после поездки на Шумаву Прагу пивную. И он сдержал обещание. Знаменитая пивная «У Калиха», посещавшаяся Швейком, ныне отремонтированная и подновлен-

ная, — это для туристов. Нет, мы сидели в старинных, средневековых пивных, под низкими каменными сводами, под толстостенными фонарями за длинными деревянными столами в неожиданно шумных и веселых пражских пивных. А как прекрасны их названия! «У двух котов», «У трех золотых львов», «У золотого тигра», «У трех сердец», «У медведя», «У черной лошади»... Эти названия остались еще с тех времен, когда не существовало названий улиц и нумерации домов. Ориентир — дом, где на стене изображен золотой лев или черная лошадь. Эти изображения сохранились до сих пор. Пиво пьют все. Всячески подчеркиваются лечебные свойства пива. Пивом восторгаются. В пивных сидят люди, объединенные общим занятием, общим пониманием своей миссии. Сел за стол — и ты уже член их клана. Опустошил кружку — перед тобой ставят полную, не спрашивая, хочешь ли ты, — лишь сделав карандашом отметку на картонном кружочке. Картонный кружок, на который ставится кружка, обычно несет на себе фирменное клеймо пивной, определенный герб или рисунок. Принято использовать их и в качестве почтовых открыток. Сидит человек в пивной, захотел напомнить своему другу, как они сидели здесь вместе, просит марку, пишет адрес и несколько слов, и кружочек бросают в почтовый ящик. Это обычное дело.

Прежде устраивались чемпионаты и матчи между деревнями и землями — кто больше выпьет пива. Были легендарные питоки. Теперь такие состязания встречаются редко, разве в провинции, в малых масштабах. Наш Ян Червень, когда в настроении, может выпить, по его выражению, двадцать пять пив.

У Яна есть еще свои дела. Вдруг он велит Йозефу свернуть с шоссе и объясняет, что ему нужно на минутку заехать на строительство нового громадного моста. Он уже здесь был с фотографом, сделал репортаж и обещал бригадиру забросить экземпляр журнала.

Бригадир монтажников выходит из конторы-сарайчика и пожимает нам руки. Ему лет пятьдесят, держится он со скромным достоинством. Он знаменитый человек и привык ко вниманию. Не в одной стране побывал он, не один мост оставил на память о себе. Ян раскрывает журнал и показывает свой репортаж. Бригадир взглядывает мельком и засовывает журнал

в карман куртки-спецовки. Мы с удовольствием смотрим на него.

Я не записал его фамилии. Вообще по старой привычке пишущего стихи я всегда, где бы ни был, ношу в кармане блокнот и ручку. Записываются строчки и строфы, пришедшие в голову. Собственно, в этих блокнотах, так вот, постепенно, и «собирается» стихотворение. Одно, может быть, чуть ли не сразу, другое — полгода или год, иногда переходя из блокнота в блокнот. И многие мои коллеги, как мне известно, работают так же несерьезно, как бы на ходу. На больших листах, за письменным столом пишется проза.

Но такие наши записи-заготовки, начала и концовки будущих стихотворений, разумеется, не то, что конкретные и строгие записи журналиста, газетчика.

И еще у меня есть недостаток: я не фотографирую. Пробовал, но понял, что это мне мешает и все как-то проходит мимо меня.

Мы идем к мосту, он не сразу виден из-за высоких елей. Йозеф с нами, он из шоферов, которые буквально всем интересуются в дороге. Немного отстав, шагает, позевывая, Пижма.

Мост уже навешен, но нет еще ни настила, ни перил, ни всего мостового сложного хозяйства. Дел еще много, а бригадир говорит уже о новом мосте, о новой реке, куда поедет он со своей старухой и ребятами. «Ребята» — это его монтажники. Есть и свои дети, и внуки уже, но то все народ оседлый. Такая жизнь не по ним.

Серая стрела моста стремительно прочерчивает синеву. Мы стоим внизу. И конечно, не только я, но и мои попутчики вспоминают о другом мосте.

— На твой похож? — спрашивает Николай Иванович.

— То старый мост, то совсем другое дело.

Николай Иванович задает вопросы о высоте, о длине моста, о грузоподъемности и записывает ответы огрызком карандашика. Николай Иванович — прозаик и журналист, человек обстоятельный. А ответы бригадира действительно внушают уважение. Ян переводит, изнемогая от восторга, от гордости, от желания показать и объяснить все как можно лучше. И Врбецкий и Йозеф тоже слушают серьезно и внимательно.

А я с удовольствием смотрю на их молодые румяные лица, на знаменитого бригадира, на милого

Николая Ивановича, на синеву неба и серую рябь реки.

— Когда ставили опоры, — заканчивает рассказ бригадир, — на дне работали водолазы, и вдруг слышим наверху по телефону: — А ну давай-давай отсюда! А ну, отойди! — оказалось, что прямо в стекло скафандра водолаза смотрит гигантский сом...

Все смеются. Мы поднимаемся к машине.

— Николай Иванович, что это у тебя карандашик какой-то несолидный? — спрашиваю я.

— А ты знаешь, что все путешественники делали записи только простым карандашом?

— А! — догадываюсь я. — Это чтобы чернила не размылись во время кораблекрушения.

— Не волнуйтесь, что задержались, — говорит Ян. — Я сказал, чтобы наш Пепичек побыстрее ехал.

Йозеф слегка пригнул голову и, почти не мигая, смотрит на дорогу, а стрелка на спидометре неуклонно идет вправо: 100... 120... 130... 140...

Хороша «Татра-603», ничего не скажешь! И шофер — молодец.

— Так, так, Пепичек! — восторженно кричит Ян.

— А Пепичек — это что? — спрашивает Николай Иванович. — Фамилия?

Йозеф — в зеркальце — улыбается.

— Нет, — говорит Ян, — это уменьшенное. Настоящее имя Йозеф, а уменьшенное, ласково — Пепичек.

— Это как же оно получается?

— Ну, вот, Йозеф — Джузеппе, потом Пеппо, потом Пепичек. Давай, Пепичек. Впереди город Писек.

Действительно, у обочины вырос транспарант: «Písek». Йозеф сбросил скорость.

А где же мост, тот мой мост, километрах в десяти перед Писеком?

Я не сразу понял, что мы въехали в город с другой стороны, мне казалось, что в Писек не может быть другой дороги, кроме дороги моей юности.

Потянулась обычная для всех городов современная модерновая окраина, обычные для всех — международного класса — Черемушки с 8—10-этажными сборными домами ярких расцветок.

— Узнаете? — смеется Ян. — Или этого не было?

— Этого — нет. А вот это было.

Прямо перед нами река Отава, ее совершенно неподвижная чистая гладь, а по сторонам нависают над нею утопающие в зелени черепичные крыши, трубы, башенки старого города и еще один точно такой же чистый и четкий городок опрокинут в зеркальной воде. Прелесть таких городов и в том, что в них ничто не меняется. На окраине строятся Черемушки, но в центр города никто не станет втискивать стандартные дома, может быть, и более удобные. Кому нужна подобная разностильность? Город сложился постепенно, веками, это история, а историю следует уважать. Город Писек — славный старинный город. Еще в XIII веке, в раннеготический период, возник здесь крупный замок, который «оброс» городом. Этот город потом, в начале XV века, активно участвовал в гуситском революционном движении. Как и в близлежащем городе Таборе, где Ян Жижка основал по сути столицу движения, в Писеке была образована община. В центре города на площади стояли кадки, где хранилась общая казна и имущество. Это были проявления так называемого потребительского коммунизма.

Маленький городок Писек известен крупными демонстрациями под лозунгами провозглашения независимой Чехословакии в 1918 году и борьбой с германской оккупацией во вторую мировую войну. Вот какой это город.

Мы проходим по старому узкому Каменному мосту со статуями. Этот мост старше Карлова моста в Праге. Поднимаемся на крохотную аккуратную площадь. Странное чувство: здесь я патрулировал с автоматом ППС на ремне, с красной повязкой на рукаве, — представитель Страны Советов, — а вот из этой улочки вышли три американца в расстегнутых мундирах и пошли на меня, целясь фотоаппаратами. Потом они по двое по очереди снимались со мной, потом мы покурили, и они жестами и мимикой обещали принести карточки сюда же завтра или послезавтра. Мы весело распрощались, но то ли меня не было на месте, то ли они не пришли, не знаю и не помню, — но снимков я не получил.

Теперь я ходил по улочкам и площадям этого прелестного городка, разглядывая ратушу, фонтан, ка-

менные фигуры на крышах. неторопливую и нешумную его жизнь, и понимал, что тогда, может быть, по молодости лет или просто в горячке тех дней, я не оценил его по достоинству. Да мы и не привыкли тогда раскрывать рот, ахать и дивиться, не до этого было, а скорее это потому, что только зрелость может понять и оценить то, мимо чего беспечно проходит юность. Не вообще юность, а именно твоя.

Мы обедаем в ресторане отеля «Отава». Очень светлый приятный зал с яркими настенными панно на сельскохозяйственные темы.

В честь посещения мною после двадцатилетнего отсутствия города Писека Ян предлагает выпить и заказывает «четыре водки». (Бедному Пепичеку нельзя.) Нам приносят по пятидесятиграммовой рюмке водки и по бокалу минеральной воды. Мы с Николаем Ивановичем выпиваем сразу, а Ян с Пижмой тянут в течение всего обеда по маленькому глоточку. Кормят вкусно — бульон, жареная телятина, салат, фрукты.

Ян спрашивает у официантки, как проехать к очень высокому мосту через Влтаву. До него должно быть километров десять. Она объясняет. Он благодарит и интересуется, сколько ей лет. Девушка улыбается. Она сорок шестого года рождения.

До моста 11 километров. Называется он неожиданно очень по-нашему — Подольский. Мы подъезжаем к нему с другой стороны, как тогда — американцы.

При повторных встречах через много лет обычно все выглядит меньше, уже, ниже, чем казалось, чем жило в памяти. А здесь — нет! Мост очень высок, и мы почти летим (во всяком случае, я), когда смотрим сверху на темные ели на берегу, на желтый песок, на серую воду. А река — странное дело — будто бы даже шире. Гораздо шире.

— Раньше Влтава поуже была, — говорит Ян у меня за спиной. — Помните? А теперь наверху плотина.

Ах, вот в чем дело! Подвесного моста над самой водой уже нет (как он раскачивался, когда мы по нему ходили!). А там, где мы жили, еще ниже, разноцветные палатки туристов, маленькие автомобильчики. Глубоко-глубоко под нами надувная лодка и на песчаной отмели стоит женщина в красном купальнике. И как тихо кругом!

Кто я? Тот, двадцатилетний, в пилоточке? Ничего подобного. Я только приблизился на миг к тому дню, и он встал передо мной во всей яркости, а затем снова начал отдаляться. Но и это уже немало.

— Неплохое ты выбрал место, где войну закончить, — говорит Николай Иванович. — Красота какая. Надо отметить.

Йозеф поднимает передний капот (что-нибудь с мотором?) и достает из багажника мою сумку. А я уже вынимаю бутылку петровской водки, захваченную для этого случая, и кружку. Мы вчетвером распиваем ее (Бедному Пепичеку нельзя!), и Ян кричит:

— Какая водка! Пижма, брат Пижма, ты пил такую водку? Это придумал царь Петер? Кто у нас занимается внешней торговлей? Наверно, им нельзя пить, они ничего не понимают. Вот какую водку нужно привозить в Чехословакию.

Николай Иванович закупоривает пустую бутылку и швыряет вниз, а Врбецкий тут же показывает нам: вон она уже плывет, и мы ее тоже видим.

Ян очень огорчается, что не вложили в бутылку записку с описанием повода, по которому она была опустошена. Ее поймали бы школьники, принесли учительнице и поместили бы в школьный музей.

И вот начинается край, о котором они говорят проникновенно, с восторгом, с благоговением, — Шумава. Горный, лесистый, пограничный край. Становится холодно. Йозеф поверх рубашки, которая по-прежнему бела, как и утром, надевает спортивную куртку. Встречается много туристов на машинах, это большей частью западные немцы. Мелькают среди елей изящные горные отели.

— Это хорошие международные отели, — говорит Ян, повернувшись к нам и радостно глядя голубыми глазами, — в одном нам заказали комнаты, я еще не знаю в каком, узнаем в лесном управлении. Завезем Пижму домой и поедem в отель. Нужно отвезти брата Пижму к его красавице Марушке, она смотрит в окно, ждет своего дорогого Пижму, она скучает по Пижму.

— А! — говорит Врбецкий.

— А если комнат в отеле нет, — продолжает Ян, — вы, товарищи, не обидитесь, потому что поздно заказали, а туристов очень много, тогда нас приглашает това-

рищ Врбецкий, брат Пижма, у него на чердаке, на сене, я ночевал прекрасно.

— Конечно, с удовольствием.

— Рядом граница, тут же рота, и у старого Коблера последний трактир республики. А завтра отель будет обязательно, может быть, и сегодня будет, но не обязательно. Поздно заказали, а очень много туристов...

Сидя в летящей машине, слушая Яна и глядя по сторонам, я все еще был полон своим: передо мной сиял уютный старинный городок, перед моими глазами серая стрела моста перечеркивала синеву, а внизу темнели ели и желтел песок, и я стоял, будто летя, не то неправдоподобно давно, не то совсем недавно. Это было мое. И другие, новые, впечатления я, подсознательно, не пускал в себя слишком глубоко. Но потом, незаметно, я как бы потерял бдительность.

Повсюду, по сторонам дороги, и вдали, вверху и внизу, где только позволяли видеть горы, — повсюду хвойные леса. Своими серыми блеклыми красками, холодом, лесами и деревянными под тесом или щепой домами и церквями Шумава напоминала милый моему сердцу наш русский Север.

Началась запретная зона. Здесь те самые лесные хозяйства, о которых говорил Ян. Пограничники и лесорубы. Врбецкого знают все, и, видя его в машине, нас даже не останавливают. Заезжаем в лесное управление. Отель заказан только на завтра. Тогда — к Пижме!

Деревня Сушицы. На улицах пустынно. Входим в трактир, типичный трактир горной западной деревни. Тепло, шумно, накурено. Звучит машина, автоматически меняющая пластинки (нужно бросить монету и нажать кнопку). Все пьют пиво, некоторые играют в карты, другие просто беседуют. Вдруг кто-то кричит: «Франта! О! Пижма!» — и к Врбецкому бросаются, окружают его. Он здесь популярная личность, не только как пограничник, но главным образом как депутат, много сделавший для района. Ах, жаль, уехал Франта, восемь лет был депутатом и снова бы выбрали! Его торжественно усаживают за стол, кругом стоят люди, слушают, что он скажет. Рядом с ним и нам почет.

Трактир — это выражение Яна, официально это ресторан, а называют его все ресторацией, произносят —

рестоврация. Мы после Писека и моста слегка «рестоврируемся». Даже Йозеф позволяет себе кружку пива — впереди уже не будет туристов и автоинспекции.

Природа мрачная, хмурая, темных и блеклых тонов. Холодно. По дороге — ни души, это закрытая зона. Вдруг сбоку видим солдат, они косят траву. В двух шагах на кустарнике висят их автоматы: граница рядом. Сержант-пограничник козыряет Пижме.

— Для Словакии сено готовят, — вздыхает Ян, — там наводнение.

Йозеф, долго молчавший, вдруг говорит:

— Я здесь был, когда в армии служил, возил полковника. Маневры были, и мы сюда попали. А вон там танки шли.

— Хорошо по-русски говоришь, Йозеф, — хвалит его Николай Иванович. — Где научился?

— В школе, — улыбается Пепичек.

— Молодец, — говорит Ян. — Пижма, тебе тоже надо учиться.

И наконец — горстка домов среди темных елей. Деревушка Прашилы. Приехали.

Поблизости, над деревней; горный лесистый кряж, и Ян объясняет:

— Это граница идет по горизонту, кое-где ниже горизонта...

Граница с Западной Германией.

Тишина. За заборчиком ходят, взявшись за руки, ребятишки. Это материнская школа — так здесь называется детский сад. (Открытия добился депутат Франтишек Врбецкий.) Рядом рестоврация — «последний трактир республики», в сотне шагов погранзаства (называется: рота), а напротив трактира живет брат Пижма, и Йозеф тормозит у дверей. И тут же выбегает молодая радостная женщина, а за нею мальчик и девочка.

— Марушка! — гремит Ян. — Красавица Марушка! Знакомьтесь с Марушкой Врбецкой, товарищи. А товарищи — из Москвы, наши дорогие гости. Красавица Марушка!

Марушка чуть-чуть конфузится, смеется, подавая руку.

— Брат Пижма очень тосковал по красавицу Марушку!

— А!

Марушка что-то говорит и грозит пальцем.

— Она говорит, — переводит Ян, — что вы, наверное, с братом Пижмом гуляете там в Праге по пивным, по трактирам.

Сияющий Пижма бегло целует жену и входит в дом, неся повисших на нем детей. Марушка приглашает нас.

У них двухэтажный немецкий дом со всеми удобствами, городская мебель, телевизор, холодильник. Жена Марушка — хозяйка, все свое: куры, овощи, клубника. Она беспокоится: как безо всего этого она будет в Праге, там все купи, да и шум, гам городской жизни ее пугает. Она была там два раза, не помнит, как выбралась.

Пьем кофе и, чуть-чуть закусив, идем вчетвером в «последний трактир республики» — «ресторнировать-ся». Врбецкие подойдут позже.

Уже смеркается. Над крышем на светлой холодной полоске неба резко выделяются острые черные ели... Шумава!

И не только Москва, но и Прага — где-то далеко-далеко!

За стойкой старик Коблер. Ян представляет нас. Коблер раньше владел этим трактиром, теперь заведует государственным. Но он доволен: во-первых, никаких хлопот и конкуренции, а главное, две его дочери немые («Потому что на родственнице он поженился, — объясняет Ян, — знаете, как раньше было: поле выходило за поле, стадо за стадо»), немые, но обе замужем — за пограничником и лесником — потому что здесь закрытая зона, и женщин мало, а иначе разве бы они вышли, хотя девушки хорошие. Муж одной из них, лесник, выпив, обычно хвалится, как хорошо, когда жена всегда молчит, остальных мужей он жалеет.

Сейчас народу в трактире мало. Наверное, еще рано. Йозеф останавливается около играющих в карты, а мы с Яном проходим дальше, в маленький пустой зал. Ян оставляет нас, но тут же возвращается с человеком в форменной блузе. Человек красив — шелковистые вьющиеся волосы, смуглое от непогоды лицо, глаза веселые, чуть насмешливые.

— Это старший лесничий Кантор.

Ах, это тот самый Кантор, который давно, во время заносов, ходил на лыжах под пулями диверсантов в Сушицы за хлебом, тот самый Кантор, который и пустил всем известное здесь словечко — Пижма.

Он уже немного выпил, смеется, ворот распахнут. По-русски он не говорит совсем, так же как и мы почешски, и когда Ян снова выходит, он, чтобы развлечь нас, показывает нам снимки киноактрис, среди них мелькают знакомые лица.

Народу прибавляется. Ян приводит еще лесничего — крупного плечистого парня.

— Он называется Ярослав Махалька.

Приходит майор-пограничник с женой, еще люди. Старик Коблер приносит всем пиво.

— А где Йозеф?

— Пепичек уже играет в карты.

Мы тесно сидим за длинным непокрытым столом. Ян говорит что-то Коблеру, старик приносит всем порюмке водки-сливовицы, и провозглашается тост в нашу честь.

Потом они начинают петь. Это старинные, народные песни Шумава, объясняет Ян, песни о лесах, о зиме в горах, о верной любви, песни удивительные и прекрасные, и поют они здорово. Кантор начинает, имитируя звук охотничьего рога, раздающегося где-то в горах и лесах то ближе, то дальше, второй лесничий, вступая, ведет самый мотив, самый рассказ, и тогда Кантор, с безразличным видом, будто это не он, дает фон — голос кукушки. Мастера!

А за окном уже погасло небо, и окошко зашторено, и, темнея, стоят хмурые Шумацкие леса, и граница рядом.

Приветствуемые всеми, появляются Врбецкие и садятся с краешка.

Кантор запекает озорную песню, где изредка — видимо, для колорита — встречаются непечатные русские слова, и хотя и Марушке, и жене майора известно это и они машут на Кантора руками, это известно все же чисто теоретически, это другой язык, и поэтому песня не коробит их.

— Ох, баловник ты, Кантор, — говорит Николай Иванович.

Старик Коблер приносит черный кофе.

Вдруг мы вздрагиваем — Кантор звонко заводит: «Командир, герой-герой Чапаев, был всегда он впереди», и второй, плечистый лесничий, который называется Махалька, мощно подхватывает, и все поддерживают запевалу, и мы, конечно, тоже, а сидящий напротив пограничник в сером костюме свистит, заложив четыре пальца в рот. Мне давно уже нравится, как он поет — серьезно, самозабвенно, в полный голос, как поют и у нас за столом — в праздник, на свадьбах, целиком отдаваясь песне.

Все ребята едут — веселятся... —

гремит в трактире.

Ян кричит мне в ухо, что у немцев на границе, наверно, объявлена тревога. Старик Коблер снова приносит пиво и, улыбаясь, слушает песню.

Потом — тоже все — поют «Катюшу». Никто, кроме Яна, здесь не знает русского, но песни эти поют все — слово в слово. Для одних сидящих за столом — это песни их юности, для иных — даже детства. Они ворвались в их жизнь с востока тогда, в сорок пятом, они пришли на броне наших танков, они запомнились навек в хриплом исполнении ротных запевал.

Старик Коблер снова приносит сливовицу. Закуски никакой — не принято. Николай Иванович встает и провозглашает тост за хозяев, за нашу следующую встречу в Москве, за нашу дружбу. Старик Коблер снова приносит кофе.

Ко мне подходит плечистый лесничий Махалька, мы пытаемся объяснить, ничего не получается, пока не приходит на помощь Ян.

Махалька говорит о лесах, о резонансной древесине (хвойное дерево — ель? Кедр? Лиственница? Нет, нет, как это по-русски? Пихта? Во-во, пихта!). Он говорит о том, как он любит лес, нет, нет, Ян, он говорит это не потому, что выпил. Он говорит, что мечтает поехать в Сибирь, пожить там, посмотреть это чудо — сибирскую тайгу, но вряд ли пошлют в командировку, он думает дождаться, пока выйдет на пенсию, и тогда поехать на несколько лет. И я говорю о сибирской тайге, где я бывал в самой глуши, далеко от дорог, на вертолете спускался к кромке лесного пожара.

Старик Коблер приносит сливовицу — это от него,

он сам желает угостить всех. Пьют за него, за его дочерей, я вижу, как он оживленно разговаривает с Николаем Ивановичем, и они ничего не понимают, но Ян уже спешит к ним. Занятые друг другом, сидят рядышком Врбецкие. А ко мне подходит тот пограничник в сером костюме и говорит о чем-то, а я говорю ему свое, и тут рядом с нами появляется Йозеф. Он такой же чистый, свежий и трезвый, как был утром, в Праге.

— Капитан Мазанец, — объясняет Йозеф, — говорит, что, когда он маленький был, в сорок пятом, у них в доме жили трое русских: офицер и два солдата. Очень хорошие люди. Его отец, он старый рабочий, он мечтает их найти и писать письма.

Мазанец говорит так же, как поет, серьезно, не отвлекаясь.

Хорошо бы, чтобы нашли друг друга все, кто хотят и еще надеются друг друга найти, и даже те, кто уже потерял надежду.

Старик Коблер приносит кофе, и теперь уже наш степенный Йозеф заказывает сливовицу, теперь он хочет угостить всех.

— Наверно, он выиграл в преферансе, — говорит Ян и кричит нам с Николаем Ивановичем: — Вы теперь настоящие шумавские волки.

Потом старик Коблер уводит Николая Ивановича показать, как он работает за стойкой, а ко мне подходит Кантор, он улыбается, волнистые волосы падают ему на лоб. После нескольких попыток мы убеждаемся, что не сможем поговорить, и, обняв друг друга за плечи, смеемся. Мне удастся понять только, что Кантор работает здесь девятнадцать лет и уезжать не хочет. И я видел таких же ребят у нас в тайге, наших лесников и летнабов, и парашютистов-пожарных, далеко к северу от великой магистрали, в приленской тайге. Эти люди живут в глуши, где нет театров и институтов, где нет всей могучей и разнообразной современной цивилизации. Здесь главное для них — работа. И главное развлечение, отдых — это тоже работа, любовь к природе, к хмурым шумавским лесам, к чудесной резонансной древесине, которая звучит потом где-то в концертных залах, далеко отсюда, через много лет. Здесь нельзя не любить своего дела, иначе нельзя жить, потому что нет никакой замены, которая

может быть и бывает у людей в городе. Здесь работа — цель и смысл жизни.

Уходим мы в третьем часу. С востока уже светлеет небо и выделяются на его фоне черные, жесткие силуэты елей.

Спим мы с Николаем Ивановичем в гостиной на широком диване, под двумя перинами. Ян и Йозеф — наверху, на сене.

Утро синее, ясное, как тогда в Праге. Мы «рестоврируем» домашним яблочным вином и выходим. Снаружи холодно, изморось лежит на траве, на заборах, на нашей «Татре».

Застава (ее называют — рота) живет своей бессонной, непрерывной жизнью. Нас встречает замполит — капитан Мазанец, тот вчерашний пограничник в сером костюме (сейчас на нем, разумеется, форма), который пел так серьезно и самозабвенно. Мы осматриваем красный уголок, спальню. Есть телевизор, а вот радио — нет, зачем? — у каждого солдата свой транзистор. Потом проводник показывает нам работу служебной собаки. Она, выпущенная за «нарушителем», нагоняет его, вцепляется в правую руку и не отпускает, пока не подоспеет проводник. Правая рука «нарушителя» замотана ватником. Он старается вырваться, но собака упирается лапами в землю и держит крепко. Остальные собаки поднимают лай в своих загонах.

— Немцы, наверно, смотрят с границы, что случилось, кто приехал, кому собак показывают, — говорит Ян.

У входа строятся пограничники, молоденькие ребята, видно, они не выспались. В руках у них косы, на ремне — автоматы.

В канцелярии капитана — на столе учебники, он заочно кончает школу.

Прощаясь, он крепко жмет нам руки и говорит снова, что хорошо бы найти тех русских солдат, что жили у них в доме. Он пришлет фотографии, может быть, их можно опубликовать. Сейчас часто так делают. Николай Иванович обещает это устроить.

Капитан Мазанец берет под козырек и серьезно смотрит нам вслед.

Возле дома Врбецких прощаемся еще с Маруш-

кой, приглашаем в Москву (она машет руками — куда там!), садимся в машину, давай Пепичек газу, поехали!

Заезжаем в лесное управление. Кантор и Махалька давно на местах. Угощают нас черным кофе. Они были в трактире до утра, потом прошлись по лесу («Лисицы не ругают, не то что жена!») и уже на работе.

На стене их комнаты редкий охотничий трофей — гигантские, необыкновенно ветвистые олени рога.

Ян узнает, в каком отеле для нас забронированы номера.

Врбецкий, который мог бы провести этот день дома, едет с нами, собственно, для нашего удобства: нас нигде не останавливают, только козыряют Пижме.

Рассеивается туман над горами, и они под ясным синим небом уже совсем не выглядят мрачными и хмурыми. И Ян то и дело удивляется и повторяет, что это редкость для Шумава, что здесь всегда дожди, что это специально для нас такая погода.

Мы кружим по Шумава, по серпантину горных шоссе, наши хозяева уже наметили маршрут, они хотят показать нам все, а во мне опять начинается что-то протестовать, я уже переполнен впечатлениями, я хочу, чтобы все это хоть слегка устоялось, и мне снова хочется в Прагу.

— Сейчас заедем в профсоюзный дом отдыха.

— Зачем? Поехали!

— Это хороший дом отдыха. Посмотрим и выпьем по одному пиву. Здесь директор бывший пограничник, капитан Щетка («е», а не «ё»), он уволился по болезни.

— Ну, давайте.

Директора нет, но на месте — его жена, товарищ Щеткова, она заведующая столовой.

— О, Пижма! — радостно кричит она Врбецкому.

Бар тоже в ее распоряжении, и она, зайдя за стойку, наливает нам по кружке пива. Сидя в пустынной столовой, мы пьем пиво и смотрим за окно, где поднимаются поросшие елями горы, где по шоссе проносятся машины, но монотонный шум горной речки заглушает их рев.

На нас напяливают халаты, и мы осматриваем сияющую белизной и никелем кухню, потом — двухместные и одноместные современные комнаты для отды-

хающих (такая погода — редкость, и никого нет дома, все в лесу), пишем отзыв в книге посетителей и покидаем дом отдыха профсоюзов «Быстржина», уверенные, что больше никогда не увидим его, как бегло покидаем мы в жизни множество мест с тем, чтобы уже не вернуться.

— Товарищ Щеткова («е», а не «ё») приглашает нас сегодня на вечер, будет бал, знаете, по случаю конца заезда...

Мы благодарим, у нас очень плотная программа.

Пригнув голову, сидит за рулем Йозеф. Встречные машины минуют нас с мгновенным ревом. Йозеф внимателен и точен, движения его мягки и неторопливы, «Татра» будто сама безошибочно и плавно вписывается в поворот. Лишь только открывается просматриваемый отрезок дороги, Йозеф резко увеличивает скорость, легко обходя других. Здорово водит машину наш Пепичек! Я всегда радуюсь и порою даже волнуюсь, когда вижу настоящего мастера, будь то поэт, плотник или спортсмен. Но чувствуешь это особенно остро, если от их мастерства в какой-то степени зависит и твоя жизнь, если это хирург, летчик или шофер на горной дороге.

В городках и деревушках, где мы останавливаемся, Йозеф, солидный, степенный, обязательно заходит в магазины и лавочки, интересуется ценами, смотрит, что бы такое купить своим двум сыновьям (двух лет и девяти месяцев), жене и даже теще. И покупает что-то. Утром он не успел побриться, и белая рубашка уже не имеет того вида, но все же выглядит он довольно браво, наш Йозеф, наш Пепичек.

Чего только не видели мы за этот синий день, кружась по Шумаवे, чего только не осматривали. Скотные дворы с автоматическим кормлением крупных чистых коров. Лесопильный завод. Новые современные дома для сельскохозяйственных рабочих: для семьи из двух человек — двухкомнатная квартира со всеми удобствами, для троих — трехкомнатная. В отдаленные, глухие, холодные районы привлекают именно этим, чтобы люди закрепились надолго, навсегда, чтобы не тянулись непрерывно к старым теплым гнездам. Новые — лучше!

В другом месте видели дом — эдакий комбинат, в нем, в одном — всё: для семейных отдельные комнаты, для холостых общежитие, для детей — школа, там и клуб, и магазины, и столовая. Все — в одном доме! Возле дома прямо на земле стоит телевизионная антенна, метров полутора от земли, — оказывается, это место достаточно высоко, и нет смысла поднимать антенну на крышу.

Сразу видно, где кончается пограничная закрытая зона — появляется множество туристов. В разноцветных машинах или в разноцветных же палаточках где-нибудь возле реки.

Среди темной хвои изящные, комфортабельные отели с особым горным шиком и колоритом: некрашенная — под старую — мебель, грубые, как бы домотканые, с народной вышивкой скатерти и занавески. В одном из таких отелей — в «Интернациональном», — где мы обедали, среди самых различных иностранных нашли и наши газеты. Ничего особенного за минувший день не случилось, но вот моя команда проиграла в Минске. Порадовали, спасибо!

Ей-богу, это испортило мне настроение. Удивительно, может быть, даже глупо, но это так. Я «болею» за свою команду очень давно. Ее поражения, неустойчивый класс, неумение и еще более нежелание играть, как играют в футбол, всегда больно задевали меня. Ее удачи, ее взлеты, ее мастерство и даже просто везение до сих пор наполняют меня радостью. Проснешься утром — что это было вчера приятное? Ах да, наши выиграли! Или — наоборот. Говорят, что замечено: когда выигрывает донецкий «Шахтер», на следующий день повышается производительность труда в шахтах Донбасса. И опять же — наоборот. Что это такое? Какое мне дело до мальчишек в красных майках и синих трусах, гоняющих мяч по яркому зеленому газону! Что у меня с ними общего? Почему их поражения и победы трогают меня не меньше, а может, и больше, чем их самих?

Мы на знаменитом Черном озере, где недавно на дне были найдены утопленные гестаповцами секретные архивы. Об этом много писали. Озеро мрачное, отвесные поросшие лесом берега. (И опять: «граница —

по горизонту, и чуть ниже горизонта».) Существует поверье: озеро нельзя пересечь на лодке, обязательно утонешь. Вероятно, немцы при выборе места учли и страх местных жителей перед озером. Поблизости, в лесу — застава (рота). Пижму знают и здесь. Слушаем рассказы о задержании нарушителей.

Служебные собаки живут здесь не в конурах, а в бочках из-под пива.

Сейчас, когда я пишу это, у нас в Москве зима. Морозы до тридцати градусов. Но держатся такие морозы недолго — выносливости не хватает. Падает снег. Начинается потепление, и даже дождь недавно ночью стучал по карнизам. А потом снова мороз до двадцати пяти. Вот как бьет нас зима по нашим бедным кровеносным сосудам.

Сейчас — мороз. Я подхожу к окну и смотрю на окостеневшие тополя, на бегущих прохожих. Сквозь морозный туман слабым круглым пятном пробивается солнце. Я вспоминаю строки Заболоцкого:

...И в середине небесного свода
Лишь смертельного зноя пятно
Различит, замирая, природа.

Это совсем о другом времени, но что-то есть в этих картинах общее, и строки вспоминаются. Как по-разному складываются судьбы поэтов! Одни уже смолоду приобретают устойчивое положение классиков и так и проносят его через всю жизнь, сами почти не заботясь об этом. О других шуму еще больше — и вдруг — неожиданно, необъяснимо — стоп! Что случилось? Кончилась мода. Извините, это теперь не носят! И если к узким брюкам и коротким юбкам возвращаются снова, то вышедшие из моды стихи обычно уже не возрождаются. И есть поэты, которых при жизни знают и по-настоящему понимают их величину относительно немногие. Но — странное дело — когда они умирают, их поэзия получает огромную известность и распространяется все шире и шире. Их судьба чем-то напоминает мне судьбу С. П. Королева — как будто они тоже были засекречены при жизни, и только смерть открыла ворота их славе. Такова судьба и Николая Заболоцкого.

Уже стало слегка смеркаться, когда мы завезли

Пижму домой, в Прашилы, и, не выходя из машины, круто развернувшись, покатали обратно по пустынной дороге. До отеля, как сказал Ян, было километров пятнадцать («О, это отличный отель!»), но мы не сразу нашли его. Неожиданно резко похолодало и пошел дождь. Сквозь сумерки Пепичек напряженно смотрел на мокрую извилистую дорогу. Наконец мы остановились. Кажется, здесь. Совсем стемнело, черные хмурые леса выделялись на едва светлевшем небе. Шел мелкий холодный дождь. Ага, это здесь, это тот самый отель, пойдемте.

Мы поднялись по крутым ступеням к отелю, у входа белело какое-то объявление. Ян сказал нерешительно:

— Здесь написано: карантин!

Мимо прошли в темноте парень с девушкой и что-то крикнули нам.

— Они говорят: «Здесь, здесь, заходите».

Мы поднялись на второй этаж, и на нас пахло теплом и уютом. В большом зале сидели за общими столами люди, ужинали, пили пиво. В камине горел огонь, было тепло, оживленно,—это все было как из какого-то фильма: непогода, ночь, отель в горах.

К Яну подошел метрдотель.

— Что он говорит?

Ян несколько смущен:

— Он говорит, да, комнаты приготовлены, но здесь утром заболела девочка, подозревают, знаете, вот эту болезнь заразную, воспаление печенки. И пока карантин.

— Инфекционная желтуха?

— Да, да. И карантин. Комнаты заказали вчера, а это сегодня.

— Но нас выпустят?

— Конечно.

Минуты не прошло, как мы были уже внизу, у машины.

— Вот бы застряли, а? — ужаснулся Николай Иванович. — Недели две, наверно, карантин. Вот это был бы номер.

Дрожа от сырости, мы сели в машину. Дождь то-ненько стучал по крыше.

— Что будем делать?

Пепичек включил радио, и джазовая мелодия — с

визгом, с криком — заполнила «Татру». Мы рассмеялись.

Ехать снова к Врбецким? Нет, неудобно, уже прощались с Марушкой, всё! Попробовать найти номера в одном из отелей? Безнадежное дело, номеров нет. Остается одно: Прага. Там сейчас наш дом. Поедем потихоньку, ночью или к утру приедем. Надо ехать в Прагу. А как же Пижма? Ведь его надо захватить утром, он будет ждать, ведь мы договорились.

— О! — говорит Ян. — Мы поедем в профсоюзный дом отдыха «Быстржина». Нас пригласили на бал. Завтра отъезд, а кто-то уехал сегодня, и капитан Щетка («е», а не «ё») даст нам комнаты. А если нет, мы будем решать...

Уже совсем темно. Свет фар дрожит на блестящем асфальте, а на поворотах упирается в обрывистые склоны, выхватывает из мрака шершавые камни, нависшую хвою, намокшие стволы. Потом мы останавливаемся, и дождь стучит по крыше «Татры». Ян выходит, мы сидим и ждем. Пепичек включает приемник, и чуть слышно звучит задумчивая музыка. И еще — ровный монотонный шум — это горная речка. Далеко нас с тобой занесло, Николай Иванович! Согнувшись, бежит к машине Ян, а следом под дождевиком директор дома отдыха, бывший пограничный капитан Щетка.

— Познакомьтесь, товарищи. Товарищ Щетка даст нам комнаты.

Мы сидим в светлом и теплом зале — это столовая дома отдыха. Мы уже поужинали и теперь медленно тянем пиво. Пепичек ушел привести себя в порядок. Зал постепенно заполняется, входят группами, компаниями, садятся за накрытые белыми скатертями столы, заказывают вино и пиво. Здесь не только отъезжающие, но и местные жители из деревушки, расположенной рядом, для них такие вечера — главное развлечение. Внешне они несколько не отличаются от отдыхающих, приехавших из разных мест страны. Стучит дождь за окном, и, заглушая его, монотонно гудит горная речка.

Народу набирается все больше, появляются оркестранты в красных фраках — их пятеро, — и начинаются танцы.

— Ах, — стонет Ян, — если бы знал Пижма, что мы здесь, он пешком пришел бы, брат Пижма.

Среди музыкантов я не сразу узнаю директора — капитана Щетку, он руководитель оркестра, а сам играет на кларнете, и здорово играет. Мы вместе с залом хлопаем ему, и он улыбается и кивает.

А в другом конце зала — его жена Щеткова стоит за стойкой бара и наливает пиво (и разносить тоже успевает), а самым отчаянным — рюмку водки.

Увлекательное занятие — рассматривать танцующих. Вон высокий блондинистый парень с длинным носом — самый неумолимый танцор, он танцует со всеми подряд: с молоденькими девушками и с зардевшимися седовласыми матронами. Сохраняя, как принято, самый невозмутимый вид, он как заведенный вращает своих немножко испуганных партнерш, и видно, что это доставляет ему истинное удовольствие. Вообще танцуют все — и люди солидные и пожилые — пары, большей частью неизменны, — это или семейные, или близко познакомившиеся за время отпуска, или — тоже со своими причинами — молодежь. Пожалуй, современной всех танцует тонкий чернявый парень, не только не обращающий внимания на партнершу, но даже словно презирующий ее и занятый только собой, только своими па и коленцами. И еще солдат — вид его говорит, что вот он приехал на побывку домой, в горную деревушку, из далеких больших городов и видел там такое, чего вы все не видели. Держится он несколько вольно, и, поворачивая молодую партнершу, у которой такое же, как у него, безразличное выражение лица, он иногда, мимоходом, касается пальцами ее груди. А большинство танцует весело, смеясь, переговариваясь, они хорошо знают друг друга. Многие выпили, а некоторые даже изрядно, и это заметно, но никакого хамства, хулиганства и скандала нет и в помине, просто, например, один парень нарочно садится все время мимо стула и сидит потом на полу и требует, чтобы пиво ему дали туда, и ему дают туда пиво, и все смеются.

Гремит бал. Супруги Щетки трудятся в поте лица. А руководит всем пожилой затейник или клоун с раскрашенным лицом и в пестром костюме. Он распоряжается, командует и, расхаживая по залу, раздает не всем, но многим какие-то бирочки или талончи-

ки. На галончике у Николая Ивановича написано: «Фауст», у меня: «Пьеро», у Яна: «Тристан». Мы, разумеется, догадываемся, в чем дело. В это время появляется наш Пепичек. Он в высшей степени элегантен, гладко брит, на нем новая белоснежная рубашка, а сверху шерстяной свитер-жилет. Мы с Николаем Ивановичем пытаемся всучить свои талончики Йозефу, но безуспешно.

— Йозеф, давай, ты же молодой,— уговаривает его Николай Иванович.

— Нет, это вам дали,— улыбается Пепичек, потягивая пиво.

Ян танцует с высокой молодой женщиной — себе под рост, — оживленно с ней разговаривая. До этого ее приглашал серьезный лысоватый дядя, ростом ей до плеча, она, танцуя, смешно возвышалась над ним. Появление нашего громадного Яна явно улучшило ее настроение.

— Это хорошая женщина,— говорит Ян, проводив ее на место и сядя,— вдова шахтера. Муж погиб уже два года...

Капитан Щетка встает и играет сигнал: «Слушайте все». Затейник выходит на середину.

— Товарищи,— говорит он (Ян переводит),— дамы и кавалеры, происходит странная вещь,— он разводит руками,— хотя наша граница хорошо охраняется, стало известно, что на наш вечер проникли лица из Западной Германии и из других стран, и самое удивительное — из других веков. Что делать? Надо собрать их вместе.

Зал тихо жужжит.

— Принц Гамлет! — выкликивает затейник, и под общий хохот невозмутимо выступает вперед тот носатый блондин, самый завзятый танцор этого бала.

— Офелия!

Снова ликование — и одна из седовласых зардевшихся дам подходит к Гамлету и берет его за руку.

— Изольда!

Ну что же, это та девушка, что танцевала с солдатом. А следом встает Ян.

— Ромео!

— Джульетта!

— Фауст! — и мой Николай Иванович смущенно выходит из-за стола, а Маргарита уже тут как тут и,

подбадривая его, что-то говорит, беря за руку. Йозеф смеется и машет Николаю Ивановичу. А вот и меня выкликают. Где же Коломбина? Ага, вот она. Молодая, худенькая, она сидела поблизости от нас, с мужем, и муж сейчас, обернувшись к соседям, всячески показывает, что ему все это неинтересно.

Оркестр играет вальс, кружатся пары, подбадриваемые залом, и мы с Николаем Ивановичем изо всех сил стараемся не уронить свой престиж, а это не просто, потому что танцоры мы не ахти какие. Окончился танец, и я уже хотел отвести Коломбину к мужу, но она и не думала убирать руку с моего плеча. Снова заиграла музыка, снова закружились пары — здесь, не садясь, танцуют по три танца.

— Молодцы! — кричит, пролетая, наш голубоглазый Ян. — Шумавские волки!

Продолжаются танцы. Опять блондин невозмутимо кружит всех подряд, опять с безразличным видом поворачивает свою девушку солдат, и его пальцы касаются ее груди, опять тонкий чернявый парень, занятый своими сложными движениями, не замечает партнерш, опять проносится Ян с высокой шахтерской вдовой.

Йозеф тоже танцует. Он долго сидел на месте, пил пиво, поглядывая по сторонам, и высмотрел-таки себе девушку-толстушку, которая была одна, и сейчас она очень рада.

Мы встаем немножко размяться и бродим по залу. Капитан Щетка в своем красном фраке, не отнимая трубы от губ, кивает и подмигивает нам. Жена его кричит нам из-за стойки, что мы хотим выпить. У раскрытых наружных дверей курят ребята, вышедшие сюда освежиться, громко разговаривают. Из дверей несет сыростью, в свете фонаря поблескивают дождевые струи, явственней шумит речка.

Возвращаемся. Тонкий чернявый парень, стоя возле бара, изо всех сил старается убедить в чем-то нашего Яна, но тот непреклонен. Парень огорчается, всплескивает руками, упрашивает, но Ян неумолим. В чем дело?

— Этот парень говорит, что ему нужно до утра приехать в город Писек. Он просит, чтобы я ему дал машину до станции. Но я не могу: дождь, ночь и у шофера четыре пива...

Парень уговаривает. Ему нужно быть в Писеке.

— Нет, нет, у шофера четыре пива.

Потом Ян показывает на меня и говорит, что я в войну был в Писеке. Ну! Парень что-то говорит. Что он сказал?

— Он сказал, что недавно приезжал советский генерал, который в войну был в Писеке.

— Спросите — кто.

Парень неуверенно назвал фамилию, я никогда такой не слышал.

— Нет, он ошибается, у нас не было такого генерала. Я знаю своих генералов. Я знаю Виндушева, Утвенко, Глаголева...

И тут Николай Иванович положил мне руку на плечо и сказал:

— Чудак, он же говорит о каком-нибудь новом генерале. Тогда он здесь, может быть, капитаном был.

— Верно, Николай Иванович, Так оно и есть, это точно.

А между тем нам готовилось еще одно испытание. Капитан Щетка, стоя, один, сыграл какое-то замысловатое вступление. Затейник объявил: в честь наших дорогих гостей — танцы соло.

Что еще такое? Все, кто были в зале, стали в круг, взявшись за руки, а мы с Николаем Ивановичем сиротливо оказались в середине.

— Это самый высший почет! — крикнул нам Ян.

Оркестр заиграл — для нас — «Подмосковные вечера», и не успели мы уяснить, что же от нас требуется, как к нам буквально наперегонки кинулись женщины. Коломбина хотела быть первой, но не успела, ее опередила какая-то старушка, и вот мы уже закужились, но тут же старушку сменила вдова шахтера, а ее — Коломбина, а ту — подруга солдата. Так по очереди мы протанцевали со всеми дамами бала — таковы правила, такова традиция этих танцев в честь гостей — танцев соло. Кружатся столики, улыбающиеся лица, мелькают красные фраки музыкантов, смеющийся Пепичек, громадный Ян.

— Молодцы, — кричит он, — шумавские волки! Ах, как жалко, что нет брата Пижмы.

Потом мы стоим в кругу, и все хлопают нам, а мы — им. Танцоры мы неважные, но сделали все, что

могли. Да разве в танцах дело! Правильно, Николай Иванович?

Потом был перерыв в танцах, и капитан Щетка угощал нас сливовицей, потом танцы продолжались снова, потом народ потихоньку стал расходиться, осталась только молодежь.

Мы улеглись наверху, в отведенной нам комнате. Звякал по карнизу дождь, усыпляюще шумела река. Йозеф пришел позже. Утром Ян разбудил нас. За окном стоял мутный свет, мокрые леса чернели под дождем, проносились по шоссе машины, но речка заглушала их шум.

Вчерашний праздничный зал выглядел буднично. В окна тек слабый свет дождливого утра. Мы сели у окна. Невыспавшаяся девушка, танцевавшая вчера с солдатом, подала нам кофе. Завтрак еще не был готов. Вчерашний затейник, позевывая, убирал в зале. Щеткова сидела с нами за столиком и смотрела, как мы пьем кофе. Спустился и директор — бывший пограничный капитан Щетка («е», а не «ё») — не в офицерской форме и не в красном фраке, а в сером пиджачке. Мы поблагодарили за все и тепло попрощались:

— Присажайте в Москву!..

Дом еще спал. Только высокая вдова шахтера вышла на крыльцо. С нею был мальчик лет шести-семи.

Струйки дождя текут по ветровому стеклу, а никелированные пластинки ритмично отбрасывают, отодвигают их в сторону, чтобы пригнувший голову Йозеф мог видеть мокрый асфальт шоссе.

Все молчат. И я думаю о них и об аккуратном городке Писеке, и вижу прочертивший небо летящий мост над Влтавой, и сам лечу вместе с ним. Шуршит дождь по крыше «Татры», ритмично движутся металлические пластиночки. Высятся кругом хмурые шумавские леса. И звучит где-то далеко-далеко, в сияющих залах шумавская резонансная древесина. И во мне, в моей душе, среди разных дел, долго, а может быть, вечно, рядом с тем городком и тем мостом, будут звучать шумавские леса, струиться извилистые дороги, будут жить встреченные мною люди.

РАССКАЗ О ПОТЕРЯННОМ ФОТОАЛЬБОМЕ

Речь пойдет не о семейной реликвии в плюшевом переплете, лежащей на тумбочке возле фикуса или на полочке под телевизором. Не о серых плотных страницах с двойными полукружьями надрезов, куда уголками вставляются фотографии. Не о самих этих трогательных снимках дедушек и теток, дружков-приятелей, которых иной раз никто уже и не помнит, тоненьких соучениц, свидетелей на свадьбах, шестимесячных младенцев, уверенно лежащих на животах. И, конечно, молодых людей в военной форме — тогда молодых! — а сейчас уже лишь профессионально наметанный глаз определит время съемки — по воротничкам и петлицам, по наличию или отсутствию на гимнастерках карманов или погон.

Нет, речь пойдет о другом. Да и сами эти любовно оформленные домашние фотоархивы, которые дают рассматривать гостям, пока не готова закуска, отходят в прошлое. Теперь время цветных слайдов. Теперь снимают слишком многие, никаких альбомов не хватит, фотографии, норовя свернуться в трубку, валяются в доме где попало, ворохом. Они словно перестают быть редкостью, документом.

Речь пойдет о фотоальбоме, который собирались напечатать и выпустить в свет в виде книги, даже в двух томах. В работе над ним меня пригласили участвовать Сергей Сергеевич Смирнов и Михаил Анатольевич Трахман.

Я долго колебался: был занят своим, а времени это должно было отнять много. В конце концов они меня убедили согласиться. Но ведь не уговорили бы, если бы самому не хотелось.

Это было в семьдесят втором году.

Сергея Сергеевича я знал более двадцати лет. Познакомился с ним в пятьдесят первом, вскоре после того, как он пришел в «Новый мир» заместителем к Твардовскому. Как раз в это время у меня печаталось там стихотворение «Мальчишка», я подписал верстку и уже попрощался, когда в уютной гостиной старой редакции заведующая отделом поэзии С. Г. Караганова вдруг остановила высокого стройного блондина и сказала:

— Сергей Сергеевич, вы интересовались, вот это и есть Ваншенкин...

Тот стал трясти мою руку, говорить, как ему нравятся стихи.

Когда он отошел, я полюбопытствовал — кто это. Она объяснила.

— Вместо Анатолия Кузьмича? — удивился я, имея в виду Тарасенкова.

Помню, она ответила:

— Вместе.

Мало кому известный в то время, недавно демобилизованный полковник через несколько лет стал популярнейшей в нашей стране личностью. Его поиски неизвестных героев войны, восстановление доброго имени многих живых и павших, стремление к истине и справедливости нашли живейший отклик в душах миллионов.

Потом он редактировал «Литературную газету», до этого и после руководил Московской писательской организацией.

У меня всегда были с ним самые добрые отношения.

Момент нашего знакомства ему запомнился тоже. В 1959 году он подарил мне книгу «Герои Брестской крепости» с такой надписью: «Константину Яковлевичу Ваншенкину, автору любимого мною стихотворения «Мальчишка», дружески, от души. С. Смирнов».

Я еще, помню, подумал тогда: «И что он к этому моему «Мальчишке» прицепился!..»

С Михаилом Трахманом я почти не был знаком.

Он был известным фронтовым фотокорреспондентом. Прыгал с парашютом в тыл врага, долго жил у партизан, снимал их...

Что же должен был представлять собой этот альбом?

Он назывался «От Советского информбюро». Однако сводки шли только канвой, на полях, и — выборочно. Альбом делился на главы — как сама война. Вероломное нападение, все крупнейшие сражения, партизанская война, Ленинградская блокада, тыл — фронту, освобождение захваченных врагом областей и стран Восточной Европы и т. д.

Каждую главу и главку должна была открывать статья Смирнова, часто довольно большая, сугубо военного характера, с описанием плана и сути битвы,

указанием участвующих частей и соединений — с обеих сторон. Смирнов серьезно изучал историю войны, был близко знаком и регулярно общался со многими нашими выдающимися военачальниками и был вполне готов к выполнению своей задачи.

Но главное и основное составляли, разумеется, снимки. Работы, понятно, не одного Трахмана — таких было относительно немного. Трахман являлся составителем, и он со знанием дела подобрал многие сотни фотографий, рисующих, отражающих, воссоздающих великую войну — и каждый ее день, и неожиданно выхваченные минуты. Прежде всего людей войны — их отвагу, их подвиг, их беду. Здесь были снимки и достаточно известные, и — в большинстве — виденные мною впервые. И обычные по сюжету (хотя Твардовский и говорит: «На войне сюжета нету»). Но то на войне, а то на снимке), и совершенно потрясающие.

В чем же заключалась, собственно, моя задача?

Я должен был сделать краткие подписи к фотографиям, или, как официально их именовали, литературные миниатюры (в обиходе их называли ходовым и расплывчатым словечком эссе). Я должен был сделать двести таких подписей — то есть не ко всем снимкам, а по моему выбору, разумеется, не в стихах, хотя мог использовать и стихи — свои и чужие.

Трахман привез мне первую порцию фотографий — несколько объемистых папок. Он ездил на зеленых удлинённых «Жигулях», за опущенным боковым стеклом, изредка высовываясь, торчала морда умнейшего черного пуделя.

Я развязал тесемки первой папки, взятой наугад, и меня окатило войной, я задохнулся и тут же захлопнул папку, чтобы сохранить свое волнение.

Весной я поехал в Ялту. Знакомые удивлялись, почему у меня такой солидный багаж, не зная, что самый большой чемодан битком забит папками с военными фотографиями.

Я жил на горе, среди развивающейся крымской весны, среди поочередно расцветающих миндаля, абрикоса, каштана, глицинии... Внизу ярко синело море, к самой набережной швартовались белоснежные океанские суда, звучала музыка, и все это было прекрасно.

Но я — без преувеличения — жил и здесь, и там, в своей молодости, в своей работе.

В этом же доме поселился тогда мой соавтор Сергей Сергеевич Смирнов. Он писал вступительные статьи к разделам альбома, его комната была завалена трудами по истории войны, мемуарами полководцев. Но время от времени он спускался ко мне, перебирал фотографии, заряжался ими. Заходили и другие знакомые, узнавшие, чем я занимаюсь, просили разрешения посмотреть, становились задумчивыми, вспоминали. Я объяснял, отвечал на вопросы. Я уже видел войну с разных сторон, из разных точек, я уже побывал на всех фронтах и направлениях, как в реальности разве что только Симонов. Я, рядовой участник войны, уже наблюдал весь ее разворот, всю панораму. Но особенно екало сердце, когда я набредал на то, с чем встречался, где бывал сам.

Потом я сидел дома у Михаила Анатольевича Трахмана, в Москве, на Ленинградском проспекте, и разглядывал новые кипы фронтовых фотографий. Потом жил на Рижском взморье и опять развязывал папки с очередными фотографиями. И опять в одном доме со мной жил Сергей Сергеевич, и мы иногда пили с ним виски на его балконе под шелест залива и под скрип сосен.

Издатели нас торопили, они хотели выпустить альбом к тридцатилетию Победы. Дело двигалось, но не так быстро, как того хотелось.

Свою часть работы я выполнил первым. Я был, конечно, тоже занят другими делами, но не в такой степени, как мои соавторы. Смирнов надолго уходил в дальнее морское плавание, часто включался в составы делегаций, отправляющихся за рубеж, или возглавлял их, занимался проблемами Московской писательской организации, имел множество официальных и общественных обязанностей и поручений. Трахман тоже бывал в частых разъездах, путешествовал с семьей и черным пуделем по странам Восточной Европы.

И потом то, что делал я, не требовало дополнительных уточнений, проверки. Их же работа была целиком построена на фактическом материале, она должна была быть тщательно изучена и утверждена со-

ответствующими военными и научными консультантами, во избежание малейшей ошибки. Кое-что приходилось изменять и доделывать.

Короче говоря, как только издатели увидели, что не успевают к нужному сроку, они охладели к нам. Но заинтересовались другие, и в буквальном смысле чемодан с нашей работой был переправлен туда.

И тут заболел, как вскоре выяснилось, безнадежно, Сергей Сергеевич Смирнов. Он страшно изменился внешне, похудел. Он еще интересовался делами, в том числе и судьбой нашей общей работы, но уже угасал стремительно. Его уход больно задел многих.

Сейчас его имя присвоено одной из улиц Бреста, читается на борту океанского корабля.

Смирнова не стало, но рукопись наша рассматривалась, продвигалась, когда от внезапного сердечного приступа скончался замечательный фронтовой фотокорреспондент, человек большой выдумки, энергии и обаяния, Михаил Анатольевич Трахман.

Тем и окончилась наша совместная эпопея.

Через какое-то время, может быть и не очень скоро, я поинтересовался, каково положение с нашей рукописью, и мне сказали, что ее нет, она исчезла. То есть как исчезла? Да вот так, пропала, потерялась. Бывают и такие случаи.

Прошло несколько лет. Время от времени я с горечью вспоминал о своих соавторах и с удовольствием — о счастливых временах нашей совместной работы.

Я долго не мог найти среди своих бумаг экземпляры или хотя бы черновик тех своих литературных миниатюр. И вот они попались мне на глаза. Я стал читать их — заново, как не свое — и, к удивлению, обнаружил, что они могут существовать и отдельно, без фотографий.

Потому что в одних случаях изображение описывается, в других, что важнее, предполагается и представляется мысленному взору. Может быть, это не только комментарии к увиденному, но и само увиденное, прочувствованное и пережитое?

И еще необходимо сказать следующее. Здесь сохранен самый строй того нашего альбома, оставлены его внутренние подзаголовки. Возможно, порою они и су-

ховаты, но зато помогают читателю сразу ориентироваться во времени и пространстве.

Итак...

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ

Как на раскатанной школьной карте, мир представлял себе этот вертикальный простор — от Ледовитого океана до Черного моря, всю великую равнину, где, грудью встречая врага, истекая кровью, дерутся наши войска.

Такое геройство проявляли наши люди, и столько гибло их, как еще не бывало никогда.

Нет, мы не собирались уступать. Падали, тонули, горели огнем — и вновь вставали, тянулись к горлу врага.

Мои дорогие друзья, как я люблю вас, как я горжусь вами, как мне горько, что многих из вас уже нет.

Наши поля превратились в поля сражений, наши дороги стали дорогами войны.

Как от саранчи, ясным днем вдруг становилось темно от вражеских воздушных армاد.

Цивилизованные варвары. Они мнили себя высшей расой. Прежде чем одни нажимали на спусковой крючок, другие успевали щелкать затворами фотокамер. Деловитые палачи-фотолюбители. Они думали, что эти снимки будут украшать их семейные альбомы.

Можно, глумясь, поставить на колени нескольких героев, но нельзя поставить на колени наш народ.

Многих, очень многих за живое задели тогда эти стихи К. Симонова:

...Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, — так ее любил, —
Чтобы немцы ее живьем
Взяли силой, зажав в углу;
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В столах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам

Всею силой мужской любви...
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем, —
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь...

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

Трудно представить беду горше, чем беда Ленинграда.

Трудно отыскать в истории подвиг выше, чем подвиг его.

Немало стихов создано о Ленинграде времен блокады и беды. И так получилось, что лучшие стихи об этом написали поэты-женщины. Они острее почувствовали и передали всю боль родного города, весь ужас безмерных утрат. Стихи их были мужественны, они звали к упорству, к отпущению.

Вот стихи — одни из самых первых. Их автор — замечательная русская поэтесса Анна Ахматова.

Они так и называются — «Первый дальнобойный в Ленинграде».

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов —
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить — по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

Над Ленинградом явственно дохнуло ветром революции, Балтики, гражданской войны. Это ощущение было глубинным, неосознанным, но вполне реальным.

Может быть, причина была в сочетании блистательной архитектуры города и матросских отрядов на его улицах, баррикад, вооруженных рабочих. Ведь все это было связано у нас с девятьсот семнадцатым, так он нам примерно и представлялся.

«Мы из Кронштадта»... «Человек с ружьем»...

...Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой...

Как подходит эта песенка к сорок первому году!

КИЕВ

Далеко четкое воспоминание. Сорок первый. Начало сентября. Я еще не в армии, а учусь в школе. Правда, занятия не начались — одних посылают «на окопы», других — «на картошку», третьих — «на торф». А пока мы слушаем в заводском клубе лекцию о положении на фронтах. Лектор — женщина, из райкома. Народу — битком: тоже женщины, молодежь, да и мужчин в возрасте немало, они не знают точно — когда, но вот-вот и им должна подойти очередь. Война впереди длинная. Слушают все, затаив дыхание.

Потом — вопросы.

— Как с Киевом?

— Удержим ли Киев?

Людам кажется, что, может быть, есть что-то, чего они не знают, пока не знают. А она знает.

Что она могла ответить?

— Я думаю, дорогие товарищи, что Киев мы не отдадим.

Ее слова тонут в счастливых аплодисментах.

...Далекое четкое воспоминание.

Этот замечательный город в золотых маковках, над Днепром, был первым нашим городом, подвергшимся длительной осаде и после этого все же сданным врагу.

Расположение города было не слишком удобным для обороны, силы слишком неравными.

Древний Киев... Вся страна пристально следила за его судьбой. Он держался более двух месяцев. В конце концов наши войска вынуждены были оставить его.

Это была особенно горькая и ощутимая потеря, потому что он успел заронить надежду в наши сердца.

И все-таки, если возможно столь долго удерживать город, может быть, можно его вообще не сдать?

ОБОРОНА ОДЕССЫ

Одесса... Один из городов — любимцев страны. Город, живущий морем, моряками. На его защиту встали жители, армия. На его защиту встал Черноморский флот — всею мощью своих корабельных батарей, всей отвагой моряков, сошедших на сушу.

Флот, моряки, морская пехота... У кого из нас не замирало сладостно сердце от одних этих слов, от одного матросского вида. Черный бушлат, расклешенные брюки. Полосатый треугольник тельняшки на груди. Мерцающая золотом букв лента бескозырки.

Красива моряцкая форма. Но не потому ли так нравится нам она, так тревожит с самого детства, что мы знаем: за нею стоит сила, бесстрашие, дружба — в самых высших своих проявлениях! И таково могущество этой традиции, что человек, надевший флотскую форменку, как бы приобретает эти свойства, в нем пробуждается все лучшее и прежде всего — готовность к подвигу.

Красавец город с его бульварами, каштанами, людными улицами, шутками, яркой синевой моря. Такой мы представляем Одессу. Внизу порт. Знаменитая лестница. И сразу же в памяти — броненосец «Потемкин». Революционная Одесса. Ее рабочий класс.

Да, одесский рабочий класс — и когда враг стоял еще на дальних подступах, и когда защитники города были прижаты к морю — не покидал цехов и мастерских. Те, кто не ушел в народное ополчение, ремонтировали танки, строили бронепоезда здесь же, рядом, под боком у фронта. Не так ли вскоре будут трудиться под обстрелами и налетами противника пролетарии Тулы и Ленинграда?

К СМОЛЕНСКОМУ СРАЖЕНИЮ

Мы не видим лиц этих ребят. Их лица обращены туда, откуда сейчас должен показаться враг. Эти ребята всегда поворачивались именно в ту сторону.

Но мы знаем их лица. Мы знаем лицо поколения, бестрепетно встретившего чудовищной силы бронированный удар.

Кругом равнина... Влево, вправо
Ни кустика, ни деревца,
Лишь неба синяя отрава
И лишь дорога без конца,
Что сплошь воронками изрыта...
Да трое раненых солдат
По черным крыльям «мессершмитта»
Из трехлинеек ввысь палат.

На долю этого прекрасного, зеленого и холмистого, древнего города уже не один раз выпадало грудью встречать неприятеля, прикрывать собой дорогу на восток, на Москву. И сейчас яростное упорство наших войск на смоленской земле позволило стянуть и перестроить силы, заслонить столицу. Именно здесь на глазах всего мира затрещал и начал разваливаться гитлеровский план молниеносной войны.

Жесточкой ценой заплатил за это мужественный многострадальный город.

НАЧАЛО ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ

Тем, кто пережил это, страшно об этом вспомнить. Тем, у кого была иная судьба, страшно представить себе, что это могло случиться и с ними.

Оккупация. Едва ли не самое ужасное, что могло выпасть в пору войны. Страшнее был только угон в Германию, плен, лагерь. Что может быть унижительней ощущения собственной зависимости, бессилия и бесправия на своей земле.

Война была долгой и тяжелой, но среди своих можно было вынести многие тяготы и боли куда проще. И люди там, за чертой, в оккупации, сразу же захотели быть среди своих. Почувствовать в ладонях гладкий приклад карабина или автомата. Выйти из чащи на дорогу, подкараулить, обстрелять, уничтожить сильного, умелого, злого врага. Отомстить ему—

за себя, за родных и любимых, за жестоко поруганную землю. Это было всеобщее чувство и дело. Это была наша партизанская война.

Затаившись, часами, да что часами — сутками! — лежать у опушки, вблизи строго охраняемой магистрали, наблюдать, замечать, прикидывать, считать гремящие на восток эшелоны. И вдруг, выбрав момент, решительно, рискованно выброситься к полотну, заложить взрывчатку, поставить заряд и, откатившись, выждав, с замиранием сердца запалить шнур или включить «машинку» и своими глазами увидеть — сначала неестественной яркости вспышку, вздыбившиеся фермы моста, пошедшие с откоса, еще соединенные, давящие друг друга вагоны и сразу же своими ушами услышать дробную гулкую очередь взрывов.

Ради одного этого стоило жить на земле.

Фронт прокатился страшной волной, все более удаляясь, и наконец затих на востоке. Что там сейчас?

И вдруг снова — пальба и взрывы.

Партизаны... Не успевшие уйти с нашими частями или — реже — специально оставленные в тылу врага местные жители, знающие здесь каждую тропку и кустик. Люди самых разных возрастов, не пожелавшие просто ждать и надеяться. Попавшие в окружение, не сумевшие вырваться из железного кольца разрозненные стойкие подразделения или отдельные бойцы и командиры, уже пропавшие без вести для своих семей и военкоматов, но не пропавшие для России, — кадровики из приграничных округов. Они прошли сквозь огонь первых недель и представляли собой все более грозную силу.

Не к ним ли, своим землякам, воззвал А. Твардовский — воистину народный поэт!

...Эй, родная, Смоленская,
Сторона деревенская,
Эй, веселый народ,
Бей!
Наша берет!

Зоя...

Эта высокая девушка была москвичкой, школьницей, комсомолкой. Ей было восемнадцать лет. В ок-

тябре сорок первого она добровольно попросилась на фронт, который был рядом.

Под именем «Таня» ее переправили в тыл врага. Ей не суждено было сделать многое.

Но ей суждено было стать символом. Символом верности, стойкости, готовности отдать жизнь за Родину.

Символом молодости, твердо принявшей страдания и мученическую смерть.

О ней сложены стихи и поэмы, книги и песни.

Она принадлежит к чистому и бескорыстному поколению, стойко встретившему войну и беду.

Ее образ поражает прежде всего глубокой серьезностью, внутренней силой убежденности. Она словно старше всех нас.

Им недостаточно было расстрелять, они вешали. Согнали людей — в воспитательных целях, чтобы не повадно было, чтобы запомнили.

Люди и запомнили.

Посмотрите на предыдущий снимок. Они ведут Зою к месту казни. Идут — кто как, руки в карманах, это не строй, это банда. Взгляните на ухмыляющуюся довольную рожу в левом углу. А по бокам два палача, они не прячут лиц, как было принято когда-то у представителей этой профессии. Они не стыдятся того, что их можно будет узнать. Настигло ли их возмездие?

Виселица и эшафот сработаны по-немецки аккуратно. И стул приготовлен. А вот вид солдатской толпы бравым не назовешь. Они ежатся, топчутся, замерзли.

И с ужасом смотрят согнанные бабы и ребятишки, смотрят, чтобы запомнить навсегда.

А Зоя повернула голову и тоже смотрит — то ли с презрением на своего мучителя, то ли за его плечо — на белый простор, на далекий лес под хмурым зимним небом.

Отвратителен вид этих двух палачей из тыловой команды, их деловитость и самодовольство. У одного уже отморожены уши, и он прикрыл их круглыми наушниками. А другой ничего, притерпелся. Но все-таки

зябко. Ничего, скоро они согреются в тепле, обменяются впечатлениями, хохоча, выпьют шнапса.

Они еще верят, что скоро будут заняты по специальности не в этой черной деревушке, а в огромной теплой Москве. Там их ожидает много работы.

Они еще не знают, что скоро покатаются по этим зимним просторам, но не к Москве, а назад, страшась оказаться в «котле», теряя технику, падая и вмерзая в снежный наст.

Они этого еще не знают. Они заняты своим делом. Они казнят поджигательницу. Они не знают и того, что стоят сейчас возле ее бессмертия.

МОСКОВСКАЯ БИТВА

Осенняя Москва сорок первого года. Пестрая листва Тверского бульвара, задумчивый Пушкин. И опускаемые на дневное время, неуклюжие на земле, аэро-статы воздушного заграждения. Оклеенные крест-накрест наивными бумажными полосками оконные стекла, зашитые тесом, заложенные мешками с песком витрины магазинов. Осенние рощи, нарисованные на крышах заводских цехов и складов. Маскировка. А с наступлением темноты — светомаскировка, полный мрак, нарушаемый лишь всплывающими со дна голубыми столбами прожекторного света, беглыми вспышками зениток да по временам зловещим дрожащим заревом.

Стальные «ежи» и надолбы у окраин. Строгий вид патрулей.

С каждым днем Москва все более становилась прифронтовым городом.

Воздушные тревоги учащались, все большей становилась их продолжительность.

Гордость предвоенной столицы, предвоенной страны — Московский метрополитен стал огромным и надежным бомбоубежищем.

Но спросите у этих людей: и сюда, на глубину, заставляя сжиматься сердце, доносились порой глухие, далекие, но явственно тяжелые удары. Что там сейчас?

Эти люди пришли сюда основательно, на всю ночь,

до первого света, до свежего утреннего голоса диктора: «Граждане! Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!..»

Заметьте: здесь почти нет мужчин, только женщины и маленькие дети. Мужчины и мальчишки Москвы — там, наверху, наедине с тревожным осенним небом.

И еще заметьте: это станция метро «Маяковская». Именно здесь состоялось вскоре торжественное заседание, посвященное XXIV годовщине Октября.

Было сделано все, чтобы удержать Москву. Все беззаветные защитники ее, вся суровая страна твердо верили, что мы не отдадим свой главный город. Каждый был готов умереть за Москву, сердцем прикрыть столицу.

Но вот теперь, через много лет, я думаю, а что было бы, если бы враг все же вошел в город? Ведь его полчища стояли у самых ворот. Ведь его танки вырывались к самым Химкам. Конечно, мы бы не сдали Москву — каждый дом, каждый камень, каждое окно несли бы смерть врагу. Но если бы он все же ворвался в город?

Можно с уверенностью сказать: даже это не решило бы, да и не могло решить исхода войны в пользу фашистской Германии.

В русской истории бывали случаи, когда неприятель занимал нашу первопрестольную столицу. Последствия достаточно широко известны.

Нет, даже это не сломило бы нас.

Но мы защитили нашу Москву. Но мы отстояли нашу столицу.

Строительство оборонительных рубежей перед Москвой, на различных к ней подступах. То, что в народе называлось — «окопы».

— Где твой-то?

— На окопах.

Женщины и молодежь — из деревень, из школ, из институтов, — сколько кубов тяжелой земли выбросили их штыковые и совковые лопаты!

И все вдали от дома, в тревоге, в холоде, впроголодь.

Сооружение оторванных друг от друга укрепрайо-

нов, рубежей, «линий», уверенность в их надежности и целесообразности — может быть, это еще оставалось от других войн и военных кампаний.

Помогли они приостановить врага, или танковые лавины Гудериана обтекли их и оставили бесполезно осыпаться у себя за спиной, все равно это была великая школа, и столько во всем этом было героизма, энтузиазма, надежды, веры, беззаветности!

Продолжаются спектакли в театрах Москвы. На улицах тьма, в любой миг действие может прерваться сигналом воздушной тревоги. Но звучит музыка, но публика ходит.

А снаружи прямо напротив колоннады Большого театра выставлен низвергнутый фашистский бомбардировщик «Юнкерс-88». Зрителям, заполнившим зал, и самим балеринам это прибавляет настроения.

Ноябрьский парад сорок первого года. Исторический парад. Отзвук этой поступи отозвался по всей стране. По всему миру. Мы не отказались от парада. Значит, мы сильны. Значит, Москва сильна. Он породил гордость в душе народа. Ведь мы любили наши парады. Цокот копыт — на всю страну. Это Ворошилов выезжает из Спасских ворот. Под ним конь темной масти, обязательно в белых «чулках»... Это было еще совсем недавно, но до этого дня было теперь необыкновенно далеко.

Ранняя зима. Ветер. Холодно. Опушенные ели. Снег на брусчатке. Четкий, строгий, но походный строй парада. Как просто и как символично: прямо с Красной площади — в бой!

Началось то, о чем мечтали с первых дней войны, чего ждали, во что верили. Верили, отходя на восток, вырываясь из окружений, оставляя один за другим населенные пункты, теряя дорогих товарищей. Верили, получая или перестав получать с фронта бесценные треугольнички писем, сутками, неделями не выключая радио в надежде услышать именно это известие.

Началось и развивалось наше наступление.

Это было поистине зимнее наступление. Под забытыми снегом лапами елей и сосен, на спящих глазах белых просторах России, в маскировочных халатах,

по глубоким, пушистым, рыхлым или схваченным жестким настом снегам.

Это наступление запомнилось миру, а более всего тем, кто когда-нибудь лежал, окопавшись в снегу, кто безотказно поднимался под огнем в рост и, забрав под ремень полы шинели, проваливаясь по пояс, рвался вперед по белой целине, хватая морозный воздух раскрытым ртом, трудно дыша и привычно хрипя свое и общее: «Ура-а!..»

Авиация набирала силу и все более господствовала в воздухе. Этот процесс продолжался и в дальнейшем. Небо Родины стало свободным прежде, чем ее земля.

Артиллерия... Бог войны уже всерьез подал свой грозный голос...

Сладко сердцу, когда орудия на надежной огневой позиции, когда цел расчет, когда боекомплект в наличии.

Они мечтали об этом, на руках вытаскивая свою пушечку из грязи, разворачивая ее на прямую наводку, теряя товарищей.

Они дождались своего часа. Мощно откатывается ствол, и тяжелый снаряд, как плечом, раздвигая воздух, гулко проходит над самым лесом, чтобы накрыть далекую, невидимую для них цель. И, понятно, не один снаряд! Сотни тонн металла и взрывчатки одновременно обрушиваются на голову врага.

Даже здесь, на своем рубеже, у расчета как будто водой плотно залиты уши. А что же там, куда направлен этот удар!

Жестко и веско сказал об этом Твардовский:

...Пройдется плуг по их могилам,
Накроет память их пластом.
И будет мир отрядным тылом
Войны, потушенной огнем.

И, указав на земли эти
Внучатам нынешних ребят,
Учитель в школе скажет: — Дети,
Здесь немцы были век назад.

В тяжелейшие дни, в сентябре сорок первого года, было введено в наших Вооруженных Силах для особо

отличившихся частей и соединений почетное звание гвардейских.

Новая, советская гвардия! Ее отличали особое упорство, боеспособность, отвага и, если хотите, лихость солдат и офицеров. И пополнения, регулярно вливавшиеся в гвардейские дивизии и полки, тоже становились гвардейскими и быстро приобретали все эти качества: звание обязывало.

Мне выпало счастье служить в гвардейской части. На всю жизнь запомнил я, как принимала наша часть гвардейское знамя, как, опустившись на колени, поцеловал край полотнища командир, как, тоже колени-преклоненно, произносили мы вслед за ним железные слова гвардейской клятвы.

А потом вдоль строя старшина нес в вытянутых руках раскрытый вещевой мешок с гвардейскими значками, и ротный вручал их каждому. На значке — по темно-красному знамени золотом было написано это прекрасное слово: «Гвардия».

«Товарищ гвардии полковник!», «Товарищ гвардии рядовой!» Как звучит! И мы испытывали волнение, гордость, потребность напомнить всем и всем доказать, что мы — гвардия!

Ты уже отбивал у врага линии обороны, окопы и траншеи, господствующие высоты и высотки.

Но ничто не может сравниться с чувством, которое ты испытал, врываясь в некий наш населенный пункт, что называется, на «плечах» противника, преследуя его, освобождая город, поселок или деревушку, освобождая людей.

Без этого нет солдата.

А названия эти ты запомнишь до конца и, если доведется дожить, всегда будешь упоминать их, рассказывая о былом своим близким, детям и внукам.

...Пусть даже ты героем был,
Но не гордись, — ты в день вступления
Не благодарность заслужил
От них, а только лишь прощенье.

Ты только отдал страшный долг,
Который сделал в ту годину,
Когда твой отступивший полк
Их на год отдал на чужбину.

Ощущение, точно подмеченное и переданное Симоновым в одном из его малоизвестных стихотворений той поры.

Партбилет, пробитый в бою, залитый кровью... Нет, не музейный экспонат под стеклом. Человеческая судьба. Никулин Андрей Андреевич. 1911. В сорок первом ему было тридцать лет. Время вступления в партию — апрель... Но какого года? Именно сюда ударила пуля или впился осколок. Но, видимо, до войны... Да, вот внизу подтверждение — 1939. Партбилет выдан не райкомом, а политотделом дивизии. Значит, владелец его — кадровый военный. Он серьезно смотрит на нас, молодой еще человек с двумя «кубарями» на петлицах. Лейтенант. Военный человек с довоенного снимка.

Он смотрит сурово, пронзительным взглядом. Он словно что-то видит впереди. Что это: дым пожара, поднятая снарядами земля, собственная судьба или гибель товарищей?

Он непреклонно смотрит вперед, наш современник, сраженный в жестоком бою. Да, сраженный, потому что партийные и комсомольские билеты носили обычно в левом нагрудном кармане гимнастерки.

Партбилет, залитый кровью, пробитый в бою... Реликвия, святыня Великой войны.

На него навечно лег ответ Времени.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Не забудем переживших блокаду Ленинграда.

Снимем шапки перед памятью погибших.

Слава живым!..

Говоря о подвиге Ленинграда в блокаде, вспомним прежде всего армию и флот, заслонивших собой город, не впусавших врага на его площади и проспекты.

На всех фронтах и направлениях, в открытой степи, в лесах и болотах беззаветно дрались наши части и соединения.

Вступали в бой с превосходящими силами противника, защищая до последнего или многократно пытаясь отбить назад никому не известную деревушку. Выказывали доблесть, не столь замечаемую тогда,

как впоследствии,— в дни и годы нашего наступления. Но чудеса и образцы отваги проявлялись каждый день, повсюду, во множестве.

И все-таки усилия наших войск, их железное упорство еще удваивались, когда речь шла о таких святынях, как Москва и Ленинград.

С чувством величайшей ответственности, готовности выполнить свой долг до конца обороняли город Ленина, Пушкина и Петра наши Красная Армия и Краснознаменный Балтийский флот.

И снова стихи А. Ахматовой:

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Дстоньки мои!
Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

Это ленинградские дети — жертвы бомбежки и артиллерийского обстрела.

Дети Ленинграда... Те, кого не успели вывезти на Большую землю, те, кого еще не успели вывезти.

Те, искалеченные осколками бомб и снарядов, в бинтах, на костылях. И те, возле разбитой прямым попаданием школы, сгрудившиеся вокруг своей учительницы, с портфелишками в руках. И эти, на оборонном заводе, тоже — до слез — совершенные дети.

Дети Ленинграда... Граждане Ленинграда. Их глаза предельно серьезны. Они все видели смерть.

Продолжает занятия народное ополчение. На всякий случай. Если дойдет до штыкового боя, до рукопашной.

Этот прием называется: «Коротким коли, на выпаде останься!...»

Еще стихи. Их автор — пронзительный бытописатель блокады — Ольга Берггольц. Ее взволнованный голос знали все ленинградцы — он каждый день звучал по городскому радио. И хотя она сама утверждает, что «слезы вымерзли у ленинградцев», ее стихи —

это «плачи», с присущей им болью, своей понятной наивностью, но и с призывом к стойкости, с верой в победу. Вот отрывок из «Февральского дневника»:

А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных...

Так с декабря кочуют горожане
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых, обледенелых зданий
отыскивая угол потеплей.

Вот женщина ведет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице,
в руках бидончик — это суп на ужин,—
товарищи, мы в огненном кольце...

А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтенское кладбище везет.

Везет, качаясь,— к вечеру добраться б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин!

Провозят ленинградца,
погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят...
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем, Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.

О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на охтенском, на правом берегу.

Главной бедой Ленинграда были не бомбежки и артналеты, пускай самые жестокие, не отсутствие электричества и тепла. Главной бедой его был страш-

нейший гость всех блокированных городов — голод. Не просто длительные перерывы между приемами пищи, когда потом вы можете легко это наверстать, не просто недоедание, нет, — постоянный, ежедневный, ежеминутный, мучительный, неутолимый голод, ощущаемый и сквозь сон. От голода человек слабеет, теряет силы и возможность двигаться. От голода распухают руки и ноги, кровоточат десны, выпадают зубы.

Вам, не испытавшим его, трудно представить себе, что это такое — голод. Особенно это относится к нашим детям — первому вполне сытому поколению двадцатого века.

В Ленинграде голод унес многие жизни.

Ленинградцы прошли сквозь это испытание с исключительной выдержкой и самообладанием.

Воздадим должное военным фотокорреспондентам, скромным и смелым людям, отснявшим, по сути, всю Великую войну. Им случалось летать на далекую бомбежку, прыгать с парашютом в тыл врага, чтобы запечатлеть боевую жизнь партизан. Они умудрялись крупно снять и наш передний край, и самую атаку, и самый миг солдатской гибели, и приближающегося противника, и зажженный снарядом танк, и разваливающийся в воздухе самолет. Они оставили нам великое множество достовернейших сцен, психологических портретов людей войны. Спасибо им.

Я умышленно говорю о них именно сейчас, именно здесь. Вспомните в эти два объявления. В них наивная, неосуществимая мечта выменять на продукты довоенные, столь близкие и дорогие сердцу вещи. Ведь в тяготах блокадной жизни нужно было заметить два клочка бумаги на стене, нужно было не пожалеть драгоценной пленки, нужно было, наконец, попросту догадаться сфотографировать эти человеческие документы, сохранить их для потомков, для истории.

Вот она, Ладога. Единственная дорога, связывающая Ленинград со страной. По воде, а зимой по льду, под огнем, в темноте, с распахнутой дверцей кабинки, чтобы попытаться выскочить, если попадут или машина пойдет под лед. А весной — воды по ось, лед проги-

бається, вот-вот уйдешь с головой. Но впереди — Ленинград, и этим все сказано!

Ладога... Дорога жизни... Ленинград и вся страна низко кланяются тебе, твоим постам, твоим шоферам!

Сейчас на 103-м километре дороги Ленинград — Петрозаводск стоит памятник. На гранитном валуне высечено: «Неизвестному шоферу, отдавшему жизнь за Родину в Великой Отечественной войне».

И самый памятник — каменная полуторка над краем прервавшейся дороги. Остановится она или упадет? Светлые бетонные плиты дороги смонтированы на разных уровнях, под разным наклоном — не понять, шоссе ли это или ломающийся лед Ладоги.

Памятник сооружен на средства трудящихся Волховского района Ленинградской области.

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ

Традиционно героический город, уже показывавший врагу свой характер, свою лихость в бою.

По сути, отрезанный от своих, двести пятьдесят дней и ночей он держался в жесточайшей осаде.

Вот они, его защитники. Знаменитый снайпер, сощурясь, смотрит в оптический прицел, и два безвестных морячка в стеганых фуфайках, но в обязательных бескозырках — у старого станкового пулемета системы «максим». Они готовы встретить врага, они, собственно, его уже встречают. Защитники Севастополя, одни из многих, частица его силы и духа. Вы видите их и на других снимках — на бронепоезде, у корабельных орудий, на пустынном морском берегу. Их отвага не удивляет, от них иного и не ждешь.

Тогда, в сорок втором, у меня было ощущение: если оставили Севастополь — значит, удержать его было просто невозможно.

...А знаете, что это был последний город, который мы сдали после долгой осады?

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

Повеет войною
От мирно сверкающих вод.
И над глубиною
Машины застопорят ход.

У Крыма под боком
Здесь гибли в волнах моряки...
В молчанье глубоко
За борт опускают венки.

В лучах этих летних
Венки принимает волна.
Мерцают на лентах
Былых кораблей имена.

Вот так же крепчала
Волна четверть века назад.
Вот так же качала
Она бескозырки ребят.

Севастополь — не просто морской город. Здесь была база Черноморского флота. И это бросало отсвет на весь город, на все его население — на женщин и на детей, — и не только на членов семей командиров и краснофлотцев. Отсвет сдержанности, серьезности, силы. Город всегда ощущал свою близость к военно-морскому флоту, свою кровную связь с ним. Он проявил это наиболее явственно в грозную годину.

Одно из самых тяжелых испытаний на войне — увидеть, как падает наш подбитый самолет, как взрывается от прямого попадания наша самоходка, как горит и не может потушить пожар наш крейсер или катер. И не просто корабли горят, а свои родные корабли, соседи, с которыми рядом не раз участвовали в учениях, на которых, может быть, служит не один дружок.

Горят наши боевые корабли после массированного воздушного налета, а ты бессилен им помочь.

Эвакуация... Это горькое слово вошло в нашу жизнь с самого начала войны. Эвакуировали фабрики и заводы, ценное оборудование, музейные экспонаты. Наспех, впопыхах, под бомбежкой... Эвакуировали мирное население — по возможности, организованно, — в первую очередь детей, детские учреждения, больницы. Люди уезжали и сами — кто как сумеет, кто когда успеет, они тоже назывались — эвакуированные. Там, на востоке, за Уралом, в Сибири, где не было даже затемнения.

Уходили пешком, весь скарб в заплечном мешке, с маленькими детьми на руках, иные ехали на телегах,

подводах — беженцы, погорельцы. Не всем им удалось уйти, избежать неволи, смерти.

Транспорта не хватало нигде. При эвакуации людей из Москвы в Сибирь холодной уже осенью сорок первого использовались и вагоны столичного метрополитена.

Но вот вы видите эвакуацию. Эвакуация Севастополя. Люди грузятся на корабли. Это придает особую тревожность. Торчат на палубах стволы орудий. Враг может налететь в любую минуту, потопить, зажечь корабли еще у причала, уничтожить людей. А что их ожидает в открытом море, кто может поручиться за сохранность и благополучие этих судов? Сколько народу, как велика и пестра эта напряженная до предела толпа. Но как все четко, как отлажено! Ведут и несут детишек. Тащат чемоданы и узлы. Погрузка идет сразу по нескольким трапам. А вот моряки грузят раненых и больных. Скорее! С наступлением темноты нужно отваливать. Только это может обещать удачу.

Когда я смотрю на эти снимки, мне кажется, что над причалами нет шума, а стоит сдержанная, зловещая тишина. Эта сцена наполняет мое сердце горечью и гордостью.

ЛЕТО СОРОК ВТОРОГО

Беда заключалась и в том, что все это уже было.

А ведь мы уже стали привыкать к собственным победам, уже видели впереди освобождение родной земли.

И вдруг — снова — танковые лавины, мощно катящиеся на восток, прорывы, охваты, наше отчаянное сопротивление и отходы, отходы. Беженцы на полевых пыльных дорогах, горящие деревни, расправы, расстрелы. Отступление по открытым пространствам Украины и юга России, где нет глухих, порою спасительных лесов.

Враг рвался на восток. Мы не успевали закрывать бреши. Все словно повторялось с самого начала.

Война шла второй год, а конца ей опять не было видно. Враг проник в глубину нашей страны столь далеко, что в это, казалось, невозможно было поверить. Но это было так. Он вышел к Волге и к подножию кавказских вершин, и напор его все не слабел. Он был очень силен, но все-таки в его броне было уязвимое место. Мы уже знали, что его можно бить, что он способен отступать, бежать в панике, оставляя своих убитых и технику.

Мы знали это на опыте прошедшего года.

Сейчас они защищают Кавказ, эти солдаты и матросы, со своими винтовками и автоматами, дегтяревскими пулеметами и бронебойками. А до этого они защищали Одессу и Севастополь, а быть может, и Москву. Война прочно укоренилась в их жизни и не уйдет из нее — до конца.

Столько хлебнули они бед, столько испытали горьких потерь, что их уже ничем не испугать и не сломить.

Если на пружину оказывать долгое и сильное воздействие, то она либо ломается, либо обретает все большую ответную силу. Это — закон.

Цемесская бухта... Малая земля... Эти названия уже как бы сами собой вызывают в памяти и сознании грозные зимние ночи, гром черноморской волны, бесстрашие морского десанта.

Одно дело, воевать на земле и совсем другое — на воде и в воздухе.

Там ты лежишь на привычной, теплой или даже промерзшей земле, родной земле, вырыв в ней надежный окоп или мелкую ячейку, — и земля защищает тебя. Поднимаешься, короткая перебежка, и вновь — пластом. А если ранит, то тебя, вдавливаясь в землю, постарается вытащить твой друг, лучший твой друг, подаренный тебе судьбой здесь, на войне. Или ты будешь лежать без сознания один много часов, и тебя в темноте найдет, подберет по стону или случайно девушка-санинструктор.

А здесь — свист воды за бортом, соленые брызги в лицо, провалы между волнами, черная пучина под

килем. И цель, которую нужно атаковать, поразить любой ценою.

Ну, а накроют катер — все, амба, ранен не ранен — не выплывешь. Сколько их, молодых и красивых, кануло в морских безднах.

Одно — воевать и умирать на земле, совсем другое — на воде и в воздухе. Не оттого ли на морях и летчиках лежит тревожащий отблеск необычности?

Мрачные низкие тучи, косые лучи солнца, лежащий навзничь завоеватель, и черная птица смерти у него на груди.

Вот за этим он и пришел сюда. Далеко же занесло его от любимого фатерланда.

Они регулярно посылали домой фотографии, снимали и снимались на войне. Вряд ли бы он хотел, чтобы его родные получили этот последний снимок.

Как — порою через десятилетия — находит заслуженная награда старого солдата и он чуть сдержанно, с достоинством и гордостью принимает ее, так спустя время получили за свой высокий подвиг звания городов-героев Керчь и Новороссийск.

Народ встретил это известие с радостью и сочувствием, потому что железное мужество и пролитая за свободу кровь — не забываются.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Сталинград... Одно из величайших сражений в истории человечества.

Перелом в войне, поворот в судьбе каждого из нас.

Здесь, под волжским обрывом, находился штаб 62-й армии, командный пункт Чуйкова. От универмага, откуда с поднятыми руками, щурясь, вышел 31 января генерал-фельдмаршал Паулюс, до берега — считанные сотни метров. Думаю, что в современной войне немного наберется случаев, когда бы командующие противоборствующих сторон находились так близко друг от друга. Это и есть Сталинград.

А вот пополнение. Этих солдат только что переправили с левого берега отчаянные суденышки Волжской флотилии. Сейчас им объяснят обстановку и с ходу — в бой.

И они, и их командиры еще в старой форме, без погон. Пройдет совсем немного времени, но многое изменится. Будет введена новая форма одежды и прочие новшества. Да и война пойдет совсем другая.

Горящий, искореженный, заваленный фугасными бомбами город сопротивлялся ежеминутно, яростно.

Враг маневрировал, менял направление ударов, но это уже не могло обмануть — его готовы были встретить везде.

Эти, несмотря на мороз, раскаленные от пальбы зенитные стволы не раз переводились в горизонтальное положение, на прямую наводку по наземным целям — по танкам и самоходкам врага.

Никогда прежде не приходилось нам вести столь долгие и упорные городские, уличные бои. Да что уличные! Бой шел за каждый дом или за то, что осталось от дома, за каждый этаж, подвал, лестничную клетку. Среди проломленных перекрытий, исковерканной арматуры, перепутанных проводов и труб, битого кирпича, вырванных батарей парового отопления.

Бессистемное нагромождение развалин давало возможности для внезапного удара во фланг, для обстрела снизу и сверху. Каждое окно, дверной проем и пролом в стене превращались в бойницу и амбразуру.

Наши лучше и быстрее приновились к новым условиям, враг слишком любил определенность, заранее заведенный порядок, и это мешало ему.

Не только невиданную стойкость проявляли защитники города, но уже в полной мере — воинское умение, быструю реакцию, сообразительность и выдумку.

А опыт городских боев не раз вспоминался и при-
гождался потом, в том числе и в самом Берлине.

...Откуда мы? Мы вышли из войны.
В дыму за нами стелется дорога.
Мы нынче как-то ближе быть должны,
Ведь нас осталось в мире так немного.

Шли по войне, шли по великой всей,
И в сорок первом шли, и в сорок третьем,
И после. И теряли мы друзей,
Не зная, что таких уже не встретим.

Но навсегда нам памятью дано
Их видеть сквозь разрывы, в отдаленье.

Мои друзья, которых нет давно,
Они и нынче — наше поколение.

Все в жизни с ними было пополам,
Мы все — одно! И нет прочнее сплава,
И с песнею далекой по полям —
Прислушайся! — проходит наша слава.

Взят наконец Мамаев курган. Сколько же полегло здесь наших солдат! И опытных уже «старичков», — а «старичками» считали и называли тридцатилетних, — и пожилых, и молодых командиров, а более всего совсем юных беззаветных ребят, еще ничего не видевших и не испытывших, кого ждали и не дождались — не жены и дети, и даже не невесты, а бедные их матери. И чем моложе были эти ребята, тем больше их полегло. Они сделали в своей жизни одно — погибли за Родину.

Флаг Победы над освобожденным городом. Собственно, города нет, одни развалины. Но он был, и он будет. Значит, он есть. Город, откуда началась наша победа.

Флаг над освобожденным родным городом. Сколько раз он будет расправлять свою красную ткань, хлопнуть, биться на ветру. Сколько таких флагов будет поднято над нашими городами. Повыше, чтобы было видно всем и отовсюду, водрузят их наиболее ловкие и отважные ребята — чаще всего разведчики. Это их дело. Еще стрельба не стихла, а ты уже видишь наш флаг в дымном небе. Над освобожденным городом. А потом уже и над взятыми городами врага. Над кирхой, над ратушей и наконец — над рейхстагом.

Отгремела Сталинградская битва.

Впереди было еще более двух лет войны, но всему миру стало ясно: теперь им конец, они обречены, им уже не вывернуться.

В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЮ

Закалилась, увеличилась партизанская сила. Все более ощущал это враг. Дерзкие и мощные нападения на тыловые гарнизоны, взрывы мостов и складов, эшелоны, пущенные под откос, убийство крупных фашистских чинов, зверствовавших на оккупированной зем-



ле,— не перечислить все славные деяния партизан и подпольщиков.

Но трудна была их жизнь. В сырости, в холоде, порой неделями без огня. Многокилометровые переходы густой чащобой, по зыбким гатям через коварные болота — и все с оружием, даже с артиллерией, часто в худой одежде и обуви.

Вооружение и боеприпасы нужно было отбивать у врага, работать, держа автомат под рукой, жить впроголодь, спать вполглаза.

На оккупированной территории, в партизанском краю. Прием в партию. Принимают человека пожилого — участника, наверное, еще первой мировой да и гражданской войны. Вон как он ловко и непринужденно держит карабин в руке. Среди собравшихся здесь несколько кадровых командиров. А у женщины в белой косынке и у сидящего сзади нее — ордена Красной Звезды, тогда, до сорок третьего, их еще носили слева.

Комиссар говорит какие-то душевные слова. Это заметно по лицам людей, таким задумчивым, добрым, размягченным. Таким мирным лицам.

А впереди еще война и война, кругом враг, и ожидают их многие горести и утраты.

Расправы, виселицы, экзекуции. Оккупанты не церемонились с мирным населением и, утратив человеческий облик, не считали людей за людей.

Едва ли не самое страшное, что широко ввели они на захваченных территориях,— угон в Германию, как скот, на самые тяжелые работы, в неволю, в услужение. Разлука с дорогими до слез родными местами, с близкими, чудом успевшими скрыться людьми, разлука — надолго ли? Может быть, навсегда.

На железнодорожной станции Киев (вот и вывеска немецкая висит) загоняют женщин в товарные вагоны, в телятники, потом с грохотом закрывается дверь, лязнет железный засов, снова зазвучит чужая властная речь — проверяют, все ли в порядке. А в сердце еще надежда: вдруг отменят, вдруг выпустят. Она ни на чем не основана, эта надежда,— просто слишком уж дико и несправедливо то, что с ними делают. Но закричит паровоз, застучат колеса, поплывут в вагонных уз-

ких щелях поля и хаты, и повезет их проклятый поезд на чужбину, все дальше от родимых мест.

Не так-то просто это забыть.

Великим делом для партизан были сброшенные с прошедшего над хвойными вершинами родного краснотелого самолета не только продукты, медикаменты или запчасти к технике, но газеты, центральные, московские газеты, голос с Большой земли. Большой землей называли тогда партизаны всю свободную страну, всю землю, лежащую к востоку от линии фронта. С каждым днем эта Большая земля становилась все больше — наша армия наступала.

Одну из самых больших трудностей представляло устройство и расположение партизанских госпиталей.

Раненные на фронте, особенно в своей линии обороны, или подобранные на поле боя при наступлении попадали заведенным порядком в медсанбаты и в зависимости от ранения в прифронтовые или далекие тыловые госпитали.

А здесь, в тылу врага, при обычно большой подвижности отряда, их опасно и невозможно было возить за собой. Госпитали оборудовались в самой глухомани, куда, можно было надеяться, не доберется враг. Но случалось, и добирался. А если и нет, то отсутствие настоящего стационара, норм стерильности, нехватка необходимого количества и выбора медикаментов, перевязочных материалов, инструментария, наконец, квалифицированного персонала — все это создавало немыслимые сложности. Иногда удавалось перебрасывать раненых санитарным самолетом на Большую землю, к своим, но все-таки слишком редко, и, конечно, не всех.

Вот переводят куда-то партизанский госпиталь. Может быть, близко подошли каратели, и находится здесь небезопасно. А может быть, отряд перебазировался слишком далеко. Раненых переправляют через речку на лодке или плоту. Парень, поджав замотанную ногу, с трудом прыгает на самодельных березовых костылях.

А вот на другом снимке рядом с бойцами спит на земле девушка-медсестра. Возле нее винтовка и санитарная сумка с красным крестом. Девушка лишь на

миг приклонила голову, покрытую платком, и тут же не выдержала, заснула, подложив под щеку ладонь. Кто-то заботливо набросил на нее, спящую, полушубок. Торчат стволы винтовок, пасутся поодаль распряженные или расседланные лошади. Спит партизанская сестра, и мы видим, какое у нее усталое, измученное лицо.

...И охранял колонну пленных
Немногочисленный конвой.

В этих строках Твардовского уверенность, сила, презрительная усмешка. «Немногочисленный!» Многочисленного уже не требуется. Ведь война повернула на другой ход.

СОЮЗНИКИ

Эхо нашего наступления, как взрывная волна, гулко прокатилось по Европе. Успехи наших фронтов дали веру и новые силы освободительному движению многих стран. Вспышки взрывов и зарева пожаров все чаще прорезали холодный мрак европейских ночей. И все ожесточеннее был фашистский террор. Замечательных народных вожаков, цвет и гордость народов ряда стран, зверски замучило гестапо в последние годы войны. Это была философия фашизма на практике: уничтожение всего лучшего, светлого, человеческого. На территории Европы разместились чудовищные концлагеря, крупнейшие фабрики по уничтожению людей. Страшно подумать, но эта промышленность работала на полную мощность.

Широко охватила планету вторая мировая война. Заснеженный Сталинград и раскаленные пески Африки.

Успешное наступление союзников в Африке с последующей высадкой на Сицилию и в Италию не могло заменить нам второго фронта. Это было все-таки нечто другое. Я хорошо помню наше доверчивое и несколько наивное ожидание высадки англо-американских сил во Францию через Ла-Манш, с созданием угрозы непосредственно территории Германии, как, собственно, потом оно и получилось. Только очень уж не скоро, когда исход войны и без того был предре-

шен окончательно, а Победа хорошо видна сквозь дым разрывов. Оттягивания и задержки с открытием второго фронта стоили нам слишком дорого. Мы с благодарностью думаем о каждом, кто не только сочувствовал нам, но звал к сотрудничеству и быстрой помощи.

А в Африке дела у союзников шли хорошо, они имели там большое превосходство. Роммель отступал, союзники шли вперед и, наверное, вспоминали Киплинга:

День-ночь, день-ночь мы идем по Африке,
День-ночь, день-ночь все по той же Африке...

Внезапное и решительное нападение Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах потрясло Соединенные Штаты. И хотя это было далеко от ее родных берегов, Америка со всей беспощадностью ощутила, что это такое — война.

Война гремела не только на земле и в воздухе, но и во всем Мировом океане. В Атлантике рыскали германские подводные лодки, подкарауливая союзные корабли. В Тихом океане японские летчики-смертники — камикадзе, — выпив перед вылетом чашку саке, на самолетах, заправленных горючим только в один конец — до цели, — яростно атаковали американские транспорты и авианосцы, прорываясь к ним сквозь стену огня, чтобы наверняка выпустить смертоносную торпеду.

А вот подорвался на mine транспортный корабль «Президент Кулидж». Как туловище гигантского морского чудовища, облепили его корпус спускающиеся по веревочным трапам надеющиеся на спасение люди.

На другом снимке — американский пикирующий бомбардировщик удачно атаковал японское судно.

Не по поводу неудач в Северной Африке, а в связи с уничтожением под Сталинградом 6-й немецкой армии объявил фюрер в Германии трехдневный траур.

Мы не видели этого театра войны и всякий раз снова с интересом смотрим теперь на внушительные английские танки, на огневые позиции среди африканских песков, на корабли союзников в Средиземном море, на

американцев, удачливо высадившихся в Сицилии. Так мы себе примерно это и представляли. Эта война была далеко от нас.

И еще мы смотрим на тех, с кем рядом прошли когда-то выданный судьбой путь, на кровных друзей и совсем незнакомых ребят — моряков с Малой земли, прославленных летчиков, на всех рядовых и командиров Великой войны, столь близких и дорогих нашему сердцу.

НАШ ТЫЛ — ФРОНТУ

Шла кровопролитная война, многие наши районы были под врагом. А к востоку от линии фронта лежала страна, с заводами, где работали женщины и подростки, с селами, где тоже тянули бабы, с госпиталями, пересыльными пунктами, военкоматами, проводившими свои призывы, с просторами, реками, горами и тайгой. Со светящимися окнами, не знающими затемнения, — на тысячи верст! И на ее пространствах ждали писем с фронта, воспитывали детей, сажали картошку, стояли в очередях. И работали, работали, работали.

А молодежь еще и гуляла — танцевала под гармонь или радиолу. Ребята ожидали своей очереди — с каждым годом брали все более молодых. Армия не старела.

«Фронт горел, не стихая, как на теле рубец», — сказал поэт. И этому фронту, этим бессонным фронтам, многое было нужно: вооружение, боеприпасы, медикаменты, одежда, продукты питания. С нечеловеческим напряжением работала страна. На авиационных, танковых и прочих оборонных заводах работали, конечно, и мужчины, специалисты, которым была дана бронь, бумажная, но вполне прочная. Они были нужнее в тылу. Но большинство мужчин города и особенно деревни заменили их жены, сестры, дочери.

Ощущение кровной причастности к общему делу, всеобщая пристальная любовь к армии, дерущейся с врагом, — это было характерно для людей тыла. А как же могло быть иначе?

Растили и убирали урожай, возводили стены корпусов, пускали поточные линии в тяжелейших условиях

эвакуации — с колес, в дожди, в лютую стужу. В рекордные сроки осваивали выпуск техники и вооружения новых типов и марок. Наша армия получила боевые машины, по основным параметрам превосходящие соответственные системы врага.

Многие тысячи посылок направлялись на фронт из восточных районов страны. Чего только не было в них — и сибирские пельмени, и кедровые орешки, и теплое белье, и расшитые кисеты и платочки. А сверху, под крышкой, обязательно теплое душевное письмо. Все более входила в обычай, распространялась оживленная переписка между фронтом и тылом, между прежде незнакомыми людьми, между девушками и солдатами, достигшая особенно большого размаха к концу войны. Жаль, что нередко вдруг приходили с фронта письма, начертанные незнакомой рукой и сообщавшие, что адресат выбыл бессрочно. А другие продолжали переписываться вполне благополучно, до конца войны, и некоторые встречались потом и даже всерьез связали свои судьбы. Одна из деталей времени.

Многообразные усилия партии по укреплению нашего тыла, по увеличению и наращиванию его экономического потенциала увенчались полным успехом. Изменилась война, изменился и тыл. Все возрастали требования фронтов — что же, они имели на это право: они наступали.

Страна жила под государственным лозунгом «Все для фронта!» и с незатихающей мыслью: «На фронте еще труднее». Да, очень долгими были тяготы войны. И укоренилась в людях устойчивая привычка к трудностям, к бедам, к недоеданию и недосыпу, к разлукам и потерям. Но она была возможна, эта привычка, только потому, что возникла уже иная, новая — привычка к успехам армии, к наступлению, к победам.

Фронтам нужно было очень и очень многое, и в первую очередь — люди. Действующая армия получала все. Получала она и пополнения. Война была иной, победной, но ведь она продолжалась, и ежедневно, ежечасно гибли люди, и похоронки шли сплошным потоком. И работали, тянули, не жалея себя, женщины без мужчин, и молодежь, еще не создавшая собственной семьи. Многим это так и не удалось.

Война катилась на запад, гремели салюты, все более освобождалось наших районов, все более требовалось трудов по их восстановлению.

А война все продолжалась и продолжалась, и не стихала в сердцах тревога за близких, дорогих, воюющих где-то вдали.

КУРСКАЯ БИТВА

Знаменитая фотография — «Политрук», обошедшая страницы мировой печати через много лет после войны. Вот она, наша стойкость.

Верно говорят, что характер моего поколения был сформирован армией военной поры. Но мы были подготовлены к этому еще всем детством, всем воспитанием, всеми прекрасными традициями революции и гражданской войны, перешедшими к нам от старших.

Раненые. Они лежат не в госпитальной палате, а в брезентовой палатке медсанбата. В ходе такого сражения они поступают непрерывным потоком. Истомленная бессонницей сестра и боец, измученный болью.

Сражение на Курской дуге — неслыханное по своему размаху, упорству, концентрации живой силы и техники.

Сколько сразу горело и взрывалось танков, сколько было выпущено мин и снарядов, сколько поднято в небо черной земли.

Подбитые танки врага, «разутые», как говорят танкисты, то есть потерявшие гусеницы, искореженные до основания, перевернутые вверх дном. Какая же здесь прошла сила!

Враг увязал в нашей обороне, несмотря на новейшие «тигры», «пантеры», «фердинанды». Не возымели действия и их претенциозные названия, столь не свойственные нашему характеру, нашему духу. У нас просто — «Т-34», в обиходе — «тридцатьчетверка», и это наименование ничуть не повредило популярности нашей боевой машины.

Еще долго оставались на полях Орловщины и Курщины разбитые танки и самоходки, не так-то просто было собрать и вывезти эти машины. На них, играя, взбирались ребяташки, их аккуратно опахивали вес-

ной на колхозных лошадках или энтээсовских тракторах, и они чернели потом среди качающейся пшеницы.

Это был именно тот момент войны, когда вся наша авиация — бомбардировочная, штурмовая и истребительная — получила над противником неоспоримое превосходство.

Вы видите бомбежку вражеских укреплений, прицельное бомбометание. Но если противник, готовый к воздушному налету, может встретить самолеты зенитным огнем, то танки бессильны против штурмовой авиации. В грандиозном танковом сражении на Курской дуге немалую роль сыграли наши «ИЛы».

Готовясь к битве, — в твердой вере,
Что будет выиграна она, —
В штабах планируют потери, —
На то реальная война.

Порядка роты, батальона,
Дивизии или полка.
И разве только поименно
Не называют нас пока.

Хочется сказать о великих тружениках войны — о наших саперах. Вот один из них режет ножницами колючую проволоку, делает проход в заграждении врага. Впереди уже никого — только противник. Но без этого тоже нельзя — нужно подготовить путь для нашей пехоты или разведки.

Да разве только это! Сколько наведено мостов, переправ — это саперы. Сколько взорвано мостов — это они. Сколько открыто ими глубоких укрытий и блиндажей. Сколько расставлено мин и минных полей и сколько обезврежено. Да каких мин — хитрых, с секретом, с обманом. Сколько видели вы этих надписей в разбитых, освобожденных городах: «Проверено. Мин нет» — и подпись: «Сержант такой-то». Иногда эти добрые свидетельства безопасности были видны на стенах еще долгие годы. Жаль, что их стерли.

При наступлении сапер — впереди, при отходе — он последний. И в довершение ко всему гласит фронтовая мудрость, что ошибается сапер в жизни только раз.

Освобождение. Освободители. Их встречают эти истомившиеся люди, эти босые дети, эти плачущие женщины. Слезы их — долгожданные слезы радости, и

нескрываемые слезы пережитой боли, и горестные слезы по тем, кому, освобождая родную землю, еще предстоит в нее лечь.

А на первом снимке — семья. Правда, нет ее главы, и жив ли он — кто знает? Но идут по полю мать и шестеро маленьких ребятишек. Сейчас это уже не беженцы. Они не бегут от врага. Они возвращаются в родные места. Уцелела ли их деревня, их дом — неизвестно. Но куда важнее, что уцелели они сами.

Вручение боевых наград. Вблизи переднего края, в момент затишья, но в разгар великого сражения.

Чем успешнее двигался фронт на запад, тем больше награждалось бойцов и командиров. Нет, в начале войны отважных было не меньше, но теперь все ошутимей были результаты их героизма.

Они получили награды, и теперь сами прикрепляют их друг другу. Вот два молодых офицера, один — лейтенант, другой, наверное, младший лейтенант, но звездочки у него на погоне нет, только просвет — потерялась, быть может, поддетая ремешком полевой сумки, и нигде не достанешь; военторг далеко. Он прилаживает орден на грудь товарища, а тот в ответ уже развивчивает его орден. А вот старшему лейтенанту помогает укрепить орден, тоже Красной Звезды, совсем молоденький солдатик, должно быть, его ординарец — вон у него даже ножницы в руке.

Они заняты делом. Лица их слегка задумчивы. Можно понять этих ребят, они представляют себе, как с наградой вернутся домой.

Времени — в обрез. Сейчас прозвучит команда — разойтись по своим подразделениям.

Любопытный снимок. Два наших офицера, чуть посмеиваясь, смотрят на аккуратный по-немецки указатель. До Берлина 1952 километра. По железной дороге — вот и фанерный паровозик с белым дымом наверху. Далеко. А если еще пешком, да под огнем, да короткими перебежками, да по-пластунски! Далеко. Но дойти можно. Мало того — дойдем, в этом нет ни малейших сомнений.

Шелестит подлесок. Сапоги тонут в траве. До Берлина — точно — 1952 километра. А по времени — приблизительно — один год десять месяцев войны.

Геройский бой неизвестного артиллерийского расчета. И артиллерийский салют из сотен стволов — во славу наших войск, в честь освобождения еще одного крупного города, в знак еще одной победы. Ликующий и грозный салют Москвы.

Прошли те времена, когда в полном мраке, клубясь, всплывали над столицей голубые столбы прожекторного света, стараясь захватить в свое поле черный чужой самолет и не выпускать, передавать друг другу, чтобы он не успел вырваться, уйти во тьму от скорострельного огня зенитных батарей.

Наступила иная пора. Прожектористы выкладывают в небе причудливый качающийся узор, ярко озаряется Москва от вспышек и ракет салюта. Улицы и площади заполнены радостной толпой.

Столица салютовала все чаще. И, слушая новое сообщение, новый приказ, люди уже обращали внимание на то, сколько будет залпов, из какого числа орудий, — сравнивали и определяли значимость той или иной операции, битвы, победы.

Бои шли упорные, кровопролитные. И все-таки это была уже другая война. Это была война побеждающего народа.

Хочется обратить внимание на спокойную уверенность всех этих людей.

Вот два морячка залегли на железнодорожных путях, ведут огонь из-под вагона. Один установил сошки ПТР системы Дегтярева прямо между рельсов, а патроны положил рядом, под рукой, на шпале. Другой бьет из автомата. Впрочем, это не моряки. Они были моряками. Потом их переформировали в пехоту или влили в пехотную часть. На них сугубо армейские гимнастерки и шаровары. И все-таки это моряки. Не только потому, что они сохранили и продолжают упорно носить свои черные бескозырки. Они сохранили нечто большее — верность морским традициям, бесстрашие и беззаветность. А бескозырками и тельняшками они лишь напоминают себе самим и всем остальным, что это в них неистребимо.

А вот в лесу — замаскированный выход из блиндажа политотдела. Офицер диктует что-то машинистке.

Что это: приказ, представление к награде, заметка для газеты?

Сушатся шинели. Идет война. Как все буднично и просто.

И наконец — чтение вслух газеты. Судя по всему, это разведчики. Лихие ребята в плащ-палатках и маскхалатах, с автоматами в руках. Пилотки у всех надеты с принятым фронтовым шиком, набочок, из-под них выбиваются чубчики. Это вообще-то не положено, но все же допускается — такие ребята! Они сели в кружок на поляне, слушают. А впереди полулежит один из их командиров. Какое у него задумчивое, печальное, строгое лицо. Отчего? — этого мы никогда не узнаем.

...Да, все эти люди спокойны и уверены — в себе, в своих товарищах, в исходе войны.

Армия уже привыкла освобождать города и деревни, но каждый раз это заново глубоко волновало нас. А какое же волнение испытывали те, кого мы освобождали, — ведь у них это событие бывало только один раз.

И как это случается даже у самых близких людей при встрече после долгой разлуки — и тех, и других порой охватывала некоторая смущенность и скованность. Помню, в сентябре сорок третьего в разбитом Донбассе женщины смотрели на нас чуть-чуть удивленно: мы были в непривычной для них, новой — с погонами — форме. С орденами и медалями было у нас не так уж и густо, но часть была гвардейская, и у каждого солдатики сиял на груди яркий, красивый, отдаленно похожий на орден Красного Знамени гвардейский знак. Это тоже вносило краткое замешательство — ко всему этому нужно было привыкнуть.

Но то и дело повсюду возникали ситуации, мгновенно возвращающие к прежнему, милому, довоенному. Взять хотя бы выход первой нашей газеты в освобожденном городе.

Одна из особенностей и черт нашего характера, нашего поколения, нашей армии — нежелание и отказ покидать поле боя после ранения. Оттаскивали, отволакивали в сторону, в ложбину, в траншею, в укрытие. Разрывали зубами индивидуальный пакет, затягивали

ослепительным стерильным бинтом руку, ногу или голову. А он рвался назад, под огонь, и возвращался, если была такая возможность, если мог еще видеть врага, держать оружие, хотя бы нажимать пальцем на спусковой крючок.

И те, что попадали в медсанбаты и госпитали иправлялись там, тоже рвались назад, на фронт, мечтая и стараясь возвратиться в свою дивизию, свой полк, свою роту.

Все более становилось в армии людей с пестреющими на гимнастерках красными и желтыми нашивками — за легкие и тяжелые ранения.

За холодной осенней водой, за великой рекой, на высоком берегу вот он, почти рядом, — ожидающий, истрадавшийся Киев.

Разрушенные дома, взорванные соборы, трупы замученных, запустение, тлен — вот что они после себя оставляли. И еще — стремление вытравить наши привычные названия, дорогие для народа имена. Площадь Ивана Франко они поторопились переделать в плац фон Шлейфер. Площадь носила это чужое клеймо целых два года.

Знаете, что это за улица, по которой идут наши танки? Улица из пустых коробок на фоне неба, похожих на какие-то зловещие макеты, декорации. Это Крещатик в ноябре 1943 года.

А вот девушка-регулировщица.

Мы воздаем должное женщинам, заменившим своих мужей, братьев и отцов у станка и в поле. Мы восхищаемся их выдержкой и долготерпением.

Но есть еще и другие женщины, достойные поклонения. Женщины — непосредственные участницы Великой войны. Летчицы, снайперы, зенитчицы, связистки и, конечно, более всего — санинструкторы, медицинские сестры, врачи. Как же им всем бывало трудно на войне!

И вот еще — девушка с винтовкой за плечами, с флажками в руках, с буквой «Р» на нарукавной повязке. Регулировщица. На городских площадях это куда ни шло, а вот попробуйте на фронтовых развилках, у переправ, где то и дело возникают заторы, пробки, где навести порядок ох как нелегко. Да еще налетают

вражеские самолеты. А с поста не отлучишься, нужно показывать направление, объяснять, командовать. Все дальше и дальше на запад уходят фронты, и стоят уже наши регулировщицы в кирзовых сапогах на перекрестках Европы, возле средневековых костелов, на поворотах полевых и шоссеиных дорог, рядом с распятиями и мадоннами. Притормозит на миг лихой фронтовой шофер, уточнить маршрут или просто так — мимолетно завести бесцельное знакомство, подмигнет — и дальше, а следом — танки, орудия, лица, лица, войска, войска...

Низко поклонимся женщинам — участницам войны, нашим боевым подругам. Вспомним также, что почти все они пришли в армию добровольно.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Свершилось! Железное кольцо блокады разорвано, враг отброшен. Восстановилось сообщение Ленинграда со страной.

И страна вздохнула с глубочайшим облегчением и радостью, как вздыхают, когда выживает любимый человек, родная душа. Потому что беда Ленинграда была одной из главных наших бед, мы не забывали о ней в самые тяжелые минуты.

Чудом сохранившийся Ленинский мемориал в Разливе. Ленинский шалаш.

Хочется приостановиться, замереть на миг, отдать этим местам воинские почести. Подумать о своей земле, о себе, о своих товарищах. Представить мысленно и уже пройденные, и лежащие впереди годы и версты войны.

Даже после снятия блокады враг в течение года свободно доставал до города огнем дальнобойных батарей. От жестоких обстрелов погибло немало славных жителей уже освобожденного Ленинграда. Но вот и это позади. Закрашиваются, стираются со стен будничные призывы, полные суровости и тревоги. Правда, одна такая надпись как волнующее напоминание о тех днях навечно сохранена на Невском проспекте.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

Привычные картины войны. Разбитая техника врага. Наши танки на марше. И вдруг — что это?

Великий вольнолюбивый кобзарь за колючей проволокой. Это Канев, памятник Тарасу Шевченко, над его могилой. Фашисты устроили здесь концлагерь для наших людей.

Помните эту песенку?

Теплый ветер дует,
Развезло дороги...

Это только петь хорошо, да и то уже потом, когда высохла грязь, кончилась распутица. А тогда — идешь полем, таща на каждом сапоге или ботинке по пуду налипшей земли. Да еще вдруг окопаться нужно или просто залечь. И вытаскивать орудия из грязи, и толкать машины.

Тяжело. А утешение лишь одно, но зато какое: наступаем!

Государственная граница. Вот мы вышли и к этой черте и, не задерживаясь, ее переступили, оставляя за спиной вновь установленный полосатый пограничный столб с названием нашей державы.

Государственная граница. Здесь на июньском расвете встретили наши заставы несметные полчища врага. Превосходство противника было не просто подавляющим, оно было здесь многократным в живой силе и во всех видах техники. Но одним пограничники наверняка превосходили захватчиков — силой своего духа. Потому и держались они столь стойко, порою по нескольку суток, до последнего, истекая кровью, ожидая подхода регулярных частей.

Через контрольно-следовую полосу, которую невозможно преодолеть, не оставив отпечатка, хлынули и поперли сотни тысяч кованых вражьих сапог, тысячи танковых гусениц. Фронт неотвратимо двигался на восток. Государственная граница осталась далеко позади. Фактической границей становилась линия фронта.

И вот мы снова здесь. Сколько испытали мы всякого за эти годы — горечи, боли потерь, радости побед и освобождения. И, скрывая слезы волнения и счастья,

мы помнили, что мы прежние, и понимали, что мы уже другие.

Когда-то, до войны, мы готовились в случае вражеского нападения бить врага на его собственной территории. Теперь это положение оправдывалось, но слишком не скоро и какой ценой!

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА

Сколько на войне требуется находчивости, хитрости, необычности и смелости решений. Это требуется от всех — от рядовых, от офицеров, от самых крупных военачальников. Без этих качеств невозможно побеждать.

Легендарный Сиваш. В решающем сражении за Крым в гражданскую войну Красная Армия впервые форсировала это гнилое море. И сейчас отважный до дерзости ход был повторен и, самое главное, тоже неожиданно для противника. Правда, враг получил еще и другие удары.

...Солдаты переходят Сиваш вброд. Забрали полы шинелей под брезентовые ремни и, как дети, держат друг друга за руки. Непривычно, боязно, вода обжигает, до кости леденит ноги. Берег еле виден вдаль. Но ничего, поначалу казалось, что будет хуже...

Схожесть этих проведенных с интервалами почти в четверть века операций как бы напоминает о неразрывности связей и традиций в Вооруженных Силах нашей страны.

Москва салютовала своим войскам, своим фронтам, одерживающим новые победы. Эти салюты были явственно слышны всему миру. Но и в самой армии вошло в обычай салютовать в честь своих побед. Не по приказу, не запланированно, а всегда неожиданно — как потребность, порыв, проявление чувств. В громе этих залпов и очередей обязательно была и дань памяти, скорбь по не дожившим до счастливого часа товарищам.

Белая кромка прибоя, весенняя голубизна неба, черный стелющийся дым. И нестройный, не в лад, ликующий салют на берегу из автоматов и карабинов, из раскалявшегося в долгих боях личного боевого оружия.

Шутка ли сказать — освобожден Севастополь! Это

произошло 9 мая 1944 года. Разумеется, никто не знал тогда, что главные салюты загремят над землей ровно через год.

Стремительное освобождение Одессы, а затем Севастополя имело особую психологическую окраску. Очень уж упорно и героически сопротивлялись они прежде врагу, выказывая необыкновенную стойкость, а оставлены были только тогда, когда ничего нельзя уже было поделать. И сейчас это быстрое их взятие было для каждого из нас торжеством справедливости, выполнением долга перед погибшими, ощущением незрешности всех наших прежних усилий.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

Одно из труднейших и опаснейших дел на войне — форсирование водных преград, после тщательной подготовки, а еще чаще — с ходу, преодолевая отчаянное сопротивление противника. Потому что никто не отдаст добровольно водный рубеж, надежную линию обороны.

Сколько лежало перед нами рек, и не лежало, а мощно текло, подмывая берег, снося плоты и понтоны. В их числе были и великие реки, и просто широкие и полноводные, и бесчисленные мелкие речонки. И еще следует помнить, что почти все они текли к югу, и правый берег, на который предстояло подниматься нам, был обрывистым и высоким. А переправляться приходилось не налегке, а с техникой, чтобы прочно зацепиться на той стороне, захватить плацдарм, развить успех.

Сколько преодолено было известных со школы или совсем незнакомых рек, сколько ребят осталось в их мутных водах! Нелегкая, бурлацкая, опасная работа.

Поразительный документ. На неструганой доске второпях написал солдат письмо своим родителям и прибил доску на самом виду, к стволу старой березы, возле разрушенного родного дома, где никто не встретил его. Вероятно, эта могучая береза, памятная ему с самых ранних его дней, выглядела сейчас странно и горько рядом с развалинами милой сердцу избы или хаты.

...На перекрестке военных дорог письмо, прибитое к стволу белой березы. Это — как из давней поэмы, из

песни, из сказки. Только со счастливым ли она окажется концом?

Прекрасно лицо этой не такой уж старой, как может показаться поначалу, крестьянки, освобожденной после трех лет неволи. Сколько живых чувств и переживаний в ее улыбке и глазах.

Бобруйский «котел». Мне довелось видеть это многокилометровое нагромождение разбитой, разрушенной техники врага. Буквально друг на друге, сплошным навалом искореженные танки, орудия, бронетранспортеры, автомобили. Это производило впечатление специально свезенной в одно место разгромленной техники, некоей железной свалки войны. Приходило в голову слово «перемолоть», в его военном значении. Здесь была блистательно перемолота гигантская вражеская сила.

Могучее летнее наступление наших фронтов в Белоруссии было, как никогда в истории войн, поддержано партизанскими отрядами и соединениями. Благодаря своей численности (свыше 370 тысяч бойцов), исключительной организованности и, разумеется, подробнейшему знанию местности они сумели нанести по тылам отступавших фашистских войск чувствительные удары.

Они устраивали засады, железнодорожные крушения, перекрывали пути отхода, взрывали перед бегущим противником мосты, заставляя его бросать технику, и в то же время спешно наводили переправы для наших передовых частей. Они вынудили германские армии отступать только по дорогам, на виду у висящей в небе нашей авиации. Жестокий урон понесла в этой войне, но не дрогнула мужественная Белоруссия, бесстрашно и умело противостояли врагу партизаны и подпольщики. И теперь во взаимодействии с регулярными частями били бегущего ненавистного врага народные мстители.

Они научились воевать, и многие из них тут же влились в ряды армии. А перед этим в разбитом, истерзанном, но уже свободном Минске состоялся парад партизан, вышедших из лесов и болот, не склонивших головы перед лютым врагом, отважных сынов и дочерей своего народа.

И вспять покати́лась орда.
Мы снова весь путь повторяли.
Мы брали назад города.
Мы близких навеки теряли.

Ребят позабыть не смогу,
И нынче, глаза лишь закрою, —
Их вижу на белом снегу,
Присыпанном черной землею.

Сквозь время — везде и всегда —
Мучительно помним про это.
Пришла в сорок первом беда
И лишь в сорок пятом победа.

Десятки тысяч военнопленных во главе со своими генералами были проведены по Москве. Длиннейшая серая колонна, от тротуара до тротуара залившая Садовое кольцо. Для них война уже кончилась. Конечно, они рады этому. Ведь исход войны слишком ясен. Их и провели здесь, чтобы напомнить миру об этом.

Они медленно прошли по Москве, не до конца понимая позорную нелепость своего положения, своей роли недавних завоевателей, самонадеянно угрожавших нашей столице.

Для них важнее, что они уцелели в страшной войне и будут жить дальше, — в этом у них уже нет ни малейших сомнений. Они медленно бредут по Москве мимо пестреющих людьми окон и тротуаров. А позади, как окончательный штрих этого грандиозного действия, движутся старенькие поливальные машины, смывая с мостовой их следы.

Они собирались войти в Москву как победители.
Они вошли в нее в качестве пленных.

ВТОРОЙ ФРОНТ

Наконец-то, после многих обещаний, после долгих и все не сбывавшихся наших ожиданий, был открыт второй фронт, полноценный второй фронт: высадка союзников непосредственно в Западной Европе, во Франции. Оттягивать эту операцию далее было уже невозможно.

Все свободолюбивые, все борющиеся народы встретили открытие второго фронта как радостную весть:

оно приближало конец войны, хотя самый ее результат был уже для всех очевиден.

Чувство удовлетворения испытали и мы. Я помню короткий митинг по этому поводу в нашем полку, речь замполита об англо-американо-советской дружбе и о необходимости еще упорнее совершенствовать боевое мастерство, еще решительнее гнать и громить врага.

Как прилив океана, который равномерно накатывается на мрачноватые берега Нормандии, мощно выплеснулись на ее землю хорошо подготовленные многочисленные силы союзников. Немецкое командование оказалось не в состоянии серьезно противопоставить что-нибудь этому удару,— главные и лучшие армии Германии были прикованы к восточным фронтам.

А это — крупные военачальники союзников, генерал Эйзенхауэр и фельдмаршал Монтгомери. Их имена в то время часто звучали у нас, как, впрочем, были популярны на Западе имена Жукова и Рокоссовского.

И не дожидаясь подхода англо-американских войск, бесстрашно восстал Париж, прекрасный, всегда свободный Париж, организованный в боевые отряды Париж — патриоты и герои, мужчины и женщины Парижа. И он победил, этот удивительный, такой не воинственный город.

Вот он флаг, который всегда приятно видеть поднятым в руке врага,— белый флаг. Гитлеровцы признают свое поражение, свое бессилие перед гневом и волей народа.

Память о тех днях бережно хранит Франция.

Американцы в Париже. Они вошли туда, когда город был уже свободен. Вон как шагают они по одной из знаменитейших улиц мира — по Елисейским полям.

Американцы в Европе. Мне довелось видаться с ними в самом конце войны. Мы встретились дружески, как союзники.

Они были рослые, как на подбор,— можно подобрать таких, если армия относительно невелика и несла мало потерь. Карманы у них были набиты шоколадом и сигаретами, они угощали нас беспрерывно. Видя идущего нашего солдата, они останавливали машину и предлагали подвезти: у них было много автомобилей.

Нам казалась необычной их форма — полувоенная, полуштатская, где трудно было разобрать, кто в каком звании. Держались они крайне небрежно, воротник расстегнут, рукава закатаны. Они были прекрасно вооружены, но у них был какой-то несерьезный вид туристов. И дисциплина у них была очень относительная, а мы уже понимали, что без этого нет и не может быть настоящей армии. В общем, они были неплохие ребята, эти рослые американские парни.

Иные наши солдаты, плотные, невысокие, в выгоревшей латаной гимнастерке под брезентовым поясом, с котелком, в обмотках, вероятно, проигрывали во внешнем виде — мы об этом не задумывались, и американцы с некоторым удивлением смотрели на них. Чувствовалось, что они стараются и не могут понять, каким все-таки образом уничтожили мы гитлеровскую военную машину.

...Но это было в самом конце войны, в мае. А сейчас они только в Париже.

А это куда более живая, куда более французская картина. Правда, на ней сам генерал де Голль. Но, право, какая она непарадная, естественная, парижская, с этой улицей, этими лицами, этой толпой. В ней как бы атмосфера, характер Франции.

Париж свободен!

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ

В разгар войны, когда до конца было неблизко, на нашей территории формировались польские, чехословацкие части и соединения. В этих странах еще была глухая ночь оккупации, разносились резкие шаги патрулей, стоны пытаемых, залпы карателей.

А здесь — выдавалось обмундирование и оружие, проводились полевые занятия. Этим людям виделось, как они вместе с нашей армией ступают на свою родную землю. Так оно потом и получилось.

Для них эти годы связаны с названиями наших сел, где стояли их штабы, с именами наших офицеров, учивших их.

Когда они шли по своей земле, на их сапогах незримо оставался наш чернозем или суглинок.

Это мотоциклисты из Войска Польского. Они испытали счастье вернуться на родную землю освободителями. Но как строги их лица — ни одной улыбки. Слишком страшно все, что они здесь увидели. Чудовищны развалины, бесчеловечны злодеяния. Разрушенные города можно отстроить заново, даже точь-в-точь такими, как прежде. Это действительно было потом сделано. Но ведь не все восполнимо.

Наша армия продолжала освобождать города и села Польши. Белоруссия и Украина остались далеко за спиной.

Белоруссия родная, Украина золотая,
Ваше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим.

Популярнейшая строевая песня времен войны. Ее пели в строгих офицерских училищах, в краткосрочных полковых школах, в заволжских запасных и в лихих гвардейских полках. В тылу, на переформировках и на передовых дорогах.

Ах эти строевые песни! За лесами и холмами, далеко-далеко, звучат они сейчас для меня, порою угадываясь лишь смутно. Хриплый голос запевалы и мощный хор, подхватывающий припев, а подголосок тоже человек не последний, его тенорок бьется бубенчиком над этим могучим хором и слышен более других. И сама собой подравнивается рота, берет «ножку», расправляются плечи, поднимаются головы.

Белоруссия родная, Украина золотая...

Это песня тридцать девятого года. Наш освободительный поход.

Мы стальными штыками оград-и-и-м...

В сорок первом не оградили. Но все равно пели повсеместно эту песню в солдатском строю. И оказались правы.

Гремят наши песни далеко за пределами России, и Европа внимательно слушает их.

У нас были союзники — Англия и США. Они так официально и назывались — союзники. Они действовали на других театрах войны. В совместных операциях

мы, по сути, не участвовали, разве что на море и в воздухе. Но в ходе войны у нас появились новые союзники, перенесшие великие беды и вставшие с нами плечом к плечу. И в числе первых — Польша.

Рядом и за общее дело проливали мы кровь.

Любой ценой враг пытался приостановить наше продвижение в Польше, не пропустить наши войска в Германию. Он надеялся, что наш нажим ослабнет, не только потому, что мы утомлены столь долгим наступлением, но и чисто психологически: ведь мы уже освободили свою землю и воюем на чужой.

Но героизм и самопожертвование наших людей были не меньшими, чем прежде, мощь наших фронтов и армий все нарастала. Очень хорошо помню это чувство: нас уже ничем не остановить!

Такие разрушения, такие развалины, как были оставлены гитлеровской армией в Польше, можно было еще увидеть лишь в одной стране — у нас.

До войны у нас не существовало туристских поездок, и вообще мало кто бывал за рубежом. А в сорок пятом сразу несколько миллионов наших людей оказалось в Европе. И с какой выдержкой, достоинством прошли они по ее дорогам. Я не раз замечал эту поразительную способность не удивляться попусту, не суетиться, сохраняя полнейшую собранность и спокойствие — привычку, свойственную русскому человеку.

Куда только не забрасывала судьба, но что же в этом удивительного! На войне всякое увидишь.

Отбивали обратно дорогие сердцу города и деревни, освобождали наших людей — все это было уже привычно, постоянно.

Но здесь совсем другое — новое, щемяще неожиданное: наши девчушки, угнанные на чужбину, в неволю, в услужение. Русские девчонки, украинские и белорусские девчата, бесправные, безответные, втихомолку выплакавшие синие глаза и карие очи в тоске по родным местам, по своим близким.

Вон как они хохочут сейчас — еще бы, у них теперь вся жизнь впереди! А их освободители, такие же моло-

дые, как они сами, лишь улыбаются — добро, по-мужски сдержанно, чуть снисходительно.

От всех мадонн, стоящих у развилок,
От всех высоток, где прошли бои,
Из всех могил, окопов и могилок,
Где полегли товарищи мои,

Потом, когда исчезли пепелища
С истерзанной снарядами земли,
На сводные огромные кладбища
Товарищей моих перевезли,

Писавших в штабе длинные бумаги
Или мгновенно шедших на таран,
Сраженных в ранней утренней атаке
Или в санбатах умерших от ран.

Уже не раз в весенний день погожий
Иль под снежком, летящим с высоты,
Я молча возлагал у тех подножий
Немецкие и польские цветы.

И во Вроцлаве, и в Познани, и дальше — в Германии доводилось мне посещать такие кладбища.

...Несколько лет назад я побывал в прекрасном польском городе Познани, жил там десять дней. По утрам я выходил из отеля, гулял по улицам и площадям. Стоял тихий, чистый октябрь, листва еще не опала. Варта под мостом текла медленно, умиротворенно.

В войну я не бывал здесь и не знал, что у этого моста второпях поставлен был когда-то дощатый щит с надписью: «Мост в Познани через Варту — последний мост перед логовом фашистского зверя!» Слова «перед логовом» были подчеркнуты.

В РУМЫНИИ

Вторая мировая война, как всякая война, но в значительно большей степени, чем другие, дала толчок развитию и совершенствованию новой техники, оружия, выдвинула и воплотила новые тактические идеи. В ходе войны армия была практически перевооружена, и этот процесс естественно продолжался.

...Сейчас это уже воспоминание. Был у нас стариннейший, героический род войск, весьма активно участвовавший и в этой войне с начала и до конца, достойно выполнивший свою задачу, но исчерпавший себя и исчезнувший, сошедший после войны.

Кавалерия. Конница. С ней связаны сладостные картины детства. Буденный. Котовский. Чапаев... Цокот копыт по булыжнику. Или — еще лучше — комья земли из-под подков, конная лава, блистание шашек, черная буря бурок. Это заставляло замирать сердце.

И сейчас — заломленные папахи и фуражки, лампасы, струящиеся в голенища сапог, сдержанное ржание коней.

В последний период войны успешно действовали на юге казачьи части и соединения.

Да, роли окончательно переменялись. Теперь только наши полководцы диктовали ход войны, планировали и осуществляли операции столь нацеленные и стремительные, а наши войска осуществляли прорывы и охваты столь глубокие, какие не удавались противнику даже в начальные недели войны.

Именно в таком, новом, темпе и стиле был взят Бухарест. Румынская столица сумела оценить это по достоинству.

С большой охотой румынский народ и армия вышли из войны на стороне Германии и стали нашим новым союзником. Мне случалось видеть заново укомплектованные бодрые румынские части, отправляющиеся на фронт.

А это — первые встречи и знакомства. Обоюдное стремление понять друг друга. И уже вполне деловое сотрудничество — совместный патруль.

В БОЛГАРИИ

Народ Болгарии встретил Советскую Армию столь восторженно, с такой неподдельной радостью, как до этого бывало лишь на нашей земле. На шоссе и проселочные дороги, на улочки и улицы деревушек, городов и самой Софии выплеснулось такое ликование, что могло показаться, будто уже нет войны.

У болгарского берега бьется и хлопает на свежем ветру бело-голубой флаг Военно-Морского Флота нашей державы. И стоит на палубе по стойке «смирно», с винтовкой у ноги, бравый черноморец, старшина второй статьи, а далеко за его спиной — нет, и в бинокли

не рассмотреть! — Одесса, Новороссийск, Севастополь...

Народно-освободительная армия Болгарии. Болгарские партизаны. Наши братья в борьбе с общим врагом. Бесстрашно и упорно, неся жестокие потери, не один год сражались они за свободу, и так же естественно — беззаветно повсюду поддерживало их население. И еще — в тяжелые и в победные наши времена всеми помыслами, всеми устремлениями души были они с нами.

Не щадя своих сил и жизней, расшатывали они изнутри ненавистный режим, и настал момент, когда он затрещал и зашатался. Болгарская рабочая партия и Отечественный фронт успешно организовали и осуществили сентябрьское восстание. Как это прекрасно: не смириться и победить!

Успех дела был предопределен и тем, что в болгарские порты уже вошли боевые корабли Черноморского флота, а с востока, так, что прогибалась под их силой земля, катились по дорогам Болгарии наши армии.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ

Бои в Прибалтике... Перед решающим нелегким сражением — вынос полкового знамени.

Такое бывает не слишком часто, я, например, вспоминаю за свою службу всего несколько подобных случаев. Обычно знамя хранилось в чехле в штабе, под неусыпной охраной специального поста, самого почетного в части. Достаточно было одного сознания, что оно есть.

Знамя — святыня полка, символ его боеспособности, мужества, верности присяге. Потеря знамени — самый тяжкий и горький позор. Не зря сберегали его, рискуя жизнью, при отступлении, в окружении, в трудные наши времена. Пробирались через леса и болота, плотно обмотавшись полотнищем, выходили к своим, рвали через голову гимнастерку и нательную рубашку, и у измученных войною людей просветлялись глаза и лица при виде тяжелой, темно-красной с золотом ткани — боевого, воинского, революционного знамени.

А если безжалостно кончались силы, уходила по капле жизнь вместе с последней кровью, оставляли

иной раз красное полотнище в дальней деревушке, за-
вещав остывающими губами — сберечь и передать на-
шим. И бывали поразительные примеры того, как не-
грамотная крестьянка, не понимавшая в точности —
зачем, но твердо знавшая, что так надо, месяцами, а то
и годами сохраняла на чердаке или в подполе знамя
геройски погибшего и затем возрожденного с ее помо-
щью полка.

Вдоль застывшего строя чеканят шаг по осенней
траве командир, за ним знаменосец и два ассистента
по бокам, и сердца бойцов наполняются отвагой и гор-
достью.

А спустя несколько страниц вы увидите другой сни-
мок. Трофеи: вражеские знамена с отвратительным зна-
ком — свастикой. Сколько попадалось нам таких зна-
мен, оставленных, потерянных впопыхах. Плохи же ста-
ли дела у их владельцев!

Малую часть этих знамен увидел потом мир бро-
шенными на брусчатку, к подножию Кремля и Мав-
золея.

Наше нарастающее наступление. А вокруг ранняя
осень, мелкие и частые прибалтийские дожди, еще соч-
ная зелень. И обилие водных преград, которые прихо-
дилось то и дело форсировать. Отчаянное сопротивле-
ние уже не уверенного в себе противника, минированные
улицы красивых старинных городов. Новизна мяг-
ких пейзажей, красная черепица, маленькие аккурат-
ные городки. И пустынные дюны, сосны, светло-желтый
песок, серые балтийские воды.

По отношению к республикам Прибалтики у нас
было особое чувство. Дело в том, что они были очень
молоды, они стали советскими почти перед самой вой-
ной. Положение сложилось так, что мы вынуждены
были отойти с их территорий очень быстро, что всегда
оставляет в душе более горький осадок, чем отход по-
сле упорной и длительной обороны.

Мы испытали удовлетворение от того, что, несмот-
ря на многочисленные и сильные укрепления противни-
ка, Прибалтика была освобождена столь же стреми-
тельно.

В освобождении республик Прибалтики, в боях за
их столицы активнейшее участие принимали нацио-

нальные — эстонские, латышские и литовские — соединения. До этого они успешно сражались на других фронтах, но к концу лета сорок четвертого года, доукомплектованные, добротнo обмундированные и вооруженные, были выдвинуты к их родным землям. Они с волнением освобождали дорогие сердцу места, а живущие там, встречающие нашу армию с радостным удивлением слушали их знакомую, с детства понятную речь.

СЛОВАЦКОЕ ВОССТАНИЕ

Начало октября. Позади Дуклинский перевал. В долинах еще тепло и сухо. Вместе с нашими войсками к границе Чехословакии вышел Чехословацкий корпус. Борьба предстояла еще нелегкая, долгая.

Но уже сейчас можно развернуть государственный флаг, можно дать победный залп, можно, преклонив колена, поцеловать милую землю отцов и дедов. Эти чувства близки и понятны каждому, кто освобождал свою Родину, кто воевал за свободу.

Впереди — все ближе смутно голубеющие склонами, белеющие снегами вершин горы. Когда-то похоже синели горы Крыма, грозно возвышался в небе Кавказ. Теперь перед взором Карпаты. Они кажутся неприступными. Но все глубже и все выше неотвратимо проникают в их мрачные пределы наши войска. Глубокий снег. Холодно. На высоте трудно дышать. Тянутся по горной тропе терпеливые выючные лошади. Ну, а там, где совсем тяжело, поднимает орудия на руках наша пехота. Наша матушка-пехота. Ведь она все может, все умеет, везде ей не привыкать.

Партизаны Словакии. Они были хозяевами в этих хмурых холодных горах, они были ударной силой словацкого восстания. По масштабам партизанской войны в поработенной стране можно безошибочно судить о силе духа и о характере народа.

Мы помогали им не только оружием и боеприпасами. За линию фронта прорывались наши крупные партизанские соединения, по воздуху перебрасывались отдельные группы. Кроме личной храбрости, они принесли в Словакию то, что было не менее ценно, — кровью добытый опыт.

В сорок первом среди всего, обрушившегося на нашу страну, на наши души и сознание, среди всех бед и надежд, явственно прозвучало и это название — Югославия. Мужественная, борющаяся, несдающаяся страна. Мы прониклись к ней и к ее народам живейшим сочувствием и симпатией. Ее сопротивление было дерзким, открытым и, может быть, наиболее успешным из всех оккупированных стран Европы.

Ее удачи радовали нас, как свои. Ее жестокая боль становилась нашей болью.

Как нам это близко и знакомо. Как восходит это к первым еще годам после революции, к гражданской войне.

В партизанском краю, под боком у врага, — школа. Вечерняя школа или школа для взрослых? Впрочем, здесь есть и совсем дети. Неважно, как ее назвать, но это — школа.

Скрип мела и перьев, взгляд, поочередно обращающийся к белой тетради и к черной доске с условием, а затем и решением задачи... И другая задача, и другой взгляд — вперед, много дальше: свободной республике Югославии потребуются грамотные люди.

Школа... И еще иная школа, которую довелось пройти,— горечь утрат, война. Суровая школа жизни.

Партизаны Югославии. Они «о Родине радея, не помышляли о себе». Они так бесстрашно дрались за свободу, и столь велик был размах этой борьбы, что о их стране можно было сказать: партизанская Югославия. Их повсеместно поддерживало население, им, чем дальше, тем больше, помогали мы, но все-таки как же им бывало нелегко. И не только в самом бою, но и на переходах, привалах, в горах, в снегу. Подвиг — не только коротко сжатый миг мужества, яркая вспышка отваги, но и долгие будни, житейские трудности, монотонные тяготы войны.

Девушка перевязывает голову раненому. Обратите внимание: у нее самой забинтована рука.

Наши солдаты на переправе возле Белграда. Многоплановая эта фотография — как полотно из народной жизни. Сработанный саперами настил, рябь воды,

и тот, лесистый, берег, и автоматы, фляжки, подсумки на ремнях, а у одного на плечах тяжелый станок «максима». И главная суть картины, на что невольно обращаешь внимание: как эти ребята, выполняющие свое дело, по-хозяйски деловиты, умелы, уверенны.

А на другом снимке югославские партизаны невдалеке от своей столицы. Вглядитесь в них. За спокойствием этих лиц ощущается скрываемое волнение. Они все полны решимости. Их ждет Белград. Их ожидают матери, невесты, жены. Вон у знаменосца на пальце обручальное кольцо.

Почти с самого начала войны, пока еще не успели появиться художественные фильмы о всенародном подвиге, у нас на экран стали выпускаться «Боевые киносборники», составленные из отдельных сюжетов, коротких новелл, зовущих на борьбу с врагом. И вот была одна из них — о Белграде, о выслеженной гестаповцами подпольной радиостанции, о героизме и гибели подпольщиков. Эта история обжигала сердце. Там еще звучала трогательная песенка:

Ночь над Белградом тихая
Вышла на смену дня...
Могли ли мы думать, что придем туда!

...С той поры, как осталась за спиной наша государственная граница, немало брали мы городов — ошестившихся, затаившихся. Что ни говори, приятно входить в город, который встречает вас, как дорогих, долгожданных друзей.

Похороны нашего солдата. Скорбь на лицах, могила в цветах. Далеко же ушел он от дома, от родной стороны, чтобы погибнуть за другую землю, за другой народ, но за общую свободу и справедливость.

Одиночные или братские могилы в братской стране. Вечная слава нашим друзьям, лежащим в них. Вечная слава и память всем, оставшимся на великом и долгом пути.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНГРИИ

Венгрия. Редкостная по тем временам жесточность боев под Будапештом. Отчаянные танковые контрудары врага у озера Балатон. Вздвухшийся Дунай, упавшие мосты, потери, грязь, распутица. И наш 3-й

Украинский фронт, мощно пошедший на Запад по весенней венгерской равнине. И транспаранты на обочинах шоссе: «Вперед, орлы Толбухина!»

Это все и моя молодость.

Сколько было мадьярских сел, хуторов, поместий, сколько городков и городов с названиями, врезанными в память навсегда, как резцом по граниту. Еще бы, ведь с этим столько связано! Дебрецен, Сегед, Цеглед, Мор, Папа — все очень просто. И вдруг такое, что не каждый выговорит — Секешфехервар! Шутили: «Легче взять, чем произнести». Другие прошли через другие города и страны и тоже детально запомнили свою дорогу — на всю жизнь.

Постоянные варварские нарушения гуманных международных соглашений, касающихся военнопленных, раненых, мирного населения и многого другого на войне, давно стали для гитлеровской своры нормой.

В первый день сорок пятого года ими были подло убиты два наших парламентария, посланные с предложением о капитуляции окруженной будапештской группировки. На снимке — тело одного из них.

Дунай. Одна из крупнейших рек Европы и одна из крупнейших рек войны. С ней связано немало наших воспоминаний, так же как с Волгой, с Днестром, с Вислой, с Одером... Не один рухнувший мост видели мы на этой реке. Не один раз и не в одном месте пришлось нам форсировать эту грозную водную преграду. Всемерно помогала при этом наземным войскам смело поднимавшаяся вверх по реке Дунайская флотилия.

В АВСТРИИ

Венгерская равнина, естественно перешедшая в Венскую низменность. И столица Австрии — шестая уже европейская столица, которую брали наши войска. После нее — за неполный месяц — предстояло взять Берлин и освободить Прагу. Восемь громких европейских столиц! До этого уже были учреждены медали за оборону наших городов, наших городов-героев. Теперь предстояло появиться медалям за взятие и за освобождение чужестранных столиц.

Все гуще пестрели в сводках и приказах непривычные названия взятых нами селений и городов. Ярко звучали уже хорошо знакомые миру, близкие многим имена наших полководцев, а за каждым из них подражумевались могущественные армии и фронты.

Вдали, за Веной, голубели горы — потом мы дошли и до них,— а впереди опять, в который раз, будто нарочно, катился Дунай, но мы к этому уже привыкли.

Мы взяли этот красивейший город решительно, в течение недели. Мне довелось в составе 9-й гвардейской армии «стоять» в аристократических виллах на холме и даже встретить там майские праздники.

Что играет этот военный духовой оркестр, этот наш музыкантский взвод на площади австрийской столицы? Может быть, капельмейстер уже раздобыл здешние ноты, и ребята играют что-нибудь сугубо венское, или это свой, привычный, сызнава тревожащий сердце мотив?

А на втором снимке знаменитый собор святого Стефана. Этот готический храм стремительно уходит в высоту, вы видите только его подножие. Монахини убирают мусор и осколки после последних обстрелов.

Семен Гудзенко написал в то время:

Зачем ты спрашиваешь нас?
В России знают все
И венский лес,
И венский вальс,
И венское шоссе,

Перед войной у нас шел фильм «Большой вальс» — о Иоганне Штраусе. Эту картину запомнили все, кто ее видел, и когда мы пришли в Вену, его музыка как бы сама собой зазвучала в нас. Можно сказать, что наша армия любила Штрауса. Смотрите, два офицера возлагают к его могиле венок. Но разве только Штрауса? Везде, куда входили наши войска, отмечался их неподдельный интерес к местной культуре, трогательная забота о ней, потребность в сохранении ее памятников.

Одна из черт нашего характера и воспитания.

В ЗАПОЛЯРЬЕ

Мы часто слышали и сами говорили не раз о том, что фронт простирался от Баренцева моря до Черного. Допускаю, это воспринимается сейчас как некий образ, но ведь это было действительно так.

Поднимите взгляд к верхней части карты, к Крайнему Северу, к Заполярью, и представьте себе войну там. Горная тундра, олени, долгая полярная ночь, призрачные сполохи сияния, освещающие темное небо не хуже мощных прожекторов, снега, мороз...

Там с непривычки просто жить тяжело, а не то что воевать!

В районах Заполярья, Баренцева моря корабли и авиация Северного флота теснее, чем где-либо, взаимодействовали с военно-воздушными силами союзников. Своеобразие условий, суровость климата и самой природы наложили на эти отношения особый дополнительный отпечаток.

Наступление велось в трудных условиях, по снегу, по голому камню, по тундровому мху. И немалую роль сыграл здесь десант Северного флота. Моряки, высадившиеся на сушу, черные бушлаты, перекрещенные пулеметными лентами,— не случайно с давних пор это наводило страх на врага.

Много чужих солдат и искореженной техники осталось на этой хмурой земле, много чужих кораблей поглотила ледяная северная пучина.

Район Петсамо был освобожден. В эти дни, по сути, была освобождена от захватчиков вся наша Родина.

Среди многих громких побед других фронтов, с освобождением ими известнейших больших городов, победа в Заполярье могла показаться кое-кому довольно скромной, не слишком значительной. Однако следующий шаг произвел впечатление на всех. Наши войска вступили на территорию Норвегии! Психологически это имело поразительный эффект — до этого Норвегия казалась очень уж отдаленной.

И как везде, куда входила наша армия, ее приход окрылил освободительную борьбу норвежского народа.

БОИ В ГЕРМАНИИ

Путь наш пролег — вдаль по полям и санбатам,
Каждый наш день — как в диске последний патрон.
Слава навек погибшим в сраженьях солдатам,
Тем, кто живой, тоже слава и низкий поклон.

После всех лет, после всех тягот похода,
Горьких потерь под небом родной стороны
Больше всего сейчас умирать неохота —
В самом конце этой долгой и трудной войны.

Время придет глянуть в глаза своим милым,
Только пока еще громыкает война.
Но над землей, над этим истерзанным миром,—
Слушайте все! — вслед за нами грохочет весна.

Как хорошо, что на земле есть Россия,
Ранний простор, нагретые доски крыльца.
Нас будут ждать, мы мертвые или живые,—
В отчет краю все равно будут ждать до конца.

И опять — «переправа, переправа, берег левый, берег правый», как в «Теркине». Наводят саперы мост — по колено в воде, по пояс, по грудь. Который он по счету для них? Десятый, сотый? Наводят мост, но ведь подумать только — где! В самой Германии!

Пробил час, о котором мечтали, стиснув зубы, в который верили. Час расплаты. Стальная волна наших армий грозно захлестнула германский берег. Наконец-то пришел срок держать ответ. Это улицы немецкого города, это горят немецкие дома. Как народный глас гнева и справедливости прозвучали весомые слова нашего великого поэта:

Плати по счетам, Германия,
Молись! По тебе идем!

Свороченный набок броневой колпак вражьего дота, и на нем наш солдат с автоматом и развернутым флагом. Может быть, командир приказал взобраться туда, чтобы было видно, что и этот рубеж взят, а может, фотокорреспондент попросил — позарез нужно для газеты, да и самому еще обещал снимок прислать. Как бы там ни было, стоит парень так, что хоть скульптуру с него лепи. Для потомков.

Каждый наш солдат не мог не знать хотя бы нескольких необходимых ему слов и фраз на языке про-

тивника. «Hende hoch!» — обязательно входило в этот фронтовой лингвистический минимум. И поверьте уж, не для того, чтобы понять, если тебе это крикнут, а затем, чтобы враг понял тебя. Даже в начальный период войны.

Ну, а эти подняли руки сами, не дожидаясь команды.

Здесь, у себя дома, враг сопротивлялся ожесточенно, с упорством отчаяния, до конца. Он словно еще не верил происходящему, он словно еще на что-то надеялся.

Неуютно было нашим танкам на узких улицах немецких городов. На каждом перекрестке, на каждом шагу приходилось встречать, преодолевать, ломать бешеное противодействие. Вот когда нам пригодился богатейший опыт городских боев.

Кого только не доводилось освобождать к концу войны за границей: и узников страшных концлагерей, и наших женщин, угнанных в неволю. И вот еще. Наши части освобождают союзников, американских военнопленных. Те радостно развернули флаги — свой, американский, даже наш. Они стоят за колючей проволокой, но следует признать, вид у них довольно бодрый.

Сколько людей вызволили мы из рабства. Их пестрые потоки заполнили тогда дороги старой Европы. Разве можно забыть такое? Ведь для них снова началась жизнь.

Музыка сорок пятого года. Наша музыка. Не только рев моторов и гул орудий. Не только медь оркестров. Наши песни в строю и на привалах, в грузовиках и в теплушках. Страдания сверкающих перламутром трофейных аккордеонов, томительные русские мелодии, рвущиеся из-под заскорузлых солдатских пальцев.

А вот среди руин, рядом с провалом в кирпичной стене и свисающими балками — пианино. И даже ваза с цветами на нем. Что играет этот офицер, о чем он играет своим усталым солдатам?

Приходится вспомнить: случилось, что рояли и пианино в германских домах оказывались минированными. Стоило только поднять крышку или коснуться клавиш...

Мощно катятся к Берлину наши войска. В центре Германии все указатели — на русском!

ШТУРМ БЕРЛИНА

И вот — бои в Берлине!

Мы с самого начала верили, что придем в Берлин, однако долгое время эта вера как бы не была вполне реальностью, а скорее лишь символом. Но постепенно — начиная с первой зимы — она все более облекалась плотью.

Мы неотвратимо приближались к Берлину, к фашистскому, к звериному логову.

Оглушенный тяжелыми бомбежками и артобстрелами, ослепленный направленными в глаза зенитными прожекторами враг сопротивлялся отчаянно, но он был уже не в силах противостоять нашему натиску.

Упорнейшие, длительные и скоротечные бои и схватки в городе, среди развалин, руин, перепутанных проводов, покореженной арматуры. Как когда-то в Сталинграде. Но разница есть, и немалая! — это не Сталинград, это Берлин!

Заметьте: Берлин был гораздо основательнее подготовлен к обороне, окружен тремя обводами, укреплен специальными секторами и многоэтажными подземными бункерами. Однако он был повержен и пал в течение двух недель. Никто этому уже не удивлялся.

Посмотрите на ребят, ведущих жестокий уличный бой. Некоторые из них даже не в касках, а в пилотках, надетых лихо, набочок, как в увольнении. Какие ребята!

Флаг над рейхстагом. Это не просто очередной флаг в дымном небе, над взятым даже очень большим городом. Это флаг над окончательно поверженным врагом, над очнувшимся миром.

Красный флаг. Знамя нашей Победы.

Фашистские лозунги. Геббельсовская пропаганда. «Мы не капитулируем» — право, это выглядит не слишком убедительно на фоне павшего Берлина.

А вот еще: «Берлин останется немецким». То есть то же самое: не сдадим Берлин, не войдут в него рус-

ские. Вошли! Но изречение оказалось точным, правда, совсем в ином смысле, который меньше всего хотели вложить в него гитлеровские заправилы и который бы ужаснул их: Берлин стал столицей нового немецкого государства — Германской Демократической Респуб-
лики.

И наконец, на упавшем с насыпи немецком вагоне: «Колеса крутятся для победы».

Как выяснилось, наши колеса крутились надежнее.

Первое мая. Первое мая 1945 года. Первое мая 1945 года в Берлине. Берлин в развалинах, в битом кирпиче, в гари и копоти, в еще не осевшей пыли. И рейхстаг весь черный, а Унтер-ден-Лиден, где они маршировали своим гусиным шагом, и Фридрихштрассе — все в руинах. И река эта, Шпрее, о которой столько слыхали, вся черная, и серые германские трупы в воде.

Надо всем этим наши салюты, наш говор, наш красный транспарант «Да здравствует 1 Мая!». И по всей России, по всей нашей стране такие лозунги и плакаты, и люди ждут, замирая: война ведь уже в самом, самом конце.

Я в это время был в Вене. Буйно цветущая сирень, майские оркестры, походные кухни, сварившие рисовую кашу с изюмом. И это известие — взят Берлин! Конец. Отвоевали. И вдруг — на войне все вдруг! — нас по тревоге перебрасывают на 2-й Украинский фронт, в Чехословакию. Берлин пал, но война еще не кончилась.

А над Берлином — Первомай, и вспоминаются сейчас стихи великого поэта, написанные в ту пору и счастливо хранящие наши тогдашние ощущения:

Не в самый полдень торжества
Приходят лучшие слова...

И сердцу радостно и страшно
Себя доверить той строке,
В которой лозунг наш вчерашний
Сегодня — ноша на штыке.

Отчизна, мать моя, сурово
Не осуди, я слов ищу.
И я лишь первые два слова
Об этом празднике пишу.

Я их сложил, как мог, в минуты
Волненья, что лишают слов,

Когда гремел салют салютов
Из всех, какие есть, стволов.

С твоими равными сынами
Я плакал теми же слезами,
Слезами радости, твой сын.

Берлин, о Родина, за нами
Берлин, товарищи, Берлин!

Капитуляция. Белые полотнища, бессильно свисающие из окон домов. Разоруженный враг. И вышедшие из укрытий цивильные немцы с детьми, озабоченно спешащие по еще недавно парадной Унтер-ден-Линден, у Бранденбургских ворот. Собственно, все. Конец.

Но не каждому дано понять, что это уже и начало. Другого, нового.

Вскоре после взятия нами Берлина выяснилось, что в огромном многолюдном городе, по сути, не осталось продовольствия. Из запасов фронтов было выделено 6 миллионов пудов муки, зерна и отдельно — другие продукты. Были введены нормы питания. И, как принято у нас, в первую очередь обеспечивались дети.

Эти маленькие жители Берлина давно уже взрослые люди. Но, должно быть, они навсегда запомнили дразнящий дымок свежего супа или каши и огромного всемогущего повара с черпаком в руке, возвышающегося над походной кухней в центре Берлина.

Лежа и сидя спят на берлинской улице измученные победители, а совсем рядом лежит чужой солдат, который уже никогда не проснется.

И еще одна капитуляция, главная, — не на поле сражения, не на городской улице, а за столом. Под яркими вспышками — не разрывов или ракет, а репортерских «блицев». Кейтель подписывает акт о безоговорочной капитуляции.

Читатель, листающий эту книгу!—

Мой товарищ, мой сверстник, прошедший грозной дорогой до конца;

Мать, потерявшая единственного сына;

Невеста, не дождавшаяся своего солдата, состарившаяся в одиночестве или давно вышедшая замуж и вы-

растившая детей, которые теперь старше, чем был когда-то он;

Все вы помните те годы, все вы объединены ими — это ваш подвиг, ваша слава, ваша жизнь.

Ну, а ты, родившийся после того, как отгремели последние залпы, замирает ли твое сердце, сжимаются ли твои пальцы, учащается ли твое дыхание?

Мы знаем, что, если бы на твою долю выпали такие же испытания, ты с честью и достоинством прошел бы положенный путь.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ И ВСЕЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Самый-самый конец войны. Осела пыль над поверженным Берлином, рассеялся дым. Красное знамя над рейхстагом было видно очень далеко — всему миру. Измученный мир напряженно ждал. Когда же конец войне? И нетерпеливо восстала Прага, желая поскорее сбросить ненавистное иго, схватилась с еще сильным, озлобленным врагом. И пошли на помощь ей наши фронты, рванулись армии, взревели моторами танки. Приседая на поворотах, облепленные бесстрашным десантом, шли они на выручку чехословацкой столице.

В свое время выход наших войск на Государственную границу Советского Союза, разумеется, не мог остаться незамеченным — слишком явственно, почти физически, она проходила через каждого из нас. Но потом пошли небольшие европейские страны, и переход их границ не всегда замечался, — военные планы и действия штабов диктовались не только этими обстоятельствами. Иное дело здесь. Мне посчастливилось участвовать в освобождении Чехословакии в составе 9-й гвардейской армии, переданной из состава 3-го Украинского фронта 2-му Украинскому. Мы двигались с юго-востока, со стороны Вены, по шоссе, через почти безлюдные села и сдержанно затаившиеся городки. И вдруг — что это? По обе стороны дороги стояли люди, много людей, нескончаемая живая аллея. Они махали руками, бросали цветы, протягивали кувшины с вином, смеялись, кричали «Наздар!». Девушки были одеты ярко, празднично.

Ошеломленные, мы не сразу поняли, в чем дело. Кончилась Австрия. Мы вступили на землю Чехосло-

вакии. И это продолжалось везде — на дорогах, в селах, в городах и, конечно, в самой Праге.

Радость Чехословакии ощущалась особенно глубоко: ее освобождение совпало с окончанием всей войны, всей долгой, мучительной, страшной войны против фашизма, с бесславным падением гитлеровской Германии. Правда, вторая мировая еще не закончилась, еще воевала Япония, но это было очень далеко, на краю света, да и положение ее теперь стало откровенно безнадежным.

И здесь была весна, густо цвела сирень, звучали музыка и девичий смех, и люди верили, что эта война была последней — в их жизни, а может быть, и вообще на земле.

Смерть и похороны после войны. Уже прогремела Победа, и дома, в России, нас всех доверчиво ждут. А здесь опять смерть, прощание. Может быть, он скончался в медсанбате от ран или сразу умер от пули обезумевшего, уходящего лесами врага. Много цветов... Плачут боевые товарищи и подруги. Плачут, как можно плакать о горькой и уже случайной потере — в мирные дни.

ПОБЕДА

И сказал поэт:

Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.

Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог!

Да, верить можно, верить нужно,
Что правда есть, — на том стоим;
И что добро не безоружно;
Зло на коленях перед ним...

Накануне в пригороде Берлина, Карлсхорсте, на специальном заседании, открытом Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым, был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

И настал новый день — день Победы!

Это был день ликования, счастья, человеческой общности, смеха и слез. Многие и многие, кому выпало пережить этот удивительный день, вспоминают о нем, как об одном из самых ярких впечатлений жизни или даже самом ярком и сильном потрясении.

Один помнит каждую минуту этого дня, деталь и черточку, другие провели его словно во сне.

Вот фрагмент оттуда. Смеющаяся толпа. Артистки из ансамбля, пляшущие прямо на мостовой. Трамвай № 16, ходивший по Большому Каменному мосту. А за всем этим — Кремль, башни, Большой Кремлевский дворец, соборы, беспредельное весеннее небо.

22 июня 1941 года германские полчища напали на нас. 24 июня 1945 года, через четыре года — и каких года! — на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Нашей Победы.

Это был особый парад. Из всех фронтов, всех войск, стоявших еще, главным образом, за рубежами нашей страны, были отобраны герои, самые лучшие — они то и образовали сводные полки. Они прибыли в Москву и, как бывает при подготовке к парадом, короткими ночами и ранними июньскими рассветами без усталости отработывали четкость перестроений, чистоту равнения, мощь строевого шага.

И они прошли перед трибунами — не просто парадные части, а самый цвет наших Вооруженных Сил, бесстрашное и открытое лицо нашей армии. А возглавляли эти слитные колонны известные всем полководцы, командующие славными фронтами, любимцы армии и народа. И словно в былое время, верхом, на лошадях темной масти командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал Жуков, и цокот копыт звучал на всю страну и много дальше.

Грозно прошли сводные полки, пронеся свои овеянные славой знамена и горячее дыхание лишь недавно отгремевшей войны. А вслед за этим к подножию Мавзолея были с презрением брошены покрытые позором фашистские знамена. И как когда-то поливальные машины мыли московскую мостовую после провода по ней немецких пленных, так теперь нежданный крупный ливень омыл брусчатку, стирая след брошенных на нее жалких германских знамен.

Окончилась война. Пришла Победа. Мы встретили ее кто где. Точно так же, как мы навсегда четко помним, где нас захватило начало войны, так мы видим и тот победный, заключительный день, час, миг — для нас именно там окончилась война, где мы тогда находились. В Берлине, в чешском городе Зноймо, на Балтике, в госпитале, в карауле, в кузове грузовика, в Москве или за Уралом...

Окончилась Великая война. Мы не сразу это по-настоящему осознали. Окончился колоссальной значимости этап жизни и Истории. Нам выпало на долю жить в суровое, трагическое, славное время, принимать участие в событиях исключительных. К нашему времени и к нам с вами не раз будут обращаться мыслями и сердцем потомки: ведь нам удалось освободить и спасти Землю от страшной угрозы и беды.

На этом я заканчиваю рассказ о потерянном фотоальбоме, о двух своих безвременно ушедших товарищах и о Великой войне.

1973

ВОСПОМИНАНИЕ О СПОРТЕ

Давно уже, лет шестнадцать назад, ехал ясным осенним вечером на футбол, вышел на голубой, перекинутой с берега на берег станции метро и еще раз с удовольствием увидел сквозь стеклянную стену ровную выцветшую чистоту неба. Я спустился вниз и сразу попал на территорию стадиона. Времени до начала было достаточно, но народу заметно прибывало, — тогда еще ходили на футбол всерьез, по-настоящему. Я неторопливо двигался по аллейке к своей западной трибуне, оставив справа бассейн, а затем — огибая современный колизей Большой спортивной арены. На той стороне уже пестрели желтизной Ленинские горы, четко вырезанные на светлом небе, вздымался университет, ярко белела церквушка над обрывом. Стояли ранние, слабые сумерки — пора, когда над полем, где темнее от трибун, можно вскоре включать прожектора освещения. Публика шла уже совсем густо.

И тут, в начальных сумерках, нереально появилась

навстречу движению толпы группа таинственных существ, резко возвышающихся над остальными. Толпа была им по грудь. Если бы шел один такой человек, это было бы естественно, объяснимо — ну, великан! — но их было десять или пятнадцать. Нужно сказать, что тогда не произошла еще последующая акселеративная вспышка, нет, средний рост мужчины-москвича, я хорошо помнил, составлял 168 сантиметров, и вдруг эти — за два метра — инопланетяне, избранники.

Конечно, я, и не один я, через мгновение уже догадался, что это сборная баскетбольная команда страны, возвращающаяся в гостиницу с тренировки на Малой спортивной арене. Но все равно впечатление от той встречи в сумерках было ошеломительное.

Не так ли вообще возвышаются над толпой ее спортивные кумиры?

Но почему — воспоминание о спорте? Кто я такой? Что я могу вспомнить? Детство. Турничок во дворе, до которого еще трудно дотянуться, но подтянуться уже можно, и не раз. Школьный гимнастический «козел» с деревянным трамплином и матом-тюфячком. И — снег, трава, солнце. Скрип лыжонок, волшебный стук мяча. Ну, играл. Но что это был за уровень! Правда, бегал на 25 километров с полной выкладкой. Прыгал с парашютом. Но время было такое — война, армия.

И все-таки я участник. Ибо спорт, как всякое зрелище, немыслим без публики. Это — явление публичное. Да я последние деньги отдавал за билет, чтобы присутствовать при таинствах спорта. Можно на тренировках, прикидках превысить рекорд, но его не только не утвердят, но даже не примут к рассмотрению. Настоящий рекорд — только на соревнованиях, при зрителях, в борьбе.

Спорт, как и театр, при пустых трибунах и залах — нелеп и ужасен. Это его смерть. Нельзя с истинным вдохновением выступать на стадионе и в театре без зрителей, как бы ни был хорош и умел исполнитель. Писатель пишет, мучаясь и решая что-то для себя, наедине с самим собою. Но ему больно, если его книга не расходуется. Это те же пустые трибуны. На литературном вечере, который просто плохо организован, тоже выступать обидно. Не пришли, потому что не знали? А если не захотели?

И только игра в ее высшем проявлении не требует чужого глаза: мальчишки, часами гоняющие мяч по лесной поляне...

Прежде на спортивных состязаниях, скажем, по хоккею или баскетболу, счетчики чистого времени показывали, сколько прошло минут и секунд от начала игры, то есть, собственно, так, как нормально идет время. Теперь — большей частью — они сообщают не о том, сколько прошло, а о том, сколько осталось до конца. Удобнее: глянул — и все ясно. А если бы так в жизни?

Иной раз увлекся, не успел посмотреть, не заметил — и тут сирена. Конец.

1

В мае 1955 года в Центральном Доме Советской Армии проходило людное совещание, посвященное военной теме в литературе. Потом смотрели специальный фильм, потом обедали в тамошнем офицерском ресторане и вышли наконец на площадь Коммуны — Твардовский, Луконин, Межиров и я, — еще не зная, что предпринять далее. И тут мы с Лукониным разом вспомнили, что сегодня на «Динамо» футбол — играет европейский, кажется венгерский, клуб с «Торпедо», — и предложили поехать. Что тут стало с Твардовским! — так и вижу его, высокого, чуть грузноватого, в сером габардиновом плаще. Он, язвительно усмехаясь, дал нам почувствовать, что попросту не понимает нас, что глубоко шокирован, что ему за нас стыдно. Мы, разумеется, не поехали — не хотели с ним расставаться. Он же продолжал нас презирать.

А, собственно, почему? Он уважал не только физическую работу, но и физические развлечения. Он недурно плавал, при каждом удобном случае старался искупаться, а однажды, о чем мне рассказывал Исаковский, умудрился сделать это на официальном загородном приеме. В войну, работая в редакции фронтовой газеты, он, по свидетельству очевидцев, с удовольствием боролся с желающими; а кроме того, знал толк в таких удачных играх, как бабки, городки. Футбол просто миновал его, он не понимал этой игры, не чувствовал и относился к ней, как к опасности, к подмене ею чего-то важного. Заблуждение многих.

А футбол на это не претендует, ему это не нужно. Он сам по себе.

Сидели когда-то с Ю. Трифоновым в кафе Дома литераторов и говорили, между прочим, и о футболе. Кто-то сказал: «О чем вы! Как вы можете?..»

Мы вежливо объяснили: «Это гораздо интереснее, чем говорить о ваших повестях и пьесах. Вот так...»

Я даже написал примерно в то время:

Вы нас пристрастьем этим не корите,
Оно вам чуждо — только и всего.
Хемингуэй привержен был корриде,
А вы же почитаете его.

Однажды — тоже очень давно — я случайно слышал рассказ писателя и журналиста С. о том, как он присутствовал на футбольном матче сборных СССР — ФРГ (август 1955 г.). С. — человек рафинированный, книжный, к футболу никакого отношения не имел и интереса не питал, но работал он тогда в «Литературной газете», а там еще сохранялся симоновский стиль — лучших сотрудников поощряли, в данный момент — билетами на футбол. С. был в числе лучших, а ажиотаж вокруг билетов столь чудовищен, что С. решил пойти. Он сел на трибуне среди незнакомых, вполне интеллигентного вида людей, игра началась, он попытался что-то понять и хотя бы следить за событиями, но скоро ему стало скучно, и он, по его выражению, отключился. Вдруг все, кроме него, разом вскочили с мест, и страшный ликующий рев потряс стадион и окрестности.

— Послушайте, — затребил С. за рукав своего соседа. — Что случилось?

— Что случилось? — переспросил тот, переводя на него невидящий, горящий взгляд. — Что случилось?! Ах ты гад! — И продолжал, с душой, уже ни к кому не обращаясь: — А какие люди не попали!..

С. рассказывал об этом, пожимая плечами, как о забавном случае своей жизни, и слушали его с сочувствием. Я же не выдержал и сказал: «Вы знаете, ваш сосед совершенно прав. Только он был слишком мягок...»

А игру эту я помню, будто вчера была.

Западные немцы стали перед тем, впервые, чемпионами мира, а наши тоже чувствовали свою силу и хотели показать себя после неудачи на Олимпиаде пятьдесят

второго года, о чем еще помнилось явственно и больно. Правда, команда была теперь совсем другая, от той, горемычной, после проигрыша остались только Башашкин, Нетто и Ильин. О немцах писали, подробно о каждом, выделяя их необыкновенные качества — запомнился обводящий стенку штрафной удар Фрица Вальтера. Стадион ломился от народа. Невозможно было дожидаться начала. Но вот немцы пошли вперед, и впервые на наших трибунах залилась, поддерживая их, самоуверенная труба из машущей флагами интуристской пестрой гущи. Все внутренне так и ахнули. Она потом неустанно звучала всякий раз, как мяч попадал к немцам. Но вскоре ей пришлось замолчать. Паршин забил первый гол после передачи справа. Пожалуй, он единственный не был у нас футболистом-«звездой». Но он тогда забивал. И тут только все началось. Наши имели преимущество, наступали, но в безобидной ситуации пропустили. Кто-то пробил с угла штрафной. Яшин этот мяч спокойно брал, но Башашкин подставил ногу, и мяч рикошетом опустился в ворота за спиной вратаря. Бедолага Башашкин, один из лучших центральных защитников в нашем футболе, с ним несколько раз случалось в жизни подобное.

Мы все проходим через испытания,
Как бы нарочно скрытые в судьбе.
Не только сквозь невзгоды и скитанья —
Сквозь разочарования в себе.

Почувствуй неудачу каждой порой.
И встань! Ведь ты сражен не наповал.
На свете нет защитника, который
В свои ворота гол не забивал.

Во втором тайме команда ФРГ провела второй гол. И произошло то, из-за чего этот матч до сих пор четко стоит в памяти всех, кто его видел. Начался штурм такого накала и страсти, что зрители словно тоже стали его участниками. Германская труба молчала. Немцы отбивались хладнокровно и организованно. Но крепкие нервы были тогда у наших ребяташек. Они атаковали не только яростно, но и разнообразно, и «железные» немцы почти неуловимо начали ошибаться. Эта захватывающая, не отпускающая ни на миг картина длилась минут пятнадцать или больше, пока дальний удар Масленкина, из категории тех, что принято называть пушеч-

ными, не достиг цели. Прекрасный был полузащитник Анатолий Масленкин. Жаль, что «Спартак», не имевший, еще с ухода Василия Соколова, полноценного центра защиты, переквалифицировал его в стопперы. Он и здесь играл хорошо, но он все-таки был прирожденным блестящим хавбеком. Пример зависимости судьбы игрока от интересов команды.

Счет стал 2:2, но всем было ясно, что он еще изменится.

Нужно сказать, что к тому времени уже гремел и потрясал воображение наш хоккей. Но общеизвестный ныне его клич-призыв «Шайбу!» еще не успел проникнуть в футбольный обиход. И вот здесь, чувствуя необходимость и потребность внести свою долю участия в победу, трибуны в едином порыве начали скандировать, стройно, словно это было отрепетировано: «Е-ще гол! Е-ще гол!..» Ни до этого, ни потом я никогда такого не слышал.

И команда в красных майках и белых трусах — именно команда — откликнулась, не могла не отозваться на эту просьбу, на этот зов. Последовала очередная верховая передача. Сальников пробил головой — редко кто у нас играл головой, как он. Вратарь в другом углу. Гол? Нет, защитник, пластаясь в горизонтальном прыжке, тоже головой отбивает мяч с линии ворот. Вот это да! И тут же Ильин коротко бьет слева. Вратарь на земле, защитники лежат, а мяч в сетке. Талант Ильина — забивать именно такие, решающие, «золотые» голы. До него этим отличался Бобров, позже — Понедельник.

С этого матча люди расходились взволнованные, потрясенные, понимая, что присутствовали при проявлении высшего спортивного духа.

Был на той игре и Миша Луконин. При выходе, разделенные толпой, мы увидели друг друга и только сделали глазами нечто, означавшее: «Да-а, брат!..» Он знал и понимал футбол изнутри. До войны начинал играть за шумевший тогда сталинградский «Трактор», вместе с самим Александром Пономаревым. Подавал надежды, но стихи пересилили, взяли верх. Однако друзьями они остались на всю жизнь. Он вообще дружил с людьми спорта. Они чувствовали в нем своего. Он был близок и с другим великим спортсменом, боксером Николаем Королевым. Сейчас всех троих уже нет.

На даче у Луконина была оборудована спортивная площадка, было несколько хороших мячей. Мы с Винокуровым, давно когда-то, более двадцати лет назад, ездили к нему поиграть в футбол. Помню пустынную платформу Мичуринец, первую светлую зелень, тропинку через поле. Потом я стоял в воротах, а хозяин бил. Впрочем, бил и Винокуров, и собравшиеся на звук мяча писательские дети, но всерьез бил только он. У него был тяжелый удар настоящего форварда. Обжигало ладони, больно было ногам, отбивавшим мяч, но я старался не показывать вида. Потом мы все шли к станции, с нами был еще его сын Сережа — как это все далеко!

В нем немало было от спортсмена — не только сила, не только эта площадка или две пары боксерских перчаток, висевших на виду в его городской квартире, — от спортсмена в высоком смысле и понимании.

В 1939 году он записался добровольцем в студенческий лыжный батальон — на финскую. И Отечественную прошел от начала до конца, вырывался из окружения, был ранен и вернулся с довольно скромными наградами. Почему? Причин никаких, просто так получилось. Но он умел, как говорят боксеры, «держат удар». Потом у него была счастливая литературная судьба, но это качество характера пригодились ему в периоды творческих кризисов и спадов.

И еще такая история. В начале 1971 года врачи обнаружили у него в легком неприятное затемнение, опухоль. Нужно было срочно ложиться на операцию. Он попросил день отсрочки, приехал в Переделкино прощаться. Был у Смелякова, зашел в Дом творчества. Держался он спокойно и естественно. «Ну что же, — говорил он, — грех жаловаться. Жизнь сложилась, судьба была...»

В последний момент перед операцией выяснилось, что диагноз оказался неверным, — это был след только что перенесенной на ногах пневмонии. И отмену приговора он тоже встретил спокойно, по-мужски, с достоинством. Умер он через пять лет, неожиданно для всех, от болезни сердца.

Почему людям искусства так близок спорт? Потому что спорт близок самому искусству. Он тоже зрелище, он тоже потрясает, он тоже не терпит неполной отдачи — только всего себя, до конца. Футбольная «выездная модель», заранее планирующая ничью на чужом поле, в дальнем результате к добру не приводит, развращает, разъедает команду. Известный спринтер, заканчивающий предварительные забеги с оглядкой, психологически не готов к борьбе в финале, где нельзя жалеть себя. А комментатор ликовал: «Он затрачивает ровно столько усилий, сколько нужно для выхода в следующий круг, ни капли больше!» Может быть, стоило затратить и побольше. Мне по нраву титаны, борющиеся не только с соперником, но с обстоятельствами, случайностями, самими собой. То же в искусстве. Спорт в некотором роде пример, идеал, к сожалению, недостижимый — в смысле объективности оценки и результата. К нему тянешься. Татьяна Казанкина выиграла в Монреале две золотые олимпийские медали. Можно ли сказать, что не она лучшая на своих дистанциях? А в литературе — можно. История литературы полна подобными примерами.

Притягательная сила спорта — и в неизвестности конечного результата, в его неожиданности.

Лишь в видах, близких к искусству (фигурное катание, художественная гимнастика), могут доставлять удовольствие и показательные выступления — без нервов, без борьбы. Но все же это не то. Спорт требует, подразумевает столкновение характеров, честолюбия, упорство, стремление победить.

Когда зритель присутствует на спектакле по хорошо известной ему пьесе, он получает наслаждение благодаря постановке, режиссерскому решению и игре такой глубины и силы, которые заставляют воспринимать увиденное как бы впервые. Похожее — при перечитывании любимых книг: внезапные открытия там, где ты, казалось, знаешь все насквозь.

Настоящий спорт — это всегда встреча с чем-то новым.

Казалось бы, типично городское, несерьезное развлечение. Но приезжаю в Дубулты, в писательский дом

творчества — сидят у телевизора Ф. Абрамов и С. Видулов, смотрят футбол, не оттянешь. В Переделкине зимой кто не пропускает ни одной хоккейной передачи? В. Астафьев, С. Крутилин. В чем дело? В истинности спортивных страстей.

А что делается с венгерскими писателями, когда они начинают вспоминать свою команду! А поляки... А болгары... Да что говорить!

Великие спортсмены! Во времена моей молодости такого определения не существовало, оно бы коробило, выглядело бы слишком сильным. Но ведь и здравствующих художников никто так не называл — великий.

Большие спортсмены. Пусть так. Но они были кумирами. Мы сами в глубине души безосновательно мечтали стать такими. И еще резала по сердцу заведомая, заданная кратковременность их полета.

Легко сказать: «Какие люди были! Глыбы! Как играли!..» Вам возразят: «Да сейчас играют лучше» — и, возможно, будут правы: как докажешь? Но ведь так же можно утверждать: и писатели сейчас лучше, и артисты... Это уже несколько смущает. Во всяком случае, каждый тогдашний игрок воспринимался как личность. Теперь «звезд» в игровых видах стало появляться меньше, и светить они стали короче. Если говорить, к примеру, о хоккее, то ясно, что после поколения Харламова, Третьяка, Петрова, Якушева, Мальцева уже несколько лет не появлялось мастеров столь выдающегося уровня и класса. Разве что Балдерис. Но ведь похожее и в поэзии и в театре... И здесь существует своя закономерность, цикличность.

О былых игроках легенды ходили.

С левой он мячом ломает штанги,
С правой бить ему запрещено.

Это о Михаиле Бутусове. Но вот не легенда. Андрей Петрович Старостин — не кто-нибудь — говорил мне о Федотове: «Гришка-то? У него лапа вот такая была, на подъем весь мяч ложился...»

Восхищение одного большого спортсмена другим, младшим.

Пристрастие к той или иной команде. Жгучая, глубокая привязанность — до потрясения, до слез. Тайна этого.

Не люблю термин «болельщик». Какое-то ненастоящее словечко. Иное дело — болезнь. Высокая болезнь!

Итак, кто за кого? И по какой причине? Понятно, что киевляне, тбилисцы или ленинградцы — поклонники своих команд. Железнодорожники сочувствуют «Локомотиву», а, скажем, рабочие автозавода имени Лихачева, да и других автозаводов, предпочитают «Торпедо». Это ясно. Но ведь в большинстве случаев спортивные симпатии трудно объяснимы, условны, и в то же время всесильность их поразительна. Артист-вахтанговец — приверженец «Спартака». Но почему именно «Спартака», какое он имеет к нему отношение? Однако принадлежать к какому-либо клану — обязательно. Давно известно, что, если вам говорят: «я болею за тех, кто проигрывает», или «за тех, кто выигрывает», или еще что-нибудь в таком же роде, — перед вами дилетант.

Каждый знаток — сторонник определенной команды. Хотя, к примеру, в спортивной журналистике признать себя в этом — значит проявить неэтичность, дурной тон. Другое дело, что одни более, а другие менее объективны.

Скажу о себе. Я давний поклонник армейской команды. Знал вместе с нею и радостные годы, и обиды, и разочарования. И состав сменялся множество раз, и команда, по сути, другая, и что она мне, а вот не отпускает что-то, задевает, хоть и не так остро, как когда-то. Большинство почитателей этого клуба — люди военные или бывшие военные. Я отдал ей предпочтение еще до войны, когда туда перешел из «Металлурга» потрясший мое воображение Григорий Федотов. Любопытно, что я знаком с некоторыми футболистами и тренерами, но они, как правило, из других команд. У меня никогда не возникало потребности поехать в ту, «свою» команду. Из нее я знал лично, пожалуй, лишь покойного ныне превосходного полузащитника Александра Петрова, да и то знакомство с ним произошло случайно и естественно.

(Мне рассказывали, что когда за один из итальянских клубов выступал знаменитый аргентинец Сивори, то в Италии образовалось общество или кружок его почитателей. Они собирались специально для того, чтобы поговорить о нем и его игре, посмаковать наиболее

впечатляющие ситуации. Так вот, первым пунктом устава этого кружка значилось — никогда не приглашать на заседания самого Сивори и не встречаться с ним. Они боялись разочароваться в своем кумире.)

За ЦСКА (в прошлом ЦДКА) болеют многие мои друзья и знакомые. Ян Френкель почувствовал тягу и симпатию к команде в конце войны, но не только потому, что был солдатом, а благодаря поразительной игре молодого Боброва.

Критик Ал. Михайлов, вернувшись с войны домой, в Нарьян-Мар, был околдован игрой невиданного армейского клуба в художественном пересказе Вадима Синявского. Переехав в Москву, он стал и остался одним из ярых приверженцев команды, не пропуская почти ни одной ее игры и до сих пор доверчиво ожидая от нее былых радостей. В дни футбольного чемпионата мира 1966 года телевизионная трансляция матчей из Англии часто совпадала по времени с играми нашего внутреннего первенства. Разумеется, посещаемость стадионов резко упала: все сидели по домам и смотрели команды Англии, Бразилии, Португалии, ФРГ. Да и наша сборная выступала довольно успешно... Матч ЦСКА — «Торпедо» (Кутаиси) собрал 500 зрителей. 498 из них были уроженцы солнечной Грузии. Двое — Ал. Михайлов с сыном.

Критик Евгений Сидоров получил кровную привязанность к ЦДКА в наследство от отца, возившего мальчика в переполненном трамвае на «Динамо».

Роберт Рождественский — тоже, у того отец был военный.

А вот Евгений Евтушенко — давний сторонник московского «Динамо». Почему — не знаю. Ведь он сам гонял когда-то мяч на 4-й Мещанской вместе с будущим спартаковским капитаном Игорем Нетто.

Андрей Вознесенский интересуется главным образом международными встречами.

Булат Окуджава — за тбилисцев (как грузин), за московский «Спартак» (как довоенный арбатский мальчишка). Есть у него и другие симпатии.

Евгений Винокуров тоже вырос возле Арбата и тоже болел за «Спартак» («за тот «Спартак»). Теперь к футболу равнодушен.

Юрий Трифонов жил в середине пятидесятых на

Верхней Масловке, возле стадиона «Динамо». Начал ходить туда. Прибаливал (футбольный жаргон) за ЦДКА по личным мотивам, тоже из-за Боброва. На трибуне познакомился с закоренелыми «спартаковцами»: А. Арбузовым, И. Штоком, начинающим тогда статистиком футбола К. Есениным. Они убедили его в том, что «Спартак» лучше. Редкий случай.

Михаил Луконин до войны сам выступал за сталинградский «Трактор». В дальнейшем не отдал сердце ни одной из команд. Лишь выделял московское «Торпедо», пока там играл Александр Пономарев.

Да, писатели и артисты в большинстве своем ярые приверженцы спорта, и не только у нас в стране. У артистов это более заметно, ибо театр — коллектив и, как правило, сторонник одной команды. Быть не со всеми не рекомендуется. Публика, сидящая в зале, не подозревает, что за кулисами зачастую включен телевизор (тс-с-с!) и артисты не только в антракте, но и, освободившись по ходу действия на несколько минут, в костюмах, в гриме, смотрят, переживают, но о роли не забывают, характер «держат» — сигнал помрежа, и они вновь на сцене. Это в театре, или, как они сами говорят, на театре, — чисто специальное, профессиональное выражение, вроде на флоте — не стоит пытаться применять его широко. Твардовский всегда говорил и писал только «во флоте». Но это к слову.

Спортсмены схожи с артистами прежде всего тем, что и здесь самое важное, каковы они в деле. На вечере в Доме кино, посвященном присвоению почетных званий группе артистов, среди прочих выступал с поздравлениями большой актер и разочаровал присутствующих претенциозной поверхностной речью. Видя мое недоумение, Марк Бернес тогда сказал: «Ничего. Умного он, если нужно, сыграет...»

Конечно, очевидна близость спорта к видам искусства, требующим высокого физического напряжения, — балету или другой исполнительской деятельности с таким же безжалостным тренингом. А театральные репетиции, помимо спектаклей! А проза!.. Выносливость, сохранение дыхания на длинной дистанции. Вспомните, по сколько часов в сутки работали классики.

Но откуда все-таки эта тяга, скажем, артистов к известным спортсменам? Ведь они сами знаменитости, и, таким образом, отпадает распространенное стремление к общению со «звездой». Это нежность к неконкурирующим собратьям и смутное сожаление — и к себе тоже, — что грозное время скоро заменит их другими. Превратности судьбы. Игрок, которого «не ставят». Недели на скамье запасных. Да что недели — сезон, два! Актер, играющий «кушать подано», но знающий назубок все роли и дождавшийся своего часа. И в спорте — основной заболел, травмирован, еще один, полуосновной, тоже не может, сник, скис, в семье беда, жена уходит. У тренера выбора нет — ставит запасного. Тот забивает, решает исход встречи, закрепляется в составе, приглашен в сборную. И в театре — триумф, овации, цветы, рецензии. А если не будет такого счастливого, рождественского стечения обстоятельств? Актер с годами еще сыграет хотя бы роль отца и деда. А футболист? К тому же в театре не одна игра в неделю — много спектаклей.

Но есть и другие причины такой взаимной тяги — причины более высокого порядка. Юрий Карлович Олеша и Михаил Михайлович Яншин близко дружили с Андреем Петровичем Старостиным. Но это не была дружба выдающихся писателя и артиста с выдающимся спортсменом, это была дружба выдающихся людей. Андрей Старостин, один из славной фамильной когорты, довоенный капитан «Спартака» и сборной страны, — блестящая личность. Он образован, знает литературу, языки, прекрасно пишет. Он естествен, изящен, красив. До войны у него было прозвище: «Лорд». Как-то он сказал мне о своих повседневных делах: «Все погибло, Константин Яковлевич!» — «То есть как?» — не поверил я. Он с видимым удовольствием пояснил: «Кроме чести».

Это его присказка. Потом я не раз слышал ее от него. Он действительно человек чести.

Что футбол! Золотая крупца
Той действительно общей игры,
Что в мирах, завихрясь, клубится,
Что вбирает и нас до поры,

Да, мне нравится, как Вы живете,
Широко — как цыган, как игрок.
Как в поэме на самом разлете,
Где немало еще между строк.

Выделяясь из лучшего ряда,
Доверяясь не всяким словам.
И поэтому искренне радо
Сердце, если случается Вам

Прирожденной походкой ковбоя
В старый клуб ненароком войти,
Обжигая собою, судьбою
Не нарочно, а лишь по пути.

С дорогим сотоварищем вместе
В уголочке устроиться здесь,
«Все погребло, — сказать, — кроме чести»,
Кроме чести! — и в этом Вы весь.

Есть известный фильм «Подкидыш», где по ходу действия несколько раз теряется маленькая девочка. И там есть сцена встречи футболистов на вокзале. Так вот, раньше на подножке подходящего к перрону поезда стояли Андрей Старостин и его одноклубник Станислав Леута — не актеры, а самые настоящие, для достоверности, на волне своей славы. Потом эти кадры выпали и затерялись. А тогда я, мальчишкой, несколько раз ходил на эту картину, чтобы только увидеть их. И до сих пор, когда она иногда демонстрируется по телевидению, я смотрю во все глаза, боясь пропустить — вдруг они появятся! А тот поезд все подходит и подходит к перрону.

Как и в искусстве, в спорте огромна и всепобеждающая роль влияния старшего, мастера, кумира, метра — влияния на собственную манеру новичка, но самое важное — на его мировоззрение, характер, личность. Разумеется, главное — не потеряться в подражателях, таких большинство, а найти себя. Играя рядом с большими талантами — и на сцене и на поле, — расцвели и обрели себя многие. Это необходимо всем. Даже Пушкину. «Старик Державин нас заметил...» Но истинные гении уже в ранней молодости сами поражают стариков.

Любопытно традиционное наличие в большом спорте «семейственности», династичности. Братья Старостины, Знаменские, Пайчадзе, Дементьевы, Джеджелава,

Пономаревы, Майоровы, Рагулины. Братья Жарковы, Сырцовы, Голиковы, Муратовы. Братья Чарльтоны, Вальтеры, Маховлици. Эспозито. Сестры Пресс.

Что-то есть в этом домашнее, трогательное. Правда, всегда один из родственников сильнее — не обязательно старший, — затмевает другого, но ничего, обид не бывает, дело семейное.

Многочисленны примеры вновь создаваемых спортивных семей, когда муж и жена — выдающиеся спортсмены. Бывает, что они даже вместе выступают — фигурное катание.

И еще, разумеется, отцы и дети. Сбывшаяся мечта, поддержание фамильной марки, фирмы. Чаще всего это боковые ветви, в другие виды. Но есть и прямое наследование: в футболе — Федотовы, Маццола, Артемьевы.

Всегда сильна эта преемственность была в театре, в цирке. Иной театральный род длится чуть ли не веками.

А в литературе? Нет, здесь дело более индивидуальное, штучное. Братья Гонкуры? Дюма — отец и сын? Сейчас в Литературном институте учится немало писательских детей. В наше время такого не было. «Как не было? — напомнили мне тут же. — А Расул?..» Точно, Расул Гамзатов — сын Гамзата Цадаса. Это все знают, но не всякий раз вспоминают, когда речь идет о Расуле. Или есть отличный журналист Тимур Гайдар, военный моряк и международник. Я тоже близко с ним знаком. Он не только сын Аркадия Гайдара, но и, если угодно, литературный персонаж, главный герой повести «Тимур и его команда». Так вот, общаясь с ним, я никогда не думаю об этом, он для меня Тимур Гайдар — сам по себе, и только. Вероятно, для того чтобы тебя воспринимали подобным образом, нужно быть незаурядной человеческой личностью.

Мне странно видеть людей моего возраста, совершенно не умеющих обращаться с мячом, шарахающихся от него или комично пытающихся ударить рукой или ногой и, конечно, промахивающихся. Откуда они? Где они были в детстве? У меня к ним чувство, смутно, отдаленно похожее на отношение к сверстникам, не бывшим в армии. Тоже дико.

Такова сила спорта...

После войны стадион «Динамо» был тем объединяющим местом Москвы, куда бросились жадно, изголодавшись, соскучившись. На футбол ходила «вся Москва». Это было принято, хороший тон, но это прежде всего было увлекательно. Это играло немалую роль в жизни. Рядовые матчи делали полные сборы. Ходили, как в театр, нарядные, с женщинами. И до сих пор осталось — к сожалению, только в памяти — радостное ощущение волнения, приподнятости не только от самой игры, но и от всего, что ее сопровождает. Объявления, как на вокзале, и по делу (составы команд) и вполне житейские, вызывающие всеобщее добродушное сочувствие («Витя Иванов, четырех лет, ждет своих родителей в комендатуре стадиона»). Синхронное возбуждение трибун, неожиданные клубы табачного дыма, наплывающие из полутьмы, как туман, — все взволнованы. Погромохивание вдали, первые капли дождя, холод, непогода — ничто не могло помешать, распугать.

Ходили и на бокс. Чемпионаты страны устраивались чаще всего в цирке на Цветном бульваре. Вижу внизу, на арене, ярко освещенный ринг: в его канатах плотный бритоголовый Королев — после медведевского партизанского отряда, ранения — и танцующий вокруг него стройный, юный Щоцikas. Личности!

Я знаю двух поэтов, утверждавших в те годы, что они были — еще раньше — сильными боксерами. Но достаточно взглянуть на их переносы, и вам тут же станет ясно, что их никогда не касалась рука человека. Или они гении бокса или, мягко говоря, фантазеры. Но ведь зачем-то им это нужно! Возвышает в собственных глазах, льстит самолюбию больше, чем эпитеты и рифмы.

Честно говоря, с годами я остыл к боксу (теперешние комментаторы сказали бы «подостыл»). Глубокий нокаут действует неприятно — не только на пострадавшего, но и на меня теперешнего. А когда-то это только восхищало.

Но и на стадионе бывали другие летние соревнования. Я не говорю сейчас о волейболе или баскетболе, речь идет о видах, живущих на большой арене, рядом

с футболом. Они придавали посещению стадиона особую, дополнительную прелесть.

В нашей стране нет специально футбольных стадионов. Но беговая дорожка используется сейчас слишком редко и изолированно. А ведь это прекрасно — красная дорожка вокруг зеленого поля! Это символ нашего стадиона.

Когда-то в дни больших матчей дорожка не пустовала — и после игры и даже в коротком перерыве между таймами. Помню, именно в перерыве встречи «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Ленинград) Николай Каракулов установил новый всесоюзный рекорд в беге на 100 метров — 10,4 секунды. Прежний принадлежал Головкину — 10,6. Головкин участвовал и в этом забеге и показал 10,5. Несколько десятков тысяч человек присутствовало при сем. Состязания по легкой атлетике такое количество народа собрать тогда не могли. Впрочем, футбольные знатоки и ценители, как правило, знатоки и всего спорта.

Всегда сопровождали футбол и велогонки с выбыванием — короткие, увлекательные, напряженные заезды. Условие: после каждого круга выбывает последний из гонщиков. Учитывая одинаково высокий класс участников, кучность результатов, трудно было догадаться, кто же станет победителем. А участвовали, не чинясь, действительно лучшие. Тогда сильнейшие велогонщики неожиданно оказались в составе спортивного клуба ВВС и неизменно выигрывали все призы и состязания. Популярной была ежегодная гонка по Садовому кольцу. Она проходила утром, а потом, опять же в перерыве между таймами, на стадионе чествовали победителей. Участвовали в этом соревновании и велогонщики из других городов. И вот, как гром среди ясного неба, объективно бесстрастное объявление по переполненному стадиону о том, что гонку выиграл ленинградец Родислав Чижиков. Появляются, придерживая могучими руками свои легкие машины, победители в командном зачете — гонщики ВВС в желто-голубых полосатых майках, облитые шоколадным загаром ранних южных сборов, а впереди худенький белотелый победитель, катящий велосипед и — с трудом — свой первый приз — мощный гоночный мотоцикл. «Хоть бы помогли!» — сказал кто-то на трибуне. Через короткое время Чижиков тоже стал членом этого спортивного

общества. В дальнейшем он долго еще был гонщиком экстра-класса.

Возникли и футбольная и хоккейная команды ВВС. Они неожиданно как бы выделились из могучей сферы ЦДКА и вобрали в себя несколько ярчайших «звезд» армейцев. Конечно, среди них не было Федотова. Но среди них был Бобров. Сам Всеволод Бобров, сам «Бобер» возглавил команду «летчиков»! Я присутствовал при первой встрече ЦДКА — ВВС. Тогда еще практиковалось иногда запускать по два матча в вечер: первый не очень значительный, а второй гвоздевой, вот этот. Большинство твердо предрекало победу армейцам. Но были и уверенные в ином исходе и даже предсказывавшие счет. Меня всегда поражало не только само наличие, но и количество пророков, оракулов в футболе, диагностов, делавших смелейшие, казалось бы, нелепые, но часто оправдывающиеся прогнозы. Конечно, новоявленная, искусственно собранная команда особенно не блистала, но выигрывала немало и крупно. В том числе и в первом престижном матче. 3:0 выиграли ВВС. Это было нелепо, неправдоподобно, нереально, но это было. Они отдали все. Помню, как недавний «цэдэковец» полузащитник, «пятерка», Виноградов бросился под сильнейший удар и не дал забить. Продолжать встречу он не смог; его унесли с поля. Это был уже типично хоккейный прием. Виноградов стал одним из первых и лучших защитников нашего хоккея. Он играл вместе с Бобровым, Шуваловым, Бабицем.

Перед этим погибла в авиакатастрофе под Свердловском хоккейная команда ВВС. Ходили слухи, что «Бобер» по случайности опоздал к самолету. Среди погибших были замечательные спортсмены. Как все-таки часто вынуждены перемещаться в воздушном пространстве команды игровых видов спорта, и прежде всего футболисты и хоккеисты! Календарь плотен, на поезде не успеешь. И случаются трагические неудачи. Разбился итальянский «Торино» и в его составе Маццолла-старший, Валентино; упал самолет с «Манчестер Юнайтед» — среди нескольких уцелевших был молодой Бобби Чарльтон. Но — удивительно и прекрасно — наперекор смерти и как бы в память о погибших эти команды возрождались и становились сильнее прежних. Возникла и новая команда Военно-Воздушных Сил. Она просуществовала недолго и вновь влилась в

свою alma mater, в родной ЦДКА, но она осталась в истории нашего хоккея прежде всего благодаря Боброву и его товарищам.

5

Наполняются трибуны, набирается толпа, объединенная общим чувством предвкушения прекрасного зрелища, готовая к потрясению спортом. Ищут свои места, рассаживаются. Заливает крутые скаты трибун яркими красками летом и одной — черно-серой — поздней осенью. Протискиваются, путаясь и ошибаясь, опоздавшие. Впрочем, почему опоздавшие? До начала еще пятнадцать минут.

Всеобщий вздох: выходят команды. Краткий испуг: вдруг нет кого-то, без кого нельзя, немыслимо. Нет, все в наличии. Идут неторопливо, буднично, катя перед собой мячи. Прежде не было номеров на майках, но узнавали и знали всех — они так непохожи! Артистам же не нужно на спину номеров!

Как можно спутать Гринина, Николаева, Федотова, Боброва, Демина, Кочеткова, Гомеса, Соколова, Бескова, Карцева, Трофимова, Соловьевых, Пономарева, Нетто, Симоняна, Сальникова, Дементьевых! Тогда и ходить сюда не стоит.

Они начинают перекидываться мячами, бьют по воротам. Кое-кто называет это тренировкой — ну что вы, это разминка, они разогреваются, разминаются. Мы смотрим, пытаюсь охватить всех.

Гудит гонг — теперь его давно уже нет в футболе. Они покидают поле, но не уходят совсем — вон они там, вдали, у туннеля, за бровкой, обе команды вместе. Появляются судьи. Сколько зависит от них, и прежде всего в боксе, гимнастике, фигурном катании! Но и в футболе тоже. Однако почему на них трусы, гетры, бутсы? Разве они собираются играть? Нет, конечно, но это подчеркивает их близость к игре, они тоже в ней участвуют. Впрочем, случалось видеть судей и в шароварах и в тапочках.

Выходят главный арбитр и два его ассистента, помощника, в недавнем просторечии «махалы», с флагами.

Высшим авторитетом в нашем послевоенном судей-

стве был Николай Латышев. Ошибался ли он? Вероятно. Даже можно вспомнить официально удовлетворенные протесты команд, переигровки. Но это был арбитр исключительного понимания игры, объективности, благородства. Какая-либо предвзятость казалась попросту невозможной. Он, как и другие, судил москвичей с иногородними — это никого не смущало. Тепер судейская бригада должна быть обязательно нейтральной по месту жительства.

Футбольному рефери нелегко: он должен поспевать за игрой, а ритм футбола все учащается. Но обратите внимание — если судит настоящий арбитр, вы его не замечаете, и вдруг остановка, нарушение, а он каким-то непостижимым образом именно там, рядом с происшествием. И так всякий раз. Очень важны его решительность, реакция. На чемпионате мира 1966 года в финальном матче на Уэмбли наш боковой судья Тофик Бахрамов зафиксировал взятие англичанами немецких ворот. А случай был ответственнойший, требующий предельной внимательности: мяч ударился в землю уже в воротах, но едва за линией и выскочил обратно в поле. Многие усомнились. Видеозаписи, телеповтора тогда не существовало. Правильность решения Бахрамова документально подтвердилась лишь вечером, после проявления киноплёнки.

Строгость футбольных наказаний с каждым годом усиливается. Желтая карточка предупреждения взлетает в руке судьи, казалось бы, за пустячные прегрешения: затяжку с вбрасыванием из аута, умышленную игру рукой, слишком близкую защитную «стенку». При повторении — красная карточка — удаление. Сколько страдали наши команды от чужих судей только потому, что привыкли к попустительству своих!

Строгое, но справедливое судейство публики уважает. Она не терпит растерянности судьи, его неспособности управлять игрой, следующие отсюда новые ошибки. Тогда и звучит — звучал! — тот условный, но такой уничижительный возглас: «Судью на мыло!» — стадионный фольклор, пришедший с улицы, с толкучки конца 20-х — начала 30-х годов. В Италии презрение к слабому, по мнению трибун, судье выражается интеллигентней, ироничней: «Судью к телефону!..» Но суть одна и та же.

Однако собственная власть судей не всегда достаточна, чтобы пресечь злоупотребления. Требуются более решительные меры и в первую очередь изменения в правилах.

За последние годы мы стали свидетелями весьма смелых нововведений — в волейболе, баскетболе, хоккее. Так, в хоккее оштрафованная на две минуты команда не имела права производить проброс шайбы к противоположному лицевому борту, в подобных случаях шайба, как обычно, возвращалась для вбрасывания в зону защищающихся. Истинное искусство заключалось в том, чтобы суметь выбросить шайбу, но не до линии ворот противника. И еще — оштрафованный не выходил после реализации численного большинства, время наказания продолжалось — как сейчас при пятиминутном штрафе.

Менее всего коснулись изменения футбола.

Увеличение ширины и высоты ворот на величину диаметра футбольного мяча, отнесение отметки пенальти еще на один метр — эти предложения трудно даже назвать проектами и вряд ли можно представить их принятыми, хотя исходят они от весьма авторитетных лиц. Впрочем, кто знает!

По-настоящему — при нас — укоренилось лишь одно новшество: наказание за задержку игры вратарем. Сейчас даже странно вспомнить, как совсем еще недавно тянули время голкиперы выигрывающей команды. Вратарь, не выпуская мяча, долго не вставал с земли. Затем наконец поднимался и начинал кружить по штрафной, ударяя мяч о землю или подбрасывая его в воздух и вновь ловя. Здесь тоже были свои мастера и умельцы. Наконец это было пресечено правилами: вратарь может не расставаться с мячом не более четырех секунд, может сделать с ним, даже ударяя его о землю, не более четырех шагов. Это навело страх, возымело действие. Стадион хором считал шаги: «Раз, два, три, четыре!..» Судьи были безжалостны: лишний шаг — свисток, свободный удар в сторону ворот, с нескольких метров. Теперь, когда вратари не затягивают время, острота расплаты сгладилась, судьи не так строги и смотрят сквозь пальцы на лишний шаг — результат достигнут.

Зато в другом случае судьи стали проявлять явную терпимость. В середине пятидесятых в матче «Спар-



так» — «Динамо» Хлопотин назначил пенальти в ворота Яшина. Остальные игроки покинули штрафную, Сальников установил мяч, затем подошел к судье, о чем-то коротко поговорил с ним, вернулся к одиннадцатиметровой отметке, пробил и попал в штангу. Защитники подоспели первыми и выбили мяч за границы поля. Динамовские сторонники ликовали, спартаковские печалились. Однако Хлопотин четко указал: перебить. Что тут началось! Игроки окружили судью, размахивали руками. Один Сальников спокойно стоял в штрафной. Страсти улеглись, он опять установил мяч и на этот раз забил гол. Публика недоумевала: почему били дважды, в чем было нарушение? Разъяснилось это позже: Яшин сходил с места, бросался до удара, что запрещается правилами. Заметив за ним этот пробел, Сальников заранее обратил внимание Хлопотина на возможность такой ошибки.

И пошло! Судьи назначали перебивку, когда вратари чисто брали или блестяще парировали труднейшие одиннадцатиметровые. Постепенно и эта полоса миновала, и судьи стали совершенно равнодушны к смещениям вратарей до удара. Просто диву даешься. Особенно заметны эти вратарские вольности при замедленном повторе: иной до удара не только сходит с места, но весь отрывается от земли. Я, грешным делом, даже думал, не отменена ли эта строгость, не сделано ли хоть небольшое послабление. Ведь тяжело, ох как тяжело вратарю, которому бьют пенальти! Может быть это — подсознательное стремление судей к справедливости?

6

Судья, стоя в центре, берет свисток-сирену в рот и протяжно свистит — вызывает команды. И они выходят вновь — преображенные, подтянутые, готовые ко всему. Впереди капитан с красной повязкой выше локтя, за ним вратарь, а дальше в особом своем порядке, по росту или чаще всего в том счастливом для команды варианте, который, как было замечено, приносил удачу. Пожимание рук, разыгрывание ворот: монета вверх — орел или решка. А тем временем выбегают поклонники с цветами. Раньше — на «Динамо» — их пропускали беспрепятственно, теперь выйти посторон-

нему на поле почти невозможно. Вручают цветы выборочно, своим любимцам, и рвут через поле обратно на трибуну — это был обязательный ритуал, так же как и голуби, бросаемые в небо после каждого, особенно первого, гола своей команды. Ворота разыграны, цветы отдают вратарю, он кладет этот общий букет около штанги. И новый свисток — начали.

Я вот сейчас вспоминаю этих людей — не только самых знаменитых — и думаю об образе каждого из них. Было ощущение их прочности, основательности, незыблемости. Казалось, они будут играть вечно. Разумеется, то сопровождает только лучших, избранных. Действительно, почему Пеле, Беккенбауэр, Круифф, Чарльтон годами играли на своем уровне, а иные наши «звезды» на следующий год после взлета и признания уже неузнаваемы, не те? Главная сила профессионалов в спорте заключается в том, что они подходят к делу именно профессионально — в смысле класса и ответственности, не позволяя себе послаблений. Они профессионалы независимо от статуса. Яркий пример — хоккеисты Канады. Не обязательно «профи» из НХЛ и ВХА, но и любители и юниоры борются в любых условиях и ситуациях до конца и порою забивают решающую шайбу за секунду до сирены. Эти качества очень были присущи и нашим!

Следом за командами или одновременно выходят тренеры, невидимые постороннему глазу. Садятся на своих скамейках, рядом с помощниками, запасными, врачом. Пытаются скрыть волнение, курят. Когда-то они приходили на игру, как на тренировку, в спортивном костюме. Теперь стиль изменился: белая сорочка, модный галстук. Телекамера время от времени «берет» их — поочередно, той и другой команды. Многих мы знаем давно, видели на поле. И хотя признано, что выдающийся игрок не обязательно тренер, мы не можем не вспомнить: Бесков, Николаев, Бобров, Симонян, Иванов...

Судьба тренера. Я не говорю здесь о разнообразных аспектах их жизни — об отношениях с руководством обществ, о непрочности положения, о непрерывно давящем прессе требований высокого места, о тяготах, мелочах подготовки, отсутствии баз и полей. Наконец, о сложности и напряжении самого трениро-

вочного процесса, об умении быть понятым командой. Один драматург недавно сказал мне о режиссере, ставящем его пьесу: «Думающий режиссер!..» Власть штампа. Еще не хватало, чтобы режиссер был недумавший. То же и здесь — говорят: вдумчивый тренер!

Я опускаю это и многое другое и оставляю только одно — игру. Вы видели на телевизионном экране бледного Валентина Иванова, жадно и беспрерывно затягивающегося сигаретой? Передавали матч киевлян на европейский кубок, и операторы показали — за миг перед тем, как Колотов бьет одиннадцатиметровый, — Лобановского, прикрывшего ладонью глаза.

Или передача второго, дополнительного матча из Ташкента в 1970 году. ЦСКА — московское «Динамо». Накануне — 0:0. Дударенко открывает счет, но затем динамовцы проводят три мяча подряд. До конца игры девятнадцать минут. Бесков и Яшин в твидовых пальто, первый сдержанно-благодарно курит, второй в радостном нетерпении потирает руки: все! И вдруг Володя Федотов забивает гол. 3:2! И тут же, через несколько минут, его сносят в штрафной площади. Пенальти. Резко вскакивает со скамьи тренер армейцев — Николаев. Кто будет бить? Как всегда, Поликарпов. Но забьет ли? Страшный для обеих сторон момент. Поликарпов забивает. А за пять минут до конца мяч — после удара Федотова — непостижимым образом, от случайной неровности поля, перепрыгивает через упавшего Пильгуйа. Вот вам двадцать минут в жизни тренера. И не одного — обоих. Думаю, что оба они потратили здесь куда больше нервной энергии, чем в не менее трагическом матче 1948 года, где оба они участвовали, как игроки, в матче с автоголом Кочеткова и решающим мячом Боброва перед самым концом. Шрам от той игры тоже остался в их памяти и душе навсегда, но от этой — глубже, острее. Да и старше стали на двадцать два года — это тоже надо учитывать.

Помнятся игры, помнится главное в них — голы. Но вот мне не раз приходилось встречаться с интереснейшим явлением: многие футболисты с годами забывают, кому и когда они забили тот или иной гол, зато как и при каких обстоятельствах — помнят твердо. Зритель зачастую знает формальную сторону дела лучше их самих. Однако я тоже не могу восстановить сей-

час по памяти, в чьи ворота забил в конце сороковых свой знаменитый, классический, хрестоматийный гол Валентин Николаев, хотя при этом присутствовал. Гол головой, в смелом низовом прыжке «рыбкой». Да и какое, в сущности, это имеет значение. Гораздо важнее, что его запомнили, а в последние годы этот прием все чаще стали исполнять те, кого тогда еще не было на свете, — Блохин, Буряк, Колотов.

Многие голы остались все-таки в памяти навсегда, в подробностях. Мяч, забитый в падении, через себя. Пономаревым Хомичу. Непонятно было, как такой грузный, тяжелый центр-таран сумел так быстро и ловко развернуться во вратарской площади.

Или тоже «Торпедо» — «Динамо» (Москва), но гораздо позднее. Стрельцов подхватил мяч в середине поля и рванулся вперед. Он шел очень мощно и в то же время как бы зигзагами, перекладывая мяч то вправо, то влево. Крижевский бежал параллельно, чуть впереди и почти боком, не решаясь выбрать момент для атаки. Наконец он отважился и бросился в ноги Стрельцову, пытаясь поймать мяч руками (у него была хорошая прыгучесть, и в те времена, когда замена выбывшего вратаря в официальных международных матчах запрещалась, он на всякий случай готовился и на эту роль). Но Стрельцов мгновенно ушел в сторону. Выбежавший из ворот Яшин попытался отбить мяч ногой, Стрельцов обвел и его и спокойно вкатил мяч в сетку.

Гол Понедельника шведам в 1963 году, в официальной игре на первенство Европы. Шведы тогда были сильны, за них выступал один из лучших футболистов континента — К. Хамрин. В Стокгольме ничья — 1:1. Ответный матч в Лужниках. К этому моменту наши вели — 2:1, счет достаточно «скользкий». Понедельник пробил издали, с места левого инсайда. Получилось так, что я сидел точно в фарватере этого удара и сразу понял, что будет гол. Было видно, что мяч идет в ворота левой голкипера и, пробитый с подрезкой, все более отклоняется влево и вверх, в самый угол. Туда он и вонзился.

Чего только не бывает! Игра с венграми, опять же на первенство Европы. В Будапеште наши проигрывают 0:2, в Москве — никто не верил! — побеждают 3:0... Нарушение. Наши бьют слева, вблизи угла штраф-

ной площади. Воронин ставит мяч, но потом оставляет, бежит вперед. Перед воротами чуть не полностью обе команды. Бьет Хурцилава. Он несильно навешивает мяч на ворота. Все стерегут друг друга, а мяч планирует в сетку. Вратарь в последний момент бросается, но уже поздно. Конечно, этот казус следует объяснить растерянностью венгров, не ожидавших от наших такой мощной игры в Москве.

А неоднократно повторенный по всем телеканалам мира показательный гол Блохина в ворота мюнхенской «Баварии», гол, поставивший точку в споре, кто же лучший футболист Европы-75. Блохин, пройдя по левому краю, несколькими движениями раскидал всю знаменитую защиту немцев и пробил в угол, мимо вратаря Майера.

Это всего лишь несколько из запомнившихся, украшающих футбол мячей. Каждый зритель со стажем хранит в памяти свою коллекцию лучших забитых голов. Разумеется, экспонаты этих собраний часто совпадают и повторяются.

На трибунах во время матча идет особая напряженная жизнь. Одни реагируют эмоционально, шумно выражая и проявляя свою причастность к той или иной стороне. Другие предпочитают отмалчиваться. Конечно, поведение их во многом зависит от хода игры, от счета. Случаются перепалки между приверженцами разных команд, порой не слишком уважительные, но часто с весьма остроумными репликами, и применением специфически стадионного жаргона. Вообще-то настоящие зрители ощущают не только игру, но и друг друга.

Спорт рождает удивительное по своей естественности чувство людского единения, близости. Совершенно незнакомые люди, возбужденно обсуждающие перипетии матча, понимающие друг друга вполне. В театре это невозможно. Единство зрительного зала распадается с последней репликой, с опущенным занавесом. А на стадионе людям жаль расставаться. Не говорю уже о комментариях по ходу действия. Когда-то сидящая впереди меня дама — иначе не назовешь — почему-то повернула ко мне голову и сказала: «А Парамонов сегодня не в дугу!..»

Бедный Парамонов!

Однако поведение спортсменов на поле и публики

на трибунах было в наши годы сдержаннее, не напоказ, как и вообще, в быту, на улице, что не исключало истинной внутренней страсти.

И футболист, забивший гол,
В ту пору не имел понятия
О поздравленьях и объятиях,
А хладнокровно к центру шел.

Тогда было достаточно, если капитан пожмет руку отличившегося. Теперь после гола — высокие прыжки, с ударом кулаком в воздух, бег по дуге, команда, гоняющаяся за виновником восторга, догоняющая его, подминающая под себя. Почти то же самое при забитом одиннадцатиметровом.

Тогда больше ценились невозмутимость, достоинство.

Близость зрителей друг другу невольно порождает близость к игрокам. Одностороннюю? Скорее всего. Хотя ведь и спортсмен не может не испытывать родственных, пускай и более обобщенных, чувств к зрителю. У зрителя они резко выражены, конкретны. Вася Карцев, Саня Рагулин... Чувство причастности. Наивное амикошонство болельщика. Право на фамильярность. Он его заслужил. Он в любую погоду, под дождем и снегом, сидел, подняв воротник, надвинув кепочку на глаза, прикрыв спину газетой. Он бывал горько огорчен, разочарован, раздавлен. Он бывал счастлив, он вскакивал, размахивал руками, радостно выкрикивая футбольное прозвище своего любимца.

Да, существует в спорте и это, в особенности прежде существовало. Некоторые прозвища укоренялись на годы, будто из метрик взяты. Одни были элементарно просты, вытекали из фамилии: Пономарь, Бобер, Сало, Стрелец, Число. Другие происходили из особенностей манеры, силуэта, какого-либо неизвестного широкой публике качества: Слон, Гусь, Глухой. Этимологическая основа третьих за давностью лет затушевывалась: Чепец. Нечего говорить о том, что эти клички были общеизвестны.

Дважды я присутствовал при попытке навязывания прозвища новому футболисту. Совсем юного, только что появившегося в «Торпедо» Стрельцова один из посетителей многократно и громогласно называл — Ломо-

вой. Не подхватили. Не было в нем этого, несмотря на тогдашнюю мощь и молодую пробойность.

И еще раз, при явлении на футбольный небосклон ростовского СКА, а в нем — блистающего Виктора Понедельника.

— Давай, Вторник! — сияя, вопил в течение всего матча здоровенный малый. Вероятно, это казалось ему очень остроумным.

— Ты бы еще сказал «Пятница», — заметил наконец кто-то, и читавшие «Робинзона» усмехнулись.

Ошибочное чувство личной близости к известному человеку свойственно многим. Лет двадцать назад или более зашли мы с Бернесом в ресторан поужинать. Хотя мы были голодны, Бернес, я заметил, шел без особой охоты. Очень скоро я понял причину этого. В ресторане гремел оркестр, танцевали. Танцующие пары, очень быстро заметив его, маневрировали таким образом, чтобы подольше находиться рядом с нашим столиком и без помех, в упор, рассматривать знаменитость. Они не собирались упускать свою удачу. Может быть, кто-нибудь и упивался бы этим. Бернес страдал. Наконец музыка замолчала, но подошел некто, нависший над нами, собрался с силами и произнес: «Товарищ Бёрнс, спойте нам. Народ просит...»

Это издержки славы. Киноартисту, лицо которого знают все, деваться некуда.

Спортсмену проще. Футболист далеко — в лицо не всякого узнаешь. Телевидение той поры предпочитало общие планы.

Весной 1962 года тогдашний начальник сборной страны Андрей Старостин пригласил нас с Юрием Трифоновым в Серебряный бор, где находилась команда. Мы не сразу смогли найти их базу, но Трифонов, в детстве живший летом в Серебряном бору, быстро догадался, где это. Мы подошли к дому, виднеющемуся меж стволов, в глубине участка. На крыльце стоял и, видно, ждал кого-то смазливый чернявый парень в тренировочном костюме.

— Андрей Петрович здесь? — спросили мы, чуть не хором.

— Нет, он еще не приехал.

— Как, откуда? — не поверили мы.

— Из города.

Мы, огорченные, не зная, что делать, медленно пошли к калитке.

— Кто это? — поинтересовался я, имея в виду нашего собеседника.

— По-моему, Воронин, — отвечал Трифонов не очень уверенно.

Навстречу нам от калитки уже спешил Старостин, крича издали:

— Валерий, что же ты гостей не принимаешь!

Вот так. Самого Воронина едва узнали. Не то что на поле.

Мы провели там несколько часов. Гуляли по поселку, обедали вместе с футболистами, сидели вечером в общей гостиной, слушая их разговоры. К Нетто приезжала жена — артистка, потом он, проводив ее, вернулся и сел играть в шахматы с Хусайновым. Яшин и Иванов обсуждали, стоит ли брать у фирмы «Adidas» бутсы для команды. Фирма предлагала их бесплатно, но с условием, чтобы наши сыграли в них хотя бы один матч финала. Понедельника позвали делать массаж. Масленкин смотрел телевизор.

А сквозь весенний вечер маячила впереди узкая полоска далекой, спокойной еще страны, смутно доносился мощный накат Тихого океана.

Это было время перед чемпионатом мира в Чили. Это была команда «звезд» и в то же время команда «звезда». В 1960 году она выиграла Кубок Европы. И сейчас она была готова.

Одна из главных сложностей большого спорта — необходимость совпадения пика подготовки спортсмена или команды с основными мировыми событиями — чемпионатами и Олимпиадами. Нужно быть готовым не вообще, а в нужный момент. Это тоже признак уровня и класса. Здесь нашему футболу не слишком везло.

Из всей Олимпиады 1952 года у нас наиболее болезненно восприняли проигрыш именно футболистов, как будто это был чемпионат мира по футболу. Была даже расформирована команда ЦДКА, под флагом которой велась подготовка. В дальнейшем это дорого обошлось нашему футболу.

Причина той неудачи состояла в том, что многие тогдашние асы уже сходили, молодежь еще не имела опыта, команда оказалась недостаточно сыгранной. И хо-

тя отдали все, что могли, не сумели одолеть тех, кто был подготовлен идеально. У меня нет сомнений, что, выйди мы на предыдущую Олимпиаду — в 1948 году, нам не было бы равных. Мы имели тогда два полноценных блестящих состава, что называется, на ходу — ЦДКА и «Динамо», да еще Пономарева, Л. Иванова, тбилисцев.

Наша новая сборная выросла уже к 1955 (победа над ФРГ) — 1956 годам (Олимпиада в Мельбурне). В 1958 году — снова спад, сходящие «звезды», промахи комплектования — и неудача на шведском чемпионате мира, а к 1960-му опять, во второй раз, совпадение «пики» команды с новыми важными соревнованиями — Кубком Европы. По сути, эта же команда готовилась в 1962 году. Любопытно, что все это бурное десятилетие в ее составе неизменно оставался и удерживался только один человек — Игорь Нетто.

Мне кажется, в 1962 году нашу отличную по составу команду подвела тактическая неразворотливость, вялость. Четырех лет не хватило для уяснения бразильской системы. Играть в шестидесятые годы с тремя защитниками было по меньшей мере легкомысленно.

7

Трагедии в спорте. Нет, не гибель — другое. Гибель надежд. Проколы однотрубок у велогонщиков. Поломка лыжных креплений — как случилось у Беляева на Олимпиаде-76 под Инсбруком, и он чуть не половину дистанции стойко шел вприпрыжку, на одной лыже, пока не получил другую. А его все обгоняли и обгоняли. И ведь никто с этим не считался. Следующая Олимпиада через четыре года. Мгновенная невосполнимая нерешительность. Трековику Эдуарду Раппу показалось — может быть, правильно, — что был фальстарт и судьи вернут гонщиков. Но не вернули. Он один остановился. А следующая Олимпиада через четыре года.

Необъяснимые роковые промахи крупных спортсменов. Канадский вратарь Мартин, стоявший против наших совершенно непробиваемо и вдруг пропустивший от Фирсова шайбу, которую тот бросил верхом, не глядя, просто в сторону ворот, чтобы произвести смену.

Шоцикас, получивший нокаутирующий удар на второй секунде боя. Это сродни грубым просчетам, вкусовым провалам и срывам у литераторов высокого уровня.

А не забитые или, наоборот, обидно пропущенные пенальти! «Ломающиеся» из-за этого вратари. В том ташкентском матче 1970 года между «Динамо» и ЦСКА, о котором я уже говорил, в решающий момент был назначен одиннадцатиметровый за снос Федотова. Бить приготовился штатный армейский «пенальтист» Поликарпов. Трудно даже представить себе тяжесть психологического груза, висевшего в этот момент на его плечах и ногах. Вот вам мера ответственности. И тут новый динамовский защитник Антоневи́ч, не выдержав напряжения, подбежал к вратарю Пильгую и напомнил ему, в какой угол Поликарпов обычно бьет. Дело в том, что лишь недавно перешедший в «Динамо» Антоневи́ч несколько лет был в составе ЦСКА и наблюдал постоянное разучивание одиннадцатиметровых Поликарповым. Он это знал досконально. Но он не знал, что лишь в текущем сезоне Поликарпов по совету тренеров тщательно отработал удар в противоположный угол. Так и вышло — Пильгуй начал движение в одну сторону, мяч пошел в другую. Есть от чего прийти в отчаяние и вратарю и советчику.

А автогол Леонида Шмуца! Он, взяв мяч на свою широкую ладонь, чтобы выбросить в поле рукой, размахнулся и уронил его за спину, забросил в собственные ворота. После этого случая он так и не смог оправиться.

Наиболее яркие воспоминания об игре вратарей. Пожалуй, два. Первое очень давнее. ЦДКА — «Зенит». Никто из видевших ту игру не скажет: «Это было в сорок девятом или пятидесятом...» Говорят только: «Это когда Леонид Иванов...»

«Зенит» приехал в Москву на очередные календарные матчи и провел их очень удачно, выиграв подряд две игры, и последнюю — у «Динамо» — 4:3. Это особенно всех раззадорило: следующая встреча была с ЦДКА, и Москва в ожидании сенсации валом повалила. Увы, сенсации не произошло. Более того, игра шла почти в одни ворота — в ленинградские. Этим и запомнилась. Во всяком случае, весь второй тайм про-

ходил так: Иванов брал мяч и выбивал его в аут. Москвичи вбрасывали, вели к воротам и били. Он снова брал и снова отправлял за боковую линию, чтобы хоть немножко потянуть время, потому что защита и вся команда ничего не могла поделать с теми, послевоенными армейцами. Они били ему с двадцати метров, с пятнадцати, с десяти, с пяти, с двух. Все безрезультатно. Они пытались обыграть его во вратарской, обвести — он перехватывал все их передачи. Тем и кончилось. Леонид Иванов победил пятерку знаменитых цедэковских форвардов вкупе с их отличной полузащитой. Прозвучал финальный свисток, заставший его в броске. Он поднялся, весь в пыли, команда благоговейно расступилась, и он пошел впереди, один, пошатываясь от усталости. И зрители, не расходясь, почтительно взирали на него.

И второе — телевизионное. 1963 год. В Лондоне торжества в честь юбилея английского футбола. Матч сборная Англии — сборная мира. Вратарем приглашен Лев Яшин, он же избран на месте капитаном. Конечно, это отчасти показательный матч, игра-представление, особенно со стороны сборной ФИФА, сборной мира. У нее практически два состава, ей нужно продемонстрировать всех специально прибывших «суперзвезд». Яшин стоял тоже только один тайм, во втором его сменил югослав Шошкич. Английская же национальная сборная полна серьезной решимости доказать свою силу — она уже начала подготовку к победному 1966 году.

А между тем ситуация сложилась следующая. За неделю до этого наша сборная проводила официальную отборочную встречу на первенство Европы с итальянцами — в Москве. Мне кажется, старший тренер Бесков колебался, можно ли ставить Яшина, не преодолевшего кризис после неудачного прошлогоднего чемпионата мира и выступавшего нервно, неровно. Многие считали, что Яшин уже исчерпал себя, пора сходить. И тут перст судьбы: Яшина приглашают в Лондон. Бесков ставит молодого могучего Урушадзе из кутаисского «Торпедо», и тот оправдывает надежды. Правда, нагрузка у него была небольшая, но и это опасно: можно излишне расслабиться. Запомнился перехват им каверзной низовой передачи — прострела вдоль ворот. Наши выиграли 2:0.

Через неделю мир прильнул к телевизорам. Да, да, ту игру смотрел весь мир. «Звезды» ФИФА выглядели изящно, технично, они показывали себя и свой класс. Сборная Англии жаждала победы. Игра пошла в одни ворота, и тут «старик» Яшин показал, на что он способен. Все только ахали. Били беспрерывно. Помню, Гривс поднял руки после удара, думая, что мяч уже в воротах, но Яшин в последний миг достал его. Англичане, явившиеся на стадион за победой своей команды, рукоплескали. Так он и ушел «сухим», и лишь во втором тайме британцы добились своего, дважды взяв ворота Шошкича и выиграв 2:1.

Это был поразительный пример возрождения большого спортсмена. За тот год Льву Яшину был присужден «Золотой мяч» журнала «Франс-Футбол» как лучшему игроку Европы. Лишь через двенадцать лет его успех повторил другой советский футболист — Олег Блохин.

Опять через неделю предстоял ответный матч с итальянцами, в Риме. Теперь Яшина нельзя было не ставить, это не было бы понято, особенно при неблагоприятном для нас исходе. И Бесков поставил. Но риск был — а вдруг яшинского запала хватило только на игру в сборной мира и он опять сникнет? Нет, Яшин уже снова поднялся во весь рост и предстал перед футбольным миром в полном блеске. Мало того, его лондонскую игру видели все, и он заранее подавил ею итальянских нападающих. Сандро Маццола не сумел забить ему пенальти.

Но скольких это стоит нервов и сил: суметь переломить, преодолеть себя после горьких неудач — как будто ничего не случилось!

8

Конечно, спорт, так же как и искусство, — это еще и способ выдвинуться, используя свой дар или страсть к игре, к борьбе, к ее ходу. И все-таки желание быть первым, превзойти всех и самого себя — мотив только спорта, в искусстве такое выглядит суетой. В искусстве тоже немалую роль играет честолюбие, и все же первым часто становится тот, кто к этому будто и не стремился. Это происходит как результат, итог, как бы само собой.

А вот разочарования, которые дает спорт и спортсмену и зрителю, порой близки подобным же явлениям в сфере искусства.

Тяготы спорта. Травмы. И тяжелые, долговременные, труднопреодолимые или вовсе опускающие шлагбаум перед атлетом. И рядовые, повседневные, когда ты можешь встать и вновь войти в игру после обезболивающего укола. Иной упал, катается по траве, а публика смотрит: всерьез или штрафной вымаливает? Но вот он встал, похромал немножко и бежит — ничего. «Симулянт!» А с вами разве не случалось: вы ударились, зашлись от боли, но вскоре прошло, хотя и ноет? Ну, назавтра синяк. А у него эти синяки один на другом, на них и внимания не обращают.

Тяготы спорта. Сборы. Разъезды. Отторжения от семьи, детей. Лишение радостей жизни. Режим, режим. А мучительная сгонка веса, столь обычная для штангистов, боксеров, борцов! Внутри спорта бытует теория: если, скажем, футболист женился, в его игре наступает годовой спад. Нужно себя целиком отдавать спорту. Если, конечно, ты желаешь добиться вершин.

Не отсюда ли нарушения режима — разной степени тяжести? Яшин, например, открыто, при тренерах, курил.

Как-то осенью 1967 года я был в командировке в ГДР и, возвращаясь домой, встретил на берлинском аэродроме московских торпедовцев, выигравших накануне официальную игру на Кубок кубков и летящих в Москву одним самолетом со мной. Я поздравил Иванова и сел возле иллюминатора почитать. Иванов, совсем молодой тренер, стоял в проходе, а его помощники, все еще возбужденные вчерашним, то и дело обращались к нему: «Кузьмич!» (Хотя он Валентин Козьминч.)

Команда, как обычно, кучно обосновалась в хвосте. Там были все, кроме Стрельцова и Кавказашвили, вылетевших по другому маршруту, чтобы присоединиться к сборной. Воронин за какую-то провинность был оставлен в клубе.

Самолет набрал высоту, стюардессы понесли завтрак. Кроме команды, в салоне было еще несколько посторонних пассажиров. Одна бортпроводница принесла еду, другая держала в руках поднос, уставленный фу-

жерами с белым сухим вином — рислингом или цигандали. Она уже начала расставлять их на укрепленные столики.

— Девушка! — вдруг загремел, перекрывая шум двигателей, голос второго тренера «Торпедо». — Я же предупреждал: вина никому!

— Ой, я машинально!..

Я дождался, пока она отобрала уже розданные бокалы и скрылась за занавеской, и сказал мягко, журящим тоном:

— Послушайте, молодой человек, что же вы так себя ведете. Здесь не только футболисты.

Он смутился, побежал за ней.

Вот что значат режим, принцип и фужер холодного сухого вина на другой день после победы. Насколько это верно, не мне судить.

Значительно раньше, зимой 1954/55 года, в ресторане Дома литераторов постоянно питался «Спартак». Нового большого здания еще не было, был только старый олсуфьевский особняк, выходящий на улицу Воровского (бывшую Поварскую). В ресторан вела из гардероба крутая винтовая лестница с железными ступенями, по ней и поднимались Симонян, Сальников, Нетто... У них имелись специальные талончики на обед, команда была прикреплена к нашему ресторану. Оказывается, мы были соседями: на этой же улице, совсем неподалеку, красовалась вывеска, гласящая, что «здесь размещается зал добровольного спортивного о-ва «Спартак». Это «о-ва «Спартак» кто-то расшифровал, как «острова «Спартак», спартаковские острова. На этих островах они немало потренировались в свое время.

Теперь у них целый материк — крытый манеж в Сокольниках.

Недавно, в крещенский мороз, мы с Андреем Петровичем Старостиным вышли из такси около этого дворца. Внизу у гардероба нам встретился давний и отличный спартаковский вратарь, теперешний спортивный журналист Алексей Леонтьев, и я вспомнил рассказ того же Старостина о приезде юного Леонтьева из провинции в Москву, чтобы играть за «Спартак», и как на «островах» на Поварской, в узком зале, знаменитые спартаковские форварды в несколько мячей били ему по воротам, а он, оглушенный всем этим, вы-

стоял под их ударами. Сейчас он торопился в редакцию.

Нынешний «Спартак» сидел в методическом кабинете и просматривал видеозапись вчерашнего матча с «Торпедо» на турнире по мини-футболу. Новый старший тренер Константин Бесков (мог ли быть прежде у «Спартака» столь динамовский наставник! Времена меняются) комментировал, разъяснял, убеждал, что игрокам по силам решать и более сложные задачи. Тренер Ю. Морозов изложил программу предстоящей тренировки. Команда весело заторопилась: перед тем как одеваться, каждому предстояло еще взвеситься, чтобы, зная, сколько потеряно за тренировку, врачи могли определять и варьировать дальнейшую интенсивность нагрузок.

Мы спустились в зал. Открылась дверь, и я увидел зеленое поле обычного размера, с воротами и сетками на них, с четкой разметкой. Конечно, покрытие было не травяное, но радовал ровностью и эластичностью плотно натянутый синтетический ковер.

Папаев, Прохоров, Булгаков, Андреев, Букиевские, Павленко, Худиев, Ушаков и другие известные и молодые футболисты играли в гандбол, участвовали в эстафетах с ведением мяча, били головой, разыгрывали заранее подготовленные комбинации и упражнения. А я смотрел и думал о том, что будущее нашего футбола во многом зависит от таких вот зимних, зеленых, ярко освещенных полей.

У меня долго сохранялся напечатанный типографским способом пригласительный билет на встречу писателей с футболистами «Спартака» и «Динамо» у нас в ЦДЛ. На обороте, как на стадионной программке, — схема поля и расстановка состава игроков, а внизу список болельщиков, и я в их числе. Это было после сезона 1953 года. Выступали и писатели, главным образом юмористы, и игроки, и тренеры. Симонян рассказывал о недалекой зарубежной поездке «Спартака», что было еще в новинку о странной, непривычной тишине на стадионе после забитых нашими головами. Сначала даже думали: может быть, что-нибудь не так, гол не засчитан, потом привыкли. «А вообще-то, — сказал Симонян, — они тоже могут, как мы говорим,

по ногам отovarить...» Опять же словечко от недавних суровых лет войны, карточек.

Во всем этом — столовании их у нас, встречах — было что-то домашнее, даже патриархальное.

Я вышел в коридор покурить и увидел там среди прочих Башашкина. Он провел тот сезон в «Спартаке», армейской команды не было.

— Говорят, ЦДКА восстанавливают, — сказал я. — Вернетесь или в «Спартаке» останетесь?..

Он ничего не ответил, только улыбнулся.

Нелегкое это дело — спорт. Годы поисков, подготовки, тренировок, надежд, уверенности — и все может быть перечеркнуто одним-единственным стартом. Где еще так?

И все-таки что-то противится в памяти и душе, когда говорят о спортивном подвиге. Слишком многое связано с этим понятием и словом — подвиг, — и потери в том числе.

Сколько их прошло перед нами — кумиров, любимцев, «звезд»! Но остаются в нашей памяти, в нашей жизни единицы. Остальные тускнеют, сливаются, растворяются во времени. Даже олимпийские чемпионы. А в искусстве остаются иногда те, о которых нельзя было этого предположить. И наоборот, ушел писатель, и как будто его не было. Жестокая это штука — испытание временем, и поделаться ничего невозможно.

9

Футболист или хоккеист, отчисленный из команды за ненадобность, находит себе место в другой, послабей, и, встречаясь, особенно впервые, с бывшей своей командой, выступает, как никогда, ярко и сильно, забивает голы или самоотверженно мешает сделать это противнику. Он жаждет доказать всем: и прежним тренерам, и теперешним, и публике, что рано его списывать, что недальновидно ставить на нем крест. Со временем это чувство несколько меркнет. Иногда такого игрока возвращают назад, как бы признавая первоначальную ошибку, но такое случается редко.

И другой случай — игрок, ушедший от своих в высшую, лучшую команду с согласия руководства, по со-

вести, поначалу играет против них несколько скованно, неуверенно, ему словно бы неудобно. Потом он забывает об этом и крушит бывших одноклубников. Иногда он возвращается — не пришелся ко двору, постарел, сдал, — его немножко жалко.

Каждый приходящий в команду в конечном итоге приходит вместо кого-то, что не может не причинять боли. В индивидуальных видах все откровеннее, проще. Победил — ты первый. А здесь еще нужно найти себе место, притереться, ужиться... вытеснить кого-то.

Великое понятие — команда. Высшей похвалой звучат слова: командный боец, работяга.

Была футбольная команда «Крылья Советов» из Куйбышева. То есть она и сейчас есть, и совсем неплохая. Но тогда она выделялась своей неумностью, бесстрашно сражалась с великими и побеждала не раз. Так в литературе наличие великих — а они были еще при нас — не только не мешает, а способствует росту талантов, их отваге. Из куйбышевских «Крыльев» осело в московских клубах немало отличных мастеров — Крижевский, Гулевский, Ворошилов, Хусаинов, Казаков, а волжане все не унимались. А ведь интересно, какой бы оказалась судьба команды, останься они все дома.

Или еще — моя слабость — удивительный, неунывающий, возрождающийся «Химик». Воскресенский «Химик» — уникальное явление, по сути дела, районная команда. Она с самого начала привыкла рассчитывать только на себя. У меня к ней особое чувство: я наблюдал ее первые шаги.

Уже вполне укоренилась эта несколько странная зимняя игра, где поле продолжается и за воротами. Уже наша сборная успела сделаться чемпионом мира, а затем уступить это звание. Еще не было закрытого льда, нам еще только предстояло встретиться с хоккеем под крышей, как в театре. Но на Московском чемпионате мира 1957 года, когда уже открылся Дворец спорта в Лужниках, главные матчи все равно проводились на морозе с ветерком под хмурым вечерним небом: дворец не вмещал желающих. Во дворце игрались третьестепенные тихие матчи — Австрия — Япония, например, где один из японских хоккеистов выступал в очках.

Не было, разумеется, закрытого льда и в Воскресенске — лишь бесчисленно хоккейные дощатые коробки по дворам. Но постройка дворца уже замышлялась, и он появился, на удивление многим, как поощрение «Химику», как вера в него. Воскресенский искусственный лед был одним из первых в стране — сюда даже ездили на лето, чтобы вволю потренироваться, знаменитые фигуристы.

Но тогда всего этого еще не было.

Афиша гласила: «На Кубок СССР по хоккею. «Химик» (Воскресенск) — «Крылья Советов» (Москва)». Это была зима 1956 года. В составе «Крыльев» — наши первые олимпийские чемпионы: Олимпиада в итальянских Альпах только что закончилась — Гурышев, Пантюхов, Хлыстов, Кучевский. О подмосковном «Химике» мало кто слышал.

Я оделся потеплей, обул валенки, опустил наушники у шапки. Мороз был градусов двадцать. Пошел хорошим ходом, поспешил по морозцу, будто в тепло. Заваленный снегом стадион не подавал признаков жизни. Здесь кончался город, до самого леса и к реке тянулись поля. Я уже решил, что матч отменен, когда заметил впереди несколько темных фигур, скользящих по узкой тропинке. Я направился следом и различил в вышине слабое сияние. Хоккейная площадка находилась в дальнем углу стадиона. Я купил билет и с трудом протиснулся на трибуну — публика пришла давно. Над исчерканным коньками льдом висели яркие лампы, слышались удары шайбы в борт (команды разминались) и слитное морозное потрескивание дощатых трибун, на которых притоptyвали и переминались зрители.

А внизу бурлил красочный, особый мир хоккея. Вратари стояли тогда без масок, их бесстрашие смогло быть оценено лишь потом, некоторые игроки носили танкистские шлемы. Защитная амуниция, помимо прочего, еще и грела. Звенела стужа, скрипели промерзшие доски трибун, морозные клубы дыхания висели над толпой, визжали коньки, трескали клюшки.

Безвестный «Химик» оказал стойкое сопротивление и хотя проиграл, но минимально, с достоинством.

Теперь эта команда хорошо известна не только в нашем, но и в мировом хоккее. В фойе воскресенского

Дворца спорта выставлены под стеклом многочисленные призы, завоеванные ею в турнирах самого высокого ранга. У «Химики» прочная репутация.

Но вот судьба. Так же, как когда-то куйбышевцы, «Химик» регулярно расстается со своими лучшими игроками. Этот конвейер отлажен идеально. Из хоккеистов, которых он поставляет другим, можно было бы сформировать несколько классных команд. Вспомню только «звезд» первой сборной — А. Рагулина, Ю. Ляпкина (сейчас он возвратился), А. Голикова. И, несмотря ни на что, команда из маленького районного городка никогда не покидала высшую лигу.

И надо было случиться, чтобы через двадцать лет, в 1976-м, я присутствовал в Воскресенске на матче тех же самых команд. «Химик» — «Крылья Советов». Я сидел во дворце на удобном месте, читал программу, где говорилось и о том, давнем, матче.

Это было открытие сезона. Трогательный город. Диктор по радио с гордостью перечислял всех воскресенских знаменитостей, хотя они покинули свое родное гнездо. Потом, когда уже вышли команды, выкатились на лед тоже весьма известные здесь личности, победители всесоюзного турнира «Золотая шайба» — хоккеисты воскресенской «Снежинки», и их капитан бодро сказал в микрофон: «Дорогие рыцари хоккея! Сражайтесь, отстаивайте честь нашего спорта, а мы подрастем и вас заменим...»

Игра закончилась вничью — 1:1. Бодунов забил, Веригин сравнял, и потом воскресенцы имели преимущество, но шайба не шла, да к тому же хорошо стоял Сидельников. Добродушная публика в Воскресенске. Надо мной кто-то, явно приезжий, — приезжают на матчи и из Москвы — орет, не умолкая: «Давай, «Крылышки!» В другом городе его с лестницы бы спустили, да и не рискнул бы он, а здесь терпят весьма снисходительно.

Вообще наши трибуны могут освистать свою команду, не поддерживают ее любой ценой. Бывало, перед важными играми в Лужниках даже специально призывали зрителей оказать своей команде активную поддержку. И что вы думаете — помогало!

Там, в Воскресенске, рядом со мною сидели совсем маленькие ребяташки, человек пятнадцать. Они смотрели игру совершенно спокойно, и я мельком удивлен-

но подумал, что им неинтересно. Вдруг один из них спросил меня: «Дядя, у них шайба за 17 копеек или за 33?..»

Я, разумеется, не сумел ответить.

10

Бывал в Воскресенске и ЦСКА или ЦСК МО, как называлась одно время эта команда. Не хоккеисты, разумеется: те регулярно проводят здесь матчи чемпионата, случается, и проигрывают. Нет, приезжала футбольная команда на товарищескую игру. В ней были и только что сошедшие корифеи — Николаев, Никаноров — и тогдашняя молодежь — Ванзел. А воскресенцы собирались тогда выступать по классу «Б», но что-то не получилось, не разрешили, и, может быть, к лучшему: все силы были сосредоточены на хоккее. Тот матч армейцы выиграли 2:0, но попотеть пришлось. Я, стоя за их воротами, слышал, как Никаноров несколько раз кричал защитникам: «Играйте! Не в деревню приехали!..»

Я глубоко убежден, что такие вот наезды, пусть даже слегка гастрольные, пусть даже только бывших «звезд», приносят несомненную пользу, если они серьезны и уважительны.

Летом 1952 года я был по делам во Владимире и обедал как-то с друзьями в ресторане «Клязьма». И вдруг за соседними сдвинутыми столами появились подтянутые, уверенные в себе люди, смутно напоминавшие кого-то. Я не сразу догадался, что это московские динамовцы. Дело в том, что во Владимире вступал в строй новый большой стадион «Торпедо» — в честь этого события и прибыли на товарищескую встречу именитые гости. Это было перед началом Олимпийских игр в Финляндии. Внутренний чемпионат был прерван, Бесков и Трофимов — в сборной, а стареющие динамовские мастера — Леонид и Сергей Соловьевы, Блинков, Савдунин — оказались свободными. Вместе с ними приехали и игроки помоложе — Саная и совсем молодые — Рыжкин. До начала игры оставалось еще часа четыре, футболисты неторопливо обедали — некоторые, как мне показалось, с пивом.

Мы поехали на матч.

Было торжественное открытие, физкультурный па-

рад, массовые гимнастические упражнения на поле, после которых участники, приседая на корточки, выдерживали из грунта невидимые публике колышки разметки. Наконец началась игра. Местные торпедовцы — команда неплохая — слишком робели. Москвичи играли с ощущением заранее данного им преимущества. Они победили 6:2. Лучшим на поле был Блинков. Отлично стоял в воротах Саная. А вот Савдунин, не успевая за напористым владимирским инсайдом, временами толкал его руками, хватал за майку. Местный судья, подавленный авторитетом гостей, старался не замечать этого. Уже тогда начала входить в моду смена мест нападающими по ходу игры. Сейчас это происходит непринужденно и естественно: только что Блохин был у левого углового флага, и тут же вы его замечаете на месте оттянутого правого полузащитника. А в ту пору это проводилось гораздо бесхитростней. С. Соловьев играл левого крайнего, Рыжкин — правого. Соловьев махал ему рукой, звал — мол, иди сюда, и сам бежал ему навстречу. Таким образом они пересекали поле поперек и менялись местами. Как правило, за каждым следовал прикрепленный к нему защитник. Персональная опека, «персоналка» — это было в ходу.

И все-таки такой приезд бывал полезен для местной публики и футбола и, видите, оставлял след в памяти.

И потом это было прощание со многими, как принято говорить сейчас, ветеранами, блиставшими и гремевшими на футбольных полях.

С годами, с возрастом начинаешь особенно ценить «старичков» в спорте и сожалеть о тех, кто сошел слишком рано. Как могло получиться, что в двадцать семь лет покинул хоккей такой выдающийся спортсмен, как Альметов? Ведь канадцы играют до сорока и более. Уже за одно это нужно быть благодарными их опыту: Михайлов и Викулов перешагнули роковую черту тридцатилетия, а никто и не думает их отчислять. Они ведь играют лучше, чем прежде. Есть писатели, которые, старея, начинают повторяться, тускнеть — исписываются. Особенно поэты. Но ведь имеются и обратные примеры, когда поэт, увенчанный сединой, не утрачивает прекрасного накала молодости и одновременно приобретает опыт, мудрость, зрелость. Здесь не может быть единого закона, свода правил. Важен

результат. Мы восхищаемся многократными чемпионами Санеевым, Лагутиным, Голубничим, их умением отдать всего себя до конца в самый необходимый миг.

И в искусстве то же. Не экономить себя, свои силы и впечатления — выложить все, что имеешь, даже больше того, ибо в таких случаях открывается и новое. И лишь потом, если удастся, «восстановиться» — есть такое спортивное выражение.

Еще более восхищают меня спортсменки-женщины, после громких побед сошедшие с высокого небосклона, незаметно исчезнувшие, забытые и вдруг появляющиеся вновь под двойной или совсем другой фамилией — матерью ребенка, а то и двоих, и даже троих! — и вновь достигающие самых больших вершин. Сколько в этом женственности, жизненной естественности, истинного спортивного упорства, трогательной помощи семьи!

Особая прелесть районного, заводского футбола. Его наивность, неиспорченность. Мы открываем его для себя, для души. В довоенные и первые послевоенные годы эта его привлекательность заключалась и в том, что турниры, чемпионаты на таком уровне зачастую не устраивались, — просто по организационным причинам. Никто не гнался за очками, местом в таблице. Это был спорт или физкультурное движение в чистом виде. Но дух соревнования присутствовал, да еще какой! Чаше всего велось постоянное соперничество с достойными по силам командами соседних предприятий или районов. И оттого, что противник порой бывал один и тот же, острота не пропадала, наоборот, усиливалась: прежние встречи помнились во всех подробностях.

Летом 1949 года я гостил в зеленом городке Прилуки, на Черниговщине, у своего однокашника и друга Ивана Завалия. Теперь Ивана давно уже нет. А в то волшебное лето мы много ездили по району, по колхозам, бродили, разговаривали. Посещали мы и местный стадион. Приятель Завалия, центр защиты прилукской городской команды, все допытывался у меня, в чем сила игры Ивана Кочеткова. Он его никогда не видел.

Я сказал: «В выборе позиции...»

А играл парень хорошо, грамотно, сильно.

Встречались они главным образом с одной из местных команд. И вот тут я без преувеличения был поражен. Там играл врач, лет тридцати пяти. Он ничего не понимал в футболе: ни с того ни с сего пускал «свечи» в высоту; когда нужно было отдать пас, бил вперед, где никого из своих не было. Он ничего не хотел и не умел, кроме одного — бить по воротам. Но зато в этом ему не было равных. При каждом удобном и неудобном случае — с ходу, с разворота, с лета, с полулета — он лепил с обеих ног, да главное — точнейшим образом, все по углам. Я не верил своим глазам. Это был, конечно, не гений, не гигант футбола, но это был редчайший талант — забойщик, забивала. Попади он в свое время к настоящему тренеру, его натаскали бы в коллективной игре — он бы блистал. А может быть, он и не захотел бы. Сейчас он играл только для себя, в свое удовольствие. И тут можно признаться, что мы — а ведь мы считаем себя знатоками — ценим не только уровень. Увлеченность, самозабвение, бескорыстие — вот что прекрасно. Мы можем остановиться и, не отрываясь, смотреть, как играют мальчишки на пустыре, — и тоже восторгаться.

А летом 1951 года мы ездили с Евгением Винокуровым на строительство Каховской ГЭС по командировке одного из солидных наших журналов. Забегая вперед, скажу, что ни он, ни я не написали тогда стихов об этой грандиозной стройке. Почему? Трудно объяснить. Не написалось. Но свою роль эта поездка сыграла в нашей дальнейшей работе, дала определенный толчок, помогла разглядеть что-то новое и в нас самих.

Стройка эта была столь популярна, что кассирша на вокзале без тени сомнения выдала нам билеты до Каховки. В дальнейшем оказалось, что железной дороги там нет. Мы сошли в Днепропетровске, выяснили, что зря, поехали в Запорожье, там ночью добрались пешком через весь город до пристани. Парохода нужно было ждать сутки, мы легли на скамью над самой водой и немного поспали.

Через четырнадцать лет я написал об этом стихи. Привожу их не полностью:

Скопилась дневная жара
В нагретом вокзале,

И люди теперь до утра
На пристани спали.
Лежал от дверей в двух шагах,
Как возле духовки,
Солдат. На его сапогах
Светились подковки.
Лелея усталость свою,
Порою nocturno
Мы тоже легли на скамью
Друг к другу спиною.
Плыла и качалась скамья,
Как лодочка в море.
Ты спал безмятежно. А я
Курил уже вскорее.
Средь грузных корзин и узлов
Мне чудился шорох
И шелест волнующих слов,
Опасных, как порох.
Над лицами спящих детей
И спящих их кукол
Стоял в неоглядности всей
Сияющий купол.
Светился спасательный круг
Над легкой вокзала.
И смутною радостью вдруг
Меня пронизало.
Сквозь звездный пылающий дым,
Сквозь эту безбрежность
К тебе и ко всем остальным
Я чувствовал нежность.
...Так явственно вижу я ту
Ночь, звездные блески,
Что вновь ощущаю во рту
Вкус той папироски.
И, радость скрываю свою,
Средь ночи июля,
Над спящими тихо стою,
Их сон карауля...

Наутро мы отправились маленьким автобусом в аэропорт и после долгого ожидания вылетели наконец на двухместном открытом ПО-2 в Каховку. Парило, над яркими квадратами полей стояла серебряная дымка, довольно сильно болтало, что мешало Винокурову, для которого такой полет был в новинку. Приземлились на травяном, вполне полевом аэродромчике.

Через несколько дней в грохоте и пылице стройки нам встретились наш литинститутовец Юзеф Островский и студент Института кинематографии, ныне автор многих сценариев Игорь Болгарин. Они пригласили нас посетить пристань Большая Лепетиха, где постоянно проживали родители Игоря. В результате мы оказа-

лись там и обосновались в доме приезжих, в комнате на восемь коек. Действительно, большое село над рекой утопало в садах. Мы переплывали на лодке через широченный в этом месте Днепр на ту сторону, купались, валялись на мелкомолом горячем песке.

И, разумеется, — к тому веду — в Большой Лепетихе оказалась футбольная команда, не помню уже, кого она представляла, но настоящая футбольная команда, в форме, в бутсах, в майках с номерами на спинах. Она томила — ей не с кем было играть. И мы дважды встречались с нею. Мы — это мы с Винокуровым, Островский и Болгарин. Доукомплектована наша сторона была местными мальчишками. Вскоре после начала матча выяснилось, что вся игра у противника ведется через их капитана — «семерку». Мне поручили выключить его из игры, и, как ни странно, мне это удалось. Я старался атаковать его, когда он лишь готовился принять мяч. Но я совершенно не мог за ним угнаться: он неутомимо носился по всему полю, а я ждал его у своей штрафной. Когда же я шел вперед (мне тоже хотелось забивать), сзади оставался Винокуров. Играли, правда, на условиях, позволявших некоторые упрощения правил. Когда нам били пенальти, я заменил нашего малолетнего голкипера и стал в ворота — только на этот случай.

Если вы смотрели футбол по телевизору, или бывали на стадионе, или даже стояли за воротами, вы не представляете, насколько ворота велики при одиннадцатиметровом. Для того чтобы понять это, надо находиться в них. С этим может не согласиться лишь один человек — бьющий.

— Он за московское «Торпедо» стоял, — сказал Болгарин обо мне небрежно. Но, устыдясь, добавил: — За дубль.

«Семерка» устрашающе длинно разбежался и пустил мяч прямо в меня.

Мы играли с ними дважды, с интервалом в один день. Первый раз выиграли 7:4, второй — точно с таким же счетом проиграли.

Больше всего гордились и радовались местные мальчишки. Но и нам это дало нелишнюю встряску.

И еще через двадцать лет. Рассматриваю фотографии: Вычегда, Сольвычегодск, Благовещенский собор XVI века. А рядом открытый стадиончик, и мы сидим,

смотрим футбол — мой фронтовой друг котлашанин Борислав Бурков, критик Ал. Михайлов, архангельский журналист Евгений Салтыков. Играют команды сплавных контор. Другой снимок: я стою за воротами, сразу за сеткой. Салтыков написал на обороте: «В сетях провинциального футбола».

11

Когда мы вспоминаем радио- и телевизионных комментаторов спорта, первый, кого хочется назвать,—Вадим Синявский.

Глубокой осенью сорок пятого года московское «Динамо», усиленное несколькими игроками из других команд, посетило Англию и породило сенсацию победы над британскими профессионалами. Через атмосферные разряды Европы летел в Россию рассказывающий об этом взволнованный, ликующий голос Синявского. Он прошел и над Венгрией, где я тогда еще служил.

Может быть, я слышал его прежде,
Но забыл, и в другой уже срок,
В сорок пятом году в Будапеште
Я расслышал его говорок.
Еще небо дышало багрово,
И недавний посверкивал свет.
Золотыми ногами Боброва
Восхищался он, словно поэт.

Спустя три года в Литературном институте наш замечательный профессор, языковед Александр Александрович Реформатский приводил эти выделенные слова как пример очень удачного и естественного развития идиомы — золотые руки.

Голос Синявского звучал в наших домах и общежитиях, сопровождал нас в дороге. От него мы узнавали и о хоккейной победе на чемпионате мира в Стокгольме — в первый раз—и о футбольной победе на Олимпиаде в Мельбурне — тоже впервые. Причем эти репортажи помнятся почти так же, как виденное собственными глазами.

Комментаторы! Давно, когда у меня появился классный радиоприемник, жена, занимаясь какими-то домашними делами, включила его и случайно наткнулась на непонятную передачу на иностранном языке: один человек с необыкновенной быстротой, страстью и экспрессией, не смолкая ни на миг, но с множеством

оттенков в голосе, о чем-то говорил или что-то проповедовал, а громадная толпа ревела, стонала и ахала. Вскоре жена поняла, что это футбольный репортаж, потом, что играют итальянские команды «Наполи» и «Рома». Весьма спокойно относящаяся к футболу, она не смогла, однако, выключить приемник. Вернувшись домой, я застал только конец, но вполне понял ее. Она была захвачена музыкой спорта.

Вспомнил сейчас по ассоциации: на миланских улицах продавались лакированные открытки «Тайная вечеря» Леонардо и рядом — карточки такого же формата, новые апостолы «Интера» и «Милана».

Радиокомментатор рассказывает нам о том, что он видит, стараясь охватить все или останавливаясь на подробностях, о которых он считает нужным поведать нам. Мы должны верить ему на слово, мы всецело в его власти. В телевидении, казалось бы, ему проще, но на деле гораздо сложнее. Здесь мы имеем собственное мнение, мы видим сами, а иногда бываем наблюдательней, чем он. Хороший комментатор это понимает, плохой — нет.

Чудо первых спортивных телерепортажей на экранах крохотных КВН-49 с линзой, наполненной водой, или даже без линзы...

В чем была прелесть тогдашнего телерепортажа при всей его наивности, неумелости, промахах? Почему восприятие было эмоциональнее? Сейчас есть термин: прямой репортаж... «Мы ведем прямой репортаж о хоккейном матче»... Произносится это с некоторой гордостью. Еще бы. Ведь могут сказать и так: «Третий период хоккейного матча смотрите после информационной программы «Время»... Теперь в спортивном телевидении главенствует видеозапись. Тебе показывают событие, а ты уже знаешь не только общий результат, но и детали.

Раньше были только прямые передачи. Диктовала программа, сетка — в нее следовало втиснуться любой ценой. Я сам не раз участвовал в «поэтических вечерах» на телевидении. Дается, например, полчаса. Шесть участников. Один ведущий. Примерно по четыре минуты на человека. Но если первые превысят свою норму, последнему времени не остается. Теперь просто — настригут лоскутков, сократят. А тогда человек, выступая, видел себя на экране стоящего в студии мо-

нителя, хотя в эфире уже другая передача. Он звонит домой: «Ну, как я выглядел?» А ему отвечают: «Тебя не было. Где ты был?..»

В начале пятидесятых передачи с Шаболовки носили торжественно-волнующий характер. Объявлялась получасовая готовность. Десятиминутная. Пятиминутная. Наконец: «До выхода в эфир осталась одна минута!..» И почти следом голос режиссера, сверху, как с небес: «Выходим в эфир. Счастливого пути, друзья!..» И зажигался красный глазок на камере.

Спортивные соревнования еще долго передавались лишь в прямой трансляции. Летом 1966 года проводился мировой футбольный чемпионат в Англии, и транслировалось большинство матчей — по два в вечер. Даже по европейскому времени они заканчивались поздно, а у нас — двухчасовая разница — глубокой ночью. Мы смотрели их за городом, и у меня, как бывает в таких случаях, сдал телевизор. Пустил сосед, инвалид войны Виктор Михайлович Никольский — замечательный человек. Сейчас его уже нет на свете. И деда нашего тоже нет. Он, как и Никольский, садился смотреть, но вскоре не выдерживал, начинал клевать носом. Однажды он поднял голову и произнес в задумчивости: «Станга!»

Рядом со мной сидел мой приятель, конструктор вертолетов, живший в то лето по соседству. За стеною спала семья Никольских, было неловко, что мы мешаем, но нельзя же было отказаться от этого. В перерывах между таймами и матчами мы выходили в сад, закуривали. Высоко над нами мерцало небо, густо наполненное звездами, заслоняя чуть ли не половину его, черной стеной нависал над поселком лес. И во всех окнах, как пруды под луной, молочно отсвечивали телевизоры. Курящие тушили сигареты — пора! А там — перехватывал мячи белокурый красавец Бобби Мур, бил с разворота всеобщий любимец Бобби Чарльтон, потрясая кулаком, взвизгивал в воздух празднующий удачу Эйсебио, закрывая лицо руками, шел с поля плачущий Пеле. И все это было не вчера, не утром, не в записи, а сию минуту, сейчас.

С того чемпионата Юрий Трифонов привез мне в подарок книжку о футболе, об этом всемирном съезде лучших, увенчанных успехом, и — неудачников. Там

были итоговые турнирные таблицы и снимки, среди них главный интерес представляли маленькие, как для документа, фотографии 352 футболистов, то есть всех участников финальных игр. Они были сняты в студии, некоторые в пиджаках и галстуках, их лица не выражали страсти, упорства, боли, жажды борьбы. Были и наши, в их числе выдающиеся игроки — Яшин, Шестернев, Воронин, Численко. Они заняли тогда четвертое место.

А через девять лет Булат Окуджава привез из ФРГ и подарил мне книгу о чемпионате мира 1974 года.

— Как же ты даришь такую книгу?—растрогался я.

— А я буду брать у тебя смотреть, — ответил он тут же.

Эта книга замечательна прежде всего тем, что она состоит из кусков жизни футбола, неоглядной радости и неподдельной печали.

Бывают документальные фильмы о спорте. Без текста — слова не нужны. Частый прием в них — съемка «рапидом», замедленное движение под музыку, как во сне. Эта книга напоминает мне такой фильм.

Или даже другое. Порою когда нам показывают по телевидению спортивное состязание в цвете, режиссер вдруг на несколько секунд останавливает выбранный кадр, чтобы мы могли рассмотреть подробнее, и он, этот кадр, как бы сам собой приобретает черты обобщения, искусства. Так и называется: стоп-кадр. В буквальном смысле остановленное мгновение, уже прошедшее. Режиссер вернул его и остановил. Результат гораздо более сильный, чем просто от фотографии. Такое впечатление оставляют снимки в этой книге.

Чудовищные пирамиды высоко в воздухе — по четыре человека. Трое, взмывшие к мячу и крепко зажмурившиеся от напряжения и ожидания встречи с ним. Летящие кубарем по траве в разные стороны. Крики восторга. Объятия. Жалобы. Броски вратарей. И голы, голы, голы. Пара: Круифф и Беккенбауэр рядом, психологический портрет. Ливень в матче Польша — ФРГ. Стена дождя, зонты за воротами, и обреченная фигура вратаря. Комья земли, дерна, газона. Пот и грязь на лицах. Счастье победы, радость малых удач. Ободряющие или карающие жесты судей. Горькие по большей части лица и глаза тренеров... Футбол!..

Да, так вот комментаторы. Есть у них и «ответные контратаки», и «неожиданные сюрпризы», и выражения типа: «Три динамовца вышли один на один с вратарем «Зенита» (сам слышал), и «импровизированная телевизионная кабина» — то есть у борта, у бровки. Беда не в ошибке, не в оговорке, а в привычке каждый раз говорить одинаково — как в прошлый. Это все равно, что если бы писатель каждую новую книгу писал точно, как прежнюю. И еще некоторые из них, как ни поразительно, не видят, не слышат, не замечают происходящего, путают, сбиваются и, конечно уж, не в состоянии ничего рассказать дополнительно, к месту, не мешая основному.

Прекрасно, когда ведут репортажи бывшие сильные спортсмены, но еще лучше, когда они могут рассказать нам нечто такое, о чем способны сообщить только они. Так, Набутов, ведя футбольный репортаж, сказал как-то: «Вратарь в прыжке потерял ориентировку...»

Потеря ориентировки в пространстве случается с мореходами в океане, с летчиками в воздухе. И вот с вратарями... Вратарь выбежал из ворот, прыгнул, не достал до мяча, его развернуло, и он на мгновение потерял ориентировку, не понимая, где мяч и в какой стороне ворота. Поведать о таком смог лишь бывший вратарь сборной.

К слову, о другом комментаторе, тоже бывшем вратаре. Владимир Федотов забил ему гол, судьи гол не зафиксировали. Они не только оказались невнимательными в игровой ситуации, но и не проверили перед игрой, надежно ли укреплена сетка на воротах: сильный низовой мяч прошел под ней. Это видели тысячи людей, вратарь, понятно, тоже. Он в ту минуту потерял не ориентировку, а нечто другое, когда поставил мяч на угол вратарской и как ни в чем не бывало выбил его.

Но что все футбол да хоккей? А русский хоккей, любимый всеми, кто связан с футболом! А Куц, Болотников, Тер-Ованесян, а прежде — Знаменские, Попов, Ванин! Их бег или прыжки стоят перед глазами. А та, годами недостижимая высота — 2 метра, которая, как

звуковой барьер, вдруг была преодолена резко, свободно, многими. Поразительный прогресс Степанова, Кашкарова, Шавлакадзе! И явление Брумеля. Результаты росли неправдоподобно, и мы понимали, что это будет продолжаться. Я присутствовал при установлении Брумелем трех мировых рекордов, в том числе и последнего — 228 см.

Прыжки в высоту — один из самых удивительных видов легкой атлетики. Конечно, поражают воображение и прыжки с шестом благодаря своему головокружительному, под 6 метров, уровню. Однако бурный рост результатов связан там не только с техникой владения снарядом, но и с самим снарядом, с самой техникой. Бамбуковые, металлические или изготовленные из новейших пластмасс шесты, сгибаясь в дугу, поразному бросают вверх спортсмена.

Здесь же может варьироваться лишь техника непосредственно прыжка.

На высоте 228 опять наступила длительная, на несколько лет, заминка. Рекорд застыл, законсервировался. Брумель при мотоциклетной прогулке получил тяжелый перелом ноги, остальные явно не были готовы.

И тут появилось нечто неожиданное. Американец Фосбюри избрал новый стиль прыжка — Фосбюри-флоп. Поначалу стиль производил несерьезное впечатление циркового аттракциона: разбег по кривой и прыжок спиной к планке. Стали говорить, что это опасно, что новинку следует запретить. Но Фосбюри выигрывал, и началось повальное увлечение новым стилем. Казалось, что старый способ — перекидной — уходит в прошлое. Тем более что рекорд Брумеля был наконец побит, а затем быстро доведен Стоунзом (США) до 231 см. Распространился «флоп» и у нас, и в июне 1977 года Александр Григорьев наконец устанавливает новый рекорд СССР и Европы — 230. В мире оказалось несколько атлетов, способных поднять планку еще выше. И уже в начале июля — сообщение: «Советский спортсмен установил новый рекорд мира»... Григорьев? Нет. Им стал известный лишь специалистам восемнадцатилетний Владимир Яценко. В американском городе Ричмонде на матче юниоров СССР и США он с первой попытки взял высоту 233 см!

И опять хочется сказать об уникальности этого вида — прыжков в высоту. Во всех видах спорта, где участникам дается определенное количество попыток, — будь то метания, штанга, прыжки в длину или тройным, или на лыжах с трамплина, или с вышки в воду и т. д., число этих попыток строго ограничено.

Здесь, казалось бы, тоже. Но на самом деле три попытки предоставляются на преодоление каждой высоты. Взял очередную, планка поднимается — и опять три попытки. Теоретически — до бесконечности. Таким образом, даже победитель в конце концов сбивает планку, и у него не может не остаться оттенка неудовлетворенности.

Владимир Ященко взял рекордную высоту легко, свободно, с большим запасом. Но кинулись поздравлять, качать, затискали, сбили с ритма. Да и сам, конечно, был ошеломлен. Шутки ли — рекордсмен мира! 235 — он уже не взял.

Характерно, что Ященко прыгает отечественным перекидным стилем. Да и представители ГДР Байльшмидт (231) и мировая рекордсменка Аккерман (200!) — перекидным тоже. Испытанный старый стиль вновь вышел вперед. Соперничество не только спортсменов, но и стилей сулит в будущем немало интересного.

В июле 1957 года Юрий Степанов установил новый мировой рекорд в прыжках в высоту — 2 метра 16 сантиметров. За двадцать прошедших с той поры лет планка поднялась на 17 сантиметров. Много это или мало? Чувствуется, однако, что очередная мертвая точка еще не наступила и рекорд мира будет в ближайшее время перекрыт.

А коньки, а лыжи! Как прекрасно смотрятся лыжные соревнования теперь и по телевидению, когда камеры установлены на разных отрезках, и мы можем следить за ходом гонки и видеть одновременно заснеженный лес, лиловые лыжни, яркие костюмы зрителей.

Я чувствую, что мой перечень превращается в список для игры в «Спортлото», и останавливаю себя.

В Союзе писателей одно время работала так называемая Комиссия по спортивной литературе. Возглавлял ее Лев Кассиль, а входили писатели, любящие спорт и хотя бы изредка о нем пишущие. Обсуждали книги о спорте, встречались с чемпионами, журналистами. Как-то возникла идея составить антологию сти-

хов о спорте. Я даже взялся быть ее редактором, а помогать мне обещали М. Луконин, С. Куняев, О. Дмитриев. Но не выгорело дело: не нашлось издателя. А поразительно яркая возникала панорама: спорт, его дух и облик в отечественной поэзии.

Любопытно: у русских поэтов XIX века почти нет стихов о спорте. Пушкин и здесь новатор — с него и следовало бы начать.

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ

Юноша, полный красоты, напряжения, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

Да, действительно, товарищ дискобола. Ведь играющий в свайку, по сути дела, копьеметатель.

И еще одно, тоже выполненное гекзаметром, пушкинское четверостишие:

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В БАБКИ

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удáлой игре.

Зато в поэзии XX века выбор большой. Спорт входит в жизнь все заметнее.

В начале предлагаемых заметок я упоминал об употребляющихся на некоторых состязаниях счетчиках времени, грозно показывающих не сколько прошло, а сколько осталось до конца. Глянул — и все ясно. А если бы так в жизни?

Но есть еще другое понятие в спорте — чистое время. Неигровое не считается: как только игра остановлена — а останавливают часто, — выключают и секундомеры. Таким образом, продолжительность хоккейного матча бывает вдвое больше продолжительности самой игры. И всякий раз я воспринимаю это как деликатное напоминание о бесцельно потраченном времени в своей жизни, где, увы, остановок нет — все идет в счет.

Вот и пора ставить точку. Но что это — записки,

дневник? Желание объясниться с носителями одних только интеллектуальных интересов? Отдаленный, но вполне реальный гул московской Олимпиады, вызывающий встречное чувство? Или это — воспоминание о моей молодости, часть моей жизни, о чем я не могу не сказать? Потому что спорт — не массовый психоз, не средство отвлечься от более важного и насущного, а одно из прекрасных проявлений человеческого духа.

1977

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В ДУХЕ «ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДУМЫ»

«И змена» поэта излюбленному роду литературы—дело нередкое. Стоит вспомнить, даже говоря только о наших днях, «Дневные звезды» Берггольц и «Родину и чужбину» Твардовского, «На ельнинской земле» Исаковского и повести Шефнера, «Воздушные фрегаты» Леонида Мартынова и исторические романы Булата Окуджавы.

Обращение же к прозе Константина Ваншенкина кажется мне особенно естественным.

Определив жанр своего первого опыта в этой области «Армейской юности» как «короткие заметки», он писал, что их смысл — в «краткости и одновременно подробности». Это, кажущееся парадоксальным, сочетание весьма свойственно самой поэзии Ваншенкина, которую всегда отличали острая пристальность взгляда и такой вкус к точнейшим, то пластически осязаемым, то проникновенно психологическим, то неприкрашенно бытовым деталям, что опытнейшему прозаику впору.

Поэту издавна были присущи интерес к движениям человеческой души, подчас трудно уловимым, склонность задержать взгляд на событиях вроде бы обыденных, «не стоящих внимания», и прозреть их истинный смысл.

Иные стихотворения Ваншенкина — это как бы «спрессованные» новеллы (томящаяся одиночеством женщина открывает дверь, заслышав «лифт запоздалый», но тот—«снова—мимо этажа, как скорый—мимо полустанка»). А «Баллада о ночлеге» не только прямо переключается по сюжету с рассказом «Повезло», но всем образным строем внушает читателю мысль о трудности и драматизме человеческих судеб.

Так все просто, трогательно и горько в этой балладе: ненастная ночь, недолгая стоянка военной колонны, перешептывания шофера со своей подружкой в кабине, приближение рассвета — и разлуки.

Капли избородили стекло,
Так их путь прихотлив и извилист.
И моторы уже завели,
И машины грядущей струною,
Ровно выстроясь, как журавли,
Потянулись одна за одною.

У прозы — свой язык, и рассказ «Повезло» договаривает то, на что лишь смутно намекала «речь» бегущих по стеклу капель: «Через месяц дивизия, заново обмундированная и вооруженная, находясь на острие наступления, прорвала глубоко эшелонированную оборону противника.

В тяжелых боях дивизия потеряла восемьдесят процентов личного состава».

«Авдюшин и Егорычев» — тоже повесть (хотя сам автор осторожно именует ее «эпизодами из жизни двух солдат») о «прихотливых и извилистых» путях человеческих «капель». До поры они бесконечно удалены друг от друга: Авдюшин уже хватил лиха в первые же дни войны, Егорычев же только что призван. Они встречаются в запасном полку и успевают сдружиться за считанные недели, которые остаются до боя, ставшего для Николая Авдюшина последним. Впрочем, самого этого боя читатель не видит: просто Алеша Егорычев после госпиталя навещает Клаву с сыном, которого Авдюшин так и не увидел, и по всей атмосфере этой встречи ясно, что произошло. Уезжая, Алеша обещает вернуться; однако следующий, финальный эпизод происходит лет пятнадцать спустя: молодой солдат Миша Авдюшин видит на солдатском кладбище плиту со смутно знакомой ему фамилией: «Гв. сержант Алексей Егорычев. 7, V. 1945».

Капля в море... От этого старинного выражения часто веет горечью. Оно — как бы синоним исчезновения, бесследного растворения в огромном мире. В прозе Ваншенкина ощутимо явное сопротивление этому смыслу, как, впрочем, и в его стихах:

А утвержденья эти лживы,
Что вы исчезли в мире тьмы.
Вас с нами нет. Но в нас вы живы,
Пока на свете живы мы.

Читатель скажет, что это очень близко стихам Твардовского. И я охотно соглашусь с ним, да и сам автор, конечно, тоже. «Одна из самых ярких радостей моей литературной жизни — знакомство и общение с А. Т. Твардовским», — писал он, называя автора «Василия Теркина» и «Дома у дороги» своим любимым поэтом и признаваясь: «Я был настолько покорен, завоеван им, что не сумел оценить того, что живу в одно время с Пастернаком и Ахматовой, не познакомился с ними, не сделал попытки» (речь, разумеется, идет именно, и только о личном знакомстве).

Школа Твардовского... Если раньше порой и возникал в нашей критике этот термин, то толковался в самом узком смысле или даже с некоторым осудительным подтекстом: речь шла только о таких поэтах, в чьих стихах сказывалось разительнейшее, подавляющее личное влияние индивидуальной поэтической манеры Твардовского.

Не пора ли, однако, поставить вопрос несравненно шире — о существовании школы Твардовского в советской литературе вообще? Тогда на первый план естественно и закономерно выступают уже не формальные особенности его манеры, а основополагающие идейно-художественные принципы, определившие значение и масштабность того огромного явления, имя которому — Александр Твардовский.

В этом смысле не только поэзия, но и проза Ваншенкина принадлежит именно этой «школе».

Публикуя свои «короткие заметки» об армейской юности, автор писал, что «едва ли не главное в них — это множество деталей, подробностей, которые, если не вспоминать их, постепенно выветриваются из нашей памяти...»

Борьба с этой «эрозией» — великое дело. Память о прошлом и пережитом — необходимейшая почва для нынешней жизни, та «пища сердцу», о которой говорил еще Пушкин.

В прозе Ваншенкина воспоминания о Великой Отечественной войне так живо, реально ощутимы, как оставшаяся на его плече «метка от противотанкового ружья». Пережитое увидено словно бы только что, со всей силой непосредственного восприятия. Таковы, например, первые минуты после форсирования большой реки:

«...в сухом, текущем песке было трудно вырыть даже ячейку

для положения «лежа». Он курился, тек, из него торчали только мелкие кустики да, как из-под снега, полузасыпанные мертвецы. Это была пустынная, чуть наклоненная к реке равнина, с редким леском на горизонте, песок струился по ней, словно мела поземка».

Этот «пейзаж» войны тем более трагичен, что написан без малейшего «нажима пера», почти «деловито» — как бы с точки зрения торопливо окапывающихся бойцов.

В стихотворении о поездке в воинскую часть, где служил в те годы, Ваншенкин с присущей ему точностью образной характеристики заметил, что чувствовал себя там, как в поезде, когда случается —

На повороте видеть вдруг
Начало и конец состава.

Эти «начало» и «конец» остро совмещаются и в его прозе. В повести «Графин с петухом» вроде бы мельком упоминается, что одному из героев «ответить было трудно — ни жены, ни детей у Стрельбицкого не было». «И никто,— добавляет автор,— разумеется, не знал, что никогда их у него и не будет».

Эта нота, как горестный рефрен, проходит через истории многих судеб: «Потом там поставили небольшой обелиск, пионеры переписывались с родственниками погибших, с теми, кого удалось разыскать, дважды за все годы приезжали матери двух солдат и один раз высокая женщина, та, что когда-то навещала по субботам старшего лейтенанта Скворцова. Но это было потом» («Графин с петухом»).

Зная про это возможное будущее, мы уже с особым чувством вглядываемся в лица персонажей — по большей части такие молодые! — и совсем по-иному реагируем даже на, казалось бы, «незначашие» детали и подробности. Описывая жесткий распорядок дня в военном училище, вечную нехватку времени у курсантов, автор с облегчением заключает: «Хорошо еще, что нам тогда не нужно было бриться». А читатель думает: ведь совсем, совсем еще мальчишки!

«После взятия Харькова (в начале 1943 года.— А. Т.) Замышляев сказал:

— Эдак и воевать не придется!

Лейтенант, командир взвода, ответил спокойно:

— Не волнуйтесь, успеете».

Успели, успели...

Вглядываясь в эти юные лица, вслушиваясь в горячие, наивные рассуждения, думаешь, как сложен и «прихоглив» был тот сплав человеческих качеств, чувств, мыслей, о который иступились и в конце концов обломались все гитлеровские «клинья» и «клещи». Тут слилось бесконечно много — от юношеского преклонения перед героями гражданской войны, представлявшейся ровесникам автора сплошной романтикой, до трогательного желания отстоять тот «знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд», о которых пелось в наивной песне конца тридцатых годов.

Про картину героя рассказа «Художники» говорится, что в ней ощущалось время. Это же можно сказать и о ваншенкинских «картинах». И дело не просто в тех или иных «календарных пометах» в тексте, а во всей атмосфере этих произведений, к которым вполне применимы ваншенкинские стихи:

Не просто удачные строки,
Что можно всегда написать.
Но здесь уже вехи и сроки,
И Времени видно печать.

Поэтому эти повести и рассказы совершенно естественно соседствуют в книге с историей о потерянном фотоальбоме, в которой подписи поэта воспроизводятся к фотографиям военных лет, образующие в совокупности своего рода хронику тогдашних событий. Автор «Рассказа о потерянном фотоальбоме» вспоминает, что когда стал впервые рассматривать эти снимки, его так и «окатило войной». В написанном им прекрасно сохранилось это потрясение увиденным — и снова ожившим в памяти («Горят наши боевые корабли после массированного воздушного налета, а ты бессилен им помочь», — что это? Переживания участников обороны Севастополя? Или сегодняшнее движение авторской и твоей собственной души?)

Страницы же, посвященные работавшим над этим фотоальбомом писателю Сергею Сергеевичу Смирнову и фотокорреспонденту М. А. Трахману, перекликаются и с многочисленными мемуарными очерками Константина Ваншенкина, входившими в его книги «Ли-

ца и голоса» и «Наброски к роману» и с «Воспоминаниями о спорте», благодарно запечатлевшими многих, ныне уже порой основательно позабытых виртуозов, чье искусство доставило столько радости миллионам зрителей и стало частью их собственной жизни.

В одном из своих очерков, говоря о написанном им стихотворении, Ваншенкин замечает: «...здесь все точно. Вот только шел я не «один» (как сказано в стихах.— А. Т.), а вдвоем с Толей Клочковым (другом его молодых лет.— А. Т.)». И мне всегда казалось, что он говорит об этом не из педантизма и не в качестве улыбочивой «виньетки».

Эти слова — о том, что шел он не один,—как-то невольно ассоциируются в моем представлении с одной из главных тем творчества Константина Ваншенкина — с его взволнованными размышлениями о своих товарищах, ровесниках и современниках.

Когда-то, еще в начале творческого пути молодого поэта, Твардовский настойчиво требовал от него «некоей *генеральной думы*, одержимости каким-то чувством, задачей, поиском» (курсив Твардовского).

Я уверен, что нынешний читатель прозы и стихов Константина Ваншенкина эту «генеральную думу» и «одержимость» ясно ощущает.

А. ТУРКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

I.

АРМЕЙСКАЯ ЮНОСТЬ	5
АВДЮШИН И ЕГОРЫЧЕВ	64
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ	116
ЛЕЙТЕНАНТ КАРЕТНИКОВ	168
ПОВЕЗЛО	182
СЛУЧАЙ	194
ГРАФИН С ПЕТУХОМ	206
В ПОЕЗДЕ	258
РАЗГОВОР О ПТИЦАХ	261
КАК СОЛОВЕЙ ЛЕТА	266
ПОЧТА ПОЛЕВАЯ	270
ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГЕ (ИЗ ДНЕВНИКА)	273
ХУДОЖНИКИ	281
МОСКВИЧИ	291
ЛЕША	302
ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ	307
СУХАЯ СОСНА	356
ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ	363
ЗАТВОР И ДРУГИЕ ИСТОРИИ	365
ВИНОГРАДНИК	370
КОСТЮМ	373

II.

ШУМАВСКИЕ ВОЛКИ	379
РАССКАЗ О ПОТЕРЯННОМ ФОТОАЛЬБОМЕ	411
ВОСПОМИНАНИЕ О СПОРТЕ	480
В ДУХЕ «ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДУМЫ». <i>Послесловие</i> А. Тур- кова	537

Ваншенкин К. Я.

В17 Графин с петухом. — М.: Известия, 1984. — 544 с., ил.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга — о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

В 4702010200—026
074(02)—85 72—85 подписное

ББК 84Р7
Р2

Константин Яковлевич ВАНШЕНКИН
ГРАФИН С ПЕТУХОМ

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой

Редактор **В. Полонская**
Художественный редактор **И. Смирнов**
Технический редактор **Н. Карнаушкина**
Корректор **И. Горячева**



ИБ № 912.

Сдано в набор 7.8.84. Подписано в печать 4.1.85. А 04904. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Печ. л. 17. Усл. печ. л. 28.56. Усл. кр.-отт. 28.77. Уч.-изд. л. 29,40. Тираж 275000 (100001—200000) экз. Заказ 117.
Цена 2 руб. 20 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства «Таврида» Крымского обкома Компартии Украины. 333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Scan Kreyder - 05.10.2019 - STERLITAMAK

